

Ф 934761  
А 84  
П 75

# ПРИАМУРЬЕ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ

# 2003





A847  
П75

Амурская областная общественная  
писательская организация

Приамурье-2003. Литературно-художественный альманах. — Благовещенск: ООО «Издательская компания «РИО». — № 6 (24). — 128 с.

**Редакционная коллегия:**

И. Д. Игнатенко,  
В. Г. Лецик,  
О. К. Маслов,  
В. В. Рыльский

**Редактор-составитель —**  
В. Г. Лецик

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ**

**ПРИАМУРЬЕ  
2003**

*Выпуск осуществлен на средства Администрации Амурской области*

Стихи

Проза

Воспоминания

Страницы истории

© Амурская областная общественная писательская организация (составление), 2003

ООО «Издательская компания «РИО»

Формат 60x84/16.  
Усл.-печ. листов — 14,88.  
Уч.-изд. листов — 24.  
Тираж 1000.  
Заказ № 3954.

Отпечатано в производственно-коммерческом издательстве «Зей». 675000, Благовещенск, ул. Калинина, 10.

КОЛЛЕКЦИЯ  
КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

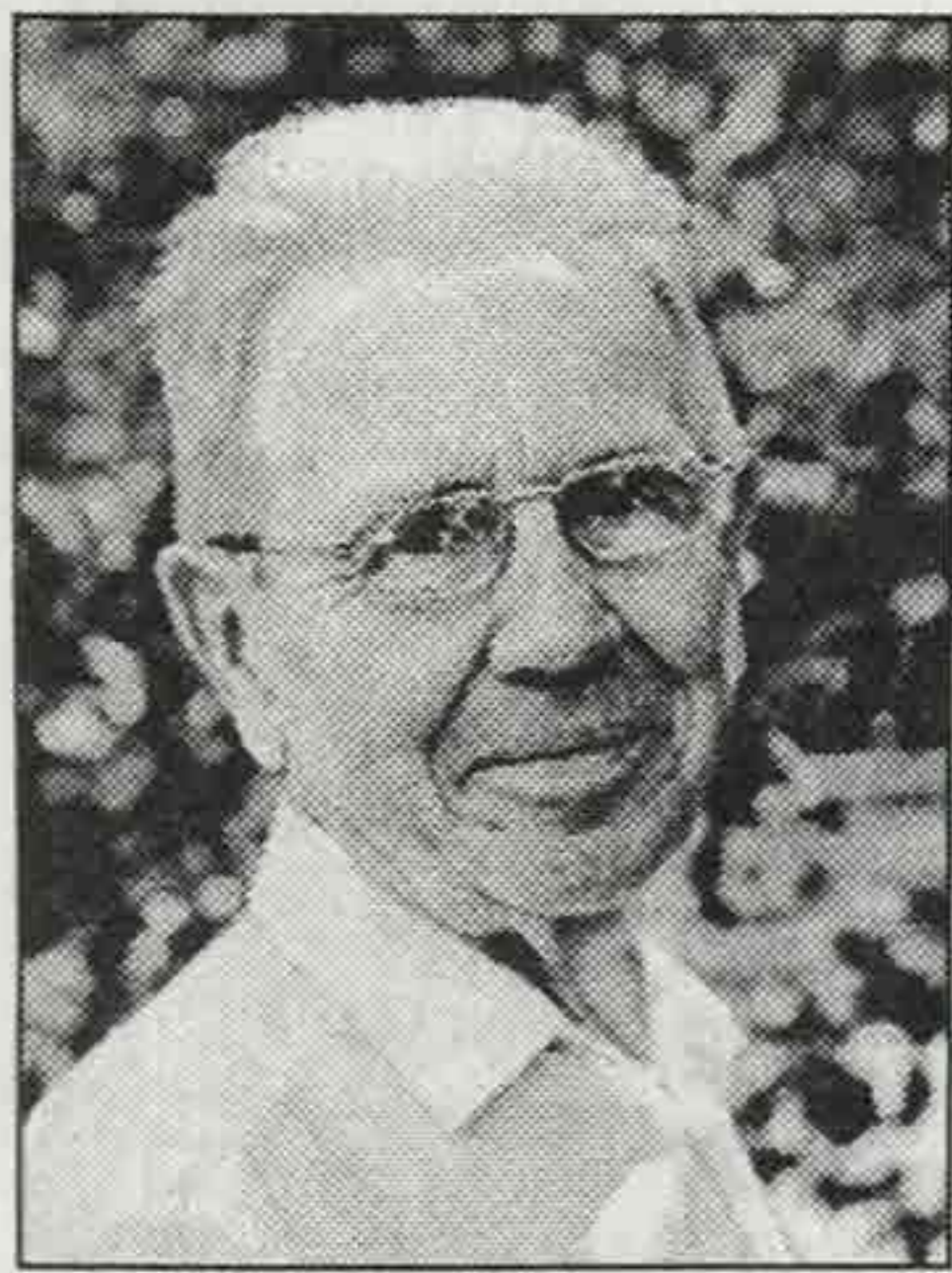
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ  
КУПИТЕЛЬ

Благовещенск  
2003

934761  
94  
09

Олег МАСЛОВ. <b>И лира, и чаша. Стихи</b> .....	3
Леонид СИМАЧЕВ. <b>Время собирать ягоды. Рассказ</b> .....	6
Владимир ГУЗИЙ. <b>Стихи</b> .....	8
Виктор РЫЛЬСКИЙ. <b>Под сенью статуи маэстро Глюка. Рассказ</b> ...	11
Виктор АЛЮШИН. <b>Стихи</b> .....	16
Игорь ИГНАТЕНКО. <b>За хлебом. Рассказ. Из стихов разных лет</b> .....	17
Александр БОБОШКО. <b>Стихи</b> .....	23
Татьяна КРАВЦОВА. <b>Стихи</b> .....	24
Инга СОКОЛОВА. <b>Точка соприкосновения. Рассказ</b> .....	26
Людмила ЗЕЛЮЧЕНКО. <b>Стихи</b> .....	28
Галина БЕЛЯНИЧЕВА. <b>Степь и табун. Повесть</b> .....	30
Луиза СТУПНИКОВА. <b>«Прости меня, Антон!». Повесть</b> .....	60
Татьяна ФИЛИППОВА. <b>Стихи</b> .....	67
Александр ОНИЩЕНКО. <b>В «дурачки». Рассказы</b> .....	68
Альберт ЗИМАНОВСКИЙ. <b>Новоселье под праздничек. Рассказ</b> .....	73
Евгений КОЛЬЦОВ. <b>Стихи, проза</b> .....	77
Ирина СПИРИДОНОВА. <b>Стихи</b> .....	79
Татьяна ВАРФОЛОМЕЙ. <b>Стихи</b> .....	80
Анатолий РУБЦОВ. <b>Рассказы</b> .....	81
<b>СВОБОДНЫЙ — ГОРОД ЛИТЕРАТОРСКИЙ</b> .....	83
Геннадий ФРОЛОВ. <b>Доля. Отрывок из повести</b> .....	84
Григорий ШУМЕЙКО. <b>Стихи</b> .....	90
Валентина АБРАМЕНКО. <b>Стихи</b> .....	91
Галина СОСНИНА. <b>Родные корни. Отрывок из повести</b> .....	92
Надежда ГУБАНОВА. <b>Стихи</b> .....	95
Анна ДУБРОВА. <b>Стихи</b> .....	96
Игорь КОЛЕСНИКОВ. <b>Стихи</b> .....	96
Вера ЗОЛОТАРЕВА. <b>Стихи</b> .....	96
Евгений ХОМЯКОВ. <b>Стихи</b> .....	97
Ольга КРИВОШЕИНА. <b>Стихи</b> .....	97
Владимир ПУШКАРЕВ. <b>Стихи</b> .....	97
Вера ОВЧАР. <b>Детство в Порт-Артуре. Отрывки из повести</b> ...	98
Надежда ЯНЫШЕВА. <b>Стихи</b> .....	100
Александр ШКУРАТ. <b>Стихи</b> .....	101
Людмила ЛОМАКО. <b>Стихи</b> .....	103
Людмила ШИШЕЛЯКИНА. <b>Стихи</b> .....	104
Алексей ПАДАЛКО. <b>«Филантроп». Рассказ</b> .....	105
Михаил КУШНАРЕВ. <b>Стихи, пародии</b> .....	106
Владимир ПОРЫВАЕВ. <b>Басни</b> .....	108
Петр ЛАЗАРЕВ. <b>Размышлизмы</b> .....	108
Борис ЯКИМОВ. <b>Поэт Константин Хомьюк</b> .....	109
Анатолий ФИЛАТОВ. <b>«...светом стать и пережить себя»</b> .....	111
Николай РУДКОВСКИЙ. <b>Неутомимый искатель</b> .....	118

На обложке — репродукции работ благовещенского  
художника Владимира Красникова.



В прошлом году к 70-летию юбилею Олега Константиновича Маслова был издан сборник его избранных стихов и прозы. Книга эта, в твердом переплете с тиснением, оформленная благовещенским художником Вадимом Кондратьевым, отпечатанная издательством «Зея» и про спон с и р о в а н - н а я, как ныне выражаются, комитетом по культуре администрации города Благовещенска, стала ярким явлением в литературной жизни области. А в этом году, совсем недавно, вышла в свет книга Олега Маслова «Мой крест», в которой все стихи, рассказы и мемуарные очерки посвящены исключительно медицине. Сам Олег Константинович не раз заявлял, что он не столько поэт, сколько «пишущий врач». Но, думается, те, кто любит его стихи, согласятся, что он скорее все-таки «врачующий поэт».

### И ЛИРА, И ЧАША

\*\*\*

В каких бы жизненных теснинах  
Я лба себе ни расшибал,  
Меня спасала медицина,  
А ямб крылатый поднимал.  
Я полюбил и то, и это  
Одной любовью в звездный час —  
И лиру звонкую поэта,  
И чашу горькую врача.  
Не погрешу на словословье,  
Но утверждать всегда готов:  
Нет краше песни, чем здоровье,  
Бальзама лучше — верных слов.

\*\*\*

Все могу осмыслить в нашем прошлом,  
Но одно представить — выше сил:  
Как могли когда-то без картошки  
Обходиться люди на Руси?

Нынче — ладно, но в сороковые  
Скольких нас скосила бы война  
На бесхлебье в зимы грозовые,  
Если б не кормилица — она!

Как поверить нам, вскормленным ею,  
Что всего-то двести лет назад  
Из Европы в качестве трофея  
Нес ее суворовский солдат?

Видно, сердце у солдата ныло  
О родимом доме там, вдали,  
Будто знал он, что со слабым тылом  
Мы б спасти Отчизну не смогли.

\*\*\*

Мелькнула в небесном тумане  
И скрылась, увы, навсегда,  
Не зная даже названья  
Летающая в бездну звезда.

Но мир не заметил потери,  
И с ней не померк его свет,  
А сердце щемит и не верит,  
Что этой, исчезнувшей, нет,

И жаждет ее появления,  
Как будто она обрела  
Какое-то в жизни значенье  
И что-то с собой унесла.

\*\*\*

Почтовый ящик, старый друг,  
Свидетель всех моих мучений,  
Тебе понятен мой недуг —  
Так где ж оно, твое лечение?

Хоть словом, взглядом ублажи...  
Но ты молчишь и смотришь хмуро —  
Ведь правды горькая микстура  
Целебней самой сладкой лжи.

\*\*\*

Уснула дальняя слободка,  
А голос девичий поет:  
«Плыви, плыви по морю, лодка,  
Плыви туда, где мил живет».

В той песне — горе и не горе,  
Девичья светлая печаль...  
И пусть ни лодки нет, ни моря —  
Плывет напев в ночную даль.

И бередит, и греет душу,  
И в охватившем полусне  
Как будто сам, покинув сушу,  
Плывешь, качаясь на волне.

#### ЛЕТНЯЯ ГРОЗА

Гроза в июле — откровенье,  
Не то что майская игра,  
Когда грохочет в отдаленье  
Весны счастливое «Ура!»

Нет, тут совсем иное дело —  
Себя под зноем распая,  
Достигла высшего предела  
В порыве пламенном земля.

И черной тучей солнце засты,  
Решилась — черт все побери! —  
Так разрядиться зрелой страстью,  
Чтоб не взорваться изнутри.

Змеей метнулась вспышка света,  
И вдруг — удар, за ним — другой!..  
Не в отдалении, не где-то —  
В упор, над самой головой.

И ты застыл, как изваянье,  
Перевести не в силах дух,  
И — никакого прозябанья:  
Жизнь или смерть — одно из двух!

Все — от солнечного света,  
Все — от летнего тепла...  
Распалая земля лето,  
Жизнь опять свое взяла.

Позади — кипенье яблонь,  
Впереди — грядет жнивье,  
Через месяц — лето бабье,  
А пока оно — мое.

Отшумели ливни-грозы,  
Зной вступил в свои права,  
Нынче время сенокоса —  
Становись-ка, трин-трава!

Пусть гудит под вечер тело,  
Но отрада на душе, —  
Кончив дело, можно смело  
В милый рай, что в шалаше.

Брежит зарево рассвета —  
Ночь была иль не была?  
А ведь это — все от лета,  
Все — от летнего тепла.

### ПЛЮШЕВЫЕ ЖАКЕТКИ

Нагрянет май в село, и снова,  
Нет-нет да вынесут на свет  
Жакетки — девичьи обновы  
Послевоенных первых лет.

Они давно не по размерам  
Хозяюшкам — узки, тесны,  
А плюш неплох — по шифоньерам  
Висят с весны и до весны.

Одежки есть и поновее,  
Но тем жакетка хороша,  
Что неизменно молодеет  
Под нею женская душа,

И тем, что выглядела модно,  
И тем, что куплена в нужду...  
Да что менять — ведь так немного  
У женщин праздников в году.

\*\*\*

Когда из операционной  
Выходишь в мир иных забот,  
Всегда с надеждой затаенной  
Тебя в приемной кто-то ждет.

И зная это, первым делом  
Идешь туда, неся с собой  
Весть, что всегда была уделом  
Военной почты полевой.

Как оживают просветленно  
Людей измученных черты,  
Когда счастливым почтальоном  
С улыбкой к ним подходишь ты!

И все ж случается порою —  
Стоишь, не зная что сказать,  
А на тебя глядит с мольбою  
Его, единственного, мать.

Все можно объяснить на свете  
Жене, и сыну, и отцу...  
Но мать... ей проще бы со смертью  
Самой сойтись — лицом к лицу.

Хорошо нам с тобою вдвоем  
В тишине на прибрежном просторе,  
Но прошу тебя лишь об одном —  
Отпусти поскорей меня в море.

Есть тревожное слово «пора»,  
За которым и горе — не горе,  
Только пели бы песни ветра  
Да качало открытое море.

Без него обмелеет душа  
И волненья улягутся вскоре,  
Ведь любовь, как весна, хороша,  
Если жизнь необъятна, как море.

Я запомню тебя наизусть,  
До прощальной слезинки во взоре,  
Я к тебе непременно вернусь,  
Только ты отпусти меня в море.

\*\*\*

Нагрянет полосой  
Период невезений,  
Когда над головой —  
Сплошные тени, тени  
Предчувствий и утрат,  
И нет ни в чем отрады,  
И сам себе не рад,  
И все тебе не рады.  
Но пусть не повезло —  
Смятенью не поддайся  
И, всем чертям назло,  
Живи и улыбайся,  
Друзьям не отравляй  
Веселое застолье,  
И недругу не дай  
Твоей упиться болью,  
И, вопреки всему,  
Не прекращай работы,  
Чтоб сердцу и уму  
Всегда была забота,  
И верь, что разнесет  
Все тучи ветер встречный...  
Ведь туча — эпизод,  
А небо с солнцем — вечны.

### БЕРЕГА

Родился ручеек,  
Растерялся слегка,  
Но в земном необъятном просторе  
Поддержали его  
Два дружка-бережка  
И направили в сторону моря.

И, глядишь, по земле,  
Широка, глубока,  
Под лучистым шатром небосвода  
Меж крутых берегов  
Катит воды река —  
Устремленная к цели свобода.

А ведь мог он, родившись,  
Себя потерять,  
Стать болотной жижей тусклой...  
Берега, берега,  
Как нужна ваша стать —  
Нет без вас ни движенья, ни русла.

## ПРОСЬБА

Когда оставят искушенья  
И в тягость станет бранный путь,  
Пошли мне Бог для воскрешенья  
Кого-нибудь, кого-нибудь.

И если он своим участием  
Сумеет жизнь в меня вдохнуть,  
Воздай ему за это счастьем  
Когда-нибудь, когда-нибудь.

\*\*\*

Помню я, как бабка Агриппина,  
Ненароком заглянув в свой сад,  
Парила мне спину хворостиной,  
Причитая: «Ах ты, азиат!».  
Впрочем, на нее я не в обиде —  
Видит Бог, она была права:  
Сколько я с тех пор не перевидал,  
Где я только не перебивал,  
Но, кружась и странствуя по свету,  
Познавая новые места,  
Сердцем неизменно был  
По эту  
Сторону Уральского хребта.  
На просторах края-великана,  
Как нигде, сродни душе моей  
Ширь земли, дыханье океана,  
Животворность солнечных лучей.  
Не хочу сказать, что где-то худо,  
И неправда, будто я забыл  
Земли те российские, откуда  
Прадед мой к Амуру уходил.  
Но затем и шел он в эти сопки,  
Сильный, смелый русский человек,  
Чтоб его достойные потомки  
Обрели здесь родину навек.  
Для меня его деянья святы,  
Я живу, завет его храня,  
И не зря когда-то азиатом  
Окрестила бабушка меня.

## ДАЛЯНЬ

И вновь меня пути скитаний  
По зову сердца привели  
К заветной пристани желаний —  
На берег моря, край земли.

Так свеж и ласков встречный ветер,  
Так мирно плещется волна,  
И ни представить, ни приметить,  
Что даже здесь была война.

А ведь была, и не однажды,  
И не чужая, а своя,  
И там, в России, знает каждый  
Про эти дальние края.

Поныне в памяти и песне —  
Цусима, Порт-Артур, «Варяг»,  
А через сорок лет — возмездье  
За погранный российский стяг.

Дрались отцы, сражались деды,  
Не счесть вокруг родных могил...  
Но где он днесь, венец Победы?  
Кто побежден? Кто победил?

Прошла гроза над Ляодунем,  
Рассеян дым, развеян мрак,  
И над Далянем и Льюшунем —

Китайский пятизвездный флаг.  
И хорошо под мирным солнцем,  
Не помня зла, встречаться здесь  
И россиянам, и японцам,  
Когда хозяин истый есть,

Который встретит и приветит,  
И даже вырастит цветы,  
Чтобы врагов вчерашних дети,  
Сейчас живущие на свете,  
Могли их павшим принести.

...Лучистый шар над головою,  
А море — глаз не оторвешь —  
Лежит такое голубое,  
Что Желтым и не назовешь.

1992

## НА РЕКЕ

Не искушай меня, река,  
Тебе отдаться на поруки —  
Есть у меня весло и руки,  
И сил не занимать пока.

Твой путь теряется в морях,  
Где воды с вечностью роднятся,  
А мне так хочется остаться  
В родных зеленых берегах.

Ты — жизнь моя, и с первых дней  
С твоим течением борюсь я,  
И чем быстрее относит к устью, —  
К истокам тянет все сильней.

## ОПТИМИСТИЧЕСКОЕ

Что-то сердце пошаливать стало —  
От забот, сигарет ли, винца...  
А быть может, то просто начало  
Обращенного в вечность конца?  
Не страшусь я ни жизни, ни смерти,  
Я уже ничего не боюсь,  
Но пускай поберут меня черти,  
Если я своего не добыюсь.  
Да и нужно-то сущую малость —  
Чтоб в исход своего декабря  
Убедиться, что жизнь состоялась,  
И по главному счету — не зря.  
Пригодится ли нажитый опыт  
Всех салютов и слетов, и встреч?  
Не собьется ли рапорт на ропот,  
Коль зайдет о содеянном речь?  
Ведь не сдашь же любимому чаду  
Век, как тот с недоделками дом,  
Что спихнуть нам строители рады,  
Обещая доделать потом.  
Только в грудь себя бить не пристало,  
Да и сил не исчерпан запас.  
Не затем привыкали к авралам,  
Чтобы этот, последний, не спас!  
Ну а сердце — и в боли со мною,  
Хоть его никогда не щадил, —  
Пусть шалит, да напомним порою,  
Что и сам я немало шалил.  
Вместе с ним, не пеняя на лета,  
В марафоне житейском своем  
Добежим и до финишной ленты  
И, упав на нее, — разорвем.

1983

\*\*\*

Не обуздать страстей природу —  
Распад азартен, как разврат...  
Народы рвутся на свободу,  
А люди вместе жить хотят.

И, презирая боль и слезы,  
Впадая в алчный нетерпеж,  
Страну живую без наркоза  
Кромсает пограничный нож.

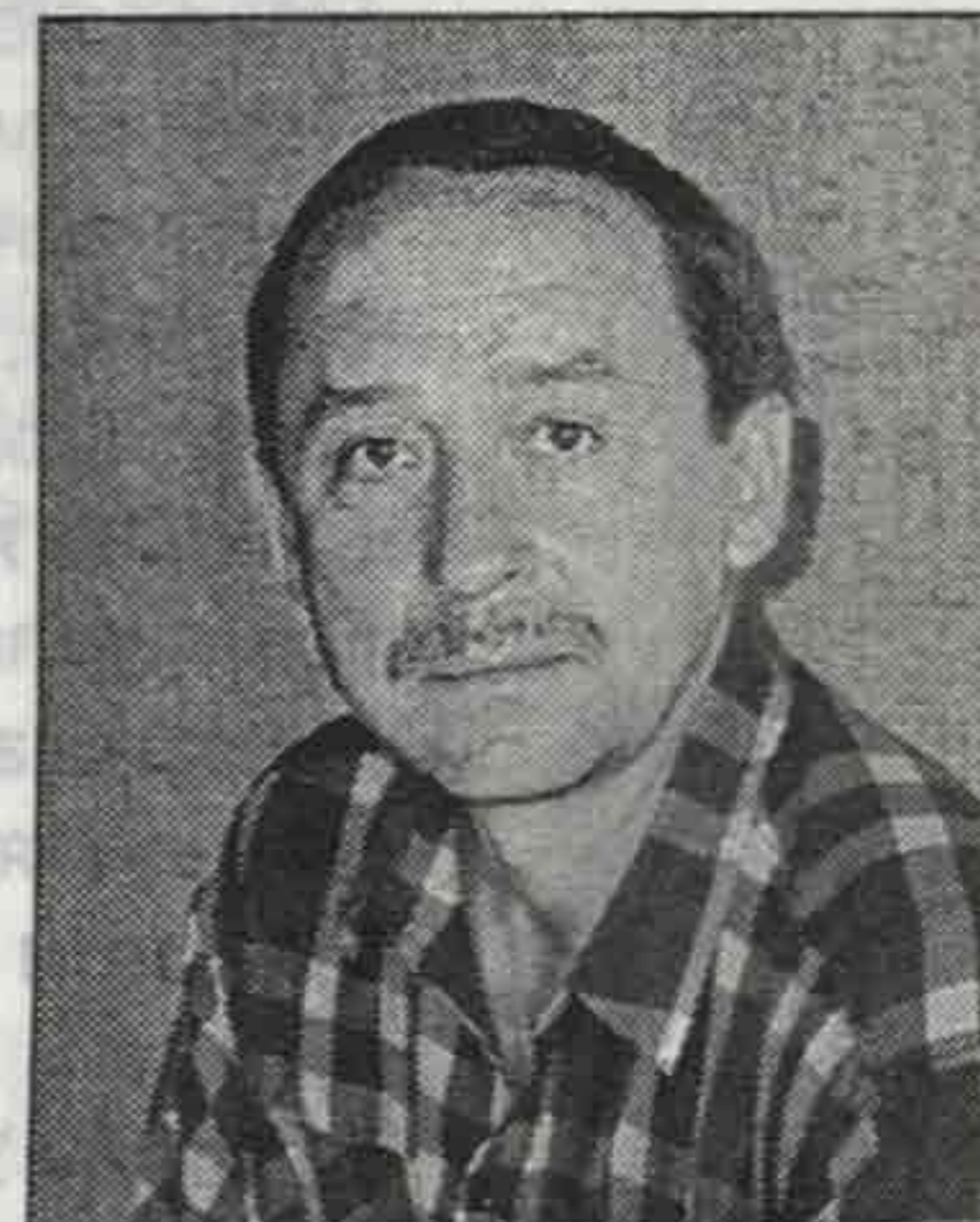
Корить народы непристойно  
За самостийный выбор их —  
Они и впрямь, увы, достойны  
Строптивых лидеров своих.

И, разрывая братства узы,  
Свободу славил бы и я,  
Когда б в развалинах Союза —  
Не жизнь, не Родина моя.

1992

## Леонид Симачев

Леонид Симачев родился в 1950 году в городе Сковородино. Окончил мореходное училище в Находке, работал начальником радиостанции на китобойном судне. В декабре 1975 года вернулся с морей в Сковородино, где живет и сейчас. Работает на радиорелейной станции. В 1991 году был принят в Союз писателей СССР. Печатался во многих областных, региональных и центральных газетах, альманахах, журналах. В советское еще время вышли три книжки рассказов — «Срочная радиограмма» (Хабаровск, 1984), «Ленинградский коверкот» (Москва, «Молодая гвардия», 1986) и «В перерыве между таймами» (Хабаровск, 1989). И вот в нынешнем году увидела свет его новая книга — «До коммунизма и после» (Благовещенск, Издательская компания «РИО» — Издательство «Зея») — за что амурские литераторы, его друзья, выражают искреннюю признательность спонсору — Сковородинской районной администрации.



### Рассказ

## ВРЕМЯ СОБИРАТЬ ЯГОДЫ

Она сидела на закорках у сына, полуобхватив его за шею, и боялась, что скрюченные кисти некогда крепких рук, которыми она вцепилась в лямки рюкзака, перевешенного сыном на грудь и в котором глухо, как селезенка у лошади, екала при каждом шаге пара капроновых ведер, вставленных одно в другое, внезапно разожмутся, и ей хотелось от бессилия заплакать. Из-за капюшона штормовки, надвинутого до самого подбородка, чтобы ветви не исхлестали ее исхудавшего лица, она не видела, что сын уже перебрался через сыротравянистую, густо заросшую ольховником широкую пойму ключа Россыпного и медленно поднимался по донельзя выгоревшему увалу, подыскивая среди головешной черноты зеленое пятнышко для привала.

Наконец он остановился у груды валунов, не так зачумленных сажей, выбрал мшисто-лишаистую выемку среди них и, бережно сползая по прохладной шероховатости камня, усадил в нее мать, мягко высвободил из ее онемевших пальцев лямки рюкзака и с наслаждением разогнулся в полный рост.

Когда она, с усилием подняв задеревеневшие руки, скинула с лица капюшон, то невольно ойкнула от иссиня-сизой худобы горельника, длинно тянувшегося перед ней под паутинно-росистыми лучами осеннего солнца, только-только начавшего свой дневной путь. Сын же, освободившись от рюкзака, упал на руки промеж валунов и по-звериному приник губами к небольшой ямке с едва пульсирующей со дна ледяной водой. Он сосал долго и бесшумно собственное отражение, а потом осторожно, чтобы не намутить, отклеился с легким чмоком и, не вытирая губ, встал на колени, достал из рюкзака кружку, зачерпнул и, круто развернувшись, протянул ей воду.

— Когда горело-то? — сипло, не то от воды, не то от долгого молчания, спросила она.

— Весной.

Этой весной и она окончательно свалилась. Все ждала тепла, думала — полегчает. С этой мыслью и какой-то тайно надеждой прикупила цыплят, полагая, что забота о чужой жизни пересилит слабость и недомогание, поможет перебороть собственные болячки. Но с наступлением тепла ста-

ло еще хуже: пропал аппетит; жгуче-желчная рвота по ночам, и странная легкость в слабеющем теле после этого, когда кажется, что сможешь вот сейчас что-то сделать, но сил хватает только на несколько шагов, чтобы вынести тазик, попить воды и умыться.

Июль она кое-как перековыляла — эти знойные, солнцем и гарью одурманенные дни и душные липкие ночи. С августовской прохладой наступило небольшое послабление, она задвигалась по хозяйству и поняла — осень еще протянет. А Господь приберет ее в январе. Эти два месяца в году, когда Земля начинала поворачиваться ближе к Солнцу то одной макушкой, то другой, она почему-то не любила еще с лагерных времен. Очевидно, из-за зыбкости пограничного состояния, и вообще — из-за какой-то явной ненадежности всей жизни, которая так и прошла: то в ожидании самого худшего, что только может выпасть на долю человеческую, то в ожидании явно несбыточного сказочного завтра, когда понимаешь, что этого «завтра» не будет никогда, потому что никогда не будет.

Вот и в тот январь, полвека назад, они лесоповалили по склону этого хребта, пурхаясь по пояс в сыпучем, закристаллизовавшемся от лютой стужи снегу. Чем круче склон хребта, тем легче было трелевать поваленные лесины вниз, к ключу, по берегам которого их и штабелевали. А вывозили ближе к весне: по наледям, по все более и более расширяющемуся руслу ключа, в долину, к «железке», где у наспех срубленной из тех же бревен эстакады попыхивал в ожидании погрузки старенький «компаш», приземистый и чумазый, с длиннющей кроваво-красной трубой, впряженный в пару-тройку разбитых вдрызг полувагонов; но вывозкой занимались уже другие бригады — из расконвоированных и местных жителей, с «лестрансхозовскими» лошадьми.

— И как тебя звать-величать, молодка? — глядя, как она неумело тюкает топором по только что сваленной лиственнице, подошла к ней худющая, но все равно красивая еврейка.

— Мария...

— А меня Магдалина Давидовна. Дай-ка топор! По такому морозу сучья не рубят, а сбивают обухом. И бьют не про-



тив, а по ходу, по росту этих распроклятых деревьев! Смотри... — Топор прилип к ее жилистым рукам. — Бух... Бух... Бух... — без звона, глухо застучала она по сучьям, методично оголяя лесину для трелевки. — Откуда будешь?

— Из-под Барабинска... У нас там степи, — виновато добавила она.

— Казачка?..

— Да как сказать... — Она замялась.

— Ладно... За что хоть сюда-то пригнали?

— За мужа.

— Он что — партийный работник? — в такт ударам, с придыхом, спрашивала та.

— Нет, что вы... Простой конюх на хлебозаводе... Был конюхом, — поправила она, даже не зная: где он сейчас и жив ли. — А взяли его по полста восьмой, за агитацию...

— По-о-онятно, — протянула еврейка, бросив топор. — Завтра перед разводом найдешь меня. Попробую взять к себе в бригаду.

Почему именно ее среди многих других «зекачек» нового этапа заприметила Магда, она и сейчас не знала. Может, услышала, что в пересылке у Марии случился «выкидыш», а Магда была врач-гинеколог, а может, из-за молодости и совершенной неопытности Марии, которой не было тогда и двадцати. Про Магду же болтали разное: и «отравительница», и на подпольных абортах погорела, и Кагановичу родственница, и вообще — «жидовские дела»...

...Промерзшая зимняя лиственница пилится гораздо легче, чем летом. А если пила наточена, развод тютелька в тютельку, движенья слаженные: туда-сюда... туда-сюда... Запил сделали верно, и упасть она должна вершиной под сопку. Мерзлые опилки вместе с полотном пилы — туда-сюда... туда-сюда... — ложатся ровненько к ногам вокруг обтопанного комля, словно свежераздробленные мозги с кровяными прожилками от коры. И вот — берегись! — трещит, трещит и рушится, как и хотелось... Быстро вдоль ствола к верхушке пробежались сучкорубы. Вот просунули под бревном на удавку заледенело-засаленные бурлацкие петли, впившиеся в плечи, и вчетвером: раз! и раз!.. Главное — сорвать с места и по снежку, по снежку... «Улю-лю-лю!» Это уже вертухаи подгоняют, переминаясь у костра в скрипучих серых нерастоптанных валенках... Да каркают над головой всеведущие вороны, кружась и паря в мутной выси.

Брусника в этом году уродилась, и набрать ее можно было и у поселка, не забираясь в такую глушь. Ей стоило больших трудов уговорить сына завезти ее именно сюда и сегодня; рано утром, под ворчание невестки, он наконец выгнал из гаража старенькую «Ниву».

Утренняя роса подсохла, солнышко пригревало, едко пахло уже сгнившими грибами, которые во множестве, с черными, прибитыми ночным морозцем оплывшими шляпами, кособочились то там, то сям. Сын ушел искать приемлемую для сбора ягоду, а она ползала на коленках по поляне, машинально пощипывая редкие кисти брусники, и думала о своем.

В последующей, послелагерной жизни у нее было две тайны. Одну, о том, как на долгом этапе из Омска до БАМлага, ее, молодую, ядреную девку, не жившую с мужем и года, увозили из вагонзакла к себе конвойные и пьяно, по-скотски, насилывали, — она уже не расскажет никому. Пожалуй, рассказала бы мужу. Но, как ей передали много лет спустя, он в это время умирал от пеллагры в лагере под Сусуманом. С тех пор она с большим трудом ездит в поездах, а если жизненная необходимость и заставляет делать поездки, то по ночам, под этот монотонный стук колес, под налетающий шум встречных составов, под пересверкивание огней мимо пролетающих станций, ее мучительно душат кошмары, и она в вагоне практически не спит, ворочаясь на полке полусидя, полулежа в ожидании утра.

В лесу вскрикнула сойка, застрекотала тревожно; немного позже затрещали кусты. Это выходил снизу сын, бережно

неся в одной руке ведро с брусникой, уже прикрытое сверху чистой тряпицей, а другой отводя от лица хлесткие ветки кустарника.

— Нашел «пяточок» с хорошей ягодой, — сказал он, поставив ведро. — Тут недалеко... Может, помочь тебе?.. Доковыляем, где поднесу... Еще ведро-два набрать можно, — вопросительно добавил он.

— Нет, Илья... Я здесь побуду, сходи с моим, — и она протянула ему ведро.

Пней по этому южному склону было много, но они все заросли чащобником, и она натыкалась на них случайно. Одни сгнили напрочь, каким-то чудом сохраняя свой трухлявый остов, разрушавшийся при первом же прикосновении; другие, вовремя ошкуренные либо медведем в поисках муравьев, либо дятлами и клестами в поисках личинок, высыхали на ветрах и солнце, становясь все более белесыми и седыми и затвердевшими снаружи, как кость. Лишь отторгнутые почвой, вылезшие из-под хвои и листьев, узловато-скрученные и такие же сухие корни да гнилое нутро, куда любят заглядывать юркие колонки и гоняющий их соболишка, говорили — и они не вечны. К такому пню она и присела, прислонилась спиной к теплому дереву, пригрелась и поняла, что не найдет того, что ищет.

Любые вырубki губят лес в этих краях. На месте вековых деревьев через два-три десятка лет вырастает плотной стеной ольха, мелкий осинник, березовый ерник, по земле расползается плотным пахучим ковром свиной багульник. Ходить по такому лесу — сущее наказание. В народе такие вырубki прозывают чащобником, и ей ли, всю жизнь промантулившей в леспромхозе, этого было не знать? Нет, думала: на месте сердце подскажет...

Приоткрыла прищуренные на солнцепеке веки и увидела в синем сентябрьском небе распушенные белые перья от инверсионного следа самолета, летевшего на северо-запад. Она задрала голову, потом повернулась боком, припав на ладонь, и увидела сам самолет, уже таявший на исходе горизонта. «Видно, и на уши слаба стала, — подумала она. — Или ветерок все глушит. Но вон две березы скрипят, шоркаясь на ветру друг о дружку. Слышу же...» И она заплакала, поняв, что видит все это в последний раз, и жизнь надсадно пролетела, как этот истаявший в небе и уже наверняка кем-то приватизированный серебристый самолет.

Поплавав, она вытерла насухо глаза, поднялась и заковыляла к табору, боясь, что сын уже кличет.

Она искала место гибели Магды и не нашла. Хотела найти тот пенек, окропленный ее кровью, тот клочок таежной каменной земли, где росла эта судьбинная для Магды лиственница, — и не смогла. Хотела показать это место сыну и объяснить перед смертью, что вот здесь поклялась разыскать его, найти и поднять на ноги, и чего это все ей стоило, и почему не открылась раньше...

Как в пятьдесят четвертом, когда закончился ее пятилетний срок, осталась здесь на поселении, с каким трудом нашла работу, как в пятьдесят пятом, насобирав деньжат, выехала первый раз в Иркутск, ибо Магда сказала: «Запомни: детприемник бывшего НКВД в Иркутске, Нейман Илья Аронович...» Как ходила по различным конторам и присутственным местам, в которых восседали такие же сытые мужики, в таких же френчах и кителях, только без погон, что и пять-шесть лет назад тому, когда ее водили на допросы. Что в детдомах и детприемниках верховодили такие же молочно-розовые тетки, иногда в очках, иногда с «беломориной» в зубах, как и шмонавшие ее по поводу и без повода в перерывах между допросами. А сколько бумаг пришлось разных насобирать, чтобы спустя три года, летом пятьдесят седьмого, увидеть его впервые в казенной одежде, под другой фамилией, с неродным отчеством и с детдомовской вызывающей грустью в крупных черных глазах...

— Мамо-оу! — донеслось до нее.

— Иду! Иду! — зачастила она, опираясь на подобранную суковину.

Сын приказал сидеть и ждать, пока отнесет ягоду в машину, но она ослушалась и потихонечку спускалась в ключ, ему навстречу. Дошкандыбала до горельника, который скрипел и трещал под усиливавшимся ветром, роняя отсохшие сучья.

«Раньше таких пожаров не было. А теперь горит каждый год, и по всей стране, по всей стране...»

Увидела сына, который в болотниках устало брел по воде, пересекая ключ наискосок, пожалела, что и он прожил жизнь не ахти какую, проищачил большую часть на лесовозе, заменял шестой десяток и остался без работы на старости лет — лесопункт закрыли. Рано начал лысеть — служил на подлодке, потому и женился, наверное, поздно: кто ж за лысого пойдет. Поздние дети... Один внук еще в школу ходит, а другой в армии. Кстати, как он там, надо спросить... И сейчас в машине, на обратном пути, она ему все расскажет. Будь что будет... Проклянет за испорченную жизнь — так проклянет! Промолчит — и на том спасибо.

Под гору мать нести было легче, да и рюкзак с ведрами не мешал. Он знал, что у матери рак и протянет она месяца два, может, три от силы. Так сказали в областной больнице, куда возил он ее в августе. Вот только из дома своего она ни в какую к нему перебраться не хочет, а нужен присмотр. Он подумал о жене, как там одна управилась со скотиной, и о том, что будет опять ворчать вечером, что зря сжег бензин, лучше бы съездил в райцентр, поговорил с военкомом. Чет-

## Владимир Гузий

Владимир Гузий из той породы людей, которые берутся за дело основательно и крепко. Приехав в Тынду в составе строительного отряда «Волгоградский комсомолец» в 1975 году, он влюбился в Дальневосточную землю. И она тоже ответила ему любовью. Да! Иначе не стал бы юный монтер-электрик известным не только на БАМе, но и в СССР поэтом. А еще он прозаик и художник, газетчик и тележурналист. Прошел пешком всю трассу «стройки века», взбирался на вершины Кодара, сплавлялся по горным порожистым рекам. Впрочем, прочитайте его стихи, и вы поймете сами, почему он стал в итоге почетным гражданином города Тынды.

\*\*\*

Я ручей перепрыгнул и замер —  
там, где шел полминуты назад,  
в зыбком мареве перед глазами  
над поляной висел синий град.

Не гремело вокруг, не сверкало,  
небо было протяжно-светло, —  
просто облако плавать устало  
и на мягкие мхи прилегло.

И в застывшее это мгновенье,  
сам себя созная едва,  
я случайно увидел строенье  
неизвестного мне существа.

Миллиард дымно-сизых молекул  
не срывался с зеленых орбит  
и, в отличие от человека,  
был спокоен, означен, открыт.

Так паслись облака голубики.  
Здесь в июле всегда хорошо...

Где-то рядом слышались крики, —  
видно, кто-то за ягодой шел.

вертый месяц нет весточки от Васьки, последняя была из Моздока. Ну уж второго — вы хрен заполучите! А еще — он не знал, как сказать матери о том, что он знает, что никакой он не Ковалев Илья Васильевич, а Нейман Илья Аронович. Получил он письмо из Израиля лет пятнадцать еще, и тамошние родственники его хотели бы увидеть. Присылают письма и вызов каждый год и просят поактивнее им отвечать. А может, махнуть к ним?... И примут ли там всех?... Какая, хрен, разница: там воют, здесь воют... Только вот про Ваську бабке пока ничего не надо говорить.

Уже смеркалось, когда они выбрались на заросший ус, где оставили машину. Усами в этих местах называют тупиковые съезды с основной лесовозной дороги. На небе появились первые звезды. С увала, на котором они были совсем недавно, послышался отдаленный рев. У изюбрей начинался гон.

Он усадил в кабину мать, проверил, хорошо ли закреплены ведра с ягодой, и посетовал, что зря не взял ружье, — а вдруг что встретится? Аккуратно, в несколько приемов, развернул машину на узком усу и посигналил на прощанье. «Когда еще здесь будем...» — пояснил удивленной матери и медленно тронулся. Колдобины и рытвины запорошило хвоей и листьями, ехать нужно было осторожно, и он включил дальний свет.



## В НИЗОВЬЯХ ВЕРХНЕЙ АНГАРЫ

Мы пробираемся по старицам,  
протокам, заводям, озерам.  
И это устье, это таинство  
здесь почему-то кличут сором.

Да, есть и топи непролазные,  
коряги, гнус, осоки лезвия.  
Но можно видеть все по-разному:  
кому-то — сор, кому — поэзия.

Ведь над долиною бурлящею  
сверкают гранями хребты,  
без всяких слов, по-настоящему  
являя облик красоты.

По островам синеют ирисы,  
кипрей в малиновом кипении.  
Попробуй словом вровень вырази  
воды, цветов и гор сплетение.

Но вдруг — сквозь долгие блуждания,  
шальные мысли, чувств развал —  
увидишь глубь, простор, сияние  
и только выдохнешь: Байкал!..

Какие сегодня накрыты поляны!  
 Аж мари шатает  
 от щедрых даров.  
 И камни валяются,  
 вдребезги, пьяно,  
 среди разбредающихся  
 стволов.  
 Полощется облака  
 праздничный вымпел,  
 полотнища лиственниц  
 хлещут ветра.  
 Качается лес.  
 Он, наверное, выпил.  
 Он День урожая справляет с утра.  
 Гуляют деревья.  
 Гуляет округа —  
 Раздольно, по-русски, гудяще, вразнос.  
 Целуют друг друга  
 и лупят друг друга,  
 и сыпят монетами щедрых берез.  
 А утром тот лес,  
 поутихший, недикий,  
 приложит к вискам  
 из бочажины лед,  
 отыщет по ернику  
 горстку брусники  
 и чистой водицей  
 бруснику запьет.  
 И глядя задумчиво  
 в синие дали,  
 куда ухромала к утру  
 кутерьма,  
 как всякий мужик,  
 чешет грудь:  
 «Погуляли...  
 Но что-то не то.  
 Что-то грустно.  
 Эх-ма!»

### ЧУКЧУДУ

Чукчуду означает — «вернуться по кругу».  
 И точность звенков несложно понять:  
 то ли от шалости,  
 то ль от испуга  
 речушка к истокам подходит опять.

Она бы могла бы  
 раздольно и просто  
 пилить и пилить  
 сквозь базальтов гряды,  
 а тут изгибается знаком вопроса:  
 «А может, неверной дорогой иду?»

К чему эти все  
 миллионы терзаний?  
 Ведь выйдет к простору,  
 крути не крути.  
 Но камни сомнений,  
 столбы колебаний  
 нагородила себе на пути.

На трассы прямые все время надеюсь,  
 но к бурным порогам  
 я снова приду.  
 Куда же я денусь,  
 куда же я денусь,  
 если вся жизнь у меня —  
 Чукчуду?

Живем романтикой таежной  
 и доверяем всем вокруг.  
 Поселок новый, молодежный, —  
 здесь первый встречный —  
 первый друг.

Пойдем за нами, житель новый,  
 пускай ты вовсе незнаком.  
 И не ворчи, что нет спиртного,  
 по трассе всей — «сухой закон».

Вот на друзей красивых, дерзких,  
 тебе, товарищ, повезло.  
 И яблоч глянцевого, венгерского,  
 у нас в авоське пять кило.

А для горячего напитка —  
 две пачки чая, два котла.  
 Но что за новость?..  
 Да. Калитка...  
 В поселке нашем?  
 Ну дела!

Выходит, целый месяц зря я  
 считал друзьями всех подряд?  
 Нам здесь уже не доверяют?  
 От нас заборы городят?

Вот нам и первая улитка  
 на винограднике надежд.  
 Вот нам и явная попытка  
 отбить романтиков-невежд.

А ведь у нас богатств несметно:  
 туманы, сопки, реки, даль...  
 А тут, за шторкой, все конкретно:  
 ковры, рубли, резной хрусталь.

Калитку прочную наладив,  
 живи улиткой в закутке.  
 Мы не пройдем.  
 Спокойно, дядя!  
 Твоя калитка на замке.  
 А мы пойдем с друзьями в дымку  
 по свежим травам и цветам,  
 с гитарой доброю в обнимку  
 и сеткой яблоч «джонатан».

### ТАТАРНИК

Кометой косматой и взрывом вразлет,  
 Пучками изломанных линий,  
 По-дикому, сочно татарник цветет,  
 Колючий, сиренево-синий.

Пространство собой заполняя подряд,  
 Разлапился в небо без меры.  
 Над степью как будто планеты парят,  
 Все в синих шарах атмосферы.

Не каждый решится цвести у дорог,  
 Где мечется пыль во всех видах.  
 Вот розы и маки похожи на вдох,  
 Но в чем-то быть должен и выдох.

Найдутся цветы подорожника на вид,  
 У них ароматы получше.  
 Но космос цветами галактик шумит,  
 Размашистый,  
 дикий,  
 колючий.

## ПИРОГ

В Кичере, вьюгой занесенной,  
на перекрестке двух дорог  
мне Слава встретился Аксенов.  
Он на салазках вез пирог.

Вот это да! Скажи на милость —  
какой размах! Какой размер!  
Но как роскошно раскрутилась  
спираль небесных грозных сфер!

Все разыгралось не на шутку.  
Клубились силой молодой  
и мех курчавый полушубка,  
и пар над пышной бородой.

Как будто шло рождение мира:  
мороз и космос, и туман,  
и на салазках бригадира —  
пирог, дымящий, как вулкан.

И возвышался мощно Слава  
парящей, дышащей горой.  
И жаркой, вязкой, черной лавой  
блестел брусники тертой слой.

В нем гасли снежные заряды.  
И объяснил Аксенов суть:  
— Вернулась с просеки бригада,  
решили малость отдохнуть.

Да, здесь нехилые ребята —  
когда выходят из тайги,  
то в три наката, в два обхвата  
себе варганят пироги.

## ГОРНАЯ СМОРОДИНА

Мечта художника — альпийские луга  
среди вершин, озер и водопадов.  
Подует ветер — и метет пурга  
из лепестков заоблачного сада.

Играют солнцем на палитре тех лугов  
и краска синяя,  
и краска золотая.  
И дают меньше  
глыбы рюкзаков.  
Но все равно  
чего-то не хватает.

Здесь мало запахов.  
Ведь в климате таком  
не уцелеть ни бабочке,  
ни шмелю.  
И вдруг прозрачным,  
тонким сквозняком  
потянет от камней крутых  
несмело.

А это горная смородина  
цветы  
своих кустов попрятала под скалы.  
И столб невидимой,  
но ясной красоты  
стоит и от себя не отпускает.

Так иногда среди пестрой чепухи,  
где отыскать поэзию нет шанса,  
наткнешься вдруг на ясные стихи  
и дышишь, дышишь,  
и не надышаться.

## НА ПЕРЕВАЛЕ

Мы взяли перевал и разомлели.  
И видно четко в обе стороны  
и сложности,  
что мы преодолели,  
и прелести,  
что мы достичь должны.

И прелесть в том,  
что есть на свете память,  
и все что ни случится на веку,  
вновь можно пережить и переплавить  
в простую, долговечную строку.

Но всем на свете угодишь едва ли,  
и бес сомненья задает вопрос:  
— На сколько долларов всего  
насочиняли?  
На крик души не падает ли спрос?

И что пристал на гребне  
бес сомненья?  
— Да там внизу любой юнец  
с трех нот,  
не прибегая к сложным вычислениям,  
докажет всем, что вы, дружок,  
банкрот.

И кулаком по ближней луже брызну!  
Взлетят стекляшки синюю слюдой.  
Да ну их на фиг  
с их капитализмом,  
доходом, имиджем  
и прочей лабудой!

Покатим вниз.  
Куда еще деваться?  
Но только надо твердо понимать,  
что у поэта есть одно богатство:  
не продаваться.  
И не продавать.

\*\*\*

Провинция в себя погружена.  
Блистают звезды чистые по лужам.  
Провинция — сварливая жена,  
покинутая ночью тихим мужем.

Он алконавт, художник-непротык,  
он звездочет, такой-сякой, шалавый.  
Он загребать, как люди, не привык.  
И надо же — столкнулся вдруг со славой.

Так не бывает, но, поди, сбылось.  
Так иногда везет провинциалам.  
и место для покинутой нашлось  
в его наследстве, ярком и немалом.

Она имеет право на него.  
Есть документы — многие страницы.  
Но с ней не выходило ничего,  
а получилось (надо ж!) со столицей.

Она несет достойно жребий свой.  
И признается всем чистосердечно:  
«Да, что-то было у него с Москвой.  
Теперь он мой.  
Теперь уже навечно».



Виктор Владимирович Рыльский родился в 1949 году. Окончил Благовещенский пединститут. Более четверти века работает на Амурском областном радио, в последние годы — главным редактором художественных программ.

В свое время в литературную путь-дорожку его благословили русские писатели Борис Можаяев и Николай Фотьев. Виктор Рыльский — автор двух книг прозы, член Союза российских писателей, лауреат премии амурского губернатора в области литературы и искусства за 2002 год.

Конечно, для своего очередного рассказа он мог бы выбрать другое, более приличное место действия. Но, если слегка перефразировать строчки известной песни, «дурдом ведь тоже — русская земля». А землю не выбирают.

## Рассказ

# ПОД СЕНЬЮ СТАТУИ МАЭСТРО ГЛЮКА

## БОЛЬНОЙ

Глюк Кристофор Виллибальд — композитор, один из реформаторов оперы XVIII века.

Простота и правдивость являются великими принципами прекрасного во всех произведениях искусства.

*Глюк.*

Галлюцинации — бред, грезы, видения — мнимые восприятия, обманы чувств в области зрения, слуха, осязания, возникающие без внешнего раздражителя и принимаемые за образы реальных предметов.

*Медицинская энциклопедия.*

Глюки — то же, что галлюцинации.

*Разговорное.*

## ВВЕДЕНИЕ

Ну как без введения? Даже «Наука любви» Овидия начинается с введения (издание товарищества А. С. Суворина, под редакцией профессора античной литературы А. Самсонова, Санкт-Петербург, 1914 год).

Введение будет таким: учитель ходил по разделительной полосе класса между доской и первыми столами слушателей и резко бросал в зал: «Душу человека разрушают грехи и пороки. Порок — это повторяющийся грех. Через душу повреждается тело. Болезни — расплата за грехи. Грех — повреждение души. Душа — комплекс энергетических свойств человека.

Еще в тринадцатом веке было классифицировано сто сорок семь грехов. Сейчас их более двухсот. Семь из них — смертные. Мы поговорим об одном, самом тяжком, — гордыне. Я назову вам симптомы, а вы прислушайтесь, порочные вы люди, требующие уважения к себе. Почему я должен относиться к вам с почтением? Вы все подвержены тщеславию. То есть гордыне. Я вижу, как в вас закипает обида на мои слова, — в вас, добившихся упорным трудом определенного социального положения в этом глубоко погрязшем в грехах обществе. Вы не терпите упреков — а это симптом тщеславия. Вы жаждете похвал, вы ищете легких путей для решения своих проблем. Вы непрерывно ориентируетесь на других: что скажут о вас окружающие. С таким состоянием души вы являетесь собой пример крайней убогости. Достаточно одного греха — гордыни — и душа погублена. Даже если после всех наших разговоров кому-то из вас захочется повеситься, знайте: самоубийство — тоже гордыня».

На десятом году эпохи Больших Перемен, в период управления провинцией шестым губернатором, за год до прихода к власти Леонида с его пацанами, я запил. Да так, что выйти из этого блаженного состояния без помощи врачей уже не мог.

Этому состоянию предшествовало непривычно раннее восхождение звезды Сириус из созвездия Большого Пса. Прорицательница так и сказала, увидев небооруженным взглядом заветную звезду: «Быть тебе пьяну».

То и случилось. Темной августовской ночью в полубессознательном состоянии я был доставлен в больницу. В приемное отделение поступали какие-то странные личности. Вполне допускаю, что это гуляло больное воображение, подпорченное спиртным и некоторым литературным опытом. А может быть, больница в тот день дежурила и принимала по «Скорой помощи» всех, кому требовалось участие врача. Но это были все какие-то травмированные пациенты. Человек с перебитым носом, утратившим формы, ежесекундно шмыгающий. Помощь ему не оказывали до подхода милиции, человек попал в какую-то криминальную историю. Тетка, весом килограммов под сто пятьдесят, с разбитым лицом, постоянно падала с кушетки, громко стонала и проклинала какого-то Жору. Мужчина со сломанной и опухшей рукой ходил по коридору в ожидании милиции, но уже из другого района, оттуда, где произошел конфликт.

Картину дополнял китаец, ни слова не говоривший по-русски. Однако с ним был переводчик, который рассказывал врачам, что его носитель языка подвергся нападению в своей фирме и требует медицинского освидетельствования. Здесь тоже требовалось участие милиции.

Я лежал на кушетке в ожидании помощи. Стоять или сидеть уже не мог. Все специалисты, которые изредка появлялись в отделении, смотрели в основном бумаги.

Через несколько часов пребывания меня ощупали, заглянули в рот, сделали электрокардиограмму, получили результаты анализов. Разговаривали довольно жестко. Да и откуда взяться ласке среди такого сурового окружения. Но вот появился доктор, назвавшийся Аркадием Юрьевичем. Говорил он тихим голосом, отличался от своих коллег добрым участием в судьбе предполагаемого пациента. Он настоял на том, чтобы я был помещен в палату.

До окончания процедуры заполнения бумаг я сидел, покачиваясь, как утопленник на волнах, сжав пальцами край кушетки. Рядом стонала после очередного падения тетка. К ней никто не подходил, несмотря на то, что она легла задом наперед.

По прибытии в палату последовал еще один осмотр моего тела, и меня вскоре с помощью санитаров провели в ванную комнату, где началась неприятная процедура очищения. Тишайший Аркадий Юрьевич затолкал мне в нос резиновый шланг так, что тот достал до самого желудка, а в воронку стал лить воду. Мучительный рвотный рефлекс сотрясал тело. Казалось, все, что находится ниже шеи, выходит наружу.

После этой процедуры на живот положили пузырь со льдом, дали глоток новокаина и пожелали спокойной ночи.

Однако спокойной ночи не получилось. Через час-другой поступил довольно беспокойный больной. Он ходил по палате вдоль узких проходов между кроватей и мычал что-то нечленораздельное. Природа его звуков стала понятной несколько позднее, когда проснулись все обитатели палаты и сделали коллективный вывод, что к нам попал глухонемой пациент. До самого утра он стопами и жестами требовал внимания к себе, но дежурная сестра этого внимания бедняге так и не уделила.

Утром состоялся разговор глухонемого с врачами. Из всех слов, имеющих отношение к медицине, он мог чисто произнести единственное — «блядь». Им он сопровождал каждое, на его взгляд, неверное толкование диагноза его болезни. А специалисты все прибывали. Сосудистый хирург, гастроэнтеролог, невропатолог, травматолог. Каждый из них, спрашивая, где болит, старался кричать погромче, желая быть услышанным. Но это не давало нужного эффекта. Больной то легко поглаживал низ живота, то ударял по нему ладонью. Указанное место врачи ощупывали, советовались друг с другом, проводили что-то вроде консилиума, но ясности не было.

Обитатели палаты с интересом наблюдали за ходом действия. Звучали реплики:

— У него печень из трусов вываливается. Цирроз, однако.

— По-моему, в паху неладно, уролог нужен.

— Может, что-то проктологическое?

Каждое толкование больного сопровождал уже известным нам словом.

Потом подошла заведующая терапевтическим отделением и спросила, как этот несчастный попал в сосудистую хирургию. Оказывается, что его привезли по «Скорой», добываясь, «где болит», не могли и поместили туда, где была свободная койка.

— В дурдоме тоже пока есть свободные койки, — сердито сказала заведующая. Она пояснила, что больной находится у них на учете по поводу цирроза печени. Родная сестра, которая его опекала, умерла. Документы, которые были на руках у глухонемого, потеряны или украдены — никто толком не знает. Сейчас его надо подлечить, а в принципе он не жилец.

С таким жизнеутверждающим диагнозом глухонемого с пожитками увели. Для оставшихся начался процесс лечения. В тот день в меня влили немеренное количество физраствора. Первую дозу ввалила сестра, которая сменилась, не сделав отметки. Другая сестра, пришедшая ей на смену, тоже аккуратно выполнила предписание врача. Я же думал, что это и есть интенсивная терапия.

Первая половина ночи прошла в каком-то забытьи. Еще древние греки знали, что мы лишь тени из сновидений. В коридоре мигнул и погас свет. Послышался громкий смех, который сменился криками, затем плачем, переходящим в истерические всхлипывания. В это же время у меня под койкой стала громко дышать собака. Я упустил момент, как она туда попала. Не вставая с постели, сунул руку под кровать и пытался погладить собаку, она забивалась дальше. Я встал на колени и попытался ее вытащить. Собака не больно кусала мои руки и упиралась, не желая вылезать. В это время в коридоре заплакал ребенок, и я вышел на этот плач. Я шел по коридору, заглядывая в палаты, наклоняясь над спящими людьми в поисках источника плача.

Вдруг в конце коридора закричала дочь. Я сразу узнал ее по голосу. Оставив поиски ребенка, я побежал на голос дочери. Она звала на помощь, с ней явно что-то происходило. Я врвался в палаты, включал свет, обшаривал глазами кровати. Всюду были незнакомые мне лица. Не найдя дочери, я побежал с пятого этажа на первый, чтобы позвонить домой и узнать, что здесь делают родные мне люди. Жена говорила, что все в порядке, в больнице, кроме меня, никого нет и не может быть. Она звала к телефону всех, чтобы я мог слышать их голоса, но я перебивал их упреками — зачем они организовали за мной слежку. Неужели они не верят, что я лежу в больнице, а не отправился к сапожникам. Я решительно требовал прекратить преследование.

Затем вновь бежал на пятый этаж, заглядывая по пути в палаты своего отделения. Хлопали двери, из-за них пооче-

редно выглядывали то сын, то дочь. Они явно издевались надо мной. Из палат раздавались крики то ребенка, то мамы, то жены.

Пробежав так некоторое время по длинным коридорам, я решил сменить тактику: вошел в свою палату и притаился на койке. Я ведь убедился, что дома все в порядке, за мной из домашних никто не следит, а тот, кто это делает, сам попадет на ловца.

Как только я закрыл глаза, тотчас очутился у себя дома в спальне. На кухне быстро разгорался скандал сына с дочерью. Он уже достиг своего накала, терпение мое лопнуло — я вбежал на кухню, схватил сына за грудки и начал трясти. Через несколько секунд налетели какие-то люди, начали крутить мои руки, а сделать это было нелегко, откуда-то взялась неимоверная сила, я легко расшвыривал нападавших. Натренированное еще в армии тело сжималось, как пружина, распрямлялось, сбрасывая бойцов. Несколько хороших подсечек помогли свалить самых активных, я освободил себе дорогу и с криком «ура!» бросился к первому попавшемуся окну, вскочил на подоконник и начал дергать шпингалет, чувствуя, что затягиваю время, что надо было вылетать, опоясанным рамой. Тут несколько рук предательски сдернули с меня больничные штаны, оторвали от окна, набросили на голову одеяло, и вскоре я очутился на своей кровати, придавленный крепкими ребятами. Мне сделали несколько уколов, и, как пишет автор детективных романов Полина Дашкова, «сознание мое померкло».

Перед тем как это произошло, я увидел улыбающееся лицо тишайшего Аркадия Юрьевича.

## НА БОЙНЕ \*

Пробуждение мое было долгим. Вначале я чувствовал себя, как чувствуют, наверное, младенцы. Сознание было чистым, не замутненным никакими знаниями. Жизнь еще не успела поддержать меня в своих жестких объятиях. Все на рефлекторном уровне. Я почувствовал голод и открыл рот. Захотел помочиться и сделал это. Потом я ощутил свои руки. Они казались тяжелыми и неспособными что-то делать. Потом я шевельнул пальцами ног. В ушах стоял легкий шум, похожий на шорох волны, набегающей на песок, или ветер, шелестящий листвой. Открыл глаза и увидел белый потолок. Кажется, я только появился на свет.

Через некоторое время в моем сознании появились картины детства. Вот я, четырехлетний, хожу по двору дедушкиного дома, рассматриваю желтые одуванчики и ползающих по ним пчел. У калитки появляется мама. Я бегу к ней, прижимаюсь лицом к животу. Мама приехала из города. Я вижу с ней раз в месяц. Потом, как в старой киноленте, прокручиваются школа, армия, институт, работа. А далее... Где же я оказался? Тут пришла сестра и поставила мне укол.

Я безмятежно улыбался, состояние мое было миролюбивым, тело расслабленным. Не было никакого повода оказывать сопротивление, не было желания говорить.

Собственно, во время осмотра мне никто не собирался причинять неприятности. Меня профессионально обыскали, заглянув и ощупав все места возможного хранения колющих-режущих предметов. Забрали зубочистку, терпеливо объяснив, что этой безобидной вещицей при желании можно легко убить человека. Хотя я знал, как это делается голыми руками, но пускаться в объяснения с санитарями не стал. Они были веселы, улыбались, радуясь каждому новому пациенту. Бритвенные принадлежности, зеркальце будут храниться в хозяйственном блоке. В умывальной комнате зеркал нет. «Клиентам нашего заведения смотреть в зеркало не рекомендуется. Был случай, когда больной разбил головой зеркало, схватил осколок и поранил несколько человек. Последовал приказ».

Потом показали мое место в палате первичного наблюдения, так называли палату, где находилось около десятка человек. Я знакомился с порядками и пациентами подоб-

\*Бойня — на сленге медиков — психбольница.

ного заведения по фильму Милоша Формана «Полет над гнездом кукушки» с Джеком Николсоном в главной роли, где условия содержания душевнобольных напоминали что-то среднее между правительственным санаторием и домом отдыха ВЦСПС: бассейн, спортивная площадка, тренажеры для различных групп мышц, комната психологической разгрузки (хотя куда дальше еще психам разгружаться), столовая, как для депутатов Государственной Думы... Я вынужден был сделать сравнение не в пользу завоеваний нашего Министерства здравоохранения. Но меня утешала мысль, что там капиталистическая система беспощадно давит сознание и душу маленького человека, лишает его индивидуальных черт. Там, где правит чистоган, всегда так. У нас беднее, но здоровее дух. Дух действительно был здоровым. Пахло аммиаком, нашатырным спиртом, лекарствами, невымытыми телами. Веяло какой-то серой обреченностью.

У входа в палату, положив на колени резиновую палку, сидел охранник. С коек, намертво прикрепленных к полу, — «наверное, чтобы ими не бросались», подумал я, в детстве слышал о силе сумасшедших, — раздавались звуки: от тихого бормотанья до криков. Периодически к укрытому с головой больному подходил санитар, сдергивал с него одеяло, ударял палкой по животу, требуя прекратить заниматься онанизмом.

— У больных подобного типа сильно развита сексуальность, — раздался тихий голос с соседней койки. — Раньше он постоянно демонстрировал свои гениталии, так принято в стаде приматов доказывать большими размерами свое преимущество.

Сосед удобнее устроился на кровати, найдя в моем растерянном лице внимательного слушателя, и продолжил:

— Мы все равно остаемся частью природы. Кстати, более сильный самец может изнасиловать слабого. Это в тюрьмах процветает сплошь и рядом, а у нас санитары свое дело знают. У них не забалуешь.

За окнами темнело. Усталость прожитого дня брала верх. Под тихое бормотанье соседа я начал впадать в забытие. Свет в палате не выключался.

...Я проснулся от какого-то внутреннего беспокойства. Прямо в лицо мне, низко наклонившись, смотрел человек. Лихорадочный блеск, любопытство, испуг — все это я прочитал в доли секунды в его глазах. Увидев, что я очнулся, он выпрямился и сел на соседнюю кровать.

Тут я захотел в туалет. Встал, пошел к выходу в поисках сортира.

— Стоять, — приказал мне санитар. — Куда?

Я объяснил. Санитар указал пальцем в сторону туалета и посоветовал «без глупостей».

Это был обычный больничный туалет: унитаза, смонтированный на нем сливной бачок, без всяких там веревочек. «Это чтобы не было попыток самоубийства», — подумал я.

На обратном пути встретился сосед, который разглядывал меня несколько минут назад. Он приблизился на расстояние вытянутой руки и жестом попросил приблизиться. Я сделал это не без опасения, пошире расставив ноги, чтобы не так просто меня было сбить.

— Слушай, — сказал он, — я вижу, ты неплохой парень, попал сюда случайно, тебя скоро отпустят. — И без всякого перехода:

— Я хочу отрезать себе яйца. Что ты посоветуешь?

Я секунду осмысливал услышанное. Я понимал, что попал в дурдом, но не думал, что все так скоро начнется. Не придумав ничего умнее, спросил:

— А почему ты хочешь это сделать?

— Они у меня болят, — просто ответил сосед.

Я посоветовал ему обратиться к врачам, но это его рассердило, он высказал в их адрес несколько резких замечаний и, потеряв ко мне всякий интерес, направился вдоль коридора.

Озабоченный заявлением о предполагаемой попытке членовредительства, я подошел к санитару, дежурившему у входа в палату, и сообщил о намерениях соседа. Тот к сказанному отнесся без всяких эмоций и посоветовал «не брать в голову».

Удивленный таким равнодушием к судьбе пациента, я

решил осмотреться и двинулся вдоль стены по длинному коридору. Ходить посередине не рекомендовалось. Это правило мне объяснил санитар, у которого я спросил разрешения прогуляться. Также он посоветовал не смотреть никому в глаза, чтобы не вызвать агрессии. Выполняя эту инструкцию, я наклонил голову вниз, чтобы ни с кем не встречаться взглядом, заложил руки за спину и двинулся по коридору, уставившись глазами в пол, соблюдая правостороннее движение, чтобы ни в кого не въехать.

Пройдя несколько метров, я увидел, как из палаты, а они все были без дверей, выкатилось нечто напоминающее человека, но по расположению частей тела — не вполне человека. Тело было обезображено или в утробе матери, или после серьезной аварии, шарообразное существо с руками до колен, с короткими ножками — наподобие колесиков; абсолютно круглая, без признаков волос голова двигалась параллельно полу, по-видимому, он тоже не хотел никому смотреть в глаза. В движении тела было что-то паучье.

Вдруг за своей спиной я услышал топот ног. Я прижался к стене: по направлению к человеку-пауку бежал парень. За ним, сгибая и разгибая резиновую палку, поспешал охранник. Молодой человек со всего маху ударом ноги свалил калеку на пол и, пиная, прокатил его несколько метров по коридору. Все гуляющие по моему примеру прижались к стене. Санитар несколькими прыжками догнал парня, пинавшего инвалида, и опустил, хорошо замахнувшись, дубинку на его спину. Потом еще и еще. Тот закрыл голову руками, подставляя под удары спину. Огрев его так несколько раз, охранник соединил концы дубинки на шее нарушителя порядка и спросил:

— Поиграл в футбол?

Тот зашипел, показывая пальцем на сдавленное горло.

Охранник освободил его шею от дубинки, хлопнул несильно еще раз по спине и посоветовал не обижать «будущее человечества», пока он на дежурстве.

Тот, по чьей спине гуляла дубинка, заныл:

— Ты его все время жалеешь, а мне поиграть не с кем.

— Сейчас я тебя зафиксирую и позову сестру с уколком.

Нарушитель покорно поплелся в палату. Конфликт был исчерпан. Охранник, видя, что народу в коридоре собралось больше положенного, сказал, чтобы все расходились по палатам, что и было исполнено незамедлительно. В коридоре остался только пострадавший, который постоял в задумчивости и покатил дальше по своим делам.

Я сидел на своей кровати, обдумывая ситуацию, в которой оказался, когда ко мне обратился сосед, тот, что раньше говорил о поведении самцов в стаде приматов, когда более сильный для утверждения своего авторитета демонстрирует свои гениталии. В прошлый раз он, сообщая эту информацию, ни к кому конкретно не обращался. Сейчас свой вопрос адресовал мне:

— Вы автор Серогорска?

Я кивнул утвердительно, радуясь в душе своей популярности хотя бы среди обитателей дурдома.

— Вы писали об узконосой обезьяне как о прародительнице человека?

Вопросы были острыми и прямыми, как иглы, и требовали прямого ответа. Действительно, в моей повести «Необычайное происшествие в Серогорске» одним абзацем упоминались узконосые обезьяны, но и то в связи с известным постановлением ЦК ВКП (б) «О педологических извращениях в системе Наркомпроса».

Я снова кивнул головой, чтобы лукавой речью не вызвать волнение собеседника, помня предупреждение санитаря, что он сам не знает, что через секунду могут выкинуть его подопечные.

— У меня к вам накопилась масса вопросов, — заявил сосед. Весь его вид, хотя он был одет в застиранную коричневого цвета больничную пижаму, говорил о большой учености.

— Я известный психозолог Подъяблонский. Двадцать лет живу в тайге, изучаю поведение приматов.

Это заявление меня насторожило. Северная тайга —

не совсем комфортное место для проживания не то что приматов, но даже их неблагодарных потомков, но спорить с ученым по известным соображениям не стал и приготовился слушать.

— Я понимаю ваши сомнения насчет моего психического здоровья. Но в этом смысле вы можете не опасаться. Я изучал их поведение, когда наш Север являл собой зону тропиков и там, где я обосновался, плескался теплый океан. Я купался в его волнах, я дружил с приматами, они полюбили меня, я их. Готовлю сенсационные слушания. Здесь я временно почти в той же среде, но более агрессивной.

«Далеко же тебя носило», — подумал я. Но тут раздалась команда на обед, и мы прекратили обмен мнениями. Этот обед я решил пропустить.

## НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА И БЕСЕДЫ

Он окликнул меня по имени, обнял, похлопал по гулкой спине, пригласил к себе. Это была палата устоявшегося уровня, тогда как у меня — первичного наблюдения. Один из обитателей палаты непрерывно играл на гитаре. Володя назвал его композитором и сообщил, что он играет исключительно на щипковых инструментах, пишет собственную музыку. Любимый композитор — Глюк.

Композитор сменил ритм, покивал головой и напел что-то из Глюка.

— «Орфей и Эвридика», — прокричал композитор. Восемнадцатый век, венская классическая школа.

Другой сосед по палате рассказал, что из любого сложного положения выходит с помощью йоги. Он продемонстрировал свои возможности, постояв на голове у стены. Как только образовалась небольшая пауза между игрой на гитаре и демонстрацией возможностей йоги, Володя дал мне несколько советов по выработке стиля поведения в этом учреждении. Ни в коем случае нельзя обращаться к персоналу ни с какими требованиями, не проявлять агрессивности, для них это подтверждение диагноза, никому не доказывать, что ты не болен, они об этом знают и без тебя, но в то же время не извиняться, не заискивать, не проявлять любезности и подострастия. Это тоже расценивается как заболевание.

Володя попадал сюда не в первый раз и знал, о чем говорил. Здесь он был на особом положении, так как рисовал портреты медперсоналу.

В тот же вечер я впервые пошел вместе с другими в столовую. Столы были сервированы металлическими кружками и чашками, алюминиевыми ложками, вилок не полагалось. Когда проходили мимо одной из палат, заметил привязанных мягкими повязками за ноги и руки к кроватям больных — зафиксированных, как здесь говорили. Среди них я заметил парня, который намеревался заняться членовредительством, и обидчика «человека будущего».

На ужин была подана каша, чай и много хлеба. Во время ужина напротив меня сел человек и, не мигая, стал наблюдать, как я пытаюсь отправить в рот кусок твердой каши. Володя прогнал наблюдателя. Потом, видя, что я не могу есть, посоветовал отдать кашу человеку, смотревшему на меня. Тот проглотил ее в одну секунду. Сердобольная раздатчица, поняв, что я хочу пить, налила чай в мою кружку два раза.

Большую часть времени я проводил в палате. С соседом по палате психологом Подъяблонским мы беседовали на зоологические темы. Линия беседы была чрезвычайно увлекательной. Говорил в основном ученый. От него я почерпнул массу полезной информации. Узнал, например, что у синего кита размер члена достигает двух метров, что киты совокупляются стоя в воде. А у моржа половой орган имеет костное основание. В качестве подтверждения этой аксиомы он привел известное в быту выражение «х... моржовый». Люди мало задумываются о происхождении этой, казалось бы, малоприятной для тех, кому она адресована, реплики. А на самом деле в ней отражена вековая зависть особой мужского пола к носителю столь уникального органа. «Х... моржовый» как символ стойкости, мужества и несгибаемости. Не случайно ортодоксальных коммунистов называют «несгибаемый член

КПСС», — политически окрасил свой довод аполитичный в своей основе ученый. Именно эти несгибаемые вынудили его в свое время податься в тайгу и скрываться там двадцать лет, несмотря на ряд перемен в обществе. Тема стойкости, мужества и где-то даже героизма увлекла психозолога.

— Я скажу больше. У мужчин в доисторические времена, а это каких-то два-три миллиона лет назад, с точки зрения вечности это минуты, детородный орган тоже имел костное основание, но в ходе эволюции, к счастью, это свойство было навсегда утеряно.

— А почему к счастью? — вставил я корректно вопрос.

— Вопрос дискуссионный. Но не будем увязать в споре. В этом смысле, обидев венец природы, как мы любим себя называть, сама Природа-мать поступила гуманно. На начальном этапе появления человека, когда надо было срочно населять планету, костная основа детородного органа была оправдана. Детишки едва успевали вылетать из чрева женщины-прародительницы, ее еще называют Африканской бабой. Человечество зарождалось в Западной Африке, где среднегодовая температура была плюс двадцать восемь градусов. Не надо было думать об одежде, еде, жилище. Надо было думать только о совокуплении. Вот тут-то и пригодился костяной... Эта теория происхождения человека мне представляется более научной, хотя и лишена элемента романтики о засылке человека из космоса. Те, кто нас придумал, знали, что делали. А те, кто носится с Дарвиным...

Психозолог начал немного нервничать, что не осталось незамеченным для санитаря, слушавшего лекцию. Он стал поглаживать дубинку. Потом повернулся в мою сторону и сказал: «Три года учился в медакадемии, изучал исключительно марксизм-ленинизм, ничего подобного не слышал. А этого человека слушаю два года. Не верю, но слушаю».

Немного справившись с волнением, ученый продолжил развивать теорию происхождения видов.

— Представьте, если бы у мужиков всей земли этот орган, к радости женщин, имел костное основание. Представили?

Даже онанист, оставив свое занятие, высунул голову из-под одеяла. Он, по-видимому, тоже представил.

— Планета просто погибла бы от перенаселения еще много тысяч лет назад. — И в краткой форме изложил закон народонаселения Томаса Роберта Мальтуса, хотя в нем ни слова не говорилось о проблеме костного основания мужского члена и губительных последствий от неосторожного обращения с ним.

Так, в задушевных беседах, проходили минуты и часы нашего пребывания в этом скорбном доме.

## ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?

Моя голова пополнялась и философскими знаниями. Бывший преподаватель диалектического и исторического материализма товарищ Смиркин в свое время участвовал в философском обосновании отделения Сибири и Дальнего Востока от метрополии, которой он считал столицу нашей родины Москву. Он предлагал государственное устройство этого дальнего региона сделать наподобие Австралийского Союза, считая, что такой смелый шаг позволит раз и навсегда прекратить территориальные притязания со стороны малоземельных государств. Его уверенность базировалась исключительно на здравом смысле: в Австралии тоже земли немерено, но ведь никто не претендует на неотъемлемое право австралийцев распоряжаться ею по своему усмотрению.

Кроме того, он вывел математическую формулу ленинского учения об истине. Сообщая об этом, он становился в позу прокуратора Иудеи Понтия Пилата и вопрошал санитаря: «Что есть истина?». Тот покачивал резиновую дубинку и молчал, глядя на философа.

Открытие математической формулы, по словам ученого, претендовало, по меньшей мере, на докторскую степень. Однако он пошел дальше и вывел опять-таки математическим путем формулу ленинской теории отражения. Это выз-



вало зависть соперников по цеху, и они помогли изолировать его в это заведение. Но и здесь он не прекратил работу, считая, что трудности укрепляют его мысль, и готовился передать на волю товарищам свои «Новые философские тетради», в которых он сообщал о некотором пересмотре своих взглядов, отречении от ленинского влияния, называя философские труды своего предшественника бредом, написанным «картонным, маловразумительным языком».

Однако самым известным пациентом, по словам художника Володи, с которым я подружился более всего, оставался полковник Военно-Воздушных сил. Он находился на излечении восемнадцать лет. Участвовал во Второй мировой войне, вооруженных конфликтах на всех континентах. Видел в гробу и Ленина, и Сталина, когда они вместе лежали в мавзолее. Полковник получал хорошую пенсию. Поступив в больницу, он поставил условие своим племянницам и внукам — приходиться к нему за доверенностью на получение пенсии каждый месяц. Она оформлялась через главного врача, что давало возможность больному видеть родных регулярно — раз в месяц. Я видел этого полковника. Рослый крепкий мужчина с чуть втянутой в плечи головой — признак профессионального пилота. Рассказывали, что он в качестве советника помогал свободолюбивому народу Африки освободиться от колониального гнета. Потом, когда угнетатели ушли, борцы за свободу начали резать друг друга, а далее ему пришлось воевать на стороне Республики Сомали против Эфиопии, но когда методы строительства социализма в Сомали не пришлись по душе руководству СССР, он начал так же успешно воевать на стороне Эфиопии против Сомали. Кому и когда рассказывал он эту историю и при каких обстоятельствах попал сюда — осталось загадкой.

Недостаток свежего воздуха, а в этом заведении прогулок не полагалось, сделал цвет его лица серым с желтизной. Бывший сталинский сокол ни на кого не обращал внимания, ни с кем не разговаривал, был глубоко погружен в себя, носил печать таинственности.

Володя работал профессиональным художником, тяготел к абстракционизму. По его словам, после того как на выставке в Манеже 1962 года Никита Сергеевич Хрущев назвал абстракционистов «пидарасами», представители этого направления в изобразительном искусстве сильно на него обиделись. Абстрактная живопись русских и советских художников подверглась гонениям и преследованиям, но от этого они стали писать еще абстрактнее. В больнице Володя вынужден был работать в реалистической манере, как Александр Шилев, Илья Глазунов и Никас Сафронов. Этого требовали санитары, чьи свирепые рожи он рисовал. «Наступаю на горло собственной песне», — извечная проблема художника и власти.

Володя, зная о моих знакомствах, снисходительно отзывался о творчестве известного, заслуженного, обласканного художника Благоданова. «Его творческие потуги не могут не вызвать сочувствие, — говорил Володя, — он пишет сюжеты на православные темы на оконных ставнях, назвал это оконписью, а я ведь раньше его открыл народное направление «заборопись». Дал ему название, запатентовал. За этим направлением — будущее. В России столько заборов. Каждая доска несет смысловую нагрузку. Каждый сучок, задоринка, изгиб, неровность, трещина. Я мог бы прославиться, как Давид Сикейрос в своей Мексике, который создал школу монументальной живописи. У меня тоже своя школа и ученики. Энтузиасты несли в мою мастерскую заборы целыми пролетами. Во дворе негде было повернуться. Мой оппонент снял с городских окон ставни, я пошел дальше — снял заборы. Город был вынужден отказаться от заборов. Архитекторам пришлось проектировать новые кварталы без них. Это стало настоящим прорывом в градостроительстве.

За мои дурацкие портреты санитары приносят чай. Я сухим чаем нейтрализую лекарства, хотя некоторые считают это бесполезным занятием. Я научился прятать таблетки под язык, за щеку, могу останавливать их в самой гортани. Но когда вводят инъекции галоперанола или аминазина, я бессилен. Мне подавляют волю, после таких уколов приволакиваю ногу, у меня страшно болит голова. Я могу действительно делаться дураком. А они, — тут Володя показывал в сто-

рону ординаторской, которая находилась за тремя дверями от пациентов, каждая из них имела свою ручку, ручка была в кармане работника из числа медперсонала, — а они, — продолжал Володя, — появляются в палате раз в три дня на несколько минут. Они сами тяжело больные люди. Они не доживают до пенсии. Они безжалостны к своим пациентам, они не понимают нас и не хотят понимать».

Голос Володи начинал звенеть, фразы становились отрывистыми: «А те, кто живет за больничным двором? Они знают дорогу только на работу и домой. Они больше ничего не хотят знать, слышать мнение, отличное от их мнения. Они не хотят видеть то, что не вписывается в их представление об искусстве. Они изолируют нас, чтобы не испытывать беспокойство. — Володя хватал себя за горло. — Тебя все равно выпустят, только не нарывайся. Ты выйдешь, а меня изуродуют. Я здесь уже в пятый раз. Я их постоянный клиент. Я у них на вечном учете. До самой смерти... А мне еще надо сделать восемнадцатиметровую статую композитора Глюка в городе Сковородине!»

На шум приходил санитар, обыскивал тумбочку Володи, забирал карандаши, прерывал песнопения композитора, который самозабвенно исполнял арию Париса из оперы Глюка «Парис и Елена», укладывал в кровать любителя йоги, сидел некоторое время на табурете, принесенном с собой, укоризненно поглядывал на художника, явно сочувствуя. Меня отправляли в палату первичного наблюдения. Заканчивались первые сутки моего пребывания здесь.

А в палате меня ждал с нетерпением психозолог Подъяблонский. Он скучал без общения с таким благодарным слушателем.

— Они, эти дарвинисты, сведут меня с ума.

В этом заведении подобное заявление звучало странно.

— Когда я в тайге узнал о новой теории происхождения человека, я из лесу вышел и сдался властям. Разбивались мои представления о происхождении человека с помощью высшего разума. О его двухмерном, симметричном строении тела. Вот у него, например, — он показывал на соседа-онаниста, — есть голова, которая не работает, но тут же симметрично расположена жопа. Она у него работает. Прилив крови к мозгу — у кого он есть — вызывает мыслительную деятельность, прилив крови к гениталиям, как в случае с нашим соседом, — сексуальное возбуждение.

Только представьте себе, при жизни одного поколения три раза менялась теория происхождения человека... Вначале нашим прародителям считался павиан — сама агрессивная обезьяна. Надо было оправдать начавшуюся войну в Европе. Потом решили, что предком человека должна быть самая умная обезьяна — шимпанзе. Сейчас на горизонте появилась самая сексуальная обезьяна — бонобо. Вывод о том, что она — наш предок, сделан на основании, что этот примат может совокупляться в различных позах, к тому же с удовольствием занимается онанизмом, как наш общий друг... Так же, как человек, они умеют любить, предавать, подличать, обманывать, изменять, ревновать, жалеть и обижать...

— И вот сейчас я здесь, — неожиданно прервал свой монолог психозолог.

## ЛУННАЯ НОЧЬ. ЭПИЛОГ

Окна в палатах были зарешечены, решетки прочно закреплены в стенах болтами. У входа сидел, зевая, санитар.

В окно, словно боясь перевалиться через трехметровый забор, окружавший больницу, одним краем заглядывала луна. При внимательном рассмотрении можно было различить на лунном диске, как это бывало в детстве, глаза, нос, рот загадочного светила. На моих товарищей по несчастью небесное тело действовало враждебно: они метались во сне, вскрикивали, стонали. Зафиксированные буйные бились в очередном приступе яростной силы. Кровати под воздействием мышечных сокращений вздрагивали и скрипели. Все это происходило какими-то волнообразными периодами.

Прошло еще немного времени. Луна, так и не преодолев забор, высвечивала мертвенным, зыбким светом все закоул-

ки больничного двора. Я стал забываться в коротком поверхностном сне...

...За стеной тоненько, словно боясь, что его могут услышать, безудержно и безутешно заплакал ребенок. Так плачут, когда сердце переполнено горем до самого края и нет никакой возможности освободиться от этого горя.

Я уже не мог изменить свою жизнь, исправить ошибки, избавиться от грехов, ставших пороками, вернуть к жизни самых близких людей, в уходе которых я винил только себя.



Виктор Алюшин — член Союза российских писателей, автор трех книжек стихотворений. Стихи его неоднократно печатались в альманахе «Приамурье», в журнале «Дальний Восток», в центральных периодических изданиях. Долгие годы является автором и ведущим программы «Солдат России» на областном радио. Хобби — жуткий грибник. Недаром стихи его в основном о природе. Хотя, говоря о природе, он умудряется сказать о многом.

## Виктор Алюшин

### ВСТРЕЧА НОВОГО, 1945 ГОДА В АВСТРИИ

Открыв трофейное вино,  
Забыв все беды и печали,  
Солдаты Новый год встречали,  
Как на Руси заведено.  
Волнисты, с блеском серебра,  
В движении непостоянны,  
По Альпам плавали туманы...  
И были горы осиянны  
Небесным светом до утра.

Летел в зенит каскад ракет,  
Под ним сверкал морозный иней.  
Австрийский городок старинный  
С изгибами трамвайных линий  
Кострами ночью был согрет.  
А за грядю серых скал  
Создатель душегубных камер —  
Фашист побитый в страхе замер,  
И ледников зеленый мрамор  
Салют победный отражал.

### ГОРОД НА НЕВЕ

Строители, воздвигнувшие город  
На северной земле, наверняка  
Потомкам передали меч и молот,  
Чтоб город утвердился на века.  
Нева не смыла твердь его гранита,  
Его сломить блокада не смогла.  
Всем взорам и морским ветрам открыта,  
Стоит Адмиралтейская игла.  
Кронштадтские обугленные стены  
Туманом поутру заволокло.  
На все века поистине бесценны  
И Эрмитаж, и Царское Село.  
Великий город. Каменное чудо.  
Он все растет, проспектами гудя.  
...И медный всадник мчится к нам отсюда  
Под струями холодного дождя.

### ГРОЗА НА ЗЕЕ

В небе, где солнце сияло,  
Гром прокапился и смолк.  
Старый буксир у причала  
Дышит, как загнанный волк.  
Мечется в ужасе Зеея.  
Ветром сорвало карниз.  
Тучи, клубясь и густея,  
Ключьями падают вниз.  
Воздух, смятения полный,  
Стал от дождя полосат.  
И под зигзагами молний  
Чайки кричат и кричат.

### ВДОВЫ РОССИИ

Лишь метели отшумят косые  
И отхлынут горестные дни,  
Вдовы постаревшие России  
Ласточкам становятся сродни.  
Выплакавшись утром на погосте,  
Где весной земля еще сыра,  
Вдовы к молодухам ходят в гости  
И гуляют с ними до утра.  
Вдовы крутят старые пластинки,  
Горем породненные одним...  
Знали бы мужья их, что поминки  
До сих пор справляются по ним.

\*\*\*

По степи весенней ветры  
Мчатся — бешены и яры.  
Растеклись на километры  
Языкастые пожары.  
Пал в моем краю родимом  
Травы косит за деревней.  
И летят над черным дымом  
Гуси клинописью древней.



Известному амурскому поэту Игорю Игнатенко в этом году исполнилось 60 лет. И хоть произошло это еще в мае, мы все же приносим свои поздравления — ведь год еще не кончился. Тем более что в момент приема наших запоздалых поздравлений досточтимый юбиляр волей-неволей ощутит себя аж на полгода моложе. А это неплохо.

Между прочим, поэт Игнатенко и в прозе не новичок. Достаточно сказать, что в 1990 году отдельной книгой вышла его большая повесть «Бег по кругу», а в этом году в коллективном сборнике напечатана повесть под названием «Витюня». И все же, публикуя здесь его рассказ, мы в качестве удостоверения личности помещаем и подборку его же стихов. А то еще подумают, что прозаик Игнатенко приходится поэту Игнатенко сыном, племянником или однофамильцем. Что отнюдь не соответствует действительности.

Рассказ, стихи

## ЗА ХЛЕБОМ

Мать принялась будить Ваньку, как всегда, затемно, еще радио не говорило.

— Вставай, сынок! За хлебом пора, — она тронула сына за худенькое плечо, мосольжки и через ватное одеяло прощупывались ощутимо. — Я корову подоила.

Сквозь сладкую дрему Ванька уловил только конец мамкиной фразы. Значит, стакан парного молока на столе уже дожидается. Но вылезать из-под угретого одеяла в январскую утреннюю настылость старой бревенчатой избы сегодня особенно не хотелось. Он словно заныривал обратно в прерванный сон, перед глазами мелькали разноцветные видения.

— Ваня, ну... Клавка говорила, сегодня тридцать буханок белого завезут. Может, успеешь, а? Подымайся...

В голосе матери звучала надежда. Ванька и в полусне сообразил, что нежиться не время, раз Клавка-продавщица выдала такую секретную новость. Обычно в сельпо по утрам привозили из пекарни сотню буханок черного хлеба, а вдобавок и десяток-другой булок белого. При дневной норме отпуска — один кэгэ в руки — такого количества обычно хватало, если, конечно, не набегут по двое — по трое из соседних домов. Ну, а белый хлеб — это как награда самым первым. Хочешь полакомиться — не спи сусликом.

Ванька высунул наружу конопатую курносинку, унюхал струящийся от печки кисловатый запах гревшихся валенок. Это мамка нарочно готовит их к походу за хлебом. Пока туда-сюда сходишь, в очереди проторчишь на морозе... Пусть запасаются домашним теплом. В тусклом желтоватом свете электролампочки, висевшей в кухонном закутке, разглядел мать, закутанную в шалюшку, завязанную крест-накрест сзади на поясе. После операции врачи советовали беречься, не простывать. Мамка шуровала в печке кочергой, на ее наклоненном лице отражались блики невидимого Ваньке пламени.

Подросток спустил ноги с кровати и тут же поджал, скрючив пальцы. С пола несло ледяной холодрыгой. Хотя в печке потрескивали разгоравшиеся поленья, до настоящего тепла ждать полчаса, не меньше. Пощелкивая зубами, шустро доскакал до нужного места в одних трусах и майке, быстренько опорожнил пузырек. Тем же ходом вернулся в зальцу. Плюхнулся на бабушкин сундук, потревожив свернувшегося калачиком рыжего кота Мурсика. Здесь же в пазухе печной стенки набиралась тепла его одежонка. Быстренько натянул штаны, нырнул головой в рубашку. Ерзая на сундуке, намотал сухие портяночки и сунул ноги в валенки. И уже после всего обнаружил, что позабыл натянуть носки, они лежали в самом уголке припечка незаметным в полумраке комочком. Но переобуваться не стал, и так сойдет, махнул он рукой, а носки прибрал, чтобы мамка не увидела, иначе заругает. Мурашки, бегавшие по телу, куда-то попрятались, да и расшевелился, согнал гусиную кожу.

Со скрипом растворилась дверь, и из сеней в клубах холодного пара, сутулясь, вошел отец с охапкой дров. Постучал заснеженными валенками нога об ногу. С грохотом свалил поленья на жестяной припечек. Таким манером он по своему добуживал сына. По утрам у бати хлопот полон рот:

и дров нарубить, и воды из колодца натаскать в бочку, в стайке у Зойки почистить, сена в ясли свежего подбросить. Да мало ли чего на деревенском подворье требует мужицких рук, знай поворачивайся. Пока уйдет к себе в МТС трактора ремонтировать, нагорбатится дома по хозяйству.

Отец снял старенькую, с ватными потычками, телогрейку, тряхнул ее у порога. Затем уж скинул шапку, смахнул снежный куржак в сторону двери и положил на полку над вешалкой. Веником-голиком обмел дочиста растоптанные обсохшие валенки. Энергично растер ладонями побелевшие щеки, содрал ледяные сосульки с обвислых усов, глухо покашлял в кулак, надсаживаясь до грудного хрипа.

— Ну, что там наш мужик, Ульяна? — поинтересовался у хлопотававшей возле плиты жены.

Но Ванька уже сам топотил к столу, напрямик к стакану с парным пенным молоком. Мать только кончила процеживать утренний удой сквозь марлю, в ноздреватой пене торчали желтые пшеничные соломинки, невесть как обязательно попадавшие из подстилки в ведро. Зойка по яловости давала всего литра полтора за раз. Только-только хватало кашу сварить да оставить маслица попахтать раз в неделю. Так что молочко обычно шло на забелку чая, а тут вот мать расщедрилась на парное. Ванька ухватил теплый стакан, приятно согретый вмиг ладошку. Отец Данила Матвейч одобрительно крякнул, узрев подобную разворотливость отпрыска.

Но тут подала голос мать:

— А зубы чистить да умываться за тебя кто будет?

Спорить с мамкой бесполезно. Ванька осторожно вернул стакан на место, зачерпнул ковшиком из чугунка на плите степлившейся воды. Напил в жестяной умывальник, висевший прямо в углу над тазиком на табуретке. Клацнул пару раз по примерзшему соску, буркнув про себя: «Небось, самито не умывались, вон как пристыл сосок-то...» Намочил зубную щетку, потыкал в коробочку с порошком и десяток раз ерзанул по зубам. Побрякал соском умывальника пуце для вида, только глаза намочил. Утерся висевшим рядом на гвозде полотенцем.

Теперь и молока попить можно. Мать припасла сыну на утро остаток вчерашнего хлеба. Сохранный черный ломоть невелик, колюче царапнул язык при первом сухом прикусе. Ванька запил его сладящим молоком и мыкнул по-телячьи от удовольствия будущей сытости и входящего в пузцо съестного тепла.

— Иди проулками, — посоветовал отец, — по большаку задувает.

Ванька уже облачался у порога в справленный по осени ватник. Мать молча подошла, одернула телогрейку на сыне пониже, затянула пояс, чтобы не поддувало на улице. Сын стоял, покачиваясь от каждого движения снаряжающей его в дорогу матери и надолго запасаясь домашним теплом. Последним делом мать потуже завязала тесемки на шапке, так что та наехала на глаза. Отогнула к шее тощенький воротничок.

— Вкалываешь с весны до осени, как проклятый, пшеницу растишь, а за буханкой хлеба стой в очереди, — в серд-

1974586

цах обронил Данила Матвейч давно наболевшее.

— Ступай, — подтолкнула Ульяна сына. — Смотри, деньги не потеряй. — Она сунула ему в карман помятый рубль — «рыжик», как называли его между собой мальчишки.

Ванька прихватил висевшую у порога на гвозде старенькую дерматиновую сумку, пихнул дверь в сенцы, та подалась слабо. Он ударил разом плечом и пяткой, наподдав напоследок тощим задком. В лицо шибанул стоялый морозный воздух. В сенцах темень, однако привычные пять шагов на крыльцо и с завязанными глазами прошмыгнул бы, а тут еще мать подержала дверь приоткрытой, просветила сыну узеньким лучиком.

Дверь из сеней на крыльцо открывалась вовнутрь, это батя так нарочно сделал, чтобы не маяться в пургу. Дернул на себя — и порядок, разгребай снег, если намело по колена.

Зима накрыла суровым одеялом окраину села. Спасибо, луна висела над Гильчином, освещая дармовым светом заснеженные огороды, цепочки избушек, надворных построек, безлюдные до поры улицы. В соседском доме у Сотовых окна еще не светились. Лишь кое-где вразнобой вдоль по улице дрожали огоньки, как сигналы начинавшегося хлопотливого утра. В стайке простуженно крикнул петух, да не кукарекнул, а так себе — лишь голос подал. Наверное, и сам засомневался, что утро наступило.

Ванька протопотил, разгребая ночную порошу, до выхода со двора, нащупал вязку, скинул с колышка и приналег на калитку. Снегу и тут намело будь здоров. Вдоль по большаку прямо в лицо задувало и секло снежной крупой. Идти до проулка метров сто. Пришлось в наклон и бочком пробиваться против ветродуя, смахивая рукавичкой посыпавшиеся слезинки.

В проулке, за домами и заборами, за стайками и деревьями, было спокойнее. Правда, снегу намело и тут, но все-таки идти стало не в пример легче, знай шагай не спотыкайся. Белая сутемень своей привычностью вела и вела, словно за руку кто держал Ваньку.

От Селивановского подворья хрипловато гавкнул пес Оберст, обозначив службу, звякнул цепью и замолчал, должно быть, учуяв знакомый запах. Обычно Ванька по пути в сельпо заходил за Лешкой, своим одноклассником и дружкой. Он и теперь, по привычке, свернул под окна, но у калитки наткнулся на свежие следы. Теперь прибавлять шагу Лехиным путиком придется, догонять, пока тот не утопотил окончательно. До магазина еще с километр, не убежит.

Ванька поднажал, валенки повизгивали весело на припорошенном свежим снегом насте. Это оттого, что папка подшил их два дня назад, прострочил подошву смоленой дратвой, вот она на морозе и подает голос. Январский снег сухой, певучий.

Уже запыхался порядком, пока, минув располозовавшую село напололам шоссейку, догнал-таки коротышку увальня Лешку. Того мать для верности даже поверх шапки платком повязала — смехота девчоночья. Сходу хлопнул его сзади по горбушке сумкой. Лешка обрадовался, не заругался, в свою очередь борцовской подсечкой шибанул подоспевшего дружка по задубевшим валенкам, тот и охнуть не успел, как оказался на боку. Но долго валяться в сугробе времени не было, крутанули парочку раз друг дружку, подскочили, вытряхнули набившийся за шиворот снег — и айда веселее к магазину, до которого оставалось три квартала деревенских.

— Ты математику вчера сделал? — поинтересовался, шмыгая носом, Лешка.

— Решил три задачи на проценты, — довольным голосом отозвался Ванька, вспомнив, как мать не выпускала его из-за стола именно из-за этих самых процентов, так что на лыжах покататься не удалось после школы.

— А у нас ночью Майка отелилась, — поделился радостной новостью Лешка. — Бычка принесла, смешной — умора. Мы его в дом взяли сразу, папка говорит, что крещенские морозы побудет у нас. Придешь посмотреть?

Ванька позавидовал новости. У них нынче Красуля яловая ходит, батя ругал за то ветеринара, а пуще костерил быка Пушкаря за его стручок поломанный. Ваньке смешно за быка, а корову жалко. Да и когда теленочек, у Красули молока мно-

го, всем достается, а сначала так недели три молозиво дает — вот сладкая да жирная вкуснятина!

Тем временем минули бревенчатый кино клуб с залепленным снегом афишным листком. Свернули налево в проулок и прибавили напоследок шагу, чтобы опередить начавших появляться попутчиков. В основном за хлебом к магазину перла малышня вроде них. Взрослые попадались пореже; да и то: гробить время в очереди на морозе при домашних делах мамкам да отцам не с руки.

С шумным хуканьем протрусил мимо гнедая низкорослая, вся в мохнатом инее, лошадь-монголка. В санях полужал мужик. «Что-то на конюшню давно не посылали, — припомнил Ванька шефские походы пацанов из их шестого класса на колхозную ферму, — навозу, небось, накопилось...» Гнедуха, словно услышав Ванькины мысли, задрала хвост и на ходу справила большую нужду. Конские котяхи аккуратной парящей цепочкой растянулись между санных следов, врезанных подбитыми железом полозьями в дорожный наст.

В лунном сиянии очередь у магазина сельпо виднелась издали. Голову очереди желтовато обозначала электролампочка у входной двери. Мальчишки еще принажали.

— Кто последний? — крикнул, еще не доходя метров тридцать, Лешка. У него было это право перед дружкой, все-таки он раньше Ваньки вышел из дому.

— С-сам т-ты п-п-послед-дний, — отозвался стоявший в хвосте низкорослой очереди конопатый и сопливый Кулдоха-пятикласник с Партизанской улицы. На нем топорщилась ушитая мамкина плюшевая жакетка, которую украшали боковые карманы — последний «писк» деревенской моды. Отбивая валенками чечетку, Витька Кулдошин пояснил свою реплику подвалившим пацанам:

— Я — к-крайний, а по-по-следний говно в с-стайке чистит.

У Кулдохи батя авторотовский шофер, он иногда берет сына с собой в город. Не иначе там Витька и поднабрался ума отвечать на вопросы в очередях, сам бы своей думалкой ни за что бы не докопал.

— Ну, ты, «кы-кырайний», — поддразнил Лешка заикастого Кулдоху, — с какого краю стоишь, может с переднего?

Витька затоптался на месте, заперебирал зазябшими ножонками, замахал ручонками, но слова не шли из него, шибко дух перехватило — и от мороза, а главное — от возмущения и явной неготовности к словесной перепалке с болеемышленными пацанами.

Тем временем своей обычной развалочкой притопотил от мельницы с северного края села Толян Дробухин, одноклассник Ваньки и Лешки. Его вихрастый чуб даже изпод шапки рвался на волю, к тому же Толян принципиально тесемок на шапке никогда не завязывал. Он даже в лютый мороз ухитрялся не застегивать верхнюю пуговицу на телогрейке, а шарфик повязывал по-взрослому вовнутрь.

«И как его мамка так отпускает», — позавидовал Ванька.

А вслед за Толяном подошел в отцовой старой латаной шубейке остроносый и остроглазый Борька Железниченко, тоже из их шестого «бэ». На руках у него красовались новячие варежки из козьего пуха. Тетка Дуся, мать Борьки, была большая рукодельница. И то — обуй, одень троих сыновей.

Первым делом установили очередность без Кулдохиных выкрутасов. Теперь можно и в «свинку» поиграть, благо на дороге валялось предостаточно заледеневших конских котяхов. Свет от лампочки на магазине позволял глазастым мальчишкам по-кошачьи различать в потемках игровое поле. Сумки побросали в кучку на магазинной завалинке.

— Железа вадя! — крикнул Лешка. — Он после Дроби пришел.

Борьку несколько не смутил Лешкин выкрик. В «свинку» равных ему поискать еще игроков. Он скovyрнул валенком самый крупный котях, словно футболист мяч. Мальчишки окружили его кольцом, внимательно следя за действиями водящего. Борька, как заправский форвард, делал ложные выпады и замахи, притворялся, что взаправду бьет по котяху, тем самым заставляя дружков зря подпрыгивать и отбегать на безопасное расстояние. Главное было — усыпить бдительность защитников. Он умел выжидать момент как никто другой.

— Ржавая Железа «с-свинку» з-зарезал! — дурашливо выкрикнул Кулдоха и тут же получил меткий удар котяхом по валенку.

— Получай, поэт, на трамвай билет! — парировал Борька, довольный и метким ударом, и удачным рифмованным ответом.

Кулдоха погнался котях к самому, как ему казалось, уязвимому противнику — к низкорослому, укутанному до самых глаз Лешке. Для верности он замахнулся пошире и шваркнул растоптанным валенком что есть силы. Но не тут-то было: в самый момент удара Лешка отпрыгнул в сторону — и котях улетел далеко в сугробные потемки.

— Кулда — «свинка», Кулда — «свинка»! — обрадованно загалдели пацаны. Витьке бежать выковыривать снаряд — только время терять. Тем более этих самых котяхов на дороге завалились, выбирай один другого краше. Кулдоха пнул самый круглый, но он разлетелся на мелкие кусочки, лошадиный навоз оказался свежим и только успел пристыть к насту, но не заледенел окончательно.

Толян услужливо отпасовал Кулде-«свинке» подходящий мерзлый котях — и понеслась игра по новой. Мальчишки пинали котяхи, подпрыгивали, всячески дрыгали ногами, убеждая свои валенки от попадания коварных снарядов, крутились юлой. Вскоре разгорячились так, что пар повалил от фуфаек да шубенок. Все перебивали «свинкой», даже Борька иногда нарочно подставлял ногу, ему нравилось водить и он, как заправский мастер навозного дриблинга, владел богатым арсеналом игровых приемов, а бил так неожиданно и метко, что попадал даже влет.

Под конец играть в «свинку» надоело. Дробя пихнул Ваньку в сугроб, плюхнулся сверху, на них насели остальные — и завертелась куча-мала! Тут уж не зевай, иначе снегом накормят и за шиворот натолкают со смехом да с прибаутками.

Пока носились друг за другом, время пролетело незаметно. Да и потемнело из-за того, что утренняя луна закатилась за высокое здание колхозной мастерской. Подошедший, как всегда, точно к открытию магазина дед Желтов в когда-то белом, а теперь серо-рыжем с подпалинами полушубке с распахнутым воротом, в котором виднелся треугольник тельника, оповестил порядочно разросшуюся очередь из старушек да мальцов:

— Без пяти семь! — Он для убедительности вытащил карманные часы-луковицу на длинной цепочке, постучал по крышке. — Наркомовские «котлы» не врут.

В деревне дед Желтов был личностью легендарной. Во первых, когда-то еще при царе он был матросом Балтийского флота, потому никогда не снимал тельняшки. «Моя душа! — хвастал дед, ударяя себя в полосатую костлявую грудь и заходясь в кашле. — Без моря мне не жить!... — Последнее утверждение в степной деревеньке никем не оспаривалось, ибо «карахтер» у деда Желтова был самый резкий. — Я матрос с «Авроры», сам вот этой рукой дергал спусковой шнур кормового орудия. Как вжахнули мы по Зимнему! Как понеслось!...»

Как-то один грамотей-старшеклассник попробовал поправить деда, мол, не из кормового орудия был дан сигнал к штурму дворца, а из носового. Дед, взъерошив реденькую бороденку, умника тут же поставил на место: «А ты видал, из какого? Начитались сталинской брехни... И чего вам только учителя в школе плетут?»

Вообще про Сталина разговор особый. Три года как минуло со смерти вождя, говорить об Иосифе Виссарионовиче в полный голос по старой памяти остерегались. В здешних краях детишек до сей поры страшали: «Неслух! Отдам бабовцу!» Да и то особенно не разорялись прилюдно. А деду Желтову все сходило с рук, материл и поносил отца народов громогласно и витиевато, однако никакая милиция его не трогала. Да и стукачи хвосты поджали, особенно когда Хрущев Берию скинул в одночасье после кончины вождя. Ну ладно, упрячут деда за болтовню, кто тогда будет крыши в селе латать? В кровельном деле равных ему не сыскать, держался дед на покато́й рискованной высоте действительно, как матрос на палубе, — цепко, несокрушимо. Ходил себе на кривоватых ножонках в сапогах-кирзачах по настланному шиферу

или железным листам, словно приклеивался подошвами. На стропилах, как на корабельных реях, бывало, издали виднелся его полосатая матросская душа — застиранная до общей мутной синевы тельняшка. Горланил дед на всю деревню:

*И-эх, гуляй, гуляй, матросик!*

*Штормовал — и будя.*

*Если милка нынче бросит,*

*Утоплюсь в посуде.*

Дед Желтов уверял, что лично встречал в Питере Александра Блока. «Приходил греться у костра, когда мы в карауле стояли да буржуйские мебели жгли. Он тогда поэму задумал... про грабежи... про Ваньку-лихача да про Катюку. Койчо нам читал...» Однажды в библиотеке Ванька был свидетелем того, как дед потребовал роман Загоскина «Юрий Милославский», на что библиотечарша Людмила Георгиевна в растерянности развела руками. А то Михаилом Арцыбашевым интересовался, посверкивая глазками и плотоядно похихикивая, чем привел в немалое смущение библиотечаршу.

В очереди за хлебом деда Желтова, вопреки всем обычаям, пропускали первым. Дед не чинился, брал строго кило черняшки; мы, дескать, не барского или буржуйского звания, нам для писчеварения полезительней серый хлебушко — суса в нем больше. Вот и теперь, как только забрякала внутри магазина проушина на двери, дед первым номером шагнул в отверстие проема, из которого повалил негустой пар, сдобренный сытным духом свежее испеченного пшеничного хлеба. Пацаны закрутили носами, разбирая с завалинки свои сумки и пристраиваясь вплотную за очередными.

Лешка предположил мечтательно:

— Может, хватит до нас белого?..

На что Кулдоха съязвил:

*Белого — для смелого,*

*А для тебя, ученого, —*

*Котяха печеного.*

Толян Дробухин, не говоря худого слова, натянул Кулдохе шапку на нос. Витька аж задохнулся. Борька Железниченко добавил под микитки, но не больно, а для порядка, чтобы не выставлялся. Все-таки Витька раньше пришел, чем они.

Головка очереди втянулась в нутро магазина, и людская череда, слабо пошевеливаясь, переваливаясь с ноги на ногу, притопывая, постукивая валенок о валенок, ждала своего часа войти с мороза в нагретость сельповской торговой точки. Тут были тоже свои правила. Чтобы не настужать магазин, каждый хлопок двери выпускал и одновременно впускал по одному человеку.

Первым отоварился дед Желтов. Чего он там в магазине выступал — неизвестно, только выговориться до конца явно не сумел. Появившись на крыльце, он похлопал себя по оттопыренному отвороту полушубка. Грудь бугрилась — это он туда хлеб засовывал за неимением сумки, ибо жил дед бобылем и домашний скарб презирал со всей силой пролетария.

— Вот он, хлебушко! У сердца лежит... греется... и меня, старика, тож...

Оглядев пацанву да старушонок, дед продолжил речь, начатую в магазине. Выступать перед народом была его страсть. Он примял половчее трех на голове и воздел картинно руку, как Ленин на броневике.

— Односельчаны!.. Дорогие мои земляки!.. Стоите на морозе за хлебушком... пристыли... И-эх! Робятки... Отцы ваши, значить, растут на полях бескрайних пшеничку да ячень... В закорма Родины... А как пожрать — торчи в очереди. Будьте любезны!..

Дед крикнул, махнул поднятой рукой, словно обрубал невидимый канат, которым он временно пришвартовался к магазинному крыльцу, размашисто шагнул со ступеньки на утопанный до глянца снег.

— Пища есть... будет и день, — завершил он загадочно и, как обычно, замысловато. И растворился в окончательно потемневшем утре.

Если приходиться за час до открытия, как делал обычно

Ванька, то сюда добавлялся еще час на стояние в очереди. Конечно, можно пораньше заявиться, но все равно колхозных не опередишь. Они рядом живут, в случае чего можно домой сбегать для обогрева, сказавшись занятым неотложным делом по хозяйству, вроде того, что дров в печку подбросить или там чугунок с картохой убрать с огня. Так что терпеть оставалось да ждать, пока войдешь, наконец, внутрь сельпушки. Там очередь жалась еще теснее; обиды в том не было, а вот некая забота об оставшихся на морозе усматривалась. Сами только что оттуда, с продува да леденящей сутемени.

Наконец настал момент, когда на низенькое крыльцо перед входной дверью шагнул Лешка, за ним и Ванькин черед приспел. Немного погодя, таким же порядком оба дружка попали в нутро магазина. Яркий свет лампы-сотки резанул по глазам. Приятно охватило хлебным парным теплом.

Клавка-продавщица орудовала гирьками, кромсала буханки громадным ножом, а то прибрасывала на тарелку весов кусочки хлеба, когда буханка не вытягивала на требуемый отпускной килограмм. Эти-то довески были законной добычей всех гонцов за хлебом. Главное было — принести в целости буханку. Хуже, если хлебный кирпич тянул свыше килограмма — вот тогда-то и пускала Клавка в дело свой безжалостный мессер. На уроках немецкого языка мальчишки уже узнали, что так у немцев называется нож. От минувшей войны их отделял как раз отрезок их еще коротеньких жизней плюс два-три года самой Великой Отечественной, в которую им посчастливилось появиться на свет Божий.

Высоко над прилавком, чуть ли не под самым потолком, украшали продуктовые полки никому не нужные банки Снатка. Название непонятное и от того загадочное, тем более что изображался на баночной обертке не то рак, не то еще кто клешнястый. Знающие мужики, прикупив бутылку сучка и разливая водку по стаканам, на предложение Клавки-продавщицы взять на закуску Снатку, пренебрежительно махали рукой: «Сладкая больно...» И, крякнув по первой, просили Клавку: «Ты нам «братскую могилку» вскрой...» На что продавщица в сердцах бросала мужикам: «Вечно вам кильку в томате. Ни черта не понимаете в крабах — «сладкая больно...» Да их, может, интеллигенция ест не каждый день...» — «Во-во, пусть начальство и давится твоей Снаткой, а мы по-старому закусим. Нас килечка не подведет, да и подешевше будет...» — гнули свою линию питухи.

На хлебной полке, увидел Ванька, оставалось с десяток буханок белого, горбатистого и заманчиво вкусного, с припеком по бокам, с зарумяненным верхом. Дальше стояли булки поменьше ростом — та самая черняшка, которой отдавал предпочтение дед Желтов, хотя, наверное, не отказался бы, достанься он всем его пропустившим, и от белого хлеба. Ванька сглотнул набежавшую слюну, шмыгнув носом. Во рту воскрес подзабытый вкус кисло-сладкого мякиша, упругого вначале и клейкого, когда разжуешь. Ванька чуть не захлебнулся, аж закашлялся. Вообще не один он то и дело кашлял — с мороза ли настуженным горлом, с голодухи ли нараставшей.

— Вы мне инфекцию не разносите тут, соплюшники! — прикрикнула Клавка на рьяных кашлюнов.

Ванька подтолкнул Лешку:

— Посмотри, сколько впереди тебя стоит.

Сам он торопливо считал глазами булки белого хлеба. Теперь уже восемь осталось, вроде так...

— Тринадцать... чертова дюжина... — сосчитал людей и Лешка.

«Ну вот, не надо было зубы чистить да умываться... — с обидой подумал Ванька. — Вечно мамка пристаёт по утрам. Сколько времени зря ухлопал, после можно было бы. Зато успел бы купить белого...»

Он стянул с рук отсыревшие рукавички, стряхнул льдышки и полез в правый карман. Скрюченными пальцами поскреб по дну, ощутил набившийся и сюда комок снега. Но рубля не нашупал. Должно быть, пальцы потеряли чувствительность, сообразил Ванька. Он вытащил руку из кармана, подышал в кулак, пошевелил пальцами, возвращая им подвижность, потер кончики о телогрейку. Снова пошарился в кармане — ничего... Тогда он кинулся искать деньги в левом кармане, выскреб и оттуда горсть снега, но рублевика не обнаружил.

— Че топчешься? — подтолкнул его сзади Дробя.

— Толян, я деньги потерял... — сведенными, сухими до горечи губами прошептал самому себе Ванька.

— Давай, двигай! — не расслышал его Дробухин.

Ванька послушно приткнулся в спину к Лешке Селиванову. Он продолжал лихорадочно обыскивать фуфайку: может, в подкладку через дырку завалился проклятый рубль? Но подкладка была цела. Попалось несколько тыквенных семечек, осклизлых и никому сейчас не нужных. Даже залез зачем-то в карманы штанов, лишь бы оттянуть окончательный приговор — деньги потеряны. Конечно, случилось это, когда играли в свинку и после барахтались в снегу, устроив кучу-малу.

— Я щас! — обернулся он к Толяну.

Ванька кинулся на улицу. В желтом свете лампочки остаток очереди пропустил его, словно он и впрямь уже купил хлеба и отправился домой.

На дороге лишь чернели котяхи. Здесь вряд ли он мог оброниться. Скорее всего, это случилось вон там, в примятом сугробе, куда его толкнул Дробя. Ванька упал на коленки, силясь разглядеть в потемках пропавший рыжик, потом начал разгребать сугроб голыми руками, всхлипывая и причитая:

— Ну, где же он?.. Че я мамке скажу-у?..

Через несколько минут он понял, что если пропавший рубль действительно и был здесь, то теперь он его своими руками закопал так, что днем с огнем не сыщешь.

Ванька взвыл волчком и неизвестно зачем побрел опять в магазин, ни на что не надеясь. Не идти же домой за мамкиными колотушками?

Его пропустили, чужая идущая от Ваньки горестную напряженность и заразительное отчаяние. Навстречу вывалились один за другим дружки. Борька, жуя довесок, поинтересовался:

— Не нашел? — ребята сообразили, почему отлучился Ванька. Такая беда случалась порой кое у кого из пришедших за хлебом. Теперь посетила и их компанию.

— Хлопцы, давайте копейки соберем, — предложил Лешка. Мальчишки поскребли по карманам, выгребли сдачу. Набралось сорок шесть копеек — почти на полкилограмма черного хлеба. Ванька взял молча холодные монеты, сжал в кулак и прерывисто вздохнул. В груди даже клокотнуло что-то.

— Иди, — шепнул он еле слышно Лешке, — я догоню...

Толкаться и доказывать, что он стоял впереди, Ванька не стал. Спешить было некуда, как и надеяться — тоже. Он провожал глазами каждого покупателя, следил, как продавщица смахивает с полки одну за другой булки оставшегося хлеба, режет мессером самые крупные, крошит довески. У печки, где прислонился Ванька, было так тепло, так угревно, что не верилось в случившуюся беду. Все казалось сном, думалось: щипни себя сейчас покрепче — и проснешься с рублем в кармане. Ванька и руку приподнимал — щипнуть, но тут же отдергивал, стыдясь людей. Утирал нос, шмыгал вполголоса. Не имей сто рублей, а имей сто друзей, — припомнилась ему любимая поговорка покойной бабушки Марии. Она чаще всего повторяла ее, когда случалось наставлять чему-либо внука. Ста рублей у него и так не было, а друзья ушли, оставив сдачу. Пуще всего боялся теперь Ванька возвращаться домой с пустыми руками. Но на полке еще оставалось несколько буханок.

Наконец и последний покупатель — девчонка лет десяти, худенькая, с носиком-пуговкой и глазками-бусинками Верка Золотарева с инкубаторной станции — взяла свой хлеб, спрятала в сумку, протопотила валенками-кораблями и хлопнула дверью.

Клавка-продавщица смахивала с прилавка крошки большой чистой тряпкой в подставленную тарелку. Набралась порядочная жменя. Потом ссыпала крошки в пакетик, сунула под прилавок. Устало распрямилась, со стоном потянулась всем телом в синем, не первой свежести халате. Поправила на голове козьего грубого пуха шалюшку. Наверное, для курей, — догадался Ванька. — Покормит хлебными крошками... яички снесут... — Ты чего тут у печки застрял? — заметила Клавка мальчишку. — Никак Крюков? Ну да... Ваня... А глаза чего на мокром месте? — приглядевшись внимательнее, спросила она грубоватым голосом, в котором, однако

почудились Ваньке обнадеживающие нотки. — Иди, иди сюда. Да оторвись ты от печки!

Мальчишка несмело подошел к прилавку и протянул молча тетке Клаве слипшиеся в кулаке монетки.

Как опытный следователь, тетка вмиг оценила ситуацию.

— Значит, посеял денежки? Отец зерно сеет, а ты рубли... На сколько тут у тебя выходит? — она сочла монеты. Побрякала костяшками на счетах. — Четыреста семьдесят пять грамм выходит...

Точные цифры особенно смутили Ваньку и вновь повергли в состояние глубочайшего уныния. Очевидно, на его лице была написана вся картина переживаний. Тетка Клава ребром ладони подвинула по вылощенному до глянца прилавку Ванькины деньги.

— Разве на столько вашу семейку накормишь? Килограмм до ужина сметаешь, небось...

Она нагнулась под прилавок, достала черную дерматиновую сумку. Дернула замок-молнию, заглянула туда, пошуровала внутри, принахмурилась.

— Вот же оглоеды! Мамкино горе... Все бы им играть... Нет на вас управы! — произнесла она в пространство, обращаясь не столько к Ваньке, сколько к кому-то вообще, кто откуда-то сверху, незримый, наблюдает за происходящим.

Потом тетка Клава достала из сумки буханку белого хлеба. На место ее положила буханку черного, предварительно взвесив и откромсав уголок до ровного килограмма.

— На, бери! — протянула она белый хлеб Ваньке. — Скажешь Ульяне Карповне, что я в долг дала. Завтра вернешь... Давай сумку.

Засунув в сумку хлеб и вернув Ваньке, добавила напоследок:

— Отец пусть за ремень-то не хватается. Разве ваша вина, что впотьмах за хлебом ходить приходится?

— Спасибо, тетя Клава... — насмелился наконец Ванька произнести требуемые слова благодарности.

— Как учишься? — переменяла тетка Клава тему. — В шестом или в седьмом?

— В шестом... На четверки, на пятерки... — смущаясь, ответил Ванька. Потом спохватился и добавил: — Пятерок больше. Я читать люблю...

— Эх, ты... читатель!.. Тетка Клава шумно вздохнула. — Ну, иди, иди... Мне закрывать надо. Мамке привет передай, не забудь. Мы с ней ведь одноклассницы были в девчатах... Не чужие. Папке тоже поклон... хлеборобу-ударнику... Они ведь с моим Василием в одной бригаде работают, растут вот этот самый... — она мотнула головой в сторону опустевших хлебных полок.

Ванька благодарно засопел оттаявшим носом. Подхватил с прилавка свою сумку и потопал к выходу.

На улице в лицо ударил холодной снежной крупой еще сильнее покрепчавший утренний ветер. Восточная кромка неба просветлела слегка, и в этой белесой глубине стали тонуть и гаснуть одна за другой дрожавшие, словно тоже окончательно зазябли в космической стыни, звездные пригоршни.

Сегодня дома будет белый хлеб!

И Ванька кинулся догонять Лешку, хотя понимал, что вряд ли успеет. Слишком уж он задержался нынче в магазине.

2003 г.

## Из стихотворений разных лет

### ВЕЧЕР НА УКРАИНЕ

Молочно-розовый закат.  
Холмистая равнина.  
Колодцы-«журавли» у хат,  
А у плетня — калина.

Поплыл над крышами дымок.  
Жук-хрущ гудит, как трактор.  
Набегался! — не чую ног —  
По майским росным травам.

«Вечерять! — бабушка кричит. —  
Егор, ты де сховався?»  
Она не знает, что я сыт  
Не хлебом и не квасом.

Мне только бы пройтись еще  
В саду меж вишен белых,  
А после уж корми борщом  
И все что хочешь делай.

На западе тускнеет свет.  
Неразличимы лица.  
И дальний голос мне вослед  
«Спивает» про криницу.

1962

\*\*\*

По давно забытым адресам  
Позабывших не найдешь людей.  
Потеряв единственных друзей,  
Я уже не верю чудесам.  
Записные книжки отложу,  
Снег стряхну с ботинок у порога,  
В этой жизни нужно так немного —  
И в глаза любимой погляжу.

1964

### ЧАСЫ

1.

Падает,  
падает,  
падает  
снег.  
Ветер  
усталый  
затих.  
Тишь  
такая,  
словно  
во сне  
уходишь  
из дум  
моих.

2.

Звонко,  
звонко  
звенит  
капель.  
Почки  
зудят  
кусты.  
Значит,  
приходит  
месяц  
апрель,  
снова  
вернулась  
ты.

1973

## ЛЖЕПРОРОКИ

Не в краснобайстве об истоках  
Истоки связи со страной,  
А в звездный час и в час жестокий —  
Готовность жертвовать собой.

Куда как умными бывают  
Порой начетчики, но в час  
Великой битвы забывают,  
Чему так поучали нас.

Изменит время даты, сроки,  
Иссякнут речи, как ручьи —  
И перемрут все лжепророки,  
Давно забытые, ничьи.

1977

## НЕ ПРИВЫКАЙТЕ

Не привыкайте, люди, ни к чему,  
Особенно к всезнанию своему.

Скучны жонглеры громозвучных слов,  
Скупы владельцы толстых кошельков.

Смешон надутый чванством бюрократ,  
Но чистоплюй противней мне стократ.

Не привыкайте к искренним друзьям,  
Родным озерам, рощам и полям.

Не привыкайте к детской чистоте,  
Неповторимой женской красоте.

Не привыкайте уступать врагам  
И верить энергичным дуракам.

Полезней нищим быть, чем все иметь.  
Привыкнуть к жизни — значит, умереть.

1984

## ЛИПОВЫЙ ЦВЕТ

Пела, пела иволга — и смолкла.  
Вновь июль затеял духоту.  
Зацветает липа у проселка,  
Дух медовый слышен за версту.

Мы с женой рядком, как будто дети,  
Ветки гнем и дышим глубоко,  
Рвем пыльцой сорящие соцветья,  
Нам вдвоем отрадно и легко.

Рядом шмель всю давно хлопочет,  
Весь в пыльце, с утра он деловит,  
Медом тоже запасаться хочет,  
Улетит и снова прилетит.

Долго ли в работе перегреться!  
Лето-лекарь дарит нам рецепт:  
От простуды нету лучше средства,  
Чем июльской липы белый цвет.

Вот засушим пестики-тычинки —  
Будет нам добавка в чай зимой.

То-то славно — чашки по две чинно  
Выпить и распариться, как в зной,

И припомнить липу у проселка,  
Ложечкой в стакане шевеля,  
Иволгу, степную перепелку,  
Неба высь, гудение шмеля.

21 июля 2003 года.

## ТЫНДА. ЛУГОВАЯ, 1

Г. Кузьмину

Опять зима.  
Как больно ветер жжет!  
Калорий в теплотрассе не осталось.  
Кружит снежинка — водяная малость,  
Январь ее сурово бережет.

Мой дом в три слоя снегом занесен.  
Кого он греет в эту злую стужу?  
Кого, по тропке выпустив наружу,  
К исходу суток поджидает он?

Колючий воздух к Тынде заскользил,  
Он, словно выдох, бесконечно тяжек.  
Коробочка среди девятиэтажек —  
Мой старый дом...  
Неужто здесь я жил!

Вот в эти двери лысенький поэт  
Входил без стука, снег смахнув с ушанки,  
Чай с сухарями пил и воблу шамкал,  
Вина и пива не приемля, нет!

Потом мои тетрадки ворошил,  
Где от стихов давно в глазах рябило,  
И, варианты предлагая мило,  
Он без пощады строчки потрошил.

Нацеливая свой бельмастый глаз,  
Он бормотал: «Ну, накрутил, парнишка...»  
В суровой правке нарождалась книжка  
Без выпренности ложных и прикрас.

По мне проехал будто тяжкий трактор,  
Так ныло тело от работы той!  
Он был упорен в творчестве — крутой,  
Но справедливый, первый мой редактор.

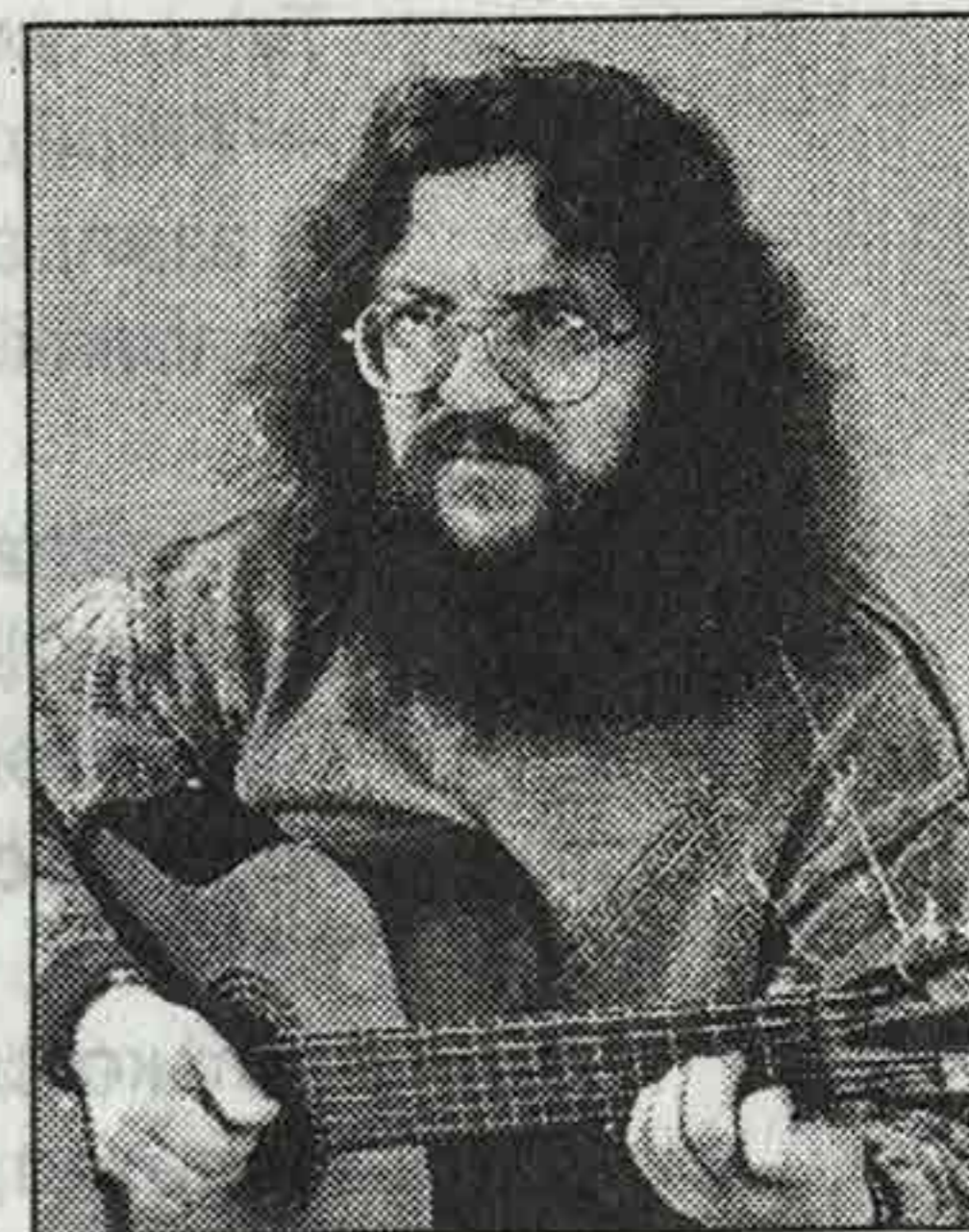
Вот эта книжка, тонкая, как лист,  
Что осенью с березы наземь ринул,  
С названьем немудрящим «Сентябрины» —  
Возьми ее, редактор-тракторист.

За ней пойдут другие, но пока  
Она мне жжет замерзшие ладони.  
Мы с нею нашу молодость догоним,  
Мы с ней удачу схватим за бока.

Ну, вот и все...  
О стенку головой  
Колотит ветер северный колючий.  
Поэт ушел и умер, невезучий,  
И я стою один на Луговой.

1979-2003





Александр Бобошко — член Союза писателей России. Он издал пять стихотворных сборников, хотя известен амурской публике в первую очередь в «устном варианте» — как бард, то есть исполнитель песен на собственные слова и музыку. И, возможно, это — рок. Рок не в смысле музыки, а в смысле судьбы.

\*\*\*

Мне приснился Ангел. Он сказал: «Живешь не так.  
Прескверно, что живешь в душе без Бога.  
Погряз в быту. Теперь ты не мечтательный чудак.  
На мир глядишь осмысленно и строго».

Сложил он крылья, в кресло сел, с ухмылкой произнес:  
«Тепло, уют в родных твоих пенатах.  
Но истину найти нельзя без горечи и слез,  
А что легко досталось, то не свято.

Когда последний раз ты в ветхом рубище продрог,  
Шел вопреки советам и наветам?  
Ты брать всегда стремился. Отдавать настанет срок,  
Что ты отдашь? Задумайся об этом.

Ты много на пути своем поставил разных вех.  
По совести скажи, гуляка-странник,  
Счастливей стал ли хоть один на свете человек  
От слов твоих и всех твоих деяний?

На родине твоей сейчас у власти Зло,  
И дьявол с шумом празднует победу.  
Не думай, будто сию чашу мимо пронесло.  
Беда, учти, как тень летит по следу.

Горишь как факел, борешься за торжество Добра  
Иль вянешь от позорного бессилья?» —  
Тут Ангел встал и, на часы взглянув, сказал: «Пора!»  
И к вылету в окно расправил крылья.

...Я долго слышал шелест крыльев в звездной вышине  
И сам себя спросил: «Скажи на милость,  
На самом деле Ангел приходил к тебе во сне,  
Или совесть в виде Ангела явилась?»

## ПАМЯТИ 118 МОРЯКОВ АТОМНОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ «КУРСК»

Над лесом, над полем, над морем-рекой  
Нарушило солнце дремучий покой.  
Проснулась Россия, зевает с утра.  
Мышиной возней заниматься пора.  
Устало в киоске зевнул киоскер.  
В свой офис барыга на «мерсе» попер.  
Сегодня он сделает кучу денег.  
А в лодке подводной ребята лежат.

Они не увидят зарю никогда.  
И сверху, и снизу, и сбоку вода.  
Напрасно стучать по обшивке ключом.  
Вверху услышать не хотят нипочем.  
Вверху в кабинетах за кресла борьба.  
До лампочки им затонувших судьба.  
Доренки, сванидзы шипят и визжат.  
А в лодке подводной ребята лежат.

И кто-то сорвет крупный денежный куш.  
Под траурный марш грянет радостный туш.  
Народ поворчит и по новой уснет,  
И даже во сне эту власть не ругнет.  
Неделя еще — и газеты молчок.  
Команда придет: «Прикусить язычок!  
Не лейте на Путина грязи ушат».  
...А в лодке подводной ребята лежат.

А матери плачут, немеют отцы.  
И лица чернее их, чем антрацит.  
Где были глаза, там зияет провал.  
Усиленно кто-то ребят добивал.  
Сегодня одних, завтра будут других.  
С шумихой, а также без громких шумих.  
Киркоровы вновь, орбакайты поют.  
А в лодке подводной ребята гниют.

Америка нас победила уже.  
Маячит Германия на рубеже.  
На Дальнем Востоке китайцы снуют.  
А в лодке подводной ребята гниют.

25 августа 2000 г.

## СУД ЛЮБИМЫХ ЖЕНЩИН

Сон приснился мне: сижу  
На скамье для подсудимых.  
В зале женщин толпы — жуть! —  
Мною ранее любимых.

Враз собрались вдруг они.  
Очень разные. При этом  
В их глазах блестят огни  
Нехорошим злобным светом.

Пот ручьем катит с лица,  
И мороз идет по коже.  
Слышу голос: «Подлеца  
Осудить как можно строже!»

Две охранницы в плечо  
Бьют меня: «Вставай, покаяйся.  
Развяжи-ка язычок.  
В преступлениях признавайся!

Все в подробностях сейчас  
(Хватит жить тебе беспечно)  
Расскажи, как бросил нас,  
Не связал судьбу навечно.

Для спасения, пойми,  
Шансов — минимум, отказник.  
Все же грех с души сними.  
Будет легче перед казнью».

Тут от ужаса я взвыл:  
— Перед казнью? Братцы, что вы?  
Я взаправду вас любил.  
Человек. Не шкаф дубовый.

Я страдал, лишался сна.  
Не мечтал мозги вам пудрить.  
Посмотрите — седина,  
Где как смоль чернели кудри.

Только слушать зал не стал,  
Налетел, хрипел, как коршун.  
Прокурор петлю достал,  
А вернее — прокурорша.

Тут вдруг женщина одна  
Закричала: «Вы сдурели!»



Татьяна Кравцова живет в Благовещенске.  
В альманахе «Приамурье» ее стихи печатаются впервые.

## Татьяна Кравцова

\*\*\*

Е.З.

Да, я знаю, это не любовь!  
О любви с тобой не может быть и речи.  
Только нервно бьется в жилах кровь  
В наши редкие коротенькие встречи.  
Мы с тобой встречаемся тайком,  
Урывая время, место, ласки.  
Мне с тобою, как ни с кем, легко,  
Я с тобою не боюсь огласки.  
Да, я знаю, это ерунда —  
Ничего не значащие фразы.  
Я за эти долгие года  
О тебе не вспомнила ни разу.  
Но сквозь время ты приходишь вновь —  
Моя боль, которую не лечат.  
Моя грешная и тайная любовь,  
Каждый раз всего на один вечер.

\*\*\*

А кто не видел, как небо плачет?  
А кто сказал, что луна нема?  
А кто придумал солнечный зайчик?  
Я ж не могла так сойти с ума!

### ВОЕННЫЙ СИНДРОМ

Вы вышли из войны.  
Не всем пришлось вернуться.  
Кому-то в мирной жизни места нет.  
Кого-то блеск луны  
Заставит содрогнуться,  
Как самый яркий, нестерпимый свет.  
А кто-то и во сне  
Все так же рвется в бой  
И видит лица тех, с кем переписки нет.  
Оставшись на войне,  
Вам хочется домой,  
Хотя вы дома уже много лет.

\*\*\*

Изо всех погод на свете	<i>Ветер</i>
Я люблю такую.	<i>Дует</i>
По земле остывшей	<i>Слышу</i>
Мы пройдемся вместе,	<i>Песня</i>
Вспомним горечь лета,	<i>Это</i>
Где любовь осталась.	<i>Аист</i>
Все прошло, не спорю,	<i>Вторит</i>
Наша песня спета.	<i>Ветру.</i>

\*\*\*

Мужу Володе

Не снись, не тревожь, не печаль...  
Душа от усталости плачет.  
А все ведь могло быть иначе.  
Не снись, не тревожь, не печаль...  
Зачем? Почему? Отчего?  
А сердце не знает покоя.  
Ну кто ему тайну откроет —  
Зачем, почему, отчего.  
Минуты, недели, года...  
Печаль не устанет вовеки.  
Слезамы становятся реки.  
Минуты, недели, года...  
Пойми, не забудь, отпусти.  
Тоска поет грустные песни.  
Ты в сыне нашем воскресни,  
Пойми, не забудь и прости.

\*\*\*

Р. К.

Гроза грозилась раздрызгать в клочья  
 Остатки неба и часть земли.  
 Я умываюсь дождями, ночью  
 Забыть пытаюсь глаза твои.  
 А гром ругался, как старый дворник,  
 Взрываясь эхом: мать-перемать!  
 Я точно знала, что в этот вторник  
 Ты, как и я, не можешь спать.  
 А дождь в истерике бил по крыше,  
 Слезу случайную смыл с щеки.  
 Жаль только, в сердце осталось — слышишь? —  
 Прикосновенье твоей руки.

\*\*\*

Не стоит хранить память  
 Ни в письмах, ни в фото.  
 А люди уйдут сами,  
 Кто в гости, кто на работу.  
 Прочтешь иногда строки —  
 Как в душу положишь камень.  
 Не много от этого проку,  
 Не стоит хранить память.

\*\*\*

Корявые стихи. Творения.  
 Кому они нужны теперь?  
 Как не хватало нам терпения...  
 Теперь навек закрыта дверь,  
 И нет ключей, они потеряны.  
 Я виновата пред тобой.  
 Нам, гордым, не хватало времени  
 Восстановить свою любовь.  
 Теперь тебе не это главное,  
 И мне одной столетия жить,  
 Как в наказание, забавные,  
 Ненужные стихи творить.

\*\*\*

Я отдавалась горько, как рабыня,  
 Я целовала смело, как могла.  
 Среди людей стояла, как в пустыне,  
 Была на воле в клетке из стекла.  
 Рвала одежды, не стыдилась неги,  
 Ревела в голос, но не в этом суть:  
 Я босиком по углям, как по снегу,  
 Шла первый раз в последний путь.

\*\*\*

Я в воду смотрюсь, как в зеркало.  
 Мое отраженье рябит...  
 Топиться не буду. Мелко тут,  
 И грустно под тенью раки.  
 Чуть слышно рыбешка плещется.  
 На том берегу реки  
 Костер еле-еле теплится —  
 Наверное, рыбаки.  
 Река напевает шепотом  
 Русалочью песню мне.  
 И с тихим, печальным топотом  
 В ночное ведут коней.  
 И лишь соловьи встревоженно  
 Поют над ночной рекой.  
 Наверное, так положено —  
 Не нарушать покой.

\*\*\*

Не запрещайте мне ошибки делать,  
 Я на ошибках жизнь учу.  
 Мне захотелось — я разделась,  
 Хочу молчать — молчу.  
 Не запрещайте мне ночами шляться,  
 Я только ночью начинаю жить.  
 Когда смешно — хочу смеяться,  
 А если больно — в голос выть.  
 Не запрещайте мне любить по-русски  
 И не учите меня слову «нет».  
 Я лучше водки, без закуски,  
 Хлебну. И наложу запрет  
 Сама себе на зовы плоти.  
 Хочу грустить — и я грущу.  
 Чтобы потом, на повороте,  
 Сказать: вернись, я все прощу...

\*\*\*

Не стучите в мои окна,  
 Они спят.  
 В них давно устали стекла,  
 Не звенят.  
 В них давно не смотрит ветер,  
 Он затих.  
 Я пишу при лунном свете  
 Этот стих.  
 И замок дверной давненько  
 Заржавел,  
 И звонок устало тенькать  
 Расхотел.  
 И в моей пустой прихожей  
 Гаснет свет.  
 Тишина врастает в кожу  
 Сотни лет.  
 Не могу решить задачу,  
 Тянет в сон.  
 Некому будить от спячки  
 Этот дом.

### ТРАМВАЙНАЯ ИСТОРИЯ

Летели по небу трамваи  
 Плотной гудящей стаей.  
 А внизу всё стояли люди  
 И смотрели, что дальше будет.

А трамваи вили гнезда,  
 Вместо прутьев используя звезды.  
 А внизу всё стояли люди  
 И смотрели, что дальше будет.

А трамваи свадьбы играли  
 И трамвайных детей рожали.  
 А внизу всё стояли люди  
 И смотрели, что дальше будет.

А трамвайчики в школу ходили,  
 Вырастали, летали, любили.  
 А внизу всё стояли люди  
 И смотрели, что дальше будет.

Они думали в небо подняться,  
 Чтобы жить, как эти трамваи...  
 И старались от рельс оторваться,  
 Только их провода не пускали.

Инга Соколова — человек без правил. В течение нескольких лет редакция альманаха «Приамурье» простодушно считала ее поэтессой — и только. Автором хороших стихотворений, печатавшихся в «Приамурье» за 1998-й, 2000-й и 2001 год. А недавно выяснилось, что она и керамикой занимается, причем лепит не только предметы обиходной посуды (это бы еще ладно — не боги горшки обжигают), но и всяческие фигурки хохмачных человечков, причем раскрашенные. И имеющие спрос даже в Японии.

Согласитесь, что поэты так не поступают.

Можно, конечно, извинить поэта, который случайно залез в глину (по-научному — в керамику). Но Инга взяла да залезла еще и в прозу. Фантастическую. Инга, ты нас хоть предупреждай...



### Фантастический рассказ

## ТОЧКА СОПРИКОСНОВЕНИЯ

Толик медленно поднялся. В голове зашумело, а потом наплыло знакомое чувство: тело плавилось, что-то неосознанно окутало его, страх знакомым зверьком вгрызался под ребра. Звуки всегда начинали слышаться позади, чаще всего это были шаги — сухие, морозящие душу, ближе и ближе...

Кто-то гладил его затылок, а потом он дико закричал от боли, потому что этот кто-то рванул за волосы и опрокинул навзничь — мое тело.

Я не думал, я не жил, вообще не было понятия «я». На самых кончиках заостренных чувств — одно: свернуться калачиком и молиться.

Изнутри рождался вой. Ы-ы-ы-ы-ы-а-а-а-а-а! Корежило. Крутило. Сминало и корчило. А-а-а-а!

Серые тени мелькали перед глазами, плясали и кружились рядом. Тошнило. Особенно, когда один силуэт оказался — мной, поднявшимся и ... застывшим.

Это началось. Или продолжалось? Или уже было?

Лицо друга потекло на мои ладони.

— Старая башня, ве-е-етхая, — заскрипел кто-то хитрым противным голоском.

Ух!

Толик зашатался, тряхнул головой, ушло.

Часто заморгал, вздохнул с натяжкой, хотя сердце вроде не колотилось, бешено, а ровно.

Вот дела. Опять это было. Толик отряхнул пыль с колен, оглянулся, никого. Пошел.

Блин, упал, называется, башню сорвало. Стоп.

Парень остановился, что-то там про башню... Обычно Толик не помнил большей половины всего, что с ним происходило в таких нашествиях.

Так — ага! Лицо друга и... и что-то про старую башню. Черт. Впечатления от этого нашествия остались в памяти смутным, тревожным осадком. Что-то будет, что-то будет. Но что?

Толик достал из барсетки телефонную карту и, заметив на стене дома телефон, быстрым шагом направился к нему. Гудки шли длинные. Неужели нет дома? Для работы поздновато. Парень прищурился на закат. Ну же, Юрка! Что он там про калым на стройке брякал?

Мимо по крепко вспоминаемым колдобинам прогрохотал троллейбус. Успею.

Толик бросился к остановке и чуть ли не на ходу вскочил на подножку. Сверху презрительно-недоверчивым взглядом на него смотрела старушка-кондуктор: «Оплату за проезд готовим заранее».

Резануло знакомым скрипучим голоском из нашествия. Толик поморщился, протянул сторублевку. Бабулька нервно дернулась, и сторублевка хрустнула пополам.

«Я такие деньги не принимаю». О люди! На! Благо пять рублей железных за подклад рваного кармана завалились. И на выход.

Бетонный забор стройки.

— Эй, есть кто?

— А кто нужен? — из ржавого вагончика выглянула недовольная, давно не бритая морда. Пахнуло перегаром.

— Э-э... Юрий Сомов здесь?

— А чо? — Глазки, в три карата, на небритости, мелко заморгали и забегали.

— Где он? — Сердце гулко забилося, и скулы невольно задвигались. Что-то не-то здесь. — Ты... гад, отвечай, где Юрка, быстрее...

— Ой!

До чего же омерзительно выгядел тип, висящий в крепко стиснутой руке (не зря ли вытащил его из вагончика?).

— Да отвечай же ты!

— Отпусти-и-и! — заныл, задергался серый ватник. — Вон там Юрик твой...

Рукой он указал на старую многоэтажку, полуразрушенную, готовящуюся к сносу, одна сторона которой еще держалась. Странно смотрелся чудом уцелевший кусок третьего этажа, нависший над обвалившимися нижними.

Бомжеватого вида сторож бодренько отряхнулся и, юркнув за дверь, сказал оттуда:

— Вона, в той башне сидит. Чо сидит — хрен его знает. Залез и сидит.

Ах, ты! Толика передернуло, «башня ветхая, старая», ах, ты, будь она неладна. Прыжками одолел первые этажи. Тихо. Постоял, прислушался. Точно, наверху, наискосок, оттуда, тихий царапающий звук. Во, блин. Как же туда? А вот и лестница, потихоньку, полегоньку, так, так, опа. Есть. Полное дерьмо. Завал. А руки уже разгребали: доски, кирпичи, куски обвалившейся штукатурки. Образовалась дыра, хватит, пролезть можно. В горле першит от белой известковой пыли.

— Юрка! Ты где?

— Толька, ты? Ты лучше ползи отсюда, тут немного надо.

— Что ты дурь мелешь, дурак. Ты сюда давай, подгребай быстреей.

— Да, не могу я, они мне руки за спиной связали и кинули с размаху, ха, думал, сразу рухнет.

Толик медленно шарил руками, пока не наткнулся на Юркину ногу.

— Ну, браток, тянуть буду, получится?

— Да тyani...

Толик потянул, но без толку.

— А ты бабуку позови, — хмыкнул Юрка.

— Какую бабуку?

— Тянуть репку.

— Ты, блин, репка хренова, еще шутишь!

— Эх, перед смертью... погоди, Толик, щас, извернусь малость, зацепился за что-то... Тyani.

Что-то, загремев, поползло по стене. Толик заорал и изо всех сил дернул на себя худые Юркины ноги. Как он вытащил Юрку из завала и бежал, неся на себе его тощее длинное тело по гулкой лестнице, Толик не помнил. Уже отбежав на

приличное расстояние от рухнувшей «башни», он шумно дышал и испуганно смотрел на Юрку, недвижно лежащего на земле.

— О-о-о, — застонал потерпевший, растирая затекшие запястья. — Ну, ты медведь. Не мог полегче нести, всю душу растряс. — Юркин глаз хитро посмотрел на Толика. Оба были бело-чумазо-серые от известки.

— Ха! Карикатура! — заржал Юрка. А следом подхватил Толик: — Умора!

Как они ни стучались в вагончик, глухо. Сторож заперся изнутри и ни гу-гу.

— Да, ну его...

Сидя на пружинистом древнем диване в маленькой уютной однокомнатной квартирке Юрика, отважные, brave парни, классные пацаны и просто хорошие люди...

...короче, были они на седьмом небе от собственной мужественности. Пили кипяточек. Склеили рваную сторублевку и рванули в ближайший киоск за пивом. Сели на лавочку.

Как оказалось, Юрику знакомый предложил подкалымить на стройке сторожем, а какой бедный студент откажется. Только вот не понял студент, что калымят на стройке и по-другому, продавая строительные материалы, чутко «хранимые» ради вымы сторожами. А не понял, хоть не мешай, а мешаешь — в общем, скрутили Юрика, а дальше...

— Толик...

— Да?

— У тебя опять было? Иначе как ты узнал?

Толик посмотрел на темное заоблачное небо, глубоко вздохнул:

— Было. Хорошо, хоть ты, Юрка, все правильно понимаешь. Одному ведь и с ума сойти недолго.

...Когда же это было первый раз? Толком и не вспомнишь. Странные воспоминания родом из детства. Пугали домовым, а вот однажды Толик его увидел, не страшный старик, все больше в тени держался и охал протяжно. Бабушка как-то рассказывала о своей свадьбе, шумная, веселая свадьба была. Летней, душной ночью, пацаненком еще, выбежал по нужде, глядь, а по огороду тетки с мужиками пляшут. Вот диво, смотрит, бабушка среди них, молодая, глаза искрятся, знакомые такие, только что не такие усталые. Красивый на ней сарафан, особенно платок запомнился, с красными маками. Еще бы смотрел на бабушку, да невтерпеж было. Утром расспрашивал бабушку про людей, что на огороде выплясывали. «Приснилось тебе», — говорит. «Как же приснилось, если и ты, бабушка, там была, на тебе еще платок с маками был». Бабушка промолчала. Потом уже, много позже, перебирая старые фотографии, наткнулся Толик на один выцветший снимок, улыбаясь с которого, смотрела на него бабушка. Не такая молодая, как тогда привиделось, но в том же платке маковым.

Дальше — хуже. Не часто, но регулярно. Накатывало. Обычно перед сном. Вернее, между сном и явью. Думал, снится. Не верил.

Девятнадцать лет. Уже года два с последнего нашествия, подзабывать стал. Познакомился с девчонкой. Снял комнату в секционной общаге. Взрослый, сильный, сероглазо-квадратный, мышцы подкачал, ходил тогда на тренировки по кикбоксингу.

Классно! На драке, особенно спарринг нравился, круто, за десять минут боя выжимаешь из себя все, а пропустил — лови! Из носа юшка. Зато бодрость такая чувствуется, эмоциональное напряжение — ноль. Мир, я тебя люблю! Даже секс — не то. В том смысле, что сила после тренировок чувствуется, а после секса даже бодрость какая-то размытая.

Тогда, если вспомнить поточнее, Ольга ушла на занятия, а я высыпался после ночной смены, тоже студентом подрабатывал. Благо, учились на одном курсе, можно было одними лекциями пользоваться (что я и делал). Сплю, вдруг слышу, дверь хлопнула. Потом легко так в лицо подуло. Улыбаюсь, Ольга балуется. Руки ее на лице чувствую, прохладные. Гладит и смеется. Только все это нереально как-то, словно что-то искусственное во всем этом, фальшивое. И смех ее — нехороший.

Дальше... Глаза открыл — нет никого, закрываю — руки чувствую. Вскочил на постели, резко, и начало мутить, ком-

ната поплыла, пятнами. Меня в дрожь бросило. Вдруг вижу, Ольга в углу комнаты стоит, лицо неприятное, искривленное. Чувствую, больно ей и стыдно. Стонет и хрипит мне: не ты... не ты...

Помню, как второпях оделся и бежал по улице, как рвало под кустом сирени. В больницу меня пустили за вид мой бледный, медсестра начала давление мерить, а я рвусь из кабинета, наверх. Там ведь, на втором этаже... не стало нашего ребенка.

Может, я шизофреник. Ходил к знакомому профессору, душевно с ним поговорили, тесты порешали, картинки посмотрели, анализы там, шизоскопия и т.д. Нет, говорит, живи на свободе, не буйась токмо. Сказал, чувствительный я очень, мозг сканирует информацию: мимику, жесты, слова, намеки — и выдает во сне результат. Гуляй, Вася.

А с Ольгой я не смог дальше быть. Она не сильно и горевала. Не я — ее идеал. Так вот.

Толик сидел, задумчиво пиная лысый одуванчик. Юрка искоса поглядывал на друга:

— Слушай, пятикурсник, не нагоняй тоску.

— Не, Юрка, это не тоска. Это, второкурсник, я вспоминаю, как тяжело пахли твои двухнедельные потники, когда я таскал тебя из завала.

— Гони!?

— Да-да! А ты думаешь, как я тебя нашел? По ним же, по носкам с носкаинном.

Юрка фыркнул.

— Между прочим, нюхач, теория есть.

— Какая по счету?

— Да ладно ты! Это та же, но усовершенствованная.

— Рассказывай, философ.

— Слушай, скептик. В общем, ну, как бы сказать... Это... ты песню помнишь — «миг между прошлым и будущим»?

— А то! Щас споем.

— Не перебивай. С мысли сбиваешь. В общем, все люди живут в этом миге, или этим мигом. Ну, этот миг и есть наше сознание. То есть разум существует только сейчас, сознание возможно только в этой точке — точке настоящего. Между прошлым и будущим. А тело охватывает больше точек соприкосновения с мирами, чем охватывает наше сознание. Поэтому ты не все помнишь, далеко не все, и когда выныриваешь оттуда, ты начинаешь действовать, а не размышлять о том, что привиделось. В общем, ты умеешь проваливаться в другие точки соприкосновения с мирами. Даже не само сознание это делает, а нечто большее, чем определение «Я». Может, с тобой происходит совсем не то, что ты потом можешь вспомнить. Просто твое сознание подбирает образы потом, после нашествия, или во время его, чтобы не свихнуться.

— Спасибо, утешил. Неужели я настолько дефективный?

— Ты что? Наоборот — это здорово. Другие миры.

— Так я же не контролирую там ничего, и страшно знаешь как.

— Ты же говорил, что там есть «помогайка»?

— Есть и «помогайка», и «страшилка». Помнишь, рассказывал, чуть не помер.

— Помню... А все-таки, Толик, ты меня сегодня от смерти спас, потому... И здорово это!

— Эх, Юрка! А ведь здорово жить — здесь! В нашем мире. В этой точке соприкосновения. Да?

— Ага!

Звездное небо рассыпалось над ними мерцающей, неведомой тайной.

# Людмила Зелюченко

Людмила Зелюченко родилась в Благовещенске. Почти вся жизнь ее прошла в Магадане, хотя один год она прожила на Кавказе, в Ереване, где совершенствовалась в своей основной, теперь уже каким-то образом никому не нужной профессии модельера-обувщика. Сейчас снова в Благовещенске. Живет трудно, но пишет. Печаталась в городских газетах и в альманахе «Приамурье» за 2001 год.

Помнится, представляя ее стихотворения, мы полушутя сравнили их с картинами художника Нико Пиросманишвили. В том смысле, что они хоть и не вполне умелые, но какие-то необъяснимо притягательные. Она же, не вникая в наши иронические изыски, принесла в редакцию маленький шедевр «Пиросмани», который вы здесь и найдете, среди прочих ее простых и искренних вещей.

Да, Людмила, наверное, не умеет писать стихи профессионально. Но дай Бог каждому из нас такую непосредственность и непосредственность взгляда на мир — то, что при желании можно назвать всего лишь неумением.



## КРЕСТ МОЙ — РОССИЯ

Снова болит  
Сердце в степи,  
От закатного солнца  
Мне не уйти.

Что-то тут есть,  
До грусти понятное —  
И дедовский крест,  
И тоска необъятная.

Кустик колючий,  
Терновник густой,  
Черные тучи,  
Колодец пустой.

Крест мой — Россия,  
Цветок темно-синий.

Страдаем и любим,  
Жалеем и губим,  
И нет середины  
До самой кончины.

## ЗАМОК

Старинный замок. Тени  
В причудливом сплетенье.  
Свет камина. Треск огня.  
Он так манит меня.  
Присядешь в кресле,  
Пыльном чуть.  
Уютно очень, если  
Горячий грог хлебнуть,  
В огонь смотря, вздохнуть,  
Вести неспешный разговор  
С любимым другом  
Давних-давних пор,  
Бокала с тонким ободком  
Слегка касаясь  
И улыбаясь  
с холодком.

## МАРТ

Тот март позабыть  
И днем тем не жить  
Никогда не смогу,  
Никогда бы не смог.

Там, на талом снегу,  
Там, на талом снегу  
Следы твоих ног.

И обожжет вдруг нечаянно  
Взгляд твой отчаянный,

Что бросила ты, уходя,  
Зная все загодя.

Подснежник тот синий  
На первой проталине,  
Чарующий иней  
Весенней прогалины...

## ПИРОСМАНИ

В день осенний  
За стакан вина  
Заплатил жирафом —  
Клеенкой со стола.

И духанщик старый,  
В морщинах, усталый,  
Унес ту клеенку.  
Молча смотрел  
Нико вдогонку.

Без чохи, папахи,  
За спину держась,  
В простой был рубахе,  
Друзья звали — Князь.

## ОСЕНЬ

Та осень сорвалась  
Пантерою черной,  
Дождем заметалась  
Бесшабашно и вольно.  
Была ты сама не своя,  
Еще не чужая —  
Уже не моя.  
Капли неистово  
Бились в окно,  
И верил я истоиво  
Только в одно.  
В тонкие руки  
И в омуты глаз,  
Той осени звуки  
Врезались в нас.  
И я не заметил,  
Не понял тогда,  
Что теряю навеки  
Тебя навсегда.  
Переливы свечей  
Тех давних ночей,  
Нежность твоя  
Сводили с ума.  
По лесам заметалась  
Бесшабашно и вольно,  
Та осень сорвалась  
пантерою черной.

## ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН

То был просто туман  
С чарующим светом,  
То был просто роман  
Деревенским летом.

Сплетались цветы полевые  
В мареве этом звенящем,  
Замерли пчелы, как неживые,  
В воздухе этом пьянящем.

Смотрел, улыбаясь слегка,  
Такой незнакомый и близкий.  
Светлая прядь так мягка,  
Подстрижены волосы низко.

И в глубины тех глаз  
Шагнула не рассуждая.  
Благословен был час,  
Сердце томилось и ожидало.

Зори всходили и опадали  
Алым и редкостным цветом,  
И боги не дали  
Забыть это лето.

\*\*\*

В лесу мокро от рос.  
И ночь. И золото берез.  
И лист блестит от фар.  
В душе твоей пожар.  
Стелилась мягко лебеда.  
Все было, было, да!..

И был подарком вечер,  
И пусть не гаснут свечи  
Цветов осенних на ветру.  
Твое лицо я не сотру.

Оно так четко, как камей.  
Его забыть я не сумею.

Ладонь мокра от рос.  
И ночь. И золото берез.

## АРМСТРОНГ

Фиолетово-черный от света неона,  
Держишь трубу саксофона.  
Губы распухли, болят.  
«Люди, для вас! — говорят  
Глаза, веками полуприкрытые, —  
Мелодии эти полузабытые».  
В ладоши зал бьет,  
Закончил — и каплями пот  
Заблестел, как алмаз.  
Люди, для вас!

## ЭТЮД

Серые кони в рыжей степи,  
Следом погоня,  
И нам не уйти.

А день угасает,  
Темнеет слегка.  
Упрямо держаться  
Устала рука.

Осталась надежда —  
Тьма сохранит.  
Пуля со свистом  
Вдали пролетит.

## ТАВЕРНА

Стряхну-ка пыль я бытия,  
Словно я уже не я.  
Зайду в порту в таверну  
Замшелую — от старости, наверно.  
И бармен, одноглазый, как пират,  
Вина нальет и будет рад  
Гостям. И кружки в ряд  
На влажных бочках  
В вишневых винных точках.  
Прохладой веет из подвала,  
И голоса гудят из зала  
С низким потолком  
С гортанным говорком.  
И скрипка старого цыгана  
Поет и плачет без обмана,  
И боцман задымил сигарой,  
И закружилась чья-то пара.

## В. А. РОСТОКИНУ

Который день,  
Который час,  
Я все гляжу,  
Гляжу на вас.

На ваши волосы  
Густые,  
Под шляпой серую  
Седые.

Кого вы ждете у метро?  
Стоите вы давно,  
Поднявши воротник,  
Как ваш двойник  
В витрине, что напротив  
Кафе, где свет и люди.

Скажите, сколько будет  
Мучить вас та,  
Кого вы ждете  
В этот час.

А может, вас забыли,  
Из памяти навечно смыли,  
И женщине какой-то все равно,  
Что ждете вы ее давно.  
Ее не ранит ваша боль.  
И в этом жизни соль.

## КАБАРЕ

Поет певица в кабаре,  
С лиловой лентой шляпа,  
И кто-то плачет на заре,  
Беря пальто из драпа,  
Глаз стыдливо прикрывая.

А сердце поет, не желая  
Забытья, покоя.

Милый, что такое?  
Что же вспомнил ты?

Тонкий профиль и черты,  
Предрассветный холод  
В зале темноватом.  
Был ты глуп и молод  
В прощанье жестковатом.

Только и осталось,  
Только и досталось —  
Стакан вина в немецком кабаре  
И эта песня на заре.



Галина Беляничева — член Союза писателей России и, пожалуй, один из самых продуктивных амурских прозаиков. В частности, в альманахе «Приамурье» в последние годы печатались большая подборка ее рассказов из цикла «Поселок Аэропорт» (1995), фантастическая повесть «Увольнительная с того света» (1997) и повесть «Дневник Хромоножки» (2000).

У Беляничевой весьма своеобразное видение мира. Она пишет о современности, все детали и события вполне реалистичны и узнаваемы. Однако в самой подаче, в трактовке этих узнаваемых реалий есть что-то неуловимо сказочное. К тому же у нее непременно встретишь персонажей, которые явно не от мира сего — и вообще непонятно, как они тут очутились. Сначала поглядываешь на них обескураженно и с холодком, но потом оттаиваешь, без сопротивления погружаясь в эту созданную писательницей «жизнь со сдвигом».

## Повесть

# СТЕПЬ И ТАБУН

## Сельские хроники

С правого берега Великую реку теснит гряда сопок, в паводки заставляя ее воды выплескиваться на левую сторону. За тысячелетия Великая река намыла по левому берегу широкую долину, отодвинув на край ее горный хребет и создав широкий проход для успокоения своего буйства. Теперь по левому берегу от русла и до приземистого горного массива расстилается низкая равнина с лугами, полями, лесками, речными протоками и ясными, как глаза, озерами.

В двадцатикилометровой промежутке между селами Ипатьево и Матвеево долину повдоль разрезает идущая в верховья реки автомобильная дорога, местами открытая, местами обсаженная тополями.

Осенью равнина затягивается бурой, густой, как медведья шуба, травой. Кудлатые бурьяны — это все, что за последнее время производит степное пространство. Жесткие и колючие стебли захватили пастбище бывшего ипатьевского совхозного стада, которого больше нет, ипатьевские зерновые поля, которые больше не засеваются, окружили кочковатой щетиной озера, в которых после двух-трех проходов сетями не остается рыбы.

Солнечным октябрьским деньком, которые на Амуре до бескрайности растягивают бабье лето, на дороге остановился синий джип. Из него вышел невысокий поджарый человек с волевым узким лицом, карими глазами и светлыми шершавыми усиками под прямым хищноватым носом. Он обвел взглядом равнину, гревшую на припеке коричневыми, в оттенках, меха. Быстрые глаза его не упустили ни одну из красот торжествующего в беззаботности и лени пространства. Хищноватый нос наблюдавшего удовлетворенно подергался, и человек, словно ставя точку на всех предыдущих исканиях, решенно сказал:

— Вот эта степь! И здесь будет табун!

Сказав такие слова, человек вошел в траву. Спелые семена упали на штанины светлых, хорошо отглаженных брюк, а носки зеркально блестящих туфель замутились пыльным налетом.

Человек рассмеялся, оглядев штанины, и легкой, сухощавой рукой обтряс с них колючки.

### Глава I.

#### Развалины животноводческого городка

В погоде и окружающей обстановке ничего не переменилось, когда на другой день на вершине спуска к речке Синюшке и селу Ипатьеву появился знакомый джип. Вел его все тот же худощавый незнакомец со светлыми усиками. Рядом сидел черноусый вальяжный красавец с редкими серебряными нитями в черной густой шевелюре, с масляно-карими глазами и начавшим слегка оплывать гладким и свежим лицом.

Светлоусого эти места видели во второй раз. Черноусого эти места хорошо знали как Геннадия Андреевича Лудова, в

прошлом директора пригородного совхоза, в который входило село Ипатьево, а ныне председателя подгородного товарищества, которое отлепилось от Ипатьева, но по-прежнему владело в селе и вокруг него бывшей совхозной собственностью.

Джип скатился с горы, прошел по мосту через реку Синюшку и, не подымаясь в деревню, направился по обходящей Ипатьево дороге.

Светлоусый скосил глаз на мрачный силуэт деревянной церквушки, похожей на почерневшую с горя вдовицу, на стоявшую позади нее новенькую часовню с серебряной маковой и, ничего не спросив, повел машину дальше.

В конце Ипатьева из села к трассе выбежала, перекрещивалась с нею и продолжалась дальше проселочная дорога, уходившая к плохо видимым из-за кустарника дальним строениям. Ведущий машину вопросительно глянул на пассажира, но, так как тот не подал знака, проехал по шоссе дальше.

Трасса по дуге обогнула заросли кустарников, и перед едущими открылся бывший животноводческий городок, вернее, то, что от него осталось. В этом месте от трассы к городку шла насыпная дорога, и светлоусый, не дожидаясь команды черноусого, на нее свернул.

Джип потащился по колдобинам, где возможно — объезжая, где невозможно — вползая в яму, так как дорога была порушена не меньше, чем сам городок, как будто и из нее тоже выдирали кусками грунт. Подступавшие к дороге приземистые бетонно-кирпичные коровники стояли не то чтобы обобранными до нитки — они были оголены целыми пролетами. Вся деревянная и металлическая оснастка — рамы, косяки, двери, перегородки, каркасы крыши и кровля — все было содрано и унесено. Кое-где сняты потолочные плиты. От оборудования не осталось и следа. Уцелели бетонные пролеты и куски кирпичной кладки, которую невозможно было разбить. Внутри и снаружи строений возвышались кучи битого мусора, валялись обрушенные балки, змеями подымались концы металлических тросов. Разоренные помещения зияли пустыми глазницами окон, провалами в стенах, дырами в потолках.

Светлоусый поворачивал голову вправо и влево — везде были разрушения одинаковой силы.

— У вас тут что, Мамай прошел? — мрачно спросил он.

— Кое-что мы сняли, остальное население растащило. Деревня-то рядом, — до равнодушия спокойно объяснил бывший директор.

Лицо светлоусого нервно вытянулось. Его ошеломила картина бессмысленного уничтожения. «Ну, Леня Оруджий, куда тебя занесло?» — мысленно посочувствовал он себе.

Посаженный в степи животноводческий городок, не испытывая недостатка в пространстве, разросся широко и вольготно. Коровники отстояли на почтительном расстоянии друг от друга. Против них, через пересекавшую городок дорогу, располагались цеха переработки и кормоприготовления, инженерные сооружения, служебные помещения. Чтобы обойти все, понадобилось бы время. И ничто, кроме водонапорной башни, из сооруженного не уцелело, если не в полном, то



хотя бы в более или менее пристойном виде.

Джип пересек городок до конца и на дальнем краю остановился. Светлоусый, выйдя из него, повел вокруг медленным взглядом. Лудов тоже вылез и в ленивом ожидании наблюдал за действиями возможного покупателя останков животноводческого комплекса.

В обвальные годы Лудов навиделся всякого промышленного люда, пытавшегося отхватить изрядный кус бывшего совхозного богатства. В качестве директора он получил от предшественника доброе наследство, полегонечку его спускал, отказываясь от обременительных деревень, разорительных производств, облегчая тем жизнь себе как администратору и наращивая личное благосостояние. Его не свербил разорение Ипатьевского молочного комплекса. Разворовывать его начали, еще когда он действовал. Лудов несколько раз пытался закрыть ферму, где работала половина деревни. Каждый раз общим собранием деревня ферму отстаивала, обещая хранить, а на самом деле продолжала обворовывать. Чего только не предпринимал Лудов: убеждал людей, менял сторожей, насылал проверки, устраивал облавы — ничто не шло на пользу: корма проедались, надои падали. Когда они упали до 600 граммов от коровы в сутки, Лудов придумал способ, чем взять деревню. Он предложил работающим на ферме разобрать по дворам часть стада как долю, причитающуюся при выходе из совхоза, на что люди с готовностью согласились. Остальных коров он вывез на центральную усадьбу. Так с воровской фермой было покончено.

И все-таки бывшего директору обескураживала скорость, с какой ее растащили, не посчитавшись с тем, что она долгие годы кормила целую деревню.

Перестав сожалеть о потере, Лудов тем не менее воспрянул духом, когда к нему в контору заявился посетитель, назвавший себя Иваном Степановичем Семачим и изложивший свои намерения.

Греясь на солнышке у машины, Лудов поглядывал, как тот осматривает развалины, и думал почему-то не о своей пользе, а о рискованной заманчивости чужой затеи. Сам Лудов, развежившийся на добром наследстве, ленился что-либо дополнительное предпринимать, но энергия других щекотала ему нервы. Всякий раз, заводя дело с кем-то из новых, он мысленно предсказывал тому успех или проигрыш и редко ошибался. Этот новоявленный коневод был, несомненно, романтиком. Ни знаний у него, ни навыков — одна идея и деньги. Как романтику ему положено понапрасну известить свои капиталы. Но выйдет ли именно так, Лудов воздерживался от вывода. Идея ему нравилась, человек тоже. Похоже, что мечта у него не блажь, а окрыляющая сила. Плохо, что человек городской, по-столичному шикарный, — для фермы, пусть и коневодческой, не совсем соответствует. Однако в нем угадывается приобретенный на иной почве опыт, твердость и воля. Такой может поставить дело. Если приглядеться, у приезжего вкрадчивая казачья походка, точно хищный зверек, на мысках ходит. Городской-то он городской, а корешок, должно быть, деревенский или, того паче, станичный.

Денек играл расцвеченными солнцем красками осени. Лудов разморился на пригреве. Его карие маслянистые глаза сонливо смеживались и все ленивей следили за перемещениями франтоватого предпринимателя.

Того, видимо, заинтересовали два последних коровника. Голубая, с белыми отворотами, куртка новоявленного фермера мелькала то в пробоине стены, то в пролете строения и невольно перевела размышления Лудова на себя. Мысленно он уже ее примерил и увидел себя, похожего в ней на огузную и усатую снегурку. Будь курточка потемней цветом и без белых отворотов — ему бы тоже пошла. Кожа у нее мягкая, добротной выделки. А этот новый русский в ней как перышко и на снегурочку не похож. Да-а, птица нездешнего полета.

Приезжий повернул к водонапорной башне. Сбросив сонливость, Лудов поплелся туда же. Водонапорная башня уцелела от разгрома, и у бывшего директора были кое-какие советы по ее использованию.

Пока они разговаривали, стоя у основания круглой постройки из красного кирпича, с серебряной обшивкой верха, не содранной лишь потому, что никто не мог до нее добраться, из-за коровников со стороны деревни вышел здоровенный

мужик в распахнутой куртке и полосатой тельняшке. Оглядев синий джип, здоровяк увидел беседовавшего в стороне с кем-то неизвестным бывшего совхозного директора и повернул к ним.

— Здорово, Геннадий Андреич, — прогудел он за спиной у говоривших.

— Те обернулись.

— А, Константин Игнатьич, день добрый, — кивнул здоровяку Лудов. — Ты чего тут? Или не все взял?

— Чего тут уже брать, кроме гольных опор? — округлил тот оловянного цвета глаза.

— Тебе, богатырю, и опоры нипочем.

— Да на что они мне? Не дворец ставить! Пусть тут торчат памятником нашему руководству.

— А это врешь, Константин, — памятником деревенской глупости, — отпихнул обвинение бывший директор.

— Да чего там, Геннадий Андреич, вместе хватали — вы сливки, мы обратки. Добро порезвились, ни с вас, ни с нас возврата не будет.

— И это врешь, Константин, возврат будет, — возразил Лудов. — Правда, без нашего с вами участия.

— Как это, Геннадий Андреич? — не понял здоровяк.

— А вот полюбуйся на человека, — Лудов слегка приобнял незнакомца в голубой куртке. — Не плечист молодец, зато голова, к бывшей ферме интерес имеет.

— Живописное место, — проговорил незнакомец.

— Картину рисовать будете? — вопросительно хмыкнул здоровяк.

— Перерисовывать на новый лад, — благодушно заметил Лудов.

Незнакомец протянул богатырю руку и представился:

— Иван Степанович Семачий.

Великанья лапа охватила суховатую ладошку, встретив неожиданно крепкое пожатие.

— Константин Игнатьевич Сударев, — произнес здоровяк, продолжая вопрошающе смотреть на нездешнего человека.

— Да не художник он, а предприниматель, — понял затруднение здоровяка Лудов. — Ферму хочет поднимать.

— Из этого? — пораженно выдохнул Сударев, кивнув на руины.

— В том числе и из этого, — подтвердил Лудов.

— У нас опять будет ферма! — обрадовался здоровяк.

— Не у вас, вы свою профукали, а у него, — со значением подчеркнул Лудов.

Но здоровяк не принял во внимание его слова, он ел глазами предпринимателя.

— Неужто откроете ферму?

— Коневодскую, — уточнил тот, довольный проявленным к его замыслу интересом.

— Так это маленькую? — потускнел здоровяк.

— Планирую табуны на всю степь, — сказал приезжий.

— Ага, планируете, — уважительно кивнул здоровяк, услышав деловое слово.

— Ты, Константин, чем сейчас занимаешься? — обратился к здоровяку директор.

— Промышляю маленько, — осклабился тот. — Петли на сусликов ставлю.

— На сусликов? — не поверил Лудов. — Какие тут суслики? Не пашем, не сеем, зерна не растим. Фазанами, небось, балуешься, Константин?

— Да хоть и фазанами, Геннадий Андреич. Жить-то надо? — нахально поглядел на директора здоровяк.

— А я-то думаю — чего ты ферме обрадовался? Приманка для фазанов? Взятся бы гусей разводить.

— А кормить чем?

— Купишь на коневодческой конюшне и паши свой пай.

— А семена, а плуг, а убирать чем? На какие шиши все это справить?

— Ну, выкручивайся на фазанах, — в сердцах бросил директор и отвернулся от здоровяка, показывая, что разговор с ним окончен.

— Богатырь! — с восхищением произнес, глядя вслед уходящему мужику, светлоусый.

— Да-а, глянешь на такого и подумаешь — горы свернет. А работник самый пустячный — ни механизатор, ни животно-

вод, так... петли на сусликов ставить.

— Один такой здоровый в деревне или еще есть? — поинтересовался Семачий.

— Триединые все такие, что мужики, что бабы. Несуразная порода, каждый на свой манер дурака корчит. Отец у них не сказать, что с приветом, но с большим вывертом был. Похвалялся бывало: «Я, — говорит, — сразу три рода заложил». А всего только из своей фамилии три разных сделал. Сам Игнат Судариков был, сына старшего, Льва, по себе Судариковым записал, среднего, Константина, уже Сударевым, а младший, Николай, Сударем пишется. Начудил и помер. В деревне всех его потомков Триедиными кличут. Но эти хоть не самые вредные, по-своему простодушные даже. А в целом деревня тяжелая — ленивая, пьяная, воровитая. Смотри, Иван Степаныч, куда голову суешь.

Предприниматель сделал рукой подсекающее движение, как бы говоря этим, что такие дела для него не проблема. Лудов подивился его то ли самомнению, то ли недопониманию обстановки, но возражать не стал, и они продолжили переговоры.

Предприниматель выбрал для себя дальнюю, по отношению к трассе, часть городка — чуть меньше половины территории бывшей фермы, где были два коровника, водонапорная башня и еще кое-какие полуразрушенные постройки. Сюда из деревни тянулась нахоженная дорога, и отсюда же был выход в степь.

Новоявленный фермер обвел взглядом облюбованное пространство:

— Здесь будет база, а там, в поле, табун.

Мысленно он уже видел эту картину.

## Глава II.

### Любовь — капитал неразменный

Вечером, укладываясь спать в городской квартире, предприниматель сказал жене:

— Оленька, я выбрал место. Хочешь, свожу посмотреть. А лучше подожди — отстроюсь, королевой въедешь.

Жена, такая же легкая и сухощавая, как и муж, с волевым точеным лицом, нервно поморщилась:

— Неужели я никогда больше не буду Региной?

— Только в переводе, Королева моя. А чем тебе не по нраву княжеское имя Ольга? Королевство твое было карманым, а княжество я обещаю великое.

— Если б оно было в Швейцарии, Франции или Америке, хотя бы Латинской.

— За бугром, моя милая, водится кровожадная птица по имени Интерпол. Она отнимет тебя у меня, а может, обоих прихватит, хотя я перед нею чист.

— Ну да, ты не прокололся, — обиженно сказала женщина.

— В том-то и дело, — кивнул муж.

— Я от тебя завишу, и ты мною вертишь. Смотри, не затронь опасной зоны...

— Надеюсь, дикая степь вытравит прежние привычки, сотрет из памяти прежние занятия, а нашу любовь закалит.

— А деньги? Что она сделает с ними? Превратит их в пыль?

— Нет. Она превратит их в драгоценные слитки, и мы вымостим ими наше княжество.

— И это все, ради чего рисковали?

— Увидишь потом, что это немало.

— Леня, — спросила она, когда они почти засыпали, — а все-таки почему ферма?

— Без легкомыслия, Королева моя. Даже во сне, даже в забытьи не произноси этого имени. Я его до конца прожил. Ферма же потому, что я с детства грезил конями.

— Где ты грезил?

— Неважно.

— Ты не москвич, ты из пригорода?

— Я и вовсе лимитчик.

— Ты меня разыгрываешь?

— Серьезно. Лимита самая настоящая. Мальчишкой в

ремесленное привезли, чтобы к городу прирастал. Я и прирос.

— Я потрясена. Ничего подобного о тебе не слыхала, а ведь я наводила справки.

— Ты когда наводила? Когда я в авторитетах числился и прошлое было уже по легенде. Я даже кличку стравил, а это почище, чем татуировку. Погулял на Москве и сгинул вместе с королевской жемчужиной. Жаль, что жемчужина в реестрах значится, а то бы ни в чем ни малейшей зацепки.

— Теперь понятно, почему простоватое имя, почему ферма, почему усы, — разочарованно произнесла женщина.

— Усы-то при чем? — он невольно тронул жестковатую щетку под носом.

— Они у тебя скрипучие.

— Почему скрипучие?

— Потому что скрипят.

— Как скрипят?

— Хочешь покажу?

Она провела ногтем по шершавой щетине и, то ли она что-то сотворила, то ли так вышло без подвоха, но раздался потрескивающий звук.

— Слышишь?

— Ну и что? — равнодушно произнес он.

— Усы плебейские.

— Генеральская фанаберия! У кого из нас хвост подмочен?.. Любовь — капитал неразменный. А ну, как я его разменяю? отошлю тебя за границу и живи как знаешь!

— Расходиться из-за усов глупо, — примирительно сказала жена. Я еще новой фамилии не обносила, да и имени тоже. Ну и фамильице ты выбрал вместе с имечком!

— Скажешь, тоже плебейские?

— Неужели задело? Значит, в точку попала. Ставь и меня на эту же точку, несмотря на мою генеральскую фанаберию. Были же и у меня какие-то корни? Может быть, сходные. Ты из каких земель, родненький? — женщина подождала ответа и, не дождавшись, сказала: — Фанаберия — слово редкое, а ты его запросто произнес. Не из белорусов ли ты, мой свет, а может, из запорожцев? Где твоя родина, Леня Оруджий и Ванька Семачий?

— Мы на Дальнем Востоке, моя Королева. Здесь теперь родина для генеральской дочки и крестьянского сына. Если не будешь задавать лишних вопросов, мы выправим тут наши попорченные биографии и заживем открыто и чисто.

— На нечистые деньги?

Он нервно дернул верхней губой, поморщив усы, и с неприязнью сказал:

— Все же лучше, чем швырять их по заграницам.

— Я бы, мой свет, решила, что ты фантазер, если б не знала твоей хватки, и я хочу поучаствовать в твоём новом предприятии как равноправный компаньон.

— Я рад. Мне нужны твоя помощь, твое участие и твои деньги. Мы сделаем нашу жизнь содержательной.

Когда жена уснула, предприниматель сел к столу и набросал план усадьбы, включив в него кое-какие из старых построек, сохранив для одних прежнее назначение, другие приспособил для иных целей, мысленно их переконструировав. Внес в чертеж новые сооружения: конюшню для рабочих лошадей, базу для скота, загоны для птицы, задумался о водоеме, и даже место для него подобрал в небольшой пади за оградой усадьбы, но оставил эту мысль под вопросом и занялся привязкой к усадьбе хозяйского дома. Его он слегка выдвинул в степь, оторвав от основного двора, чтобы в дальнейшем обнести дом садом. Он не будет строить коттеджа. Дом его будет иметь служебные помещения внизу, жилые верху и вышку для кругового обзора на крыше. Можно будет что-то прибавить, если жена захочет. Потом обнес нарисованную усадьбу забором с тремя воротами — в степь, на трассу и на деревню.

Окончив чертеж, Семачий взгляделся в него: не забыл ли чего. В голове его стояла заброшенная панская усадьба, куда они мальчишками бегали играть, где искали и в то же время страшно боялись привидений и куда их как магнитом притягивали витавшие над старинным поместьем легенды. Наверно, он недобегал, недоиграл и недофантазировал в детстве, потому что образ той усадьбы сопровождает его всю жизнь и

так же, как в мальчишеские годы, будоражит чувства.

Не это ли давнее впечатление воспроизводит он здесь, на развалинах? Не ради ли его переиначил судьбу под незамаранным именем двоюродного братишки Ваньки Семачего, погибшего в горящем доме? Да, конечно, надежды, беревшие предков, гуляют и в его жилах, но он современный, трезвомыслящий человек, он понимает, что поместья в том виде, в каком знавали их его прадеды, без дармового труда крепостных не создать. Поэтому, чего бы он себе ни воображал, у него будет только ферма, способная существовать на доход и прибыль. Достанет ли у него изобретательности, чтобы не сесть на мель и не разочаровать жену? Как Ленька Оруджий он был куда как хитер. А на что он согдится как Ванька Семачий? Эх, братан, не подвести бы тебя!

### Глава III.

#### «Полдеревни забатрачил...»

Иван Семачий скоро и с выгодой для себя провел по инстанциям оформление документов на землю под усадьбу, под пашню, под луга и пастбища и получил статус фермера. К положенному по закону он прибавил еще и то, что сумел выторговать у Лудова — где-то договором об аренде, где-то взаимным соглашением, а где-то в виде подарка в знак личной симпатии и будущих услуг. Бывший животноводческий комплекс ввиду непригодности к эксплуатации был списан.

Октябрь еще светился солнцем и обогревал осенним теплом. Семачий спешил до холодов заложить провалы в потолках и стенах доставшихся ему коровников. В качестве материала были взяты бетонные плиты и силикатный кирпич из развалин, не попавших на территорию усадьбы. Разворованный городок подвергся еще одному разграблению, чтобы в одной своей части опустеть окончательно, а в другой подняться возрожденными строениями.

Скрипели подъемные механизмы, трещала сварка, стучало молотками население деревни, нанятое новым хозяином разбивать старую кладку. На развалах сидели женщины молодые и средних лет, здоровые мужики, могущие без помощи инструмента выламывать кирпич, парни, не знавшие куда приложить силы. Притащились не усидевшие дома старики и старухи, сновали, ища занятия, дети. Все это напоминало стародавние колхозные времена, когда трудились сообща, на виду друг у друга, взбадривая себя шуткой и смехом. Напоминало и еще более давние времена совместных посиделок, когда гомонили разом мужики и бабы.

Не такое уж веселое дело выколупывать кирпичи и сбивать с них окаменевший раствор, но исполняли его с оживлением и охотой, похваляясь друг перед другом быстротой и ловкостью. Стосковалась деревня по общественному труду, еще недавно надоедавшему каждодневной обязательностью, а еще вернее — зануждалась в живых деньгах, редко и далеко не всем попадавших теперь в руки. Семачий платил с сотни очищенных кирпичей, расплачиваясь в конце дня, и чуть позже то в одной, то в другой улице деревни нестройно взвивалась песня, и тек барыш держателям самогонного промысла. К утру возникало желание повторить вчерашнее удовольствие, и бежал народ по годами протоптанной дороге к бывшей совхозной ферме.

На двух бывших коровниках приваривались бетонные панели, закладывались кирпичом провалы в стенах, выгребался изнутри и вывозился вон строительный мусор и лом. А в отдалении урчал экскаватор, рывший котлован под фермерский дом, расчищались площадки под конюшню и баз, скоро началась и заливка фундамента. Гремела бетономешалка, возился из ближних карьеров песок и щебень, городился забор. Подрядчик не успевал за огневим напором хозяина, поражавшего способностью закрутить в винт сразу несколько фронтов, держать в уме и просчитывать действия наперед не только по дням и часам, но даже минутам.

— Ты, Иван Степаныч, случаем не в балете работал — на секунды расчет строишь, — заметил утомленный подрядчик, в свою очередь замотавший субподрядчиков требованием исполнять заказ по-военному точно и в срок.

— Хуже того, в цирке, — в тон ему ответил Семачий. —

Там на доли секунд время ведут — в итоге жизнь или смерть.

— В нашем деле простои неизбежны.

— Простои — если налетит тайфун. А у нас небо синее, солнышко теплое. С земляными и бетонными работами мы должны закончить до холодов. Простои за твой счет.

«Капиталист чертов», — мысленно ругался подрядчик и вертелся винтом.

Рабочих на неделе в город не отпускали. Жили они в вагончиках, а кормились в бывшей совхозной столовой, тянувшей свой век на выпечке булочек и приготовлении дешевых обедов для учеников начальной школы. Неожиданный заказ со стройки взбудрил ее угасавшие дела.

Механизмы гудели весь световой день и часть вечера, дотемна вспыхивала сварка и гремела бетономешалка. Отработав смену, рабочие валились с ног, и даже горячие деревенские девки не могли их расшевелить.

Ипатьевцев, отвыкших слышать тарыхтение трактора по деревне, заражало производственное кипение на площадке. Молодцеватая переселенка в расписном платке тонкой шерсти, наверхенном тюрбаном на голове, смуглая, кареглазая, обивая кирпич, разухабисто выкрикнула:

*Ну, Семачий, черт собачий,*

*Полдеревни забатрачил.*

Люди вокруг сдержанно прыснули, видя за ее спиной хозяина, которого та не заметила.

Семачий вышел ей на глаза и с усмешкой спросил:

— А чего ж ты забатрачилась?

Женщина не смутилась:

— Платишь изрядно и сразу, — бедово и одновременно льстиво выпалила она.

— Рад, что устраиваю. Тебя, кажется, Ульяной зовут?

— Ульяна Гарькавая, — разулыбалась переселенка.

В глазах Семачего вспыхнула веселая искра. Смуглянка напомнила ему женщин его детства — разбитных и языкатых.

— У меня к тебе, Ульяна, сердечная просьба — будь добра, не носи самогон на строительную площадку.

Женщина зыркнула на него глазами.

— Шутишь, хозяин? Ты что — видел? — нахально бросила она, будто не помня, что у нее спрятаны в сумке три поллитры не проданного еще самогону.

— У себя в хозяйстве я все вижу, — вкрадчиво, но с той же с искрой в глазах заверил он.

— Сбрехали тебе.

— Может быть, но ты все-таки прими во внимание мою просьбу.

— Ладно, — сказала она. — Твой двор — твоя воля, а мой двор — моя. Ежели кто из твоих работничков ко мне в дом заявится, не жалуйся, отоварю по полной. Против этого между нами уговора не будет.

Семачий скользнувшей под усы улыбкой подтвердил согласие и отошел. Работавшие рядом, не уловив содержания их разговора, по жестам и мимике вывели, что женщина в чем-то перед хозяином не уступила.

— Чего, Улька, он хотел? — полюбопытствовали бабы.

— У нас с ним свои дела, — горделиво выпрямилась она.

Пожилой мужик, мерно постукивавший острым концом молоточка, флегматично продекламировал:

*Не гляди, что сам Семачий, —*

*Бабы он не околпачил!*

Вслед хозяину ударил дружный хохот. Семачий догадался о его причине, но не оглянулся.

Однако Ульяна все же остереглась предложить самогон строителям и по дороге домой продала его своим же деревенским.

На расчете Константин Триединый запросил прибавки.

— Иван Степаныч, накинь за знакомство.

— Не помню, чтоб мы о том договаривались, — бесстрастно ответил фермер.

— А что, надо было? — растерялся здоровяк.

— Раз ты считаешь себя на особых условиях, надо было заранее обсудить.

— А сейчас не поздно? — с надеждой спросил Константин.

— Поздно. Сегодня ваша работа кончается. Я всех вас благодарю. Не путай со словом «отблагодарю». Это другое.

Оловянные глаза Константина потускнели. Он унес с собой обиду.

## Глава IV.

### Первый поцелуй

После наезда холодом в ноябрьские праздники, с ветром и снегопадом, погода смягчилась, прояснилась, брызнула солнцем, но черта между осенью и зимой была уже пройдена. Земля лежала убеленной, полуденный пригрев не плавил льда, к утру на притолоках коровьих сараев ворсился нежный куржак. Только река Синюшка перед деревней еще боролась с напозавшей стужей. Сузившись, она упрямой змейкой извивалась в высоких торосах, дыша седоватым парком.

С наступлением ночи деревня проваливалась в черную бездну. Тусклое свечение из окон не ослабляло тьмы, а фонарей на улицах не осталось. И вот однажды там, где раньше была ферма и откуда когда-то, позабыто давно, выплескивалось в ночь разливное озеро света, пронзительно ярко вспыхнула горстка высоко поднятых над землей огней. Их хорошо было видно из дворов и окон глядящих на трассу домов. Растекающееся по округе марево подсвечивало саму деревню, разжижая мрак огородов и улиц. Молодежь не усидела у телевизоров и мотыльками полетела на свет.

Забывшая дорога на ферму вновь ожила. У ипатьевских парней и девчат быстро вошло в моду гулять, когда смеркнется, к строительной площадке. Двигутся неспешно ватажками, отколовшимися парочками, в целом держась на виду друг у друга. Подойдут к раскрытым воротам, постоят, поглазекуют на то, что делается внутри, — во двор не заходят, сторож гоняет, да и что там делать? — уйдут и снова вернуться. Так несколько раз за вечер. Случается, галдят у ворот, частушки выкрикивают, иной раз затеют пляски.

Плотник Ванька Филимонов, делавший на коровнике обрешетку крыши, с сочувствием поглядывал на ребят сверху, понимая, что их сюда манит. На стройплощадке и при фонарях жизнь кипит, а в деревне и белым днем — мертвячина: ни трактор не взрыкнет, ни конь не проржет. Заглохла деревня. Молодежь не знает, для чего растет. Пусть на настоящую работу посмотрят, позавидуют.

Из двора на выход пошел синий хозяйский джип. Ванька влюбленно покосил на него черным глазом. «Ну вот и все на сегодня». С отъездом хозяина работа свернется, мужики полезут с крыши и потянутся в теплый вагончик мыться и спать. Ворота закроются, фонари погаснут, оставив сторожу для обзора один мощный прожектор, и он, Ванька Филимонов, лежа на жесткой постели, будет думать о своей несуразной жизни, сотканной из вечно меняющихся и редко исполняемых ожиданий.

В воротах, где толкалась молодежь, Семачий остановил машину и, высунувшись наружу, крикнул в мигом сгрудившуюся толпу:

— Что, клуба в деревне нету?

— Есть, — откликнулись ребята.

— Что ж вы не там, а тут?

— Мы — где интересней, — вразной галдела молодежь.

— Какой пока интерес, все в самом начале. Отстроюсь, сделаю вам экскурсию, — улыбаясь, пообещал Семачий.

— А на работу возьмете? — выкрикнуло сразу несколько голосов.

— Кого-то, может, и возьму, — Семачий обвел взглядом лица с устремленными на него глазами.

— Меня возьмете? — спросил близко стоявший парнишка.

— Что ты умеешь?

— А учеником!

— Сначала чему-нибудь обучись, я предпочитаю профессионалов.

Вперед пробился невысокий, нежного вида мальчик и, запинаясь от волнения, проговорил:

— Вы коней разводить будете? Я в сельхозтехникуме на ветеринара учусь. На практику к вам можно будет?

Лицо парнишки читалось как открытая книга, и книга эта Семачего заинтересовала.

— Как тебя звать?

— Юра Михайлов.

— Давно в техникуме?

— С этой осени только.

— Время терпит. На практику приходи.

Подростки возбужденными взглядами проводили автомобиль и повернулись к нечаянному счастливцу. Застенчивый Юра чувствовал себя именинником. Ребята смотрели на него с уважением. А он, не отпуская руки Леночки Сударь, то и дело взглядывал на девочку и, замирая сердцем, видел в ее глазах восхищение.

На входе в деревню Юра с подружкой отбились от всех и пошли по средней улице, где за плотной полосой забора находился Леночкин дом, на заднем дворе которого они обычно подолгу стояли, оттягивая прощание, а потом огородами Юра брел к своему двору, бывшему как раз напротив Леночкиного. На огородах, за прополкой, они и присмотрелись друг к другу, еще летом, а когда молодежь затеяла гулянья к бывшей ферме, Юра старался держаться поближе к Леночке, и она тоже подвигалась к нему. Насмелившись, он как-то взял ее за руку. Так они теперь и ходили.

С этой осени Юра начал держать себя по-взрослому. Он поступил в техникум, отчего посерьезнел и даже осмелился задружить с девочкой. Леночка училась в школе, была на два года моложе, но она хорошо росла и выглядела под ровень ему. В то время как он, рожденный невысокой мамой, почти исчерпал возможности роста, Леночка, как и все Триединые, обещала превратиться в крупную девушку и перерастит дружка чуть ли не на целую голову. Это обстоятельство в дальнейшем могло расстроить их дружбу, но пока они не подозревали о коварных свойствах своей природы и тянулись друг к другу.

Месяц одобрительно улыбался молоденькой парочке сверху. Сердце Юры переполняла надежда от забрезживших перед ним радужных перспектив и от волнующей близости девочки. Обычно даже в укромном своем местечке они не расцепляли рук, но больше никак не касались друг друга, а нынче их плечи сомкнулись, словно их магнитом стянуло. Юра не заметил, как это произошло, и продолжал не замечать дальше. Он блаженно всматривался в голубое мерцание ночи, в резкие сочетания света и тени, и было очевидно, что наполнение счастьем для него надолго, на много и много дней. Леночка же томилась возле него ожиданием. Она считала, что дружба их толчется на месте, не подвигаясь к приятным удовольствиям. И девочка решила поторопить события.

— Верка Юдина с Толькой Мунгаловым при всех целуются. И Тонька Мананкина с Димкой Ветровым тоже, — сообщила она.

— Зачем же при всех? Разве можно при всех? Я бы так не хотел, — с замиранием сердца отозвался Юра.

— Я тоже, — поспешила согласиться девочка и тут же прибавила: — Но не при всех ведь можно же, да?

Юра смутился и растерянно проронил:

— Ты этого хочешь?

— А ты? — спросила она, призывно глядя ему в глаза и слегка подавая навстречу пухлые губки.

Страх и волнение ударили в голову мальчика. Ему показалось, что перед ним выросло такое препятствие, которое он не сможет преодолеть. Его бросило в жар и холод. В то же время что-то мучительное и зовущее, потревоженное в самой глубине, повлекло его к ожидавшим губам. Немея и замирая, он коснулся их, но так, что девочка ничего не почувствовала. Он понял, что сделал не так, как нужно, и повторил так же воздушно и почти неощутимо. Тогда девочка сама захватила его неумелые губы своими и сотворила такой поцелуй, который подсмотрела по телевизору и которым ввергла в столбняк впечатлительного партнера.

— Юр, ты чего? Ты чего, Юра? — Она заметила, как побелело и замерло его лицо.

Заглатывая воздух, он сделал чмокающее движение гу-

бами. Она подумала, что он просит еще поцелуя, и осыпала его лицо нежными и ласковыми прикосновениями. Он пришел в себя и потрясенно сказал:

— После такого у нас не дружба, у нас любовь, да?

— Ох, да, — радостно подтвердила она.

— И мы никогда не изменим друг другу? — преданно глядя ей в глаза и словно беря клятву, спросил он.

— Ох, нет, — с той же готовностью подтвердила она.

— И мы никому не скажем о нашей любви? — настойчиво пытал он.

— Об этом все равно все узнают, — с небрежной гримаской возразила она. — Просто не будем никому говорить о том, что мы делаем, когда остаемся одни.

— Верно, не будем.

Обязательство они скрепили новым поцелуем, в котором инициативу держал он.

Этим вечерам одно сердце навсегда было захвачено в плен другим, а другое сердце поняло, что в этой любви оно всегда будет царить и главенствовать.

Они долго прощались, не в силах расстаться. Он махал ей с середины дороги, когда уходил по огороду, махал со своего двора, видя, как вдаль за изгородью она машет в ответ. Ему не захотелось заходить в дом. Он присел на перекладину приставленной к стене лестницы. Три приблудившихся ко двору собачонки терлись у его ног, он машинально поглаживал каждую и никак не мог выйти из потрясения.

Лена махнула Юре в последний раз и, видя, что он вошел во двор, повернулась и легкой птичкой полетела в дом. Она загадала себе, что все равно добьется того, что они с Юрой при всех поцелуются.

## Глава V.

### Нечаянный взлет судьбы Ваньки Филимонова

Ванька Филимонов не поехал вместе с бригадой в город, а куковал выходные на объекте вместе со сторожем. С утра он раскалил в будане печурку, помылся и, что было обязательным для него, причепурился — тщательно выбрился, подравнивал черный густой навес усов под остреньким носиком, уложил щеткой такие же густые и гладкие волосы. Увидев себя в зеркале молодым, красивым и шикарным, он вдохновился на следующий подвиг — постирал нательное, постельное, часть робы, а куртку почистил. Все развесил сушиться на веревке, протянутой от вагончика к столбу.

Покончив с неотложными делами и в то же время со всеми делами вообще, он уселся на припеке, с южной стороны вагончика, наклонив под собой табурет так, что спина и затылок уперлись в нагретую стенку, а ноги висели в воздухе. Остренький носик Ваньки вздрагивал от разливавшегося по двору мясного и капустного запаха щей, которые для себя и для него изобретал сторож. По привычке влезать во все, что вокруг делалось, Ванька попытался было вклиниться и в это занятие, но сторож не подпустил, потому что сам уже взялся. Ванька подремывал, втягивая в себя вкусный запах, и соображал, не сбежать ли ему в деревню за молоком и самогоном, чтобы затем прообедать до самого вечера и с полным правом завалиться спать, ни о чем уже не думая. А может, никуда не ходить, а, похлебав щей и напившись чаю, залезть на крышу ангара и, пока ребята отдыхают, доделать то, что еще осталось. Но ведь робу-то он постирал, и она будет день сохнуть и ночь досушиваться над печкой в вагончике. А может, сгуглять в аэропорт и до соплей надраться в привокзальном чепке?

Ни одно из этих соображений бывшего флотского не вдохновляло. Жаль было без смысла отравлять безморозный, прогреваемый солнцем денек. А так как никаких новых идей в голову не приходило, Ванька, досадуя на себя и одновременно блаженствуя, тихонечко напевал:

*Огни в моих топках совсем не горят,  
В котлах не сдержат мне уж пару.*

Ванька не терпел пустот ни в работе, ни в отдыхе. Жизнь вокруг и он в ней должны были непрестанно крутиться и двигаться. Филимонов пропадал, если что-нибудь замирало и ему не удавалось придать тому действия. Он начинал тогда пить и пить, проваливая себя в беспамятство и таким образом выключая из ходячей жизни.

Ваньке было двадцать восемь лет. За живость и неумность иначе как Ванькой его не называли. И, несмотря на то, что он вырос и мужал, видели в нем извечного мальчишку. Но когда он в охотку разрабатывается, за ним мало кто поспевал. В пару к нему становились без желания, умотает кого угодно. Сам он маленький, ладненький, жутко опрятный. По флотской привычке тяготеет к черному цвету в одежде, всегда вычищенной, выдраенной и замечательно пригнанной, будто пошитой на него. По той же флотской привычке вверх, вниз и по прямой он — всегда бегом, всегда на скорости, как шустрый галчонок. Его, даже бесчувственно пьяного, если крепко встряхнуть, глаза сразу осмыслятся, а ноги готовы будут бежать. То же самое с улыбкой. Она вдруг пырснет из-под усов и откроет белый, сияющий ряд зубов.

Ванька так и не успел ничего выдумать. За воротами, обращенными к трассе, знакомо просигналил хозяйский джип. Бывший флотский мигом отлепил себя от будана, табуретка под ним хлопнула, становясь на четыре ножки, шапка как по волшебству сползла со лба на затылок, глаза засияли, а сам Ванька застыл в ожидании. Сторож уже открывал ворота.

Джип подкатил к будану, где из железной трубы курил дымок и где в выходной день было единственное живое место на стройке. Ванька вскочил с табурета, встречая выходящего из машины хозяина. Ему всеми своими повадками нравился Семачий: как одевался, как ходил, как разговаривал, глядя на собеседника прицельным и понимающим взглядом, как, ни во что вроде бы не вмешиваясь и ничего не касаясь, умел раскрутить работу так, что бригада на неделе не расслаблялась, не знала простоев и передышек, нравилось, как платил, как устраивал для нанятых рабочих в общем приемлемый быт. Но лицом к лицу, с глазу на глаз Ванька сталкивался с хозяином впервые.

— Не поехал со всеми? — глянул на плотника хозяин.

Светло-карие, теплого свечения глаза хозяина с удовольствием смотрели в веселые глаза неунывающего человека.

— Что в общежитии делать? — отвечал Ванька.

— Здесь лучше?

— Ну да, просторней, воздух чище. Была бы баня, совсем можно тут поселиться.

— Баня? А ведь правда! Ванька в доме предусмотрел, а о бане во дворе не подумал. Я тоже намерен сюда перебраться, — хозяин кивнул на белый кирпичный остов бывшего кормового цеха, который переделывался под жилье, там уже заделали проемы, вставили рамы и начали возводить крышу. — Баня нужна и, значит, будет.

— Здорово! — обрадовался Ванька. — До крепких бы морозов успеть.

— Это уже от вас зависит, — сказал хозяин. — Тебя Иваном зовут?

— Иван Алексеевич Филимонов, матрос запаса, — отпартовал Ванька.

— Тезка, — кивнул Семачий.

— По паспорту только, — возразил плотник.

— Как это? — не понял Семачий.

— В жизни-то вы Иван Степаныч, а я Ванька.

— Почему же Ванька?

— Потому что шустрый и маленький.

У обоих вырвался дружный смех. Засмеялся и стоявший в стороне сторож.

— Мал, да удал. Я видел, как ты работаешь. Где ж ты так наловчился? — спросил хозяин.

— Предки крепежили в шахте. Я тоже шахтер. Мать до-мой ждет. А я на флоте к простору привык, не хочу под землю.

— Не женат?

— Был. Надеюсь, что больше не буду.

Семачий усмехнулся, но ничего на это не сказал, а спросил:

— У меня тебе нравится?

— Ничего. Работы много. Люблю, когда ее много.

— Хотел бы здесь остаться?

— А что делать? — оживился Ванька.

— Дела хватит. Идем, расскажу. — И хозяин и повел парня к одному из бывших коровников, ставших теперь ангарами.

Ототкнув своим ключом дверцу, вырезанную в тяжелых воротах, Семачий впустил вовнутрь Ваньку и вошел сам. Длинный, ничем не разгороженный пролет тянулся до противоположного края помещения. В дальнем углу на планках, набитых Ванькиной бригадой, была развешена конская упряжь.

— Готовлюсь, — сказал Семачий. — У меня, ты же знаешь, конеферма будет. Если осилю, то и конезавод. Ты лошадей любишь?

— Жалею по памяти. На шахтах когда-то это были первые мученицы.

— У меня им будет воля. Но некоторые будут работать. Для них нужны дуги, оглобли, телеги, фуры, сани. Сумеешь?

— Это смогу, — подумав, кивнул Ванька.

— Сделаем мастерскую. Будешь сам соображать, что для хозяйства мастерить, что на продажу, — заманивал Семачий.

Воодушевленный Ванька сорвал с головы шапку, ткнул в ее нутро кулаком, поглядел, что получилось, неизвестно, увидел что или нет, но шапку водрузил на место и сверху прихлопнул, чтобы плотнее устроилась.

— Хорошо! — воскликнул он. Помолчал немного и уточнил: — Хорошо в идее.

Семачий шевельнул губы довольной улыбкой.

— Но это не все, Ваня. Мне нужен помощник типа дружка, которому до всего есть дело и который в любую дырку суется. Ты, по-моему, такой.

— Вроде такой, — заулыбался Ванька.

— Думаю, что сговорились, — подытожил Семачий. И добавил: — Будешь ты у меня Иваном Алексеевичем, и никак не иначе.

## Глава VI.

### Найм

К концу зимы ведущую к ферме Семачего дорогу, по которой гуляла молодежь, растапывало уже и взрослое население. Из Ипатьева, из окрестных поселков и дальних сел потянулся по ней разношерстный люд, держа в уме кто простую, а кто хитрую мысль. Шли трудяги и лодыри, трезвенники и пьяницы, толковые и никудышные, путные и пропащие, сытые и голодные. Кто-то нуждался в работе, кто-то в милостыне, кто-то в бесплатном зрелище.

По утрам у обращенных к трассе ворот с вывеской «Ферма «Степь и табун» скапливалась густая толпа. Сначала Семачий пытался принять и выслушать каждого, но скоро понял, что это так же бессмысленно, как попытаться накормить вольных птиц. Вслед за одними прилетят вторые и третьи, пока на двор не слетится весь пернатый мир, все не склюет и не изгадит. Семачий выходил к воротам, и если среди вчерашних и позавчерашних посетителей видел свежее лицо, выслушивал его — принимал просьбу во внимание или отказывал — и отходил.

Его поражало, сколько к глухим сельским углам прибилось пустого, ни к чему не приспособленного народа, занесенного сюда безработицей, нуждой и легкомысленной верой, что деревня прокормит. А та сама держалась из последних сил и, кроме как дать пришельцу приют в холодной избе какого-нибудь пропойцы, ничем иным помочь не могла. Глазам Семачего предстали жалкие человеческие остатки: запившиеся, изможденные, отупевшие, забывшие, что они люди. Самых убогих, готовых рассыпаться на глазах, он распорядился накормить. Тем, кто покрепче, предлагал заработать обед трудом: подмести двор, наколоть для кухни дрова, вынести полные ведра и тому подобное.

Проходя по двору, Семачий слышал, как сторож крепким матом кроет очередного горемыку. Приглядевшись к нанятым за кормежку, хозяин с удивлением обнаружил, что многие из них не способны даже к самым простым, обиходным вещам.

Метла у них метет не в ту сторону, мусор разлетается, поленья выпрыгивают из охапки, топор машет мимо бревна и хорошо еще, не калечит. И это сельские жители! Как они прожили жизнь?.. Провозятся без толку до обеда, дела не сделают и тащатся за кормежкой. На второй и третий день бесполезных мучений эти горе-труженики на работу уже не просятся, а толкуются в воротах в надежде, что повариха, угрюмая на вид, но не лишенная доброты деревенская девка Татьяна Волоха вынесет им что-нибудь из объедков.

Однажды Семачий увидел, как сторож, вырвав у неумехи метлу, гнал ею того со двора, а тот упирался, искренне полагая, что, раз уж подержал в руках инструмент, то за одно это его обязаны покормить. Поняв, что приваживает к усадьбе попрошайек и лодырей, Семачий распорядился закрыть ворота и впускать лишь тех, кто по делу. Но трое бродяжек к усадьбе все же прибились. Сторожу жалко было их прогонять, повариха их подкармливала, а Семачий делал вид, что не замечает, когда при его появлении три жалкие фигуры пугливо прячутся за ангар.

Этих троих из милосердия он еще просодержит, а больше — все, предел, молча постановил он.

Бродяжки чутьем угадали настроение хозяина и осмелели до того, что хозяйская жена, навестившая мужа в общежитии, оборудованном в бывшем кормозаготовительном цехе, напоролась на одного из них, маячившего в сумерках призраком, и в гневе прогнала паразита из усадьбы. Он потом еле умолил хозяина пустить его обратно. Семачий призвал приبلуд пред свое лицо, сурово наказал им приучаться к работе, держать себя в опрятности и без толку по двору не шарашиться. Это значило, что их пребывание здесь признается официально. Но хозяйку они все же побаивались и всячески старались не лезть ей на глаза.

В скором времени один из бродяжек попался на воровстве и навсегда был изгнан с фермы. Оставшиеся двое наперебой выказывали свою полезность. Сытые, отмытые, обмундированные в спецодежду, они почувствовали себя людьми, и к ним возвратились трудовые навыки. А когда хозяйство построили, плотников отпустили, а Ванька, теперь Иван Алексеевич, остался управлять двором и хозяйством, бывших бродяжек включили в работу на полную силу. Под рукой Филимонова все горело, кипело и ходило внатяжку, как жилки. Он научил приبلуд, имевших теперь звание дворовых рабочих, заготавливать банные веники, делать метлы, топить по субботам баню и скоблить банные полки, убирать у скотины, мести двор. А еще Иван Алексеевич строг был в отношении внешнего вида, а на отдых и часу не оставлял, так что к ночи работнички едва дотягивали до постели. И все это за кормежку, одежду и редкое угощение — когда от поварихи, когда от управляющего, а когда и от самого хозяина.

На сенокосе дворовые рабочие, или «дворняжки», как их называли, держали нагрузку наравне с остальными работниками, и хозяин заплатил им деньгами. На радости бедолаги так упилась самогону, что упали без чувств в бурьян. Один из них так и не поднялся, став жертвой удовольствия на свои трудовые. Уцелевший приплелся в усадьбу. Это был как раз тот, кого хозяйка прогнала со двора. Звали его Леша Свисток.

Среди ходивших наниматься на ферму были братья Триединые — Николай Сударь и Константин Сударев. Николая, лучшего в бывшем отделении механизатора, Семачий обещал взять, как только подойдет техника, которую он намеревался получить по лизингу. Пахать же нынешней весной у него должны были лудовские трактора. Здоровяку Константину, бывшему разнорабочему, ничем не проявившему себя в совхозное время, Семачий отказал, чем снова разобидел его. И вообще, слухи, что новый хозяин набирает людей, оказались сильно преувеличенными. По подсказке Лудова Семачий взял скотницу, миловидную, чистоплотную женщину лет тридцати восьми, двух крепких мужиков в пастухи, переселенца, знакомого с шорным делом, чтоб готовить упряжь, и, вместе с котлами закрывшейся наконец ипатьевской столовой, — одну из поварих, незамужнюю девку, взбитую как сливки, но без клубники.

В итоге деревня не получила того, на что рассчитывала — целиком, как прежде в совхоз, влиться в новую ферму.

Деревня овеялась нежной тополиной дымкой и пенной кипенью цветущих черемух. Все серое и неприглядное, что било здесь в глаза осенью и зимой, отступило на задний план. А по ту сторону трассы, на луговине, за каймой густого кустарника, где нарождалась ферма «Степь и табун», весеннего переворота еще не произошло. Двор был лыс. На лугу из бурых бодылей свежий подрост еще не пробился. Лишь зазеленевшая кустарниковая чаща, полукружьем охватывавшая усадьбу, диковато оживляла пейзаж.

Хозяйский дом с каменным низом и деревянным верхом, с обзорной вышкой на крыше уже возвели, но внутренние и отчасти наружные работы на нем продолжались. Издали дом казался отодвинутым от усадьбы, каким-то одиноким. Семачий, оглядываясь на него с трассы, мысленно обносил его зеленым кольцом насаждений. А пока все ездил в деревню — ездил и ездил, и никак не мог успокоиться. Что так тянуло туда, почему не сиделось в усадьбе, для чего седлал он коня и скакал не в луг, не в поле, а непременно в деревню — он и сам не мог понять. Только не давало ему покоя колебание зеленого облака над деревней, остро пронзали душу незначительные картинки деревенского быта: млеющий кот на карнизе, цветущий куст перед домом, выглянувшая из-за изгороди баба, бегущий по улице мальчишка, с лаем выскочившая наперерез всаднику собака. Самое ничтожное проявление жизни воспринималось им как явление существенной важности. Или это память проснулась, или накипь с души сошла, или он, как и все тут, был ввинчен в могучий поток природного обновления?

Он видел, как после зимнего отупения лица у людей стали осмысленными. Что это — инстинкт, озарение, заповедный дар предков? Жажда действия охватила каждого. Никто не сидел без дела. Все были у земли, у своих огородных наделов. Деревня звенела, жужжала, стучала, гудела нанятым на пахоту огородов трактором, перекликалась помолодевшими голосами и не обращала на Семачего никакого внимания. Это было тем более удивительно, что еще недавно она чуть ли не помирала без его помощи, осаждая усадьбу мольбами и просьбами. А сейчас будто все без него знали, что делать и как жить.

Уже не деревня в Семачем, а он нуждался в деревне, чтобы заразиться ее природной тягой — в один узел связать свою душу с землей.

Семачий пригляделся к своим людям в усадьбе — охвачены ли они так же, как и деревня, весенней жаждой труда? Сев ячменя и овса уже произведен лудовскими тракторами. Земля под огород вспахана и разделана, постепенно засаживается. Небольшой пока табунчик круглые сутки ходит в степи. Возле усадьбы пасутся три породистые коровы. В птичьем загоне гуляют куры, в клетках похрюкивают свиньи. Во дворе продолжается стройка. Озабоченный то тем, то другим, во дворе мелькает управляющей Иван Алексеевич. На его производственный пыл время года не влияет.

Вот только сторож отчего-то замер в воротах с задраным кверху лицом, не то всматриваясь, не то вслушиваясь во что-то ему одному ведомое. Семачий отвел коня в конюшню, вышел оттуда — сторож как стоял, так и стоит в зачарованной позе. Из глубины двора Семачий к нему обернулся — сторож все еще не изменил позы. Прошло еще сколько-то времени — он все так же стоял с задраным кверху лицом. Весеннее обалдение... Однако ж он не цапля на болоте, чтобы часами простаивать на одной ноге. Надо сказать Ивану, чтобы завтра же снарядил сторожа в огород. За двором присмотрит «дворняжка», тот, что сейчас, жмурясь на солнышке, не спеша вяжет метлы.

Из степи с обеденной дойки вернулась на повозке скотница, улыбнулась хозяину крашеным ртом. Зовут ее Эльвира Ивановна, она из бывших зоотехников разрушенной фермы. Работник она неплохой, но мысли ее, конечно же, поглощены детьми и домом.

У поварахи Татьяны Волохи весной посветлело смурное выражение лица. Ее спелая девственная грудь иной раз тре-

петно вздрагивает, словно кто-то сзади крепко обнял ее за талию. Семачий как-то проследил за ее взглядом и открыл, что она тайно наблюдает за управляющим. Интересное дело. А впрочем, других женихов в усадьбе нет. Иван, конечно, об этом не знает. А если б узнал, пышное тело могло бы, возможно, стать для него наградой...

На обзорной вышке видна фигура Ольги в белом. О чем она думает там, наверху? Наверно, сожалеет, что перед ней не швейцарские виды. Прошлой осенью Семачий обучал ее на бухгалтерских курсах, где она и компьютер освоила. Ведет документацию и в ужасе от расходов.

— На что ты оттуда, сверху, смотришь? — спросил ее вечером Семачий.

— На тебя, — ответила она.

— И что же видишь?

— Теленка, который безмерно счастлив, что попал на знакомый лужок.

— Кто-нибудь разделяет с ним его радость?

— Никто, — решительно ответила она.

— Ты хорошо, Оленька, посмотрела?

— Хорошо.

— А где же ты, Королева моя?

— Ты же знаешь, я не поклонница сельского пейзажа.

— Но мыслишь уже по-сельски.

— Это ты про теленка?

— И про лужок. Погоди, он скоро зазеленеет и тебе понравится.

— Нет.

— А с цветами?

— Тоже нет.

— Погоди, я еще одну прелесть знаю: душная ночь, дурманящий запах сена, и мы с тобой на его перине.

— Ну и что? — равнодушно спросила она.

— Ты еще не знаешь тайны луговой ночи.

— Ну и какая она?

— А такая, что бесплодие как рукою снимает.

— Шутишь?

— Проверено опытом.

— Неужели? — поморщилась Ольга.

— Я когда молодым из столицы домой приезжал, геройствовал жутко. И всегда было лето, свежесметанный стог, чья-нибудь молодка под боком, и в результате — птенец сенокоса.

— Что, и рожали? — подняла брови Ольга.

— Такие слухи до меня доходили.

— Оруджием кто-нибудь из них становился?

— У нас полдеревни Оруджих. От Ленки, от Кольки, от Петки — все равно Оруджий родится.

— А Семачие были?

— Нет. Эти чужих жен не баловали. Семя в гнездо сливали. А жены, из благодарности, подкидышами их не награждали. — Семачий взял руку жены и прижался к ней щекой. — Мы, Оленька, пройдем с тобой через чары луговой ночи, и когда у нас появится маленький, ты поймешь, чем хороша сельская жизнь и для чего нам нужна усадьба.

— Кстати, у нас ферма или поместье? — спросила жена, оставляя без внимания перспективу луговой ночи. — Если ферма, она должна приносить доход.

— В том случае, Королева моя, — сразу посерьезнел Семачий, — мы прогоним со двора милейшую Эльвиру Ивановну, и ты сама будешь доить коров, чистить стойки, кухарить у печи. Я распрощаюсь с Иваном и с прочими, буду пахать, пасти, сообщая мы будем трудиться от зари до зари, и тогда, возможно, дождемся скорых доходов. Ты это имеешь в виду?.. Я же полагаю быть одновременно и поместьем, и фермой, и заводом, и коммерческим предприятием — всем, чем потребуется, и потом уже говорить о доходах. Уверяю тебя, они будут. Но я одобряю твое намерение поступить в ученицы к Эльвире.

— Ты серьезно, Семачий? — изумилась жена.

— Абсолютно серьезно. Завтра и приступай. Бухгалтерия по-прежнему за тобой.

Весеннее вдохновение своего хозяина усадебная команда ощутила за посадкой сада и парка вокруг хозяйского дома. После того как строители по архитектурному плану разбили

участок, нарезали дорожки и положили бордюры, Семачий вывел всех, включая жену и скотницу Эльвиру, на посадку деревьев. Жена и Эльвира занимались цветочными грядками. Мужчины поливали и закапывали саженцы. Хозяин с помощью Леша Свистка засеивал лужайку перед домом.

— Зачем сеять траву, когда она и сама растет? — качал головой Леша.

— Деревья тоже сами растут, — заметил хозяин.

— Ну эти понятно, они для тени. Цветы — тоже понятно, а трава зачем? По ней и пройтись будет нельзя.

— Нельзя, — подтвердил Семачий. — Будем поливать ее и косить — до глубокой осени зеленой простоит.

— Морока, — фыркнул Леша.

— Англичане хорошую лужайку лет триста растят.

— У них времени пропасть.

— У нас что же, его нет?

— У нас оно шибко быстро меняется. До тебя тут какая ферма была, не чета твоей. Из бетона и камня строили, думали, на века — и уже ее нет. А ведь новая была, двадцати лет не выстояла — по кирпичику растащили. Ты за реку подымись — там хранилища колхозные брошены. Ну ладно, те старые. А зерносклад уже по новым временам из церкви перевели, новенький построили. Зерна в нем и года не хранили, вмиг разорили. Ты говоришь, газон. Неделю его не побрей — он уже запаршивеет. Какие у нас века — баловство!

— Ты думаешь, и ферма моя — баловство? — холодно глянул на «дворняжку» Семачий.

Свисток прикусил язык, поняв, что заболтался. Но охота порассуждать в конце концов пересилила. Вкрадчиво, с оговоркой, а свое все же сказал:

— Сам себе думаешь — не баловство, но оглянись, против чего стоишь? Миром брались — не сдюжили. Начальство насаждало — не захотели. Ты взялся всех превзойти. На забаву, на цветочки, на травку, может, чего и выйдет. А чтоб землю поднять, на века, как ты говоришь, — тут такие силы нужны, каких в здешних местах отродясь не бывало. Думал ты об этом, когда затевал? Или ты полагал, что наша тут жизнь — дурь сплошная?

Взгляд Семачего затвердел настолько, что зарвавшемуся мужичонке сделалось не по себе.

— Что сплошная дурь — не полагал, а что ее много — пример перед глазами. Месяц назад ты метлу в руках держать не умел, а сейчас учить вздумал. Хуже того — поучать. Хотел я тебе за работу сто грамм налить, теперь не налью.

Умудренно-значительное выражение лица Леша измялось в обиженной гримасе.

— Иван Степаныч, да вы что? Я вам вроде правды, а вы сразу наказывать?

— Чтобы не вроде, а подлинную правду сказать, надо заработать на это право, — отчеканил хозяин и пошел прочь.

— Иван Степаныч, неужто не заработал? Днями на вас тружусь, копейки не спрашиваю, а вы последнего удовольствия лишаете? — Леша едва поспевал за уходящим хозяином. — Да если б сами не заговорили... — лепетал он, — а то раздражили — и обижаете. Зачем же так? Я в два, в три раза вам отработаю!

— Когда отработает? — на ходу спросил Семачий.

— Да хоть сейчас! — с надеждой выдохнул мужичонка.

— Сейчас? Ну пошли, — сказал хозяин и повел бедолагу в свиную клетку. — Выскоблишь тут и смоешь. Гляди, чтобы вода в падь по стоку ушла.

Леша с тоской оглядел свиные хоромы.

— Я, Иван Степаныч, с утра на ногах, не приседал еще, — заныл он.

— Кто обещал отслужить?

— Я на будущее говорил.

— В будущем и налью.

— Нет уж, Иван Степаныч, охотка прижимает сейчас — сейчас я сделаю.

— Как сделаешь, вымоешься — приходи, вместе выпьем. Но дистанцию соблюдай. Я тебе не брат и не собрат, а пан. Не забывай этого.

## Глава VIII.

### Мастера-странники

Семачий скакал в деревню к отцу Владимиру, чтобы договориться об освящении усадьбы и дома. К этому событию он приурочивал большой праздник с гостями и угощением, надеясь порадовать жену и дать ей возможность почувствовать себя хозяйкой.

У трассы Семачий придержал коня и оглянулся на усадьбу. Она лежала посреди малахитового простора, наползавшего на двор со степи и плавно спускавшегося с нагорья, где были поля фермера. Вместе с розовевшими вдали сопками, ходившим в степи табуном и пасшимися у ограды коровами это было ничуть не хуже Швейцарии. Воздух на горизонте голубовато туманился. Земля в утренний час дышала свежестью и прохладой.

Семачий привязал у церковной ограды коня и вошел в пустынный двор с серым угрюмым остовом старой церкви и временной часовней, под которую был приспособлен нарядно раскрашенный вагончик со сверкающим куполком наверху. Возле часовни отец Владимир беседовал с двумя страннического вида мужичками, прямо-таки сошедшими с картин художников-передвижников второй половины XIX века. Одежды они были в помесь монашеского и крестьянско-ремесленного. На одном, низеньком и кряжистом, — что-то похожее на полукафтан, под которым видна рубаха, подпоясанная узенькой тесьмой, в руках он мнет картуз, сияя огромной плешью. На другом, длинном и тонком, — долгополое одеяние, на голове конусовидная шапочка, он похож на монаха. На ногах у обоих бурные сапоги на низком, почти слившемся с подошвой каблуке. Через плечо у странников перевешены холщовые сумки, спереди у длинного с пояса свисает чайник, у короткого — котелок. Сбоку у каждого прилажены зачехленные топоры, у низенького за спиной — обернутая тряпицей пила. Низенькому лет пятьдесят, плешь его окаймляют длинные сивые лохмы, лицо гладкое, бритое, живое. Беседу с попом ведет он. Его спутник совсем еще отрок с нежным пушком под губой, с вытекающими из-под скуфейки черными, до плеч, прядями прямых волос, темные брови изогнуты домиком, будто он чему-то удивляется, нос прямой, опущенный долу, туда же обращен и потупленный взор. Он молча слушает разговор, всецело полагаясь на ораторское умение старшего товарища. На полтора века парочка припоздала. Интересно, кто они и откуда?

Отца Владимира явно затруднял разговор со странниками, и он обрадовался фермеру.

— Дело-то какое, — обратился священник к Семачему. — Мастера явились церковь править, а у епархии на то ни денег, ни материалу нет. Говорю им, в город ступайте, там храм возводится, может, сгодится, — отказываются.

— Мы сюда посланы, — сказал плешивый, переведя взгляд со священника на фермера.

— Да кем посланы? — расстроился поп.

— Приказом небесной канцелярии, — с готовностью объяснил короткий.

— Кто же такие приказы дает? — устало вздохнул священник.

— Как кто? Служителю Божьему неизвестно? — удивился коротенький мужичонка.

Семачий решил вмешаться.

— Откуда будете, мужики?

— Мы-то вятские, — похвалился короткий.

— А что ж без лаптей? — еще раз оглядел фермер их наряд.

— По нашему занятию нам они не положены. Мы мастерики — правим, починаем, наново ладим — все по духовному установлению.

— Лапти не положены, а сермяги положены?

— Так это расхожее. Выправим церковь — наденем праздничное.

— Я ж говорю вам, восстанавливать церковь не на что, все средства на городской храм ушли! — осерчал поп.

— Мы слышаны, что народец здешний маломощен, ленив и миром братья не любит. Сами сделаем.



— Без ничего и вдвоем? — изумился священник.

— Инструмент при нас, природой здешние места не обижены. Осилит, как ты думаешь, брат? — обратился короткий к товарищу.

Отрок еще застенчивей опустил голову.

— Оно, конечно, нехорошо народу потачку давать, — рассуждал низенький, — но кто-то же должен замкнувшиеся души открыть и церковь-страдалицу пожалеть. Мы и колоколенку к ней приставим, а то срамно звоните, — указал он на свисавшие с перекладины колокола.

Отец Владимир насупленно промолчал, а Семачий поинтересовался:

— Не проголодались с дороги, мастерки?

— Было дело. Да вот, деревней прошли — милостыню собрали.

— Чем же вас народ одарил?

— Молоком поили, яйца выносили — кто вареное, кто сырое, также картошек вареных. Хлеба редко в каком дворе жаловали. Не родится здесь хлебушко?

— Деревня не сеет. Молоком пробавляется, огородами, — пояснил Семачий.

— Как можно хлеба не сеять? — поразился низенький, переводя взгляд с Семачего на отца Владимира.

— Тебя, мастера, с чего это заботит? Сам тоже ведь от земли оторвался? — поддел Семачий.

— У меня корни крестьянские. Родился крестьянином и крестьянствовал, пока по способности на иной путь не переложился. А вот товарищ мой ремесленного сословия.

— А чего он молчит? Немой или чересчур скрытный? — спросил фермер.

— Он образ в себе держит, в него смотрит, — пояснил низенький.

— А ты держишь?

— Не дано мне незримо видеть. Брат обсказывает, я в зримое перевожу — так и напарствуем.

— Как вас зовут?

— Я Симеон Бурко, откликаюсь на имя Бурко, — назвал себя низенький. — А товарищ — Питирим Деев, откликается на имя Петиня.

Длинный при произнесении его имени запунцовел.

— А я Иван Семачий, хозяин вон той усадьбы, — фермер указал рукою в зеленый простор. — Помощь понадобится — приходите.

— А то как же, придем и помощи спросим, — расположился к нему словоохотливый крепыш.

Кивком еще раз заверив мастеров в поддержке, Семачий повернулся к отцу Владимиру.

— Пройдемте, Иван Степанович, в храм, там побеседуем, — кивнул ему священник и повел фермера в часовню. Мужичкам велел подождать. Те поднялись на крыльцо старой церкви и расположилась на нем с едой, собранной в деревне. На тряпицу были выложены вареные картофелины, яйца, зеленые перья лука, принесенная с собой в дорожном мешочке соль, по кружкам из чайника разлито молоко. Пока занятые люди совещались в часовне, мастера позавтракали.

— Доложу о вас в епархии, — сказал им отец Владимир, выйдя с фермером из часовни. — Как там решат, так и будет. Куда вот только вас разместить?

— Не трудите себя беспокойством. Мы сами местечко сыщем, — заверил крепыш Бурко.

— Идемте ко мне, — предложил Семачий.

— Не положено нам из села уходить. Возле церковки будем. Скиток рядом поставим. Эвон сколько простора, — отозвался Бурко.

В ответ на его слова отец Владимир поморщил губы, но вслух ничего не сказал. Эти невесть откуда взявшиеся мастера все же оживили в нем надежду на ускорение дела.

— Как, ребятки, в епархии вас представить?

— Скажите, люди пришли, гораздые во всяком умении, хоть по дереву, хоть по камню, хоть по железу, в росписи знают, иконы пишут и берутся дух Господень в страдальную церковь вдохнуть, — возвеличил себя и товарища плешивый мастер.

За оградой Семачего дожидалась невысокая женщина лет тридцати семи, с коротко стриженными черными волосами,

синеглазая, одетая в брючный костюм и тупоносые туфли на высоком прямом каблуке.

— Все в церковь, никто в клуб не заглянет, — с обидой в голосе сказала она.

— А где тут клуб? — спросил Семачий, удивляясь тому, что сколько в деревню ни ездил, ни разу клуба не видел.

— Так вот же он, за тополями, — показала женщина на одноэтажное продолговатое здание из белого кирпича, вместе с белыми казенными постройками и церковью составлявшее административный центр села.

— Никогда б не подумал, что клуб, скорее на библиотеку похож, — сказал Семачий.

— Деревне хватает, лишь бы в хорошем состоянии был. Да вот отремонтировать его не на что. Идемте, посмотрим!

Первой мыслью Семачего было отказаться, сесть на коня и уехать, но женщина с таким ожиданием на него смотрела, что он не посмел, хоть и понимал, что ничего хорошего от этого посещения не выйдет.

— И вы пойдемте, — позвала женщина мастеров, слушавших разговор за церковной оградой.

Мужички поколебались, но пошли. Отец Владимир одиноким перстом замер на церковном дворе.

— Я заведующая клубом Екатерина Викторовна Михайлова, — представилась по дороге женщина. — Сына моего вы уже знаете, а меня видите первый раз.

— А кто ваш сын? — не сообразил фермер.

— Юра Михайлов, на ветеринара в сельхозтехникуме учится. Вы ему обещали на практику к себе взять.

— Ах, да, помню. Ну и что же он?

— Первый курс заканчивает, экзамены сдает. Только и думает, как к вам прийти.

— Пусть приходит, работа найдется, — сказал Семачий.

В разговоре женщина так и искрила, так и вспыхивала синим взглядом, словно в ее глазах полоскался солнечный луч. Семачего это расположило к ней. И плечистый Бурко, на которого она так же взглядывала, ответно таял и цвел. Юный мастер ничего этого не замечал, так как шел потупивши взор.

Но когда они вошли в клуб, вся живость на лицах погасла. Семачий не раз в этой деревне стоял перед полным запустением, но сейчас оно его обозлило. Да есть ли что-то святое у здешних людей? Юный мастер пылал не то стыдом, не то гневом за то, что доброю волей вошел в нечестивое место. Старший мастер шумно вздохнул и кратко выразился:

— Не красно.

— Я бы сама побелила и покрасила, но главное — потолок. Он вот-вот обрушится. Мне одной не справиться.

— Да, починки тут много, — согласился Бурко, обводя взглядом небольшой зальчик с крошечной сценой, донельзя обшарпанный и обветшавший.

— Вы поможете? — с надеждой посмотрела на мастера заведующая.

— Светского и мирского не исполняем, мы по духовной части, — ответил Бурко.

— Клуб разве — не по духовной? — вспыхнула заведующая. — Здесь у нас вся культура: детские утренники, молодежные вечера, праздники, художественная самодеятельность.

— Как же можно дорожить чем-то и не беречь? — покачал головой Бурко.

— Мы пять лет без ремонта, а закрыть клуб боимся — за одну ночь по кирпичику разберут. Из района приезжали, признали помещение аварийным, акт составили, а денег на ремонт не дали. Раньше совхоз помогал, теперь его нету. Сельсовету не по силам. У райотдела культуры нет средств.

— Вся надежда на доброго дядю? — жестко усмехнулся Семачий.

— И это действительно так, — вздохнула заведующая. — Я готова на коленях молить о помощи.

— А что же сама деревня? Парни у вас здоровяки, девки и того пуще. Лень им силенку поиздержать? Братся надо сообща, иначе не вижу смысла. Согласны вы на такой вариант?

— Я-то согласна, — неуверенно произнесла заведующая.

— Не о вас речь, Катерина Викторовна, а о деревне. Пойдет она на такие условия?

— Не знаю, надо с людьми говорить, пообещать что-нибудь...

— Что им пообещать? Плату? — разозлился Семачий.

— Не плату, но, может быть, праздник, гулянье, — робко сказала заведующая.

— Ладно, это включим, — согласился Семачий. — Остальное на паях с участием всех сторон — деревни, района, сельсовета, спонсоров. Может быть, мастера поддержат общество?

— Я согласен, — вдруг объявил Петиня.

— Ну тогда и я с ним, — помедлив, кивнул Бурко.

— Дело, считай, обговорено. Катерина Викторовна, привлекайте участников, — сказал Семачий. — И вот еще что. Вы тут всех знаете, мужичков на постой надо бы устроить, да чтобы не к пропойцам.

— Это просто, Иван Степаныч. У меня на примете есть удобная квартирка, а молоко я сама буду им носить, — снова заискрилась глазами заведующая.

Отец Владимир так и стоял во дворе, гадая, какие разговоры ведутся в клубе. Увидев, что заведующая уходит с собой мастеров, он подбежал к воротам, где Семачий отвязывал коня, и с беспокойством спросил:

— Катерина что — переманила к себе мастеров?

— Они оказались ребята покладистые, — весело сказал Семачий.

— Так они же на церковь пришли! — опешил священник.

— Вам они вроде как не нужны, — забавлялся Семачий.

— Как не нужны? — вскипел тот. — А церковь кто ремонтировать будет?

— У вас же средств нету.

— А у клуба они есть?

— Общими силами наскребутся.

— Вы даете?

— И я немного подсыплю.

— Та-ак, — с горечью протянул отец Владимир. — А на церковь, значит, дать не хотите?

— Почему не хочу, я же обещал. Но одних моих денег на восстановление не хватит.

— Сейчас в епархию еду, — решительно заявил священник. Скопив глаза на заворачивающих за угол мастеров, снова заволновался.

— Куда это они?

— На квартиру устраиваться.

— А к кому?

— Вам, батюшка, не все ли равно?

— Здесь полдеревни пьяниц и самогонщиков.

— Это ваша паства, отец, правьте их души.

— Выправишь их, нечестивцев, — проворчал поп.

— За мастеров не волнуйтесь. Они, похоже, люди устойчивые, — сказал Семачий и, запрыгнув в седло, прибавил: — Передайте владыке мое приглашение. На днях в городе буду — заеду окончательно договориться.

Катерина привела мастеров ко двору покойного ныне старшего из братьев Триединых — Льва Сударикова. Через низкую ограду громко окликнула хозяйку.

Из глубины двора вышла истаявшая от невзгод и работ, но еще упрямявшаяся смерти старая женщина.

— Теть Тань, вот вам постояльцы во вторую избу, — сказала ей Катерина.

— Не хочу никого, — дребезжаще запела женщина, двигаясь по двору, словно невесомая былинка, и держа руку на сухой груди.

— Теть Тань, ты только взгляни, кого я тебе привела, — уговаривала Катерина.

Женщина внимательным и долгим взглядом посмотрела на мужичков — и наконец выдохнула из надсаженной груди:

— Этих возьму, пусть входят.

На Петиню она даже перекрестилась, как на святой образ.

## Глава IX.

### Чародейка

Во дворе вернувшемуся из деревни Семачему повстречалась скотница Эльвира. В вышитой шелком белоснежной блузке с широким вырезом вокруг шеи она была статна, представительна и несомненно красива. Необыкновенно густые, светлые, в крутых завитках волосы, большие карие глаза, яркие губы. Семачему нравилась видеть у себя во дворе эту женщину. Нравилось видеть ее походку, величественную осанку, нравились окружавшие ее чистота и порядок, но более всего нравилось, как хорошо у нее получаются молочные продукты: творог, сливки, масло, сметана. Увидев хозяина, Эльвира, как всегда, просияла ему краснорубой улыбкой. Придержав коня, Семачий спросил:

— Как успехи моей жены?

— Пока что не очень.

— Так долго — и не очень?

— Она у вас слишком нервная, коровы зажимаются перед ней и не отдают молоко.

— Ладно, приеду взглянуть, — пообещал хозяин.

В обеденную дойку он прискакал на пастбище. Ольга в самом деле без пользы мучилась. Она тянула и давила соски, а молоко из них не бежало. Черно-белая корова беспокойно встряхивала рогатую головой и косила сердитым взглядом на неумелую доярку. У Эльвиры по соседству в ведре так и звенькало.

— Дай-ка я, — подсел Семачий к жене и так ловко взялся, что в подоилнике тоже громко зазвенькало. Корова от удивления присмирела. Эльвира со своего места засмеялась. Немного подоив, Семачий снова заставил жену взяться за коровьи соски, накрыв ее руки своими руками, и то сдавливал кулаки, то, разжимая, слегка потягивал соски книзу. Молоко цвиркало тугими струйками.

— Поняла? — спросил он.

Ольга кивнула.

— Теперь давай сама. Не напрягайся, бери легкой силой. Нажала — ослабила, рук не отпускаешь, работаешь, как насос. Из-под Ольгиных кулаков брызнули прерывистые белые струйки.

— Живее... Живее и легче, — подсказывал Семачий, сидя на корточках рядом. — Не пережимай, чувствуй меру, когда давишь...

Струйки побежали веселее и обильнее.

— Видишь, получается, — похвалил муж. — Крестьянская работа вся из повтора одних и тех же движений. Понимаешь теперь, откуда у сельчан терпение и выносливость?

Ольга надоила три четверти ведра и уронила в изнеможении руки. Семачий проверил, выдоена ли корова, сам протер влажной тряпкой вымя.

— Больше никакой школы. Сама, сама — и с полной нагрузкой! А вы, Эльвира Ивановна, плохой учительницей оказались, — шутливо упрекнул хозяин работницу.

— Непонятно, должно быть, показывала, — с загадочной улыбкой отвечала Эльвира.

Ольга промолчала. А дома сказала мужу:

— Долго еще ты будешь держать меня возле Эльвиры?

— Тебе разве с такой женщиной нехорошо?

— С какой такой? Думаешь, она милая и покладистая? Она самая настоящая змея. Мы друг друга не переносим.

— Ну, это ваши женские разборки, — отмахнулся он.

— Никаких разборок. В чем мне с ней разбираться? В том, что она заглядывается на тебя? Так это она на всякий случай хвостом крутит, авось попадешься. На самом деле ей совсем другое от тебя нужно.

— А что ей от меня нужно? — заинтересовался Семачий, видя, что жена завела разговор не просто из ревности.

— Ты еще не понял, что она воровка? Причем самая наглая — я таких за версту чую.

— Я замечал, что она понемногу уносит, — пожал он плечами. — Не хотелось из-за малости скандалить, все-таки у нее дети. Думал, с большим поймаю — остановлю. Она пока нормы не перебирает.

— О, она осторожничает. Она еще не соблазнила тебя. Как соблазнит — брать не так будет...

— А ты, Королева, на что? Не зря я тебя возле нее держу, — успокаивающе произнес Семачий.

— Меня она боится и всячески отшивает. Думаешь, за столько дней я бы не научилась корову доить? Она что-то делает — ворожит, заговаривает, колдует, я не знаю, но рядом с ней у меня ничего не выходит: корова не дается, сепаратор ломается, масло не сбивается, творог переваривается, сметана затекает водой.

— Ну, не списывай на нее свои неудачи...

— Нутром чую — напускает порчу! — вспыхнула жена.

— Коли так, то ее проделки скоро закончатся. На днях мы освящаем усадьбу. Колдовство потеряет силу. А ты все-таки поучись у Эльвиры, мастерица она отменная. А что учить тебя не хочет... Ладно, подключим Ивана. Он все на лету схватывает. Докопается до ее секретов, потом тебе растолкует — а ты уж перенимай, не ленись.

— Зачем тебе нужно, чтобы я умела то же, что и работники? — обиженно спросила жена.

— Чтобы представлять себе, чему ты хозяйка. Сельского воспитания у тебя не было. Кроме того, я подумываю, не завести ли нам фирму «Молочные продукты от Семачего. Высшая категория вкуса и качества».

— Она тебе нравится? — беспокожно спросила жена, оставляя без внимания упоминание о фирме.

— Да, очень. Люблю смотреть на нее. А что она бесовка — так от этого нравится еще больше. Но ты не страдай попусту. Она не королева. Королева у нас ты.

Он взял ее руки в свои, поцеловал одну и другую.

— Счастлив буду еще раз убедиться в этом на нашем с тобой празднике. — И, уходя в свои мысли, пообещал: — А воровать я ее отучу.

В усадьбу за лошадей и повозкой пришли церковные мастера Бурко и Петиня. Семачий обрадовался им, как дорогим гостям. А тезка-управляющий с одного взгляда влюбился в обоих и засобиравшись с ними в лес искать и метить пригодные для строительства сосны. Но хозяин его не пустил, потому что в усадьбе работы хватало, и наказал ему снарядить путников тяглом и продовольствием.

Повариха Татьяна, вместе с кухонным скарбом въехавшая в новый хозяйский дом и наловчившаяся в духовке электропечи выпекать хлеб, булки и пироги, с охотой выделила странникам несколько свежих утренних караваев, а также крупы, сахара, масла. Она приняла хожалых людей за праведников, особенно молодого и кроткого монашка. Ее так и подмывало припасть к краю его одежды с мольбой о счастливом разрешении своей сердечной боли. Не осмелившись сделать это прилюдно и вслух, она несколько раз про себя проговорила заветное желание, и странник, словно услышав ее, одалжил девственницу милостивым взглядом, в котором она усмотрела добрый знак своему чувству.

Для гостей и хозяев в столовой накрыли большой стол. Татьяна расторопно носила из кухни подносы с удавшимся ей сегодня обедом. Ее зеленые щи с яйцом и сметаной обедавшие похвалили, понравилось и жаркое из картофеля с мясом, и румяная сдоба. И сама разгоряченная повариха напоминала свежее испеченную булку.

Один только милый птенчик Ванечка ее огорчал. Он не ел и не пил, искусства ее не хвалил, всецело занятый пришедшими мастерами. И всегда-то он едок плохой: клюнет раз, клюнет другой — и сыт. Так бы, кажется, и закармила его, будь у него интерес к пище.

Кроткий монашек ест, не подымая глаз. Зеленые щи ему по душе. Татьяна дважды уже подливала в его тарелку. Старший странничек, сияя широкой плешью, успеваешь есть, пить и беседовать с хозяевами. Хозяин настолько увлечен разговором, что не ублажает хозяйку излюбленным «Королева моя». Скучая, она помалкивает и больше пьет, чем ест.

Разговор вьется вокруг предстоящей поездки. Мастера собираются идти по хребту, отбирать и метить подходящие деревья. Они уже подсчитали, сколько им необходимо леса на ремонт старой церкви и строительство колокольни, сколько потребуется распилить на доски. Расход получается большой, и хозяин сомневается, что лесхоз позволит епархии вы-

рубить столько сосен в пригородной зоне.

— По деревцу тут да там — вреда не будет. Матерые сосны, которые семена сыплют, мы не тронем, будем метить перестой.

— Чем же вы их поштучно-то из разных лесов вытягивать будете? — покачал головой хозяин.

— Мы у вашей милости пароконку спросим, — сказал Бурко. — Где катком, где волоком, где сама пойдет, а там затрелем в упряжку.

— Это сколько же вам народу и времени потребуется?

— За зиму справимся.

— Я с ними пойду, — снова вызвался Филимонов. — Трелевать могу, упряжь знаю, троса, лебедки мы заготовим.

— Зимой, может, и отпущу, — сказал хозяин, — а пока не дергайся — сами еще только на ноги встаем.

В эту минуту из кухни, оставленной поварихой без присмотра, Белоснежкой выступила Эльвира, неся на подносе дары своего цеха: молоко в приземистой крынке, сметану в фаянсовой утице, творог горкой и яйца россыпью. Все при виде ее смолкли. Монашек поднял глаза на белую женщину, и под его чистым и праведным взглядом она потупилась, слегка подпортив этим царственность своего выхода. Монашек виновато уронил взгляд, а она с улыбкой прошествовала к столу.

Хозяин встретил ее одобрением, хозяйка сердито свела брови, монашек не поднимал глаз, а Бурко восхищенно на нее воззрился.

Эльвира с охотой приняла приглашение, села за стол, выпила из поднесенной рюмки, сама налила в свою тарелку щей и, войдя в беседу, незаметно перевела разговор на себя.

— Мне хорошо знакомы эти места, — сказала она, услышав, что речь идет о путешествии на хребет. — Отец был лесничим, держал пчел, и мы с пасекой кочевали по всем тем горам. Сколько там цветов! Красные и желтые саранки, ирисы, марьяны коренья — целыми полянами... Я с братьями пасла коров. Мы их доили и молоко перерабатывали на месте, потому что домой носить было далеко. Там я всему научилась: как делать сметану, как творог, как сыр. У папы было две лошади — лесничему это разрешалось. Мы перевозили на них улья, пахали огород и маленькие поля в сопках — гречихой их засевали. Можно сказать, что я выросла среди запахов леса, травы, цветов, молока и меда. Пила воду из всех горных ключей, исходила все пади, перевалы и сопки. Даже охотиться научилась. У папы было много детей и много коров. Если б узнали, сколько у нас скота, наверно, поприжали бы, даже и не посмотрели бы, что через охоту папа водил дружбу со всем начальством. Летом коровы гуляли в сопках, а в холода их держали в зимовье. Мы, дети, поочередно там жили. Папа много накачивал меду, набивал дичи, сдавал скота, гречка лежала у нас мешками. Когда мы выросли, папа всех нас выучил. Я закончила сельхозинститут, имею диплом ученого-зоотехника, но по-настоящему знаю лишь то, чему научилась у папы дома.

От нескольких принятых рюмок язык у Эльвиры расплелся, запахи цветов в ее рассказе мешались с хозяйственными хитростями ее отца. Ее воспоминания увлекли всех, включая и не терпевшую ее хозяйку. Хозяин о чем-то задумался, плешивый мастер блаженно улыбался, в глазах у монашка горел некий нездешний свет. Ванька сидел как на иголках, его подмывало мчаться на поиск цветущих полей, кочевать с пасекой, пить свежий мед, запивая его молоком от пасущихся в сопках коров.

— Ну что ты так смотришь, сам скоро все увидишь, — не выдержала Эльвира света Петининых глаз. — А ты, Иван Алексеич, даже не думай, тебе в те места не попасть, — обронила она управляющему.

— А мне? — задал вопрос Семачий.

— Вам, Иван Степаныч, можно было бы, да не позволит хозяйка.

Эльвира зябко передернула плечами, поднялась и подалась вон, как и пришла, через кухню.

— Провидица, блин, — ругнулся Ванька.

Но обед уже кончился, все встали, мужички спешили ехать, и управляющий верхом проводил повозку до подъема на хребет, распрощался с уезжавшими и повернул к табуну.

Со свойственной ей настырностью Катерина взялась выбивать деньги на ремонт клуба, всюду потрясая именем фермера Семачего, как флагом, и убеждая инстанции, что если они выделяют сколько-то, то фермер тоже даст, и сообща они наберут достаточно. Понемногу раскошелились все — и район, и сельсовет, и Лудов по старой памяти, и богатые дельцы, которых она обошла. Но больше всех помог Семачий. Он прислал бригаду и технику и в несколько дней заменил перекрытия и обновил крышу.

Катерина обошла деревню, переговорила с каждым из молодых ее жителей и от каждого добилась согласия на участие в субботнике.

Июнь заканчивал третью свою неделю. Лето было в молодой и пьянящей силе, оно хорошело, как подросшая девушка, обещая еще большие прелести в будущем, но уже в этой поре оно пело радостью днем и призывно кликало ночью, волнуя сердце и разгоняя сон молодых женщин. От молока ли, настоящего на цветущих травах, или от воздуха, вобравшего в себя дыхание ликующей природы, они становились ведьмами, притягивая к себе своих и окрестных ухаже-ров.

На субботник собрался весь ипатьевский молодой народ, пришли и чужие из соседних поселков — поглазеть, побалдеть, потусоваться. Парни и девушки стояли под тополями, переговаривались, похохатывали, в клуб не спешили. Катерина, чтобы подбодрить их, включила музыку. Управляющий с фермы Иван Филимонов вынимал из рам разбитые стекла, Семачий прикидывал в уме, как занять столько подваливших работников. Катерина выходила к ребятам, звала, но никто не решался идти первым. Тогда Семачий вырубил музыку и вышел сам.

Молодежь примолкла при его появлении.

— Ну что, ребята, думаем? Работа ждет, — сказал он.

Из кучки парней кто-то расслабленно обронил:

— Работа не волк...

— А на посошок? — вывинтился оттуда же резвый голос.

— Вы зачем шли? — сухо опросил Семачий.

— Поглядеть, что будет, — ответил широкий в плечах богатырь, каких здесь было немало.

— Без вас ничего не будет, — сказал Семачий.

— Тогда на посошок! — заканючил тот же разбойный голос.

— Субботник — дело добровольное. Кто хочет работать — подходи ко мне, кто хочет глазеть — оставайся на месте, — объявил Семачий.

— Без интересу мантулить не будем, давай уговор, — за всех высказался широкоплечий.

— Да, Степаныч, без обещания не столкнешься, — подсказал возившийся в окне Филимонов.

Семачий окинул взглядом толпу.

— Ладно, будет вам уговор. Сперва от вас работа, потом от меня угощение. За день нужно отделать все здание: котельную, зал, подсобку. Требуются штукатуры, побельщики, маляры, плотники, подсобные работники. Кто согласен, разбивайся на группы.

Молодежь зашевелилась, послышались возгласы:

— Я штукатур, я штукатур... Кто со мной?

— Я маляр — есть маляры?

Вокруг широкоплечего сбилась плотная компания.

— Вы кто? — спросил Семачий.

— Плотники.

— Многовато. В плотники пойдут только специалисты. Ты специалист? — обратился Семачий к широкоплечему.

— Молотком тюкать могу. А вообще я по механизмам, — отвечал тот.

— Ты из Триединых?

— Из них, — заулыбался парень. — Виталя Сударь.

— Отец твой механизатор важный. Я им доволен.

Семачий обнял богатыря за плечи, завел на крыльцо, поставил лицом перед публикой.

— Вот вам, ребята, на сегодняшний день бригадир. Слу-

шайте его и подчиняйтесь. Лозунг такой: «Кто днем не работает, тот вечером не пьет самогону!».

О самогоне Семачий упомянул потому, что увидел снующую за спинами ребят Ульяну Гарькавую. «Почуяла ведьма поживу!». И поспешил начать работы.

— Побельщики, штукатуры, подсобники идут за мной. Маляры готовятся к покраске. Плотники поступают в распоряжение знатного мастера Ивана Алексеевича Филимонова.

И молодежь подчинилась. Через некоторое время, разбитые на группы и обеспеченные фронтом работ, все уже трудились. Расчищали и замазывали свежим раствором дыры и трещины в штукатурке, выносили мусор, побельщики орудовали кистями. Во дворе плотники чинили разбитые стулья. Маляры красили их. Не охваченная делом пацанва попыталась было носиться по клубу, но Виталя Сударь сурово попер ее вон. Пришедшие поглазеть не выдерживали безделья и включались в работу. Старики, глядя на труд молодых, вспомнили былые годы.

В полдень Татьяна Волоха привезла на повозке обед. Парни пробовали было канючить, что не худо прочистить запыленное горло, но Семачий напомнил, что работа еще не окончена, и жаждущие ограничились компотом.

Еще до обеда работа выстроилась в строгой последовательности и очередности. А когда дело дошло до покраски стен, окон и дверей, она стала нравиться и даже доставлять удовольствие. Некоторым увиделся в ней важный и возвышающий смысл, пробудивший в них горделивое чувство, которое каждый из них, а тем более все вместе, никогда не испытывал. С час или два они трудились в упоении, не отрываясь на перекуры.

Виталя, досматривавший сначала, чтобы в одном месте не скопнялись, зря не суетились и без дела не толкались, сам жадно включился в работу, забыв о бригадирских обязанностях.

Побелена была котельная, там уже красили окно, пол и дверь. В зале готовы были сцена и поперечная стена, отделявшая подсобку. Там, где красильщики окон, сделав свое дело, отходили, в простенках начинал орудовать валик, наносивший голубую краску. Следом двигалась красильщики полов. В подсобном помещении уже были выкрашены окна, заканчивалась покраска стен, белой эмалью мазалась дверь, по полу ходил валик.

Так как была суббота и деревня с обеда приступала к загулу, к клубу, как самому оживленному в этот час месту деревни, потянулись подвыпившие и разгоряченные. Они заглядывали в окна, окликавая работающих, и громко удивлялись, что те еще не балдые.

У работающих расстроился ритм, улетучилось очарование труда, появились желания — кому перекурить, кому передохнуть, кому проветриться. Виталя руганью возвращал ребят на место. Семачий объявил перерыв, наказав Витале удержать ребят от выпивки, и пока молодежь отдыхала, быстро обдумал перестановку. Девчат он направил красить рамы снаружи, Филимонова с помощниками — облицовывать мелкой дощечкой входную дверь, на покраску двери в котельную также поставлены были девчата. Таким образом, работа, словно напоказ, выплеснулась наружу, а живой щит из девчат загоразживал работавших внутри ребят от любопытных. Рабочий темп труда после перерыва наладился, хотя прежнее упоение уже не вернулось.

После семи вечера ребята по одному начали выбираться из клуба. Мыли кисти, сдавали инвентарь Филимонову, разминались, вдыхали в себя свежий воздух — их слегка мутило от угарного запаха краски, они устали и первые минуты просто наслаждались отдыхом, некоторые бежали купаться.

Почти все уже были во дворе. Последний маляр докрашивал участочек перед выходом. Молодежь, толпясь за порожком, заглядывала внутрь, оценивая плоды своего труда. Все там сияло новизной. Катерина была без ума от преображенного клуба, ей хотелось каждого обнять и расцеловать. У парней был важный и слегка озадаченный вид. Они не верили, что сами, доброй волей и собственной охотой совершили такое.

Семачий жал парням руки, девчата с готовностью подставляли щечку и ответно целовали хозяина усадьбы. Хлопотли-

вый Филимонов тоже попал к девочкам на растерзание и с удовольствием чмокался с каждой. Подъехавшая с ужином повариха Татьяна, застав эту картину, соскочила с телеги, растолкала стоявших на пути и припечатала милому птенчику давно лелеемый поцелуй, после чего Ванька куда-то скрылся.

К ужину от Ульяны Гарькавой явился и самогон. Молодежь пила, ела и балдела. Семачий в блаженной расслабленности сидел на подводе, свесив ноги, слушал нетрезвые разговоры. Возле него стоя пристроился и тоже глядел на гулянку Константин Триединый.

— Как ты думаешь, Константин, удержали мы клуб? — спросил Семачий.

— Ты-то, Степаныч, чего ввязался? Не все ли тебе равно, есть у нас клуб или нет? — лениво отвечал великан.

— А тебе? — остро глянул на него Семачий.

— Да мне-е... По моим-то интересам — не прозевать бы где дележку.

— Что, и клуб пришел бы разбирать?

— А то!.. Я, Степаныч, как и ты, строиться желаю.

— Что же ты желаешь строить?

— Всякие есть идеи...

— Я слышал, ты каждый год что-нибудь у себя затеваешь и никогда до конца не доводишь.

— Так материалу же не хватает.

— Неужто не натаскал? Во всех расхватах, небось, участвовал. Но клуб уже не твоя добыча, опоздал. Эй, Виталья! — остановил Семачий пробежавшего мимо парня. — Сознаете ли вы, что сегодня остановили развал?

— Как-то не очень, Иван Степаныч. Напряглись — сила! Даже не верится, что такое смогли. Но гулять, Иван Степаныч, еще лучше. Идемте с нами! — позвал парень, с маху врезаясь в толпу.

Молодежь плясала под тополями, горланила и лихо выбивала ногами.

— Подгуляют и за ночь разнесут, что днем сделали, — предрек Константин.

— Не разнесут. Молодым красивой жизни хочется, а не разрухи, — уверенно сказал Семачий и взялся за вожжи.

Из темноты выскочил Филимонов. Он хорошо выпил, но языком и движениями владел.

— Где Татьяна? — спросил у него Семачий.

— С девочками в кругу пляшет.

— Ну, ей виднее, — сказал Семачий и тронул упряжку.

— Иван Степаныч, захватите меня, — крикнула им Катерина. Филимонов помог ей забраться в плоскую, собственно изготовленную повозку. Татьяна догнала упряжку уже на ходу.

— Еще бы поплясала, — сказал ей Семачий, видя, что девка разгорячена.

— Наплясалась уже, — ответила повариха, запрыгивая и садясь рядом с управляющим, да так тесно придвинулась, что ему передался жар ее крутого бока.

Катерина была вымотана до предела и, несмотря на усталость, озабочена сохранностью сохнувших на улице ступьев.

— Будет вам, Катерина Викторовна, главное, клуб сберегли, стулья как-нибудь наживем, — проговорил Семачий, и Катерина успокоилась, доверившись сильному человеку.

У двора с просевшим в землю домом, с разболтанным штакетником и привязанной проволокой калиткой Катерина вышла.

«У нее самой надо проводить субботник, да не один», — со вздохом подумал Семачий.

Упряжка пошла дальше. Филимонов подремывал, Татьяна помалкивала, а Семачему хотелось оценки сделанного.

— Как ты думаешь, Таня, не зря мы прожили сегодняшний день?

— Не знаю, — равнодушно откликнулась повариха.

— Ты хоть посмотрела, как мы клуб сделали? — обернулся к ней Семачий.

— Мне без разницы, я в него не хожу.

— За деревню бы порадовалась...

— Еще чего.

— Ну, село! Ни понимания в нем, ни сочувствия! — обиделся он.

— Я вам, Иван Степаныч, сочувствую, — сказала Татьяна

на. — Ну чего вы мешаетесь, пусть деревня сама о себе заботится. Вы вот думаете — доброе дело для нее сделали, а наши поняли, что вас дуриком обдирать можно.

— Ты, Вань, такого же мнения? — обратился Семачий к помощнику.

— Подходяще поработали, — сонно обронил Ванька, довольнo улыбаясь в усы.

— Тебе, Иван Алексеич, только бы работать, — упрекнула его Татьяна.

Семачий рассуждал вслух:

— Неповоротливая крестьянская душа... Неужели я разучился ее понимать? Таня, скажи, я понимаю тебя?

— Вы-то, Иван Степаныч, понимаете, а вот Иван Алексеич — не очень.

— Он другая статья — мастеровщина. У них свой подход к жизни. А мы с тобой, Таня, по рождению крестьяне. Мы должны одинаково чувствовать... И все-таки я не предполагал, что деревня настолько охладела к общественному.

— У нас каждый понимает свое, а как не свое и нельзя взять — так пусть пропадает, — сказала Таня.

Улица кончалась ажурной оградой из белого кирпича, за которой стоял кокетливый, в два уровня особнячок из такого же белого кирпича. Это был двор Эльвиры Ивановны. Въезжая верхом в деревню или выезжая из нее, Семачий обязательно взглядывал через ограду на культурное царство маленьких, красиво размеченных грядок, кудрявого садочка и беленьких чистых дворовых построек. Вот на что потрачен зажиток лесничего. А кирпич на ограду, скорее всего, взят с брошенной фермы. Это тебе не вздорные идеи Кости Триединого. Тут все по уму и со смыслом. Эльвира — рачительная хозяйка. Интересно все же, зачем она работает у Семачего? Из-за пьяницы мужа, в прошлом инженера-механика, который не способен сам поднять подрастающих дочек, — или по природной склонности добывать и тащить в дом добро?

Когда упряжка подъехала к Эльвириному двору, хозяйка стояла за невысокой железной калиткой, опершись на нее и положив голову на скрещенные руки.

— Иван Степаныч, это вы? — тихо спросила она, подымая голову над калиткой. — Я давно вас слышу и жду. Люблю стук копыт и скрип телеги. Ваши повозки на шинах, колеса не стучат, а шуршат. Это тоже приятный звук.

— Сумерничаете в одиночку? — спросил Семачий, оставившая лошадь.

— Дочек жду. Не видели их на гулянье?

Семачий припомнил, что видел двух девочек, стоявших в сторонке от веселящихся.

— Если б мы знали, что они там, с собой бы прихватили.

— Я на велосипеде за ними съезжу. Они у меня скромные — еще кто обидит.

— Зачем же тогда отпускаете, если боитесь?

— Разве взаперти удержишь? Одной пятнадцать, другой тринадцать — так и рвутся на улицу, точно козы. А отпустишь — страшно. Охламонов в деревне хватает.

Татьяна с ревнивым неодобрением слушала воркотню Эльвиры с хозяином. «О дочках она беспокоится, а сама ишь какие рулады выводит. Хозяин тоже себе на уме — подпеваает. В кошки-мышки играют. Неизвестно только, кто кошка, кто мышка».

— Иван Степаныч, поехали, — взмолилась повариха. — Сами устали, Иван Алексеич сморился, мне еще бачки мыть.

Семачий простился с Эльвирой и подхлестнул лошадь. Когда въезжали в усадьбу, Ванька, как ни в чем не бывало, проснулся свежим и бодрым, помог Татьяне стаскать на кухню бачки, отвел распрягать лошадь. Хозяин прошел по двору, проверил, все ли в порядке.

Закрыли ворота, спустили собак, усадьба погрузилась во тьму.

Хозяин в спальне рассказывал жене, как он за день без нее соскучился. Татьяна ходила возле Ванькиной двери, порываясь и не решаясь в нее постучать. Ванька слушал ее шаги и вздохи, успокоенный тем, что дверь у него закрыта на ключ.

Юра Михайлов с управляющим возвращались из табуна на усадьбу. Ванька слегка натягивал вожжи, чтобы кобыла в радостном одурении не разогнала телегу на спуске.

Учеба в городе, а главным образом экзамены, вытянула из студента соки. За год он не окреп и не порос, оставшись худеньким, щуплым подростком с неоформившимися чертами круглого личика, с редкими веснушками на носу и щеках и любопытными мальчишечьими глазами. Принимая его на практику, Семачий подумал, что парнишке скорее нужен курорт с водами, грязями и физиопроцедурами, но тут же решил, что горячая степь и вольный воздух восстановят здоровье парнишки не хуже лечебницы с санаторием. Не имея детей в свои сорок с привеском лет, Семачий поймал себя на отцовском чувстве к сыну завклубши. Приезжая на табун, где Юра проходил практику, он, точно коня, ощупывал студента взглядом и находил, что тот здоровеет и крепнет.

Юра целый день пропадал в степи, выполняя назначения приезжавшего из города ветеринара. С сумкой через плечо, в светлой панаме, он был бы похож на пастушка-подпаска, если бы не серьезность вида, с каким он из большого шприца ставил прививки животным, уже зная по кличке и внешнему облику каждую лошадь. Эту работу с ним разделяла жена хозяина, бывшая врачом-терапевтом по специальности и увлекшаяся ветеринарией. А с управляющим Ванькой Юра подружился сразу же, как пришел на ферму.

— Ты какую-нибудь песню о конях знаешь? — спросил Ванька, раззадоренный быстрой ездой, широким простором и по-вечернему ласковым солнцем.

Юра наморщил лоб, вспоминая.

— Знаю одну, и то не всю, а несколько строк.

— Ну давай, — сказал Ванька.

— Что, петь что ли? — застеснялся подросток.

— А что, по-твоему, еще в степи делать?

Насмелившись, Юра негромко и протяжно вывел:

*Ты, конек вороной,  
Передай дорогой,  
Что я честно погиб за рабочих...*

— Хорошо! — похвалил Ванька. — А дальше?

— А больше в ней про коня ничего нет.

— Ладно, тогда я, — сказал Ванька и с таким радостным чувством начал, что даже кобыла шарахнулась:

*Ой вы кони, вы кони стальные,  
Боевые друзья, трактора,  
Веселее гудите, родные,  
Нам в поход отправляться пора.  
Мы с железным конем  
Все поля обойдем,  
Соберем, и посеем, и вспашем...*

— Вань, ты о каких конях поешь? — подавшись вперед, захохотал Юра.

— Как о каких? — на полном серьезе начал было Ванька, но, сообразив, тоже засмеялся. — Ты посмотри, — подивился он, — все песни о тройках да ямщиках, а чтоб о самих конях — что-то не припомню.

— Я тоже, — сказал Юра.

— Хочешь, я тебе самую свою задушевную, потомственную и родовую, спою?

— Спой, — кивнул Юра.

Ванька уставил глаза во что-то далекое, одному ему видимое, натянулся в струнку и, уйдя в себя, запел:

*Там на шахте угольной  
Паренька приветили,  
Руку дружбы подали,  
Повели с собой.  
Девушка пригожие  
Тихой песней встретили,*

— Слышал такую песню? — оборвал он пение.

— Слышал, в кино, — сказал Юра.

— Она обо мне, о родителях, о доме. Отца уже нет, — погрузился Ванька. — А мать живет... — Он вдруг встряхнулся, раскинул руки и торжественно произнес:

— Я привезу ее в степь! Я покажу ей коней!.. Я спою для нее нашу песню!

Потом осел и будничным голосом спросил:

— Как ты думаешь, я это сделаю?

— Не знаю, — осторожно сказал Юра.

— Не сделаю, — с сожалением признал Ванька. — Но навещу обязательно, как только хозяин пошлет меня в дальнюю командировку.

— А он пошлет?

— Обещал. По заводам — приглядеть технику, и в Башкирию — научиться делать кумыс. Он собирается на будущий год завести кумысный цех. Вот бы тебе попить кумысу, сразу поздоровеешь, а то ты заморенный какой-то. Кормим, кормим, а в деревню сходишь — и как воду на тебе повозили. Что там у тебя за дела? Живи лучше в усадьбе. Хозяин рад будет. Хочешь, со мной в комнате поселись? А хочешь, отдельно — углов в доме хватает. Сенокос начнется — поработаем, попоем песни. Есть у тебя любимая? Такая, чтобы жизнь зажигала?

— Если ты про песню, то нет, — улыбнулся Юра. — А если про девушку — есть.

— Вот отчего ты замученный! Как же я сразу не догадался! — Ванька даже подпрыгнул в телеге. — Кто она?

— Леночка Сударь.

— Триединая? Ну, понятно тогда. Здоровая, небось, телка.

— Раньше с меня была, сейчас на полголовы выше.

— И в полтора раза шире, — предположил Ванька. — Как же вы ходите?

— Мы не ходим уже, прячемся.

— Из-за роста?

— Из-за любви, — покраснел Юра.

— Тяжка, отрок, участь твоя, — посочувствовал Ванька. — Нет, давай я тебя в усадьбе укрою, отдохнешь, накопишь силенок. Жаль, кумысу нет. Я его в детстве знаешь как попил...

— И не вырос.

— Не вырос, — кивнул Ванька. — Зато песни пою. У вас в деревне песен совсем не слышать. Глухо живете.

— Не совсем, — возразил Юра. — У нас одна женщина, она как птица певчая. Все песни знает. Какую ни спросишь — споет.

— Я бы с нею попел, — разохотился Ванька. — Как ее зовут?

— Тетя Зина Сударикова.

— Опять Триединая? В деревне других фамилий что ли нет?

— Они самые видные.

— Это я знаю. Все — как водонапорные башни. Она такая?

— В общем, да.

— И поет?

— Еще как! На все свадьбы зовут.

— Эх, я бы с нею попел.

— Она редко в деревне бывает. На центральной усадьбе живет, в сельсовете работает. Это у ее матери мастеров поселили.

— У ее матери — мастеров? — вскрикнул Ванька. — Все, я там буду! — И, толкнув Юру, чтобы подхватывал, с хмельной удалью затянул:

*Раскинулось море широко...*

Юра встроился ему в лад, и вместе они заливались так, что лошадь в беспокойстве прядала ушами.

Из раскрытых ворот усадьбы верхом на коне вынеслась хозяйка и полетела по лугу в объезд упряжки, из которой не-

слось разудалое пение. Следом за хозяйкой из тех же ворот выехал хозяин. Он устремился было вдогон за хозяйкой, но потом повернул к упряжке.

— Балдеете? — сказал, подъехав.

— Балдеем, — весело откликнулся Ванька.

— Ну-ну, — кивнул хозяин и помчался догонять жену. Ванька проводил его взглядом и задумчиво обронил:

— Полетел кенарь за канарейкой. Только зазря.

— Почему? — не понял Юра.

— Не сплетается их любовь. Поодиночке вроде как любят, а вместе не сыгрываются. Это как в дождь каждый под своим зонтиком. У меня с женою точно так было. Пять лет на одной постели проспали, а детенка не вывели.

По Ванькиному настоянию Юра остался ночевать в усадьбе. Хозяин и вправду был ему рад. Юра чувствовал от него к себе родственные токи. И у Юры к нему было ответное движение, зато хозяйка Юру смущала. От нее к нему ни одной ниточки не тянулось. Даже с Ванькой она была надменна и холодна. Королева!

— Не сомневайся, у нас все тебя любят, — говорил управляющий Юре, когда они в Ванькиной комнате укладывались по постелям.

— Кроме хозяйки, — сказал Юра.

— Что с нее взять. Она даже перед мужем на ступеньку себя подымает, чтобы и он до нее, как до вершины, тянулся. Чересчур себя ценит. У нас тут праздник был — освящение усадьбы, гостей понаехало, сплошь начальство. Хозяйка наша до того важничала, до того царствовала, сам владыка перед нею робел. В результате гости вокруг Эльвиры плясали, она проще.

— У вас тут что, две хозяйки?

— Как тебе объяснить... У нас каждый своему делу хозяин: скотница — над молоком, повариха — над кастрюлями, хозяйка — над компьютером, я — наподобие приводного ремня. Хозяин — над всеми нами. Эльвира по глупости думает, что она может его к рукам прибрать. Не тут-то было. Это тебе не совхозное время — перед начальством юбкой крутить... В общем, поживи у нас, домой ходить не захочешь. А любовь... Устроим ей передышку и поглядим, что с нею станется.

Над Юрой уже кружил сон. Засыпая, он помнил, что ночует не в своем доме, но почему-то материна корова Милка его отыскала, вздыхает рядом и тяжело переступает ногами.

— Зачем пустили корову? — спросил сквозь сон Юра.

— Какую корову? — вскинулся на постели Ванька.

— За дверью топчется.

— Это не корова, это повариха страдает.

— Из-за чего страдает?

— Женский пол. Нигде от него покоя нет. Ты не волнуйся, дверь на замке, не войдет.

— Жалко ее, — пробурчал Юра, окончательно засыпая.

— Жалко? — удивился Ванька. Под таким углом Татьянины домогательства он еще не рассматривал.

Ранним утром Ванька явился к Татьяне на кухню. Повариха ловко иссекала ножом толстый кусок мяса.

— Таня, ты могла б по ночам не вздыхать у меня под дверью? — строго спросил он.

Татьяна насупилась, опустила голову и вздохнула.

— Я вам мешаю?

— Мне — нет, но у меня парнишка живет, и ему твои охи и ахи слышать не обязательно.

— Знаете, Иван Алексеич, какая жуть одной в комнате и в постели? Я боюсь, — пожаловалась повариха, не подымая глаз.

— Боишься — ночуй в деревне, — посоветовал Ванька.

— Что я там позабыла? — Таня в сердцах кинула нож, и он глубоко вонзился в кусок говядины. — Все, что мне нужно, у меня тут!

— Не настраивай себя, Таня, и не обнадеживай. Ничего меж нами не будет. Ты не мой идеал.

Повариха подняла голову — и вдруг горой двинулась на Ваньку.

— Вы не знаете еще, какой я идеал. Разглядите сначала, а потом говорите. Я душу на вас извела и еще изведу. О другом идеале даже не думайте, близко не подпущу!

— Боже, избавь меня! — вскричал Ванька, отступая, бо-

ясь, как бы она его не раздавила...

Когда позже Семачий вошел на кухню, повариха терла ладонью глаза.

— Ты чего-то с утра не в настроении и, по-моему, плачешь? — заметил он.

— Я, Иван Степаныч, наверно, уйду от вас, — сказала Татьяна.

— Я бы этого не хотел. Да, мне кажется, и ты этого не слишком хочешь, — проговорил хозяин, усаживаясь пить чай.

— Не хочу, но уйду. У меня судьба здесь не складывается, — жалобно проговорила Татьяна.

— Судьба у многих не складывается, но работу из-за этого не бросают, — пожал плечами Семачий.

— Когда б еще далеко, Иван Степаныч, а то рядом, руки тянуть не надо и... и... — Татьяна всхлипнула, с трудом проталкивая слова, — как никого.

— Да-а, незадача, — посочувствовал Семачий.

Он оглядел крупное, чуть ли не лопающееся от спелости тело поварихи. Перестаивает девка, оттого и мучается. Зря Иван таким изобилием пренебрегает. А с другой стороны, любовь ее тяжкая, вечная — прискучит, а не сбежишь.

— Может, тебе отпуск взять дня на три, на пять... Поживешь у родных, в деревне, отдохнешь, успокоишься.

— Что мне дома-то делать? Все мое здесь — и любовь, и жизнь. Вы б лучше Иван Алексеичу слово сказали, меня он не слушает.

— В таких делах не словом, а чувством положено... И не в тесных стенах, а на воле, под звездами. Природа сама на подмогу выйдет. Сенокос начинаем, не упusti времечко — и не обязательно с Ванечкой.

— А мне, кроме Ванечки, никого не надо, — насупилась повариха.

— Ну-ну, — сказал, подымаясь из-за стола, хозяин, еще раз оглядывая затомленное девичеством тело и мысленно костеря Ваньку.

## Глава XII.

### Певунья

Зина Сударикова проснулась в доме матери на рассвете. Она растворила окна, впуская в дом утреннюю прохладу и напевая:

*Если б гармошка умела  
Все говорить не тая,  
Русая девушка в кофточке белой,  
Где ж ты, ромашка моя?*

Неизвестно, что ей навеяло эту давнюю, вовсе не ее поколения песню. Может быть, белая, туманная пелена рассвета, сквозь которую не пробилось еще ни одного рубинового луча восхода. А может, это мечта ее пела, такая же, как утро, окутанная пеленой легкой грусти. Впрочем, Зина никогда не выбирала песни. Они возникали в ней сами ответом на какое-то внутреннее чувство или внешнее впечатление. Поэтому Зина никогда не знала, с какой песней встанет и что запоет в ее сердце.

Голос у нее был мелодичный, исповедальный, с перебором, будто кто внутри нащипывает струны. Слушателя это хватало за живое.

— Зина, не пой рано, мастеров разбудишь, — донесся из-за перегородки материн голос.

— Каких мастеров? — не поняла Зина.

— Мастера ночью вернулись. Выгляни в окно, во дворе телега стоит.

Зина подошла к боковому окну, которое еще не отворяла, подняла тюлевую занавеску и в туманной бледности разглядела у отцовой избы телегу и распряженную лошадь, выбирающую из телеги сено. А кроме того, увидела на крыльце отцовой избы пополам согнутую фигуру, свесившую голову к коленям и погрузившую лицо в пригоршню ладоней, так, что черные пряди длинных волос рассыпались и обвисли по сторонам.

«Спит или слушает?» — подивилась Зина, растворяя окно и продолжая петь.

Фигура распрямилась, и — Зине показалось, так близко, у самых ее глаз — глянуло на нее молодое лицо с черными, как крупные ягоды, глазами, удивленно изломанными бровями, прямым, как опущенная стрела, носом. В выражении лица не было ни тени сонливости, одно потрясенное внимание.

Зина любила нечаянных, как бы захваченных врасплох, слушателей. Ее и саму порой переборы собственного голоса расстраивали до слез. Она улыбнулась незнакомцу и опустила занавеску.

— Проснулись уже, — сказала она матери.

— Все-таки разбудила, — упрекнула мать и завозилась, вставая. Со вздохом и охом, что сна уже нет, а старые кости еще не належались, старая женщина появилась в зале, глянула на затеянную дочкой приборку и поплелась на кухню готовить завтрак. А дочка, вдохновленная присутствием слушателя, пела и пела, приковывая того к месту.

Состряпав утреннюю еду, квартирная хозяйка велела дочери умолкнуть, а мастеров позвала к столу. Они явились — оба, в Зинином понимании, — до смешного чудные. Один низенький и крепкий, с большой лысиной, другой долговязый и ломкий, в монашьей одежде. Низенький был говорлив, охоч до похвал, долговязый — молчалив и застенчив. За время завтрака он ни разу не поднял глаз не то что на Зину, но и на ее мать. Но Зинаида догадывалась, что если не глазом, то ухом он ловит каждое ее шевеление, схватывает каждое произнесенное ею слово, и все из-за очарованности ее пением.

Зине исполнилось двадцать четыре года. Крупнотелая, как и все Триединые, она была замечательна расписным, как у матрешки, лицом: яркие щеки, широкий мазок бровей, голубовато-серые радужки глаз, бантик пухлых губ и вечно вздымающиеся над высоким лбом спирали крутых светло-русых завитков. Лучше всего Зина смотрится в сборчатом сарафане с прилегающим лифом, блузке с пышными рукавами и цветастом с кистями платке. В таком виде она выходит на сцену и, если песня веселая, постукивает в такт ботинком на каблуке. Без сценического костюма, в обычной своей одежде, Зина заметно теряет в облике. Фигура ее расплзается, кудельки надо лбом топорщатся стружками и никакими усилиями не приглаживаются, и сама она начинает казаться чуть-чуть несуразною.

Пять лет назад Зинаида выходила замуж за баяниста, руководителя художественной самодеятельности, в надежде всегда иметь рядом с собой музыку. Но мечты ее не исполнились. На работе муж был гением концерта и репетиции, а дома обыкновенным забулдыгой и пьяницей. Зинаида стерпела бы и такого, так как была приучена к тому, что в их родове всяк по-своему с ума сходит. Но самолюбивый талант не вынес урона своего авторитета перед лучшей в округе солисткой и сам ушел из семьи. Зинаида осталась одна в маленькой квартирке, выделенной ей сельсоветом, работала секретарем в сельской администрации и пела в художественной самодеятельности, уверив себя, что в этих двух занятиях и заключено ее человеческое счастье.

Отзавтракав, мастера ушли со двора, и Зинаида, воспользовавшись этим, пошла прибраться в отцовской избе, где было пусто и грубовато по старине. Удивительно еще, что отцу не стукнуло в голову поставить свое творение на курьи ножки, — наверно, не захотел оставлять себя без подполья. Тоже чудил папаша. На старости лет от семьи откололся. Во дворе возле дома избу себе срубил. Дурь не дурь, но и серьезным не назовешь. Снаружи отцова изба — как сказочный теремок, а внутри — хоромина, перегородками не поделенная, — вокруг печки хоть хороводы води. Пывыначивался папаша и помер. Сыны, Зинины братья, разъехались. Зина на стороне живет. Мать одна на две избы осталась. Тоже обуза для старрой.

Но сегодня Зинаида во второй избе убиралась с охотой и любопытством. Мастера уже свой быт здесь наладили. Тут и трава душистая пучками по стенам развешена, порода какая-то горками на подоконниках насыпана. Зина зацепила щепотку из одной кучки: гладкий, как крахмал, материал катается между пальцами. Глина, наверно. Этих глин самых разных цветов и оттенков на тряпицах рассыпано, даже зеленая есть.

Зачем они им? Краски, что ли, наводить? Зина увидела еще надранную березовую кору и лыко. Рядом лежали готовые изделия: берестяные коробки, плетеные сумки, вырезанные, еще не покрашенные ложки, струганные палочки разной ширины и длины. Зина догадалась: трещотки, свистульки и разные детские игрушки из них мастерить. Их квартиранты с голоду не помрут и на чужой хлеб не сядут. Сегодня за завтраком низенький мастер матери берестяную коробочку для рукоделия подарил. Мать была довольна. Так отцова затея с избы по-старинному нечаянное продолжение получила.

Вечером на подоконнике залы в материной избе сам собою возник букетик цветов в берестяном стакане. Зинино сердце встрепенулось, сладко и зыбко забилося, как не билось с самого ее девичества. В первый раз Зину не потянуло из родного гнезда в дожидавшуюся ее маленькую квартиру.

### Глава XIII.

#### Бессонница у хозяйки

Среди ночи чуткое ухо Ваньки уловило едва слышное шевеление в доме. Это не повариха. Она просыпается позже, и на ее шлепающие шаги Ванькино ухо не реагирует. Сейчас ее тяжелая плоть покоится на постели, и Ванька через двери и расстояния слышит ее сонные постанывания. У спящего в Ванькиной комнате Юры при выдохе точно пузырьки лопаются, иногда с легким, хлопающим звуком, что делает парнишку еще более милым и беззащитным.

Ванька вслушался, что там, наверху, у хозяев, и не поймал ни единого звука. Тогда он словно перышко вскинулся и босиком, бесшумно вышел в переднюю комнату.

Под светильником, за низким столиком, с бутылкой вина и бокалом сидела хозяйка. Ванька пожалел, что не слышал ее шагов сверху, а то бы так глупо перед нею не выскочил.

— Хорошо, что ты встал, — сказала хозяйка. — Оседлай мне коня, я хочу проветриться.

Ванька поморгал удивленно — и замотал головой:

— Нет. Сейчас ночь, вы выпили, собаки спущены, они подымут лай, всех перебудят.

— Из всего, что ты наболтал, верно лишь то, что я выпила, и то самую малость — прогулке это не помешает, — сказала хозяйка.

— Прогуляйтесь на вышку, если охота, — пробурчал Ванька.

— Верно. Как я сама не сообразила? — согласилась хозяйка и встала, собираясь прихватить с собой бутылку и рюмку.

Ванька понял, что не то подсказал. Весь остаток ночи ему придется охранять бражничающую хозяйку, потому что, когда она впадает в тоску, то становится опасна даже для себя самой. Сейчас, похоже, у нее состояние душевной смуты...

— Но там комары, — поспешил напомнить Ванька.

— Х-м, их общество мне нежелательно, — снова согласилась хозяйка и приказала управляющему:

— Бери бокал и садись.

— Лучше я пойду досыпать, — сказал Ванька.

— Неужели? — по лицу хозяйки разлились такое презрение, что Ванька посчитал за лучшее взять бокал и сесть рядом с нею.

— Неужели, — уже другим тоном проговорила хозяйка, — такую собутыльницу и такое вино можно променять на сон?

— У нас режимное хозяйство. Днем работаем, ночью обязаны отдыхать, — заметил Ванька.

— Свято ты блюдешь заповеди моего мужа. Ты все еще от него без ума? — усмехнулась хозяйка. — Я заметила, ты все время от кого-то на взводе, то от моего мужа, то от мастеров, то от мальчишки-ветеринара, — и ни разу от женщины. Ты не признаешь наш пол?

— Я влюбляюсь в людей, — сказал Ванька, — и в женщину, как в женщину, тоже могу влюбиться, только этого давно со мною не происходило.

— Но меня ты обошел чувством и как женщину, и как человека. Может, признаешься почему?



Брови у хозяйки как однажды взлетели, так на взлете и замерли, только кончики их над переносьем при нервозности чуть-чуть подрагивают. Для нее было бы лучше, если бы брови приопустились — выражение лица потеплело бы. В той неизвестности, где хозяин когда-то ее встретил, она в самом деле была королевой, и теперь королева. Но для небольшой фермы ее величие чересчур высоко, всякого человека низводит до уровня червяка, а это не самое подходящее состояние для влюбленности.

— В общем-то, вы мой идеал, — признался Ванька, — я должен был быть от вас без ума... Но, понимаете... Вы слишком уж королева. Не каждое чувство на такую высоту замахнется.

— Ты не так прост, Иван, как делаешь вид, — удовлетворенно проговорила хозяйка. — Мой муж, пожалуй, этого не подозревает, да и зачем, раз вы и так друг друга устраиваете. А нам с тобой больше говорить не о чем. Иди спать, Ваня.

## Глава XIV.

### Луговая обморочь

Вся команда Семачего, кроме Эльвиры, переключилась на сенокос. Хозяин принял еще одного механизатора, сына Николая Сударя Виталю. Трактористы подготовили механизмы, Ванька соорудил две повозки для сена и вместе с Юрой на пароконных упряжках доставлял его на усадьбу, где за ангарам пастухи его скирдовали. Позже хозяин добыл пресс-подборщик, сено катали в тюки, дело пошло быстрее, и, за вычетом непогожих дней, а также отвлечений на уборку зерна, покос продолжали до осени. Но первые две недели прошли по всем правилам луговой поры: с соленым потом и азартом, с запахом свежескошенных трав и ворохами душистого сена, с жарой долгого дня и духотой ночи, с обедами и ужинами на стане и рыбалками в перерывах между работами. Ночью по очереди сторожили табор. Не обошлось и без сенокосных приключений.

Приехав как-то за сеном, Юра Михайлов, к своей радости, встретил на таборе Леночку Сударь.

— На тебя приехала посмотреть, ты ведь совсем глаз не кажешь, — с обидой сказала она.

— Работаю, видишь, — покраснев, виновато сказал Юра.

— А ночью?

— Допоздна сено вожу, некогда забежать.

— Не соскучился, значит.

— Ну что ты!.. Знаешь, как истосковался... — Сердце его прыгало и колотилось в волнении.

— Ага... А первая-то я приехала, — в упреке изломала губки Леночка.

Юра глядел на подружку слегка снизу вверх. За дни разлуки она будто еще подросла и четче оформилась. Восхищенный ею, он даже не подумал мысленно глянуть на себя рядом с ней и оценить, как они вместе смотрятся, а потому все еще не замечал, как заметно они разошлись в развитии. И она не видела этого, а возможно, не придавала значения. Они оба продолжали представлять друг друга по первому, приворожившему их впечатлению, а для иного взгляда время не подошло.

— Ты долго здесь будешь? — спросил он с замиранием сердца.

— Пока ты меня не заберешь.

— Тогда сейчас! — с готовностью воскликнул он. — Нагружусь и поеду.

По скошенной луговине пароконка с ослабленными поводьями плелась еле-еле, пока не свернула к леску и вовсе не замерла у опушки.

Скакавший к табуну хозяин покосился на заблудившийся воз, увидел наверху два слившихся тела и проехал мимо. «Вот у кого сенокосное дитя вяжется... А у нас с женой луговой ночи так и не вышло. То сено колетса, то букашка щекочет... Городская изнеженность не переносит сельской романтики».

## Глава XV.

### Поражение лесной нимфы

Эльвира выехала из усадьбы на велосипеде с загруженным багажником. Предоставленная на время сенокоса самой себе, она без стеснения набивала сумку. Но вот уже и луговое напряжение ослабло, и хозяин чаще бывал в усадьбе, а хозяйка и вовсе в луга не навевывалась, однако Эльвира никак не могла ограничить себя, каждый раз зарекаясь, что эта тяжелая сумка последняя.

Эльвира была уже возле трассы, когда навстречу ей из деревни вынырнула верховая фигура хозяина. Скотница живей закрутила педали, чтобы хозяин не углядел, что она везет что-то тяжелое.

Подъехав к ней, Семачий заулыбался, попридержал коня — явно хотел поговорить. Ей тоже пришлось остановиться. С велосипеда она сошла на неудобную левую сторону — чтобы загородить от его взгляда багажник. Любезничать с хозяином ей всегда нравилось, а сейчас она и вовсе постаралась отвести ему глаза. Но увлеклась настолько, что потеряла осторожность, в забывчивости оперлась на велосипед, как на что-то устойчивое, и он поплыл, отъезжая. Цепкие руки Эльвиры сумели не выпустить руль, но всего велосипеда не удержали. Он рухнул задним колесом. Из привязанной к багажнику сумки ручейком потекло зерно. Хозяин поглядел на ручеек, на набежавшую кучку зерна, и глаза его подернулись пеленой огорчения.

— Не к лицу красивой женщине обременять себя тяжестью. Сказали бы, что у вас груз, я бы подводу дал. — Хлестнул коня и ускакал.

Эльвира тупо смотрела на растущий бугорок, видя в нем знак своего поражения. В другом таком случае она бы нашла что сказать и как вывернуться. Но сейчас дело касалось чувства, и Эльвира пала духом, как неопытная девчонка. Дело не в том, что просыпалась горстка зерна, и не в том, что хозяин это увидел, а в том, что невозвратной птицей улетела его любовь, и ей было невыразимо жаль этого.

Дома Семачий выбрал из компьютера данные за весь срок, что скотница работала у него. Показатели каждого дня и каждого месяца были замечательны. За колонкой цифр проглядывало честолубие, деловое рвение и талантливость этой женщины. Великолепна, чертовка, если учесть, что при всем том она еще водит его за нос. Умелая баба, нечего тут не скажешь.

С выборкой цифр Семачий пришел в сепараторную, где Эльвира священнодействовала над молоком.

— Я доволен вашей работой, — сказал он.

Эльвира заглянула в распечатку, которую он держал в руках, и кокетливо спросила:

— А мной?

— Вами в первую очередь, — улыбнулся он, с приятностью сознавая, что не кривит перед нею душой. В крахмальном халате, с открытой, красиво вылепленной шеей, она была соблазнительно хороша. А на стерильно-кафельном фоне отделанной Ванькой комнаты смотрелась неподражаемо, затмевая в эту минуту даже Ольгу. Эльвира нутром почуяла его душевное колебание и, не раздумывая, пошла на захват.

— Почему бы нам не стать ближе? — Она придвинулась и обняла его.

— Только в делах, — сказал он, снимая ее руки со своих плеч.

— Любовь делам не помеха, — попыталась она высвободить сжатые им кисти.

— Но не у нас с вами, — отпустил он ее руки.

— А у нас с вами что может мешать?

— Сопутствующие намерения.

Эльвира поняла, что он имеет в виду, и уязвленно вспыхнула. Кончик носа ее хищновато загнулся. Этот маленький, предательски показавший себя недостаток ее безупречного лица вызвал в нем прилив жалости к разгаданной им женщине. Она по виду Семачего догадалась, что в расстроенном состоянии что-то в своем облике теряет, и постаралась изменить выражение лица. Черты ее округлились, и крючочек спря-

тался. Но Семачий уже прорисовывал его в памяти и знал, что всегда теперь его разглядит.

— Вы распалили во мне огонь и не даете ему выхода, — горько сказала она.

Семачий бережно, чтоб не обидеть ее самолюбия, стал разъяснять:

— Что касается работы, я всегда шел навстречу вашим желанием. Разве я вам плохо плачу? Разве не смотрю на ваш подсобный цех, как на самый важный в хозяйстве?

— Это не то, — покачала она головой. — Я другого от вас хочу.

Перед ним снова стояла роскошная, охваченная желанием женщина. В эту минуту она была искренна и, пожалуй, бескорыстна, но колдовала, чаровала и дурманила без зазрения совести. «Ивана Семачего этим не возьмешь, и ты, Ленька, тоже держись», — подстегнул он себя.

— Вы рискуете потерять это место, Эльвира. Моя жена не только любимая женщина, она компаньон.

— Мне нужны только вы. На остальное плевать. — Она сама запуталась в своих чарах.

— Ну а мне нет, — жестко произнес он. — Боюсь, что я сам вас уволю, если вы не оставите своих притязаний. Вы красивая женщина, но для меня вы не стоите ни моей жены, ни фермы. Впредь думайте, что говорите.

Эльвира моргнула, приходя в себя, и зябко поежилась.

— Извините, — сказала она, — что приняла хозяина за мужчину, а себя вместо работницы женщиной показала.

И опустила голову, ожидая решения своей участи.

— Мне, Эльвира Ивановна, приятно сотрудничать с вами и приятно держать перед глазами такую красавицу. Если вы согласны оставить наши отношения на этом уровне, то давайте работать дальше.

— Я согласна, — тихо сказала Эльвира.

— Тогда давайте обсудим еще один вопрос. К сожалению, не совсем приятный для вас.

Семачий заглянул в бумагу с цифрами и сказал:

— Я сделал разноску предположительной экономии фуража за последние месяцы...

— Откуда вам знать, сколько его оставалось? — перебила она, беря у хозяина распечатку и пробегая глазами по цифрам.

— Вы ж среди людей работаете, Эльвира Ивановна, — с улыбкой напомнил он.

— За мной шпионили?

— Как хозяин, я должен знать, что в моем дворе делается.

— Что ж раньше-то молчали? Проверяли на честность?

— В какой-то степени я допускал, что для вас это законный прибыль: показатели-то у вас отменные. Мне интересно другое, как вы его получаете? Обсчет ведь на каждую голову — ни больше, ни меньше необходимого.

— Тут никакого секрета. Я по опыту знаю, где хватит, а где надо прибавить. Ну и отходов не допускаю. В общем, это мои достижения, — сказала Эльвира.

— Я их признаю, уважаю и хочу внести в договор. Семьдесят процентов экономии — при хороших, понятное дело, результатах — ваши, тридцать — мои. Получать будете раз в месяц, квартал или как вам понравится, вывозить на подводе. Само собой, всю экономию в сводку — ежедневно и обязательно. Вы с этим согласны?

— Да уж конечно, — ядовито усмехнулась она. — Мне теперь, как конторской служащей, только губную помаду в сумочке можно держать.

## Глава XVI.

### Ночное купание

Душной июльской ночью в растворенное окно не пробивается ни малейшего дуновения. Занавеска, любовно повешенная Зинаидиной рукой, не колеблется. Привычный к любым условиям Бурко спит и похрапывает. А у Петини от духоты и назойливых мыслей бессонница. Он ворочается с боку на бок, вздыхает — ни сна, ни облегчения. Измучив себя и измаявшись, он зовет спящего:

— Брат! Брат Симеон!

Бурко резво вскакивает, будто и не спал вовсе. Свешивает ноги с полатей.

— Что такое? — всполошенно откликается он.

— Меня образ покинул, — страдая, признается Петиня.

— Как покинул? — спросонья не очень соображает Бурко.

— Ушел... Вместо него — ее образ.

— Богородицы? — зевая, спрашивает Бурко.

— Зинаиды, — произносит Петиня.

У Бурко враз проходит зевота.

— Что ты глаголешь, отрок? Как же без образа церковь ставить? Исторгни, исторгни дьявольское наваждение! Прости Господи про хорошую женщину так сказать, но это дьявол тебя искушает.

— Я тоже думал, что дьявол, а теперь сомневаюсь.

— Кто же тогда?

— Чаю, сам Господь через образ Зинаиды посылает мне откровение.

— Образом простой женщины церковь ставить? Опомнись, отрок, какие речи ты говоришь? — возмутился Бурко.

— Господь знает, что делает, — тихо молвил Петиня.

— Охо-хо, отрок, не вовремя пришло твое время. Ишь какими бреднями себя опутал, — всепонимающе вздохнул Бурко. — Это не Господь тебе посылает, это твоя собственная плоть тебя морочит. Не Божественное провидение, а мирской соблазн. Победи его, отрок, победи! Восстань духом над земною юдолью!

— Не верю, брат, что в твоих словах правда. Почему, когда явится ее образ, на душе благолепно и осиянно, как в храме?

— А образа Господня в том храме нет, — напомнил Бурко.

— В том и мученье, — поник головою Петиня. — Денно и ночью прошу Господа знак мне подать — во гневе иль благодати воздвигает между мной и собой обожествленный образ простой женщины?

— Смел ты в суждениях, отрок, и дерзостен, а ведь того, что ты говоришь, не должно быть. Мы Божьи люди, и никакой иной любовью, кроме любви к Господу, без его дозволения соблазняться не можем. Или ты полагаешь, что дозволение снизошло?

— Надеюсь, что снизошло. В образе Зинаидином оно дано. Только не могу разобрать смысла, в него вложенного.

— Не обмануться бы нам, отрок? Ты — мои глаза, я — твои руки, грех на обоих падет, — покряхтел в сомнении Бурко. Потом предложил: — Давай-ка сходим на реку. Проточной водой тебя окроплю, крестное знаменье положу — авось, тебе полегчает.

В два часа ночи натрудившаяся за день деревня уже крепко спит.

Осколок ущербной луны не высвечивает всего пространства. Тени от домов и кустарников угольно-черные. Огороды, дворы и пустыри тускло светлеют.

Мастера шли по улице в белых холщовых рубахах, в каких укладывались спать, босые и беспоясые. В тени они пропадали вместе с неяркой белизной своих рубах, в просветах блекло высвечивались.

На реке в открытых местах было светлей, чем на улице, но тут мастера, к своему неудовольствию, обнаружили, что они не одни. Под мостом на глубинке плескались и взвизгивали полуночникичающие молодки.

Осторожно, из-за кустов, как были в рубахах, мужички начали входить в воду. Их не только увидели, но и узнали, потому что из-под моста разудало закричали:

— А-а, божьи люди, и вам по ночам не спится? Идите к нам, мы вас ополщем, а заодно поглядим, какие из святых мужики!

— Кыш, бесовское наваждение! Крестное знаменье на вас, — наложил Бурко крест в сторону купальщиц. — Рассыпьте-ся в прах!

— Сам рассыпьте, козел плешивый, — вместе со смехом раздалось в ответ.

Бурко торопливо повел Петиню подальше от моста, за ракитовые кусты.

В это время на вершине горы вспыхнули огни едущей из города машины. Купальщицы загалдели и полезли из воды.

Заходя за кусты, Бурко оглянулся. Две то ли девки, то ли бабенки во весь рост, в чем мать родила, стояли на перилах моста, облитые светом фар, и дожидались, когда машина подкатит поближе. Перед ее носом они рыбками нырнули в воду. Машину из стороны в сторону пошло бросать по мосту, но, видно, водитель взял себя в руки, потому что поддал газу и понесся в ночь от греха подальше. Русалки под мостом заливались хохотом.

Петиню, по счастью, не видевшего этой срамоты, Бурко обрызгал водой за ракетами, молитвенно начитывая при каждом омовении:

— Выведи, отрок, из души смертный образ, как хочешь себя изломай, а выведи! Неужто не понимаешь, какая это деревня? Без святой церкви и Господня благословения греха тут не перебороть. Образ простой женщины против него бессилен. Не соблазняй себя, не вводи в искушение меня и не заблуждай Господа. Вот тебе очищение от обманчивых помыслов. — Бурко вылил на темя стоявшего перед ним на коленях юноши сдвоенную пригоршню речной воды.

Петиня закрыл руками лицо и, нагнувшись чуть ли не до самой воды, надрывно заплакал.

Заслышав его рыдания, купальщицы примолкли, к ним вернулся стыд, и они молчком пошли из воды.

После этой ночи Петиня стал на рассвете ходить в клуб и при первых разливах зари расписывать стены. Работал он недолго, всего час с небольшим, пока красный колоб солнца не расплескает по земле золотого сияния. Вслед за тем художник складывал в сумку инструмент и, не глянув на сделанное, шел к церкви, где его ждала основная работа. Приходившая позже Катерина подолгу стояла возле Петининых рисунков, разгадывая их, как ребусы, и не умея понять. Однажды она затащила в клуб Бурко и спросила его, что пишет Петиня.

— Цветы, — угрюмо сказал Бурко, косясь на стену.

— А мне кажется — это не просто цветы, — покачала головой завклубша. — Это как нотные знаки, за ними скрытая музыка,

— Мы церковные мастера, нам не пристало работать светское. Отрок забывается, — отговорился Бурко.

— Не забывается, а изливает душу. Ты знаешь, о чем?

— Чужая душа потемки.

— Но не его душа для тебя, — возразила Катя.

— Эти цветы мы видели, когда ездили в лес. Отрок перенес их сюда. Вот и весь сказ, — уклончиво проговорил Бурко.

— Ты, Семен, неоткровенный человек. Петя куда откровенней. В этих рисунках его душа надвое разрывается, сама с собой берется и страдает. У меня от них тоже сердце стонет. Разве можно человека лишать любви? Это ты, Сеня, его мучаешь?

— Я не даю ему сбиться с пути истинного.

— Ты, Семен, холостой человек? — пронзительно глянула на мастера завклубша.

— Вдовый, — остолбенел он от суровой сини ее взгляда.

— И дети есть?

— Были.

— А теперь что же — нету?

— Кто его знает, разошлись наши жизни. Они в миру увязли, а меня по земле понесло, церкви ставлю где нужно. Отрок мне вместо сына и брата.

— Сам, выходит, познал, что человеку положено, а мальцу перекрываешь дорогу? — сказала Катерина. — Глянь на рисунки — с любовью он борется, с любовью. Да разве бороться с ней надо? Она как дар Божий для человека!

— Дар Божий? — изумился Бурко. — Неужели взаправду дар Божий? Он что-то похожее говорил, да я ему не поверил.

— Почему не поверил? — Катерина жгла его осуждающим взглядом синих глаз.

Бурко оробел и поспешил объяснить:

— Я простой человек, а он не простой, Господом озаренный. Душа его перед Богом обязана быть чистой и непорочной.

— Разве любовь порок?

— К Господу не порок, — тяжело шевельнул он губами.

— А к человеку порок? — морозила взглядом завклубша.

— Так церкви же ставим. Единым чувством положено!

— А двойным — к Богу и человеку — нельзя?

Бурко тряхнул головой, сбрасывая оцепенение.

— Хитроумная женщина, ловко подъехала! — засмеялся он, потирая лысину снятым картузом.

— Не все же вам одним, божьим людям, народ просвещать. По долгу службы я тоже работник культурного просвещения. Это не значит, что клуб с церковью бороться должны. Не то время. А поладить мы можем и постараемся, — посветлела в улыбке завклубша. — Вот Петя доброе дело для клуба делает. Молодежь на его рисунки заглядывается. Вроде бы просто цветы, а присмотришься — дух захватывает. И сквернословить не хочется. Ты бы, Семен, не препятствовал парню, а больше бы понимал и жалел. Его душа на многое бы открылась, и никто в убытке бы не был.

— На грех ты нас с Питиримом толкаешь, ох, толкаешь, но тяжело устоять. — Бурко ласково глядел на женщину.

— Тебе, Семен, как простому человеку, грех не заказан, и сам ты себе его не заказывай. Заходи ко мне, как захочешь, чаю попить, заодно и калитку починишь.

— Ты вдовая? — поинтересовался Бурко.

— Разведенная.

— Нехорошо, — покачал Бурко головой.

— Нехорошо расходиться, а сходить — на счастье, — не замедлила с ответом завклубша.

— Приважливая ты, говорливая. С моста голяком не ныряешь?

— Не по годам мне и не по должности, — усмехнулась Катерина.

— Глядишь и зайду, — намекнул Бурко, наминая во вспотевшей руке картуз.

— Хозяйство у меня небольшое, но работы в нем много, — сказала женщина.

— Работа для нас не препятствие, важно, чтоб обхождение было, — заметил мастер.

— Об этом, Сеня, не беспокойся — отстираю, отмою, выряжу, подстригу по моде — красавцем станешь, — пообещала Катерина.

— Ну и проворная женщина. С одного разговора холостяка окрутила. Ну жди, приду как ни то. — И Бурко в смущении пошел из клуба.

Петиня скоро закончил рассыпать цветы по стенам, сплести их в венки и кружить хороводом. В клуб уже не ходил. Катерина дождалась приезда Зинаиды на выходные, высмотрела ее идущей от автобуса и с порога клуба окликнула:

— Зина, зайди!

— Не сейчас, — отозвалась Зинаида из одной руки в другую перехватывая тяжелую сумку.

— Ну зайди! — настаивала Катерина с загадочной интонацией в голосе и таким же загадочным выражением на лице.

— Что у тебя? — поддалась Зинаида, направляясь к тополлям, вместо того чтобы свернуть в улицу.

С некоторых пор Зинаида стала одеваться наряднее, чем всегда, и со вкусом. Но кудряшки ее по-прежнему дыбились надо лбом, будто задранные ветром. Зина определенно не умеет управляться со своими богатыми волосами. Она вообще чересчур проста. Столько времени парень у нее под боком, весь измучился от любви, а она до сих пор не прибрала его к рукам. Разве это женщина? Песни одни на уме.

— Иди глянь, что монашек нарисовал, — кивнула Катерина на открытую позади нее дверь.

В клубном зале было темнее, чем на вечеряющей улице. Зинаида видела рассыпанные по голубым стенам цветы, прострелы зеленых трав. Катерине показалось, что до Зинаиды не доходит спрятанный в рисунках смысл, она заторопилась объяснить.

— Этот розовый пион — ты, Зин. Он тут самый большой. А этот колокольчик с вытянутой шеей, узнаешь, кто? Смотри, как он тянется к пиону.

— погоди, Катя, дай я сама разберусь, — остановила подружку Зина, начавшая понимать, что на самом деле представляют собою цветы.

Да, конечно, это кружево лепестков марьиного корня —

она. Как он сумел нарисовать цветок — а так похоже изобразить ее? А этот колокольчик с вытянутой шеей — и вправду он. Как потрясенно он глядит на нее! На другой стене она среди цветов красуется на лугу. Он уже ближе к ней и по-прежнему не отрывает от нее взгляда. Через несколько изображений они уже рядом. Они не наглядятся друг на друга, и они счастливы.

Зина расплакалась.

— Ты чего? — удивилась Катерина.

— Зачем он всем рассказал о нас?

— Думаешь это кому-то понятно? — успокоила подругу завклубша.

— Ты же догадалась...

— Потому что я видела, в каком состоянии он писал. Но ты обрати внимание, у него каждый цветок в волнении, каждая былинка в тревоге, даже когда вы вместе и счастливы. Знаешь почему? Потому что любовь к тебе для него — слушание, нарушение запрета. Здесь он переступает запрет, он с тобой вместе. Значит, он может сделать это и в жизни. Ты, главное, надейся, Зин. А это, Зин, кто, по-твоему? — Катерина показала на один из цветов.

Зинаида в ответ отрицательно покачала головой.

— Это я, фиолетовый ирис. Похож на меня, правда? Только без пары. А у меня пара есть. Сказать, Зин, сказать?

Зинаида уже не слушала ее. Она подняла с пола сумку и пошла домой. Катерине так и не удалось поделиться с нею.

Петиня ждал Зинаиду на крыльце избы, в которой квартировал. Увидев ее, он поднялся. Зинаида поставила на землю сумку и подошла к нему.

— Я сейчас из клуба, все видела, — сказала она. — Ты правильно о нас понял. Как же нам теперь быть?

— Я напишу с тебя образ Богородицы, — опустив глаза, проронил монашек, сжимая и разжимая пальцы костлявых рук.

— Не надо, Петенька, я земная женщина, — возразила певунья.

— Я хочу показать тебя Господу, чтобы он увидел тебя такой, как я вижу.

— Но у меня никогда не было ребеночка, и ты его дать мне не хочешь, — сказала Зина.

— Без благословения Господа я не смею войти в супружество, — побелел отрок.

— Разве такие вопросы, Петенька, мы не сами решаем? Разве не для того между людьми возникает любовь? И разве на стене в клубе мы с тобой именно так не поступаем? — спрашивала Зинаида.

— Это мое затмение, Зина. Я его там оставил. Но даже там, Зина, я не осмелился дерзнуть на супружество. Я только его желал. Подождем, Зина, высшего позволения.

— А сколько ждать?

— Я не знаю, но я верю, что оно будет.

— А до того — сохнуть в своем чувстве? Я не выдержу, Петенька!

Долговязый отрок побелел еще больше и сполз перед ней на колени.

— Люби меня, Зина, как сына, материнской любовью.

Молодая женщина горестно вздохнула.

— Мучаешь ты себя и меня, милый. Люди задом наперед не ходят, а матери женами не становятся. Не о том я загадывала и не на то надеялась. Но все равно мне тебя жалко. Люби меня, как тебе позволяется, а я своего чувства к тебе менять не буду. Как хотела делить с тобой жизнь и судьбу, так и буду хотеть. А ты уж сам смотри.

С этого дня ее песен никто не слышал, а у Петини не ложился на доску ее образ.

Симеон Бурко навестил-таки Катерину, поглядел на ее захудавшее без мужской руки хозяйство и остался чинить, да ладить, да строить наново. С Юрой они подружились, признав один другого за отца и сына. Перед таявшим свечою товарищем коротенький мастер чувствовал себя виноватым и мысленно взывал к Богу: «Испусти, Господи, на него милость свою и сними с него тягость духа и тела его».

## Глава XVII.

### Птенчик словлен

Ванька Филимонов остался ночью сторожить сенокосный стан. Поздним вечером при разгоревшихся звездах на телеге приехала повариха Татьяна Волоха.

— Иван Алексеевич, это я! — предупредительно крикнула она, увидев вышедшую навстречу фигуру не то с палкой, не то с ружьем.

— Ты зачем? — сыроватым голосом спросил из темноты Ванька.

— Ужин привезла.

— Я уже ел.

— У меня пельмешки горяченькие со сметанкой.

— Ну давай, — согласился Ванька, полагая, что к пельмешкам у поварихи припасена бутылочка водки.

Повариха проворно выставила на таборный стол привезенные угощения, в числе которых была и бутылка.

— Расторопная ты, — похвалил Иван, садясь против поварихи на скамейку.

— Я и добрая, и обходительная, — прибавила повариха.

— Ну, кто кого обойдет, — поднял Ванька наполненную стопку.

— Что это вы, Иван Алексеич, такой тост говорите, — обиделась повариха. — Я не обманывать вас приехала.

— Но и не без умысла, — сказал Ванька.

— Я, Иван Алексеич, никак вас застать не могу, чтобы о чувствах поговорить.

— Незачем о них говорить, — буркнул Ванька.

— А мне, Иван Алексеич, нужно о них сказать.

— Думаешь, я буду слушать?

— Почему бы не послушать? Времени у нас с вами целая ночь.

— Поймала, значит?

— Не поймала, а дождалась своего часа.

— И еще подожди, — сказал Ванька, выметнулся из-за стола и прыгнул в телегу.

Татьяна выскочила следом и вцепилась в оглоблю.

— Я в деревню к Петине съезжу, подожди меня здесь, — бросил он из телеги.

— Как же вы одну-то меня оставите? Страшно мне в одиночку. Да и не ели вы, пельмени стынют, — уговаривала Татьяна, продвигаясь к телеге.

— Нет у меня аппетита при таких речах, — сказал он.

— А какие такие речи? Парень с девкой об интересе своем говорят.

— Нет у меня к тебе интереса.

— Жаль вам девушку обласкать?

— Ты посмотри на меня и себя, какая мы пара — люди от смеха животы надорвут.

— Люди будут смеяться, если мы полюбовничать станем, а если распишемся — никто и не вякнет.

— Ах, вот ты на что метишь? — обозлился Иван. — Ну, я поехал, — поднялся он во весь рост и взмахнул вожжами.

— Никуда вы не уедете, Иван Алексеич, — я подпруги ослабила, — проговорила Татьяна, крепко обхватывая Ваньку за ноги.

— Ты что делаешь, пусти — я сейчас упаду, — выкрикнул он.

— Теперь уж не отпущу, — сказала повариха, вынося милого на руках из телеги...

На рассвете повариха выбралась из сена, отвела от коня, натянула подпругу, перетаскала пустую посуду в телегу и, присев возле лежавшего в сене управляющего, проговорила:

— Иван Алексееич, я поеду.

— Уезжай, — сонно откликнулся он.

Обиженная его безразличием, Татьяна подождала, не прибавит ли он что-то еще, и, не дождавшись, спросила:

— Иван Алексееич, как мы теперь будем?

— Как-нибудь будем, — с неохотой проворчал он.

Ответ Татьяну не удовлетворил, и она с отвоеванным за ночь правом заявила:

— Ну так я приду к вам сегодня ночью.

— У меня Юра ночует.

— Он пусть в деревню едет. Там ему хуже не будет, — отрезала она.

Ванька повернулся, всмотрелся в размытое рассветным сумраком круглое, вспухшее от бессонной и бурной ночи лицо поварихи, и оно почему-то не показалось ему ни чужим, ни неприятным.

Через несколько дней управляющий на хозяйском джипе свозил повариху в город и привез ее оттуда в новом наряде, с туго затянутой талией. Но она недолго проходила в устроенном виде. Подошло время — и ее талия неудержимо поползла вширь, и узкие блузки с юбками пришлось скинуть. Впоследствии талия поварихи еще дважды вспухала и за третьим разом исчезла напрочь, а вместе с нею исчезла и Ванькина мечта о стройной спутнице жизни. Однако он уже о том не жалел, приохотившись к пышным прелестям дородной супруги.

При появлении признаков первой припухлости управляющий с поварихой расписались в сельсовете и обвенчались в церкви. Свадьбу играли в усадьбе. К рождению первенца хозяин поставил управляющему дом, над которым Ванька и сам в достаточной степени потрудился. Татьяна принялась дом обживать и прибавлять в нем семейство. Семачий с завистью поглядывал на черноглазых, черноволосых, как галчата, мальчишек и не переставал удивляться не затухающему с годами благоговейному отношению поварихи к своему мужу. Прилюдно и наедине она величала его по отчеству, как бы ставя его тем самым над собой и приучая к этому окружающих. Семачий вынужден был признать, что по некоторым позициям Татьяна выказывает себя большей королевой, чем его собственная жена.

## Глава XVIII.

### Поимка сбежавших коней

Семачему не везло с пастухами. В рабочее время они то и дело попадались на пьянке. Их прогоняли, заменяли другими, но и с теми происходила та же самая история. Деревня с тридцатью самогонными точками утопала в алкогольном пороке, от которого, казалось, не было никакого избавления. Семачий подумывал взять пастухов со стороны, но для них надо было держать в усадьбе жилье, чего ему не очень хотелось, и не хотелось отказывать деревне в рабочих местах. Однако последний случай пьяного разгильдяйства чуть не лишил его табуна. Гарькавый, муж самогонщицы Ульяны, утянув у супруги зелье, так напился, что упустил коней. Часть лошадей, вместе с жеребцом Желудем, ушла на хребет и заблудилась там среди сопки. Сбежавший табун потом вернули, а жеребца Желудя с кобылкой Тихоней поймать не смогли. И все дни, пока их искали, Семачий был в возбужденном состоянии. В его глазах был виден охотничий блеск, ноздри вздрагивали, походка сделалась мягкой и вкрадчивой, как у хищного зверя. Жена узнавала в нем прежнего Леньку Оруджего и сама также испытывала охотничий азарт, ездила на облавы.

Несколько поисковых выездов результатов не дали. Иногда с верхушки горы преследователи видели беглых коней, мирно пасшихся в каком-нибудь из распадков. Но стоило приблизиться к ним, как Желудь уводил подругу в заросли у подножия сопки, где они терялись в кустах и высоких травах. Семачий с командой пробовали брать коней загонем, пробовали окружать с четырех сторон, подбираться по-пластунски — но каждый раз Желудь вовремя замечал опасность.

У Семачего еще более нервно вздрагивали ноздри и ярче отливали блеском глаза. Он хотел поскорее отловить коней — на свободе, среди обилия корма, они быстро дичали.

В один из дней неудавшейся ловли повариха Татьяна предложила взять на поимку ее брата Серегу.

— Он все детство за совхозными конями пробегал, знает, как их ловить.

— Ну что же, зови брата, — сказал Семачий.

В усадьбу явился молодой мужик, по-медвежьки замате-

релый, с ленивой повадкой и дремавшей без пользы силой. У него был вид деревенского увальня, простодушного и доверчивого, но которого не дай бог разозлить. Семачему брат поварихи понравился, он с охотой взял его на облаву.

На коне Серега сидел мешковато, но прочно. Забрался на него дикарским способом — схватился за холку и прыжком забросил свое тело наверх, будто и не видел стремян. Было похоже, что парень привык ездить без седла.

Выезжали со двора вчетвером: Семачий, Ольга, Филимонов и новый ловец. Заметив среди отъезжающих женщину, Серега с неудовольствием на нее покосился и кинул выразительный взгляд на хозяина, но тот всем своим видом показал, что вопрос обсуждению не подлежит.

На хребте Семачий с разных точек осматривал местность в бинокль. Коней не было видно.

— Вон они! — сказал Серега, показывая рукой на два смутно чернеющих пятнышка в горловине прохода. Семачий навел бинокль и не сразу выделил в густой тени два конских силуэта. Лошади паслись в узком распадке у подножия крутой сопки, накрытые тенью противоположной горы.

— Теперь мы их возьмем, — радостно пообещал Серега.

— Да, позиция неплохая, — признал Семачий. — Перекроем выход с обеих сторон, на крутую сопку они не взойдут — словим.

— Не-а, лучше я их на хлеб приманю, — сказал Серега. — А вы стойте здесь, а то вспугнете.

— Ты хочешь один? — поднял брови Семачий.

— Не беспокойтесь, я подберусь незаметно, они от меня не уйдут, — заверил Серега.

Ольга обдала его недовольным взглядом. Она сама желала охотиться. Но Семачий доверился парню.

— Ну что ж, мы отсюда посмотрим. В случае неудачи гони коней сюда, мы их тут перехватим.

Серега слез с седла, передал поводья управляющему, перетянул висевшую на ляжке через плечо сумку со спины на живот и, как с ледяной горки, заскользил по покатоному склону вниз. Въехав в высокую траву, росшую внизу, он пересек падь и побежал по противоположной стороне ущелья. Склоны холмистой гряды распадка были в основном травянистыми, у подножия — в редких кустарниках. Большие деревья росли поверху. Серега в пятнистой камуфляжной куртке почти сливался с местностью, особенно издали, и заметить его на склоне можно было только по движению. Приблизившись к пасшимся коням, он и вовсе исчез. Семачий, следивший за его продвижением в бинокль, еле отыскал ловца в траве, где тот пробирался пригнувшись.

Кони не замечали приближающегося к ним человека. Перед косогором, где они спокойно щипали траву, Серега залег в небольшой впадинке. Передохнув немного, выглянул, оценивая обстановку.

Ближе к нему паслась кобылка, прикрывая собой жеребца. Стараясь не высовываться, Серега низко, как мечут по воде камешки, пустил в направлении лошадиной морды подсоленный кусок хлеба, шлепнувшийся неподалеку от опущенной кобыльей головы. Косящим глазом лошадь заметила его падение и замерла, выжидая, но, привороженная запахом лакомства, с любопытством потянулась к хлебу, обнюхала его и съела. После чего задрала морду, выжидательно глядя в ту сторону, откуда прилетело угощение.

Серега метнул еще кусок, но со значительным недолетом. Кобылка мгновенно помедлила — и пошла к приманке. Жеребец остерегающе фыркнул, заподозрив неверность подруги, но та уже была во власти соблазна. Она не испугалась, обнаружив в траве спрятавшегося человека, доверчиво приняла хлеб из его руки, далась погладить себя.

Обиженный непослушанием подруги, жеребец грозно встряхнул гривой, сердито всхрапнул и, удивленный, что занятая чем-то кобылка не обращает на его предупредительные сигналы внимания, пошел к ней подозрительной и раздраженной походкой. Притаившись в траве за кобылкой, Серега и ему кинул приманку. Жеребец на ходу ее подобрал и с возросшим подозрением продолжал надвигаться на кобылку и спрятавшегося за нею ловца. Серега успел еще раз бросить ему хлеба, но и это не смягчило гнева кавалера. Тогда Серега встал в полный рост, кормя кобылку из сумки. Взбешенный

вероломством подруги, в одиночку поглощавшей лакомство, жеребец куснул ее в тугую ляжку, отчего она с жалобным ржанием отпрянула, и сам пристроился к сумке, сердито и торопливо поедая ее содержимое. Вернулась кобылка. Серега и к ней подвинул сумку, добившись того, чтобы они вместе ели. И только после этого осмелился погладить жеребца. Тот фыркнул, тряхнул мордой, отстраняясь от ласки. Серега сделал еще попытку и еще, пока тот не перестал противиться.

Хлеб в сумке кончился. Обе лошади тянули морды к Сереге. Он попеременно их оглаживал, приучая к себе. Перед решительным действием ловец вынул из кармана припрятанный кусок хлеба, с руки скормил его жеребцу и, поглаживая ему морду и шею, зашел сбоку, оперся на холку и тяжеловатой перевалкой вскинул себя ему на спину. Пораженный таким поворотом дела, Желудь затанцевал, готовый вздыбиться. Серега наклонился вперед, успокаивая коня легким и в то же время хозяйским поглаживанием. Поняв, что седок устроился прочно, жеребец задрал морду и тоскливо проржал, прощаясь с утраченной волей.

— Нашел о чем горевать, — не разделил его печали Серега. — Мы все к чему-то пристегнуты, оттого и живем. А у тебя если не воля, то полуволя все-таки будет и целый табун невест.

Он поддал коню под бока, и тот сердито понес его по дну ущелья. Кобылка послушно бежала следом.

На выходе из пади Желудя и державшуюся возле него кобылку окружили. Кобылку Ванька зауздal, а жеребец занервничал, вертясь на месте и взбрыкивая. Серега насилу его успокоил. Ольга захотела потрепать Желудя по морде, но он отпрянул.

— Своенравный, — оценил Семачий, не пытаясь жеребца тронуть.

— Сперва симпатию надо завоевать, а потом подходить, — сказал Серега.

— Ты уж завоевал? — усмехнулся Семачий.

— Слушается, — скромно ответил ловец.

— Отпусти — опять сбежит, — сказал хозяин.

— Так еще приучать надо, — пожал плечом Серега.

Ольга не отрывала взгляда от светло-карего, с песочным отливом, коня, она рассчитывала сделать его своей верховой лошастью.

Кобылку загнали в табун, а жеребца отвели в конюшню. Серега, оставленный на ферме пастухом, а потом возведенный в ранг старшего пастуха, насилу вызволил Желудя из усадьбы, убедив хозяина, что это лучший вожак в табуне. Вопреки желанию жены Семачий отпустил своенравного жеребца в поле, где Серега обещал его объездить.

## Глава XIX.

### Леночка присматривается к усадьбе

Юра Михайлов и Леночка Сударь на возу сена въехали в усадьбу. Пока Юра, стоя на возу, перекидывал скирдовальщику сено, Леночка пошла прогуляться по двору. Был седьмой час вечера. Юра сделал последнюю езду, и Леночка увязалась с ним, чтобы забрать его в деревню, а то он опять заночует в усадьбе. Кроме того, ее саму манила усадьба тем, что обыкновенный, давно надоевший ей сельский быт здесь выглядел как-то празднично. Сюда будто и солнце щедрей и радостней светит, и бывшие коровники под новой крышей смотрятся как хоромы. Во дворе ни бурьяна, ни мусорных куч, ни битого стекла. Приятно пахнет настоем сена, зерна и сухой навозной прели. Люди в усадьбе, даже свои деревенские, одеты опрятно, чисто, смотрят с важностью и довольством. Отец Леночки, собираясь с утра на покос, чего попало не наденет, обязательно ему подай свежеевыглаженную рубашку. И хоть целый день с тракторами и механизмами, а в засаленных штанах его не увидишь. Брат и того пуще, во всем подражает хозяину — такого франта, как он, и в городе не сыскать.

Леночка невольно оглядела себя — не помялся ли сарафан. Вспомнив дорогу сюда, Леночка с негой потянулась, пред-

ставив, что еще большая радость будет ей вечером. Но Юра то что ж? Почему его чуть ли не силой нужно вытаскивать из усадьбы? Неужели любовь ему не дороже каких-то там дел?

Через открытые степные ворота верхом на коне въехала хозяйка. Леночка с любопытством стала ее разглядывать. Хозяйка спрыгнула с коня и повела его в поводу. Будь Леночка такой же худой, она бы не стала так жутко зауживаться: брюки в обтяжку, сапоги в натяжку, курточка будто облепила тело, один козырек неимоверно торчит. На стрекозу с оторванными крыльями похожа.

Осудив про себя хозяйку, Леночка тем не менее не отрывала от нее взгляда. И чуть ли не вошла следом за нею в конюшню, во всяком случае, она туда заглянула, но увидела только пустые клетки. Хозяйка возилась где-то в глубине конюшни. Оттуда доносились приглушенные стуки и бреньканье. Леночка не рискнула пройти вовнутрь и вернулась во двор, подставив загорелые плечи все еще жаркому солнцу.

Выйдя из конюшни, хозяйка скользнула по девочке бесстрастным взглядом и сухо осведомилась:

— Кто ты такая и что тут делаешь?

— Юру жду, — сказала Леночка, наслышанная о том, что ее милого здесь любят.

Но ее слова не прибавили к холодному выражению лица стоящей против нее женщины и малой теплинки. Вероятно, не она, а ее муж любит Юру.

— Почему ты тут ждешь, а не снаружи? — так же сухо спросила хозяйка.

— Я сено с ним привезла, — с вызовом ответила Леночка. От обиды она стала нахальной.

— Разве ты у нас работаешь? — подняла брови хозяйка. Невесть откуда вывернувшийся Леша Свисток поспешил девочке на помощь.

— Это дочка Николая Игнатыча Сударя, родная сестра Витали и Юрикова подружка, — разъяснил он.

Довольная такой рекомендацией, Леночка горделиво выпрямилась, как солдат перед знаменем. Хозяйка не обратила на ее гордую стойку внимания и, повернув голову к дворцовому работнику, властно бросила:

— Следи, Алексей, чтоб посторонние по двору не болтались.

— В оба глаза слезу, хозяйка, чужим не даю сюда ходу, — затараторил Леша, но хозяйка, не слушая его, уже направлялась к дому. Сапожки на ее ногах играли блеском.

— Из-за тебя выговор получил, — упрекнул Леночку дворцовый работник.

— Да она у вас злыдня! — в сердцах выпалила Леночка.

— Ш-ш! — прижал к губам палец Леша. — Не твое дело. Приехала с дружкой — возле него и держись, не тыкайся по двору.

— А если хочется посмотреть?

— Дружка попроси. Он с хозяйского разрешения по усадьбе тебя поводит, покажет, что тебе интересно.

— И дом тоже? — воодушевилась Леночка.

— Про дом не скажу. Туда не каждому дозволяется. Хозяйка увидит — может рассердиться, — покачал головой Леша. Нахмурившись, добавил: — Ты, когда с хозяйкой-то разговариваешь, сиськи на нее не наставляй, а то больно красуешься перед ней.

— Я сиськи наставляю? — не смутилась Леночка, слышавшая от деревенских и не такие еще обвинения в свой адрес. Защитно подобралась в готовности укоротить язычок деду, но тут услышала смех. Обернувшись, увидела скотницу, очевидно, давно за ней наблюдавшую.

— Тетя Эля, — обратилась Леночка к ней за содействием, — вы видели, наставляла я сиськи?

— Не знаю, наставляла или от природы они у тебя такие, — улыбнулась накрашенными губами Эльвира.

Леночка поняла, что должна обелить себя сразу перед обоими. Она повернулась к дворцовому работнику и немилосердно его отчитала:

— Отживший человек, дедушка, а о таком думаете, да еще говорите! Постыдились бы своего возраста.

Повернулась и направилась к скотнице.

— Натэ-ка, и от шмыгалки выговор схлопотал, — ошарашенно проворчал Леша и с ехидцей прибавил: — Ишь ты,

новая монета сыскалась! Поглядим, как сотрут.

— Не твоя это забота, — обернувшись, бросила Леночка и приветливо поздоровалась со скотницей, уважительно назвав ее тетей Элей, хотя на языке вертелось деревенское «Вира». Та в ответ расцвела крашеной своей улыбкой, но поразила девочку не обманчивым радушием, цену которого Леночка знала по уличной поговорке: «Вирка лыбится — козники строит», а тем, как нарядно была одета. Блузка крепдешинная лазоревого цвета, расписанная узором, в тон блузке юбка с голубовато-зеленым отливом, золотая цепочка с кулоном на полной шее и завивка в крупных барашках. Это она на дойку пришла. Леночка ни в жизнь бы не поверила, что на работу к скотине можно так вырядиться. «А ну как не к скотине вовсе?» — с усмешкой подумала девочка, припоминая деревенские сплетни о Виркиных проделках с прежним начальством. Удивительно, но чувства уязвленного соперничества, какое Леночка неосознанно испытала к длинноногой хозяйке, к этой зрелой красавице у нее не возникло. Зато оно возникло у зрелой красавицы, увидевшей в девочке подростковую смену. «Моложе моей старшей, а уже вон как выспела», — раздраженно подумала о ней скотница и еще ласковой улыбнулась.

— Вы тут работаете? — кивнула Леночка на оштукатуренный и побеленный баз.

— Хочешь посмотреть? Идем покажу, — предложила Эльвира.

— Что я, коровников не видела? — отказалась Леночка.

— Такого, думаю, не видела.

— Коровы дома мне надоели, — сказала Леночка. — А в хозяйском доме вы бываете?

«Вон ты куда метишь», — усмехнулась про себя скотница, а вслух проговорила:

— Конечно. Я молочное туда ношу.

— Там красиво?

— Неплохо, — умеренно похвалила скотница. — Ты у Юры об этом спроси. Он у хозяев ест и спит, пусть и тебя сводит.

— Он стесняется.

«И правильно делает», — подумала скотница, а вслух обнадежила:

— Как-нибудь и ты туда попадешь.

— Я бы здесь хотела работать, — сказала Лена.

— Но не у скотины, верно? — проницательно заметила Эльвира.

— Верно, — засмеялась Леночка. — С коровами неохота возиться. Какие еще есть работы?

— Это же ферма. Тут все работы с животными связаны.

— Если я на медсестру выучусь, меня будут сюда вызывать?

— У нас хозяйка врач, она все сама делает.

— Что же тогда еще? — озадачилась Леночка. — Я бы хотела с людьми.

— У нас все с людьми, и каждый по своему делу. Выучись на учительницу, будешь ребят на экскурсию сюда водить, — посоветовала Эльвира, цветая задушевной улыбкой и думая о будущем этой шустрой скороспелки совсем другое.

С задов двора, где скирдовалось сено, подъехал Юра. Вместе с Лешей, бывшим во дворе по всякому делу, они выпрягли коней, свели их в конюшню, сносили туда же упряжь, а повозку откатали за угол.

Из стени в ворота вошли коровы, подгоняемые сзади конником. Узнав в нем хозяина, Эльвира заторопилась:

— Застоялась, девка, с тобой, — и поплыла к хлеву, сама похожая на холеную и балованную корову.

Из конюшни выскочил Леша и принялся загонять скотину в растворенные двери коровника. Семачий подождал, пока ленивой неторопью войдет в помещение приотставшая от стада стельная корова, заботливо оберегающая широко расставленные бока, и подъехал к одиноко стоявшей посреди двора девочке.

— Это кто к нам пожаловал? — добродушно поинтересовался он.

— Я Леночка Сударь. Юру жду, чтобы домой забрать. Нельзя же сутками его тут удерживать, — смело заявила она.

— А чего ж ты так о нем хлопчешь? — улыбнулся Семачий, вспомнив ненароком замеченную им сценку на возу.

— Каждый человек имеет право на отдых, — сказала Леночка.

— Ты его защитница? — сделал серьезное лицо Семачий.

— Он мой сосед, — пояснила девочка.

— Уважительная причина. Но почему же ты о родных не хлопчешь, их я тоже, бывает, сутками держу.

— Они взрослые, сами за себя постоят, а Юра застенчивый, о себе не скажет.

— Значит, ты защищаешь его из жалости?

— Во все не из-за этого, а потому что несправедливо присваивать человека только себе, когда и другим он нужен, — выразила свою претензию Леночка.

— Присваивать несправедливо, — согласился фермер, — поэтому давай сойдемся на том, что ты не будешь присваивать, когда он работает, я не буду присваивать, когда он отдыхает.

— И на лошади с ним нельзя прокатиться? — обеспокоилась Леночка.

— Прокатиться можно, а стоянок устраивать нельзя. У нас четкий рабочий режим.

— Вы еще хуже, чем ваша жена. Та только во двор не пускает, а вы целый день забираете.

— Вечер и ночь — разве этого мало, чтобы на целый день вывести моего работника из строя? — спросил Семачий.

— Вы и Юре это скажете? — расстроилась Леночка.

— Ну зачем же. Хватит того, что мы с тобою договоримся.

— Может, и договоримся, если вы не будете его задерживать.

— По летнему времени рабочий день долгий.

— Вот видите. А мне даже увидеться с ним нельзя, — жалобно сказала девочка.

Из конюшни показался Юра, щуплый, нежный, замерший в развитии мальчик. Медовое лето не шло ему в пользу.

— Иван Степаныч, я все сделал — можно я пойду домой? — сказал он, подходя.

— Иди, раз собрался, — с теплотой в голосе произнес Семачий. — О твоих правах тут уже беспокоятся, а заодно и о своих тоже.

Юра с тревогой покосился на подружку и, как необыкновенной важности новость, сообщил:

— Степаныч, это Леночка Сударь.

— Имел уже честь познакомиться, — наклонил голову хозяин, а затем для одной лишь Леночки проговорил:

— Можешь приходить в усадьбу, когда захочешь. Я скажу, чтоб не запрещали. Во всем остальном уговор остается в силе.

И дал Леше команду выпустить ребят через задние, обращенные к деревне ворота.

— Ты о чем со Степанычем говорила? — спросил Юра у Леночки, когда ворота за ними закрылись и они остались одни на пробитой в кустарниковой чаще дороге.

— Он хочет, чтобы я тебя с ним поделила, — неохотно призналась Леночка.

— Как это?

— Ну, чтоб ему день, а мне ночь.

— Он что, знает, какие у нас отношения? — У Юры перехватило дух.

— Может, и знает, какое мне дело, я делить тебя не намерена, — вспыхнула Леночка.

— Это ты ему сказала? — На его лице сквозь загар вспыхнул багровый румянец.

— Что бы я говорила такое! — обиделась Леночка. — Он сам все видит. Да перестань ты стесняться — никого не касается, какая у нас любовь. Лично мне плевать, кто и что о нас думает, лишь бы не вмешивались.

— Мы с тобой забыли про осторожность, — переживал Юра.

— Таись не таись, оно само в глаза лезет. Дядька Свисток и тот углядел. Говорит, у меня сиськи стоят. Ты этого, небось, не заметил. Не заметил, правда? — укорила она и вдруг обзлилась: — Фиг ему — только ночь... Так ты меня вовсе не разглядишь!

Леночка распустила связанные сзади на шее бретельки сарафана, заглянула под лиф и радостно объявила:

— Они и вправду стоят, иди погляди!

— Ты что? — предостерегающе вскинулся Юра.

— Тут же никого, — оглянулась подружка.

— А со стогов?..

— Подумаешь, зайду за кусты! — Она свернула за густую высокую заросль. — Вот гляди... — И откинула лиф, обнажая вздернутую, с острыми сосками грудь.

Не приближаясь, подросток по-страусиному тянул шею, вглядываясь в белые бугорки на загорелом теле.

— Знаешь, почему они стоят? — говорила девочка.

— Почему? — с трудом отлепил он занемелый язык.

— Потому что тугие. Ну чего ты стоишь? Подойди и потрогай!

— Вечером потрогаю, — проговорил он, опасаясь, что со стогов их все-таки могут увидеть.

— До вечера еще далеко.

Леночка нетерпеливо глянула на подростка и в сердцах сказала:

— Ну для чего ты, дружок? Чтобы любиться, когда приходит охота.

## Глава XX.

### Сельский сход

К отцу Владимиру приехали два представителя епархиального начальства и с ними светский человек, у которого был футляр с чертежами. Какое-то время они совещались в часовне, а потом отец Владимир позвал туда же работавших во дворе Бурко и Петиню.

Мастерам показали проект новой церкви, которая будет возводиться на месте старой. У проекта есть спонсор, который дает на строительство деньги. Прделанная мастерами работа зачтется и будет вознаграждена. Сами они могут остаться на строительстве, но работать должны в строгом соответствии с новым проектом.

— А куда вы денете старую церковь? — спросил Бурко.

— Ее мы снесем, она свое отслужила, — с хозяйской бесцеремонностью заявил светский приезжий.

— Такие церкви по триста лет держатся, а эта лишь сто простояла, — заметил Бурко. На лице Петини выразилось страдание.

— У нее фундаменты раскрошились, — небрежно бросил светский.

— Фундаменты мы подведем новые, — с готовностью заявил Бурко.

— Не стоит трудов, — махнул рукой светский. — Вместо развалюхи будет новая, красивая церковь — кто от этого потеряет?

— Это ж не сапоги менять! Это храм Господень! В нем дух святой, благодать Божья. Как его ломать? — встревожился Бурко.

— Ломать мы будем зерносклад, а Божий храм строить, — авторитетно изрек духовный чин. — И вот тогда дух святой его осенит и снизойдет благодать Божья.

Отец Владимир не подымал взора. У второго представителя епархии лицо было бесстрастно. Светский гость глядел независимо, неувязки морального плана его не касались. У Петини лицо судорожно задергалось. Увидев это, Бурко заторопился высказать главное:

— Господь не снимал с сей церкви милости! Для того и нас послал ее выправить.

— Кто вы такие и откуда пришли? — одернул его епархиальный чиновник. — Документы у вас смутные, где вы их взяли — неизвестно. Бродите по земле, самочинствуете, Божьим именем прикрываетесь. Коль называете себя мастерами, оставайтесь и стройте церковь, какую требуется. Не хотите — странствуйте дальше, но за пределы нашей епархии, и в здешние дела не мешайтесь.

Долгое и худое тело Петини задрожало и забилося в судорогах. Крепкий, как вывороченный пенек, Бурко сграбастал товарища и потащил из часовни на воздух. Во дворе он положил его в тень, брызнул на лицо водой и, обтирая картузом, приговаривал:

— Не убивайся, брат, праведное дело напрасным не будет. Господь подаст знак.

Петиня, бледно-зеленый и ослабевший от конвульсий, уже не корчился, а лежал пластом в забытьи. Бурко, не уставая, обмахивал его картузом, дожидаясь, когда он придет в себя.

Петиня открыл глаза, и Бурко радостно зачастил:

— Вот и опамятовался, вот и полегчало... Хочешь подняться? — догадался он, видя, как Петиня водит перед собою руками. Обхватил его за плечи и усадил.

— Подай пить, — прошептал пересохшими губами Петиня.

Симеон тут же поднес к его рту чайник с водой.

— Ну что? — осторожно осведомился он, заглядывая товарищу в глаза.

— Мир должен выразить волю, — печально выговорил Петиня.

— Ну и добро, ну и ладушки, — поспешил согласиться Бурко.

— Ты не понимаешь, — Петиня тревожно взглянул на товарища. — Миру назначено решать, а свята будет только эта церковь, — и показал глазами на обреченный храм.

— Не переживай, брат, мир слово скажет, а мы ему разьясим, — обнадежил Бурко.

— Мир безволен, — покачал головою Петиня.

— Это мы еще поглядим, — ответил Бурко.

Из часовни вышла епархиальная делегация. Два духовных чина, покачивая длинными подолами, прошествовали с небольшого пригорка к воротам, не удостоив вниманием мастеров. Следовавшее за ними гражданское лицо покосилось на мужичков с любопытством и превосходством. Замыкавший процессию отец Владимир шел со смиренно опущенной головой. Усадив гостей в машину и подождав, когда она отъедет, отец Владимир вернулся во двор и подошел к мастерам.

— Смиритесь, Божии странники, у епархии денег нет на восстановление старого храма, а под новую церковь деньги даются. Какая приходу разница, старая ли церковь отстроена или поставлена новая? — Речь отца Владимира текла мерно и ровно.

— На новой церкви не будет печати святого мученичества, — ответил Бурко.

— Вы своим трудом да мы духовным обрядом совместно ее освятим.

— Мы в делах святых не торгуемся, — выговорил Бурко.

— Истинно так, — подтвердил Петиня.

— Ну тогда ступайте к фермеру и просите его содействия. У него с владыкой дружба, — посоветовал поп.

Мастера поднялись, перекрестили мученицу церковь, перекрестились сами и побрели к усадьбе.

У Семачего во дворе уже подрабатывали ячмень. Сам хозяин на грузовике возил зерно от комбайна. Мастера дождались его приезда и вышли ему навстречу. Увидев смурного Бурко и зеленовато-бледного Петиню, фермер оторвался от дела и увел мастеров за амбар, выслушать, что они скажут.

Обычно молчаливый, всецело полагающийся на разумные речи Бурко, Петиня опередил товарища и, горя черными, широко раскрытыми глазами, заговорил взволнованно и непонятно.

— Она не будет святой, потому что не знала страданий! Она не будет истинна, потому что подложна! Без судьбы и благодати она не будет нести милости! Люди не познают Господа, не понесут его в сердце, не поймут его благословения! Она будет пустым сосудом!

Слушая сбивчивые пророчества Петини, Семачий то и дело обращал взгляд на Бурко, не разьяснит ли он сути дела. Симеон дал товарищу высказать свою боль, а потом легонечко придержал за руку. Петиня смолк, трепеща, как остановленный на скаку конь, и Бурко по порядку изложил происшедшее.

— А что — разве нельзя сносить обветшавшую церковь? — спросил Семачий, всматриваясь в потрясенные лица мастеров.

— Отчего же нельзя, если она ослабела духом и телом. Но у нашей дух закален, а тело мы поправим. Она служила



людям в годы безверия, страдала за спасение их души и Божьим промыслом сама была спасена. Она как знак судьбы для села, и знак этот рушить нельзя, чтобы не сломать у деревни ее силы, — сказал красноречивый Бурко.

— Пугаешь, Симеон? — нацелился на него Семачий.

— Ни в чем не пугаю, подлинную правду реку, — вскинулся Бурко.

— Истину говорит, — подтвердил Петиня.

— Вы то же самое служителям объяснили? — поинтересовался Семачий.

— Не смогли, — виновато понурился Бурко. — Эта новость на нас как камень свалилась и разумение отняла. Потом уж умом дошли. Да они б и слушать не стали — все у них решено.

— Церковь хоть красивую предлагают? — спросил Семачий.

— Церковь как церковь. Петиня лучше умеет, — махнул рукой Бурко.

— У Петини свой чертеж есть?

— Она у него в уме. По его представлению и я вижу. Мы старинного правила мастера — заранее секретов не объявляем.

— Как же вы без проекта строите?

— Расчет ведем, не без этого, а весь целиком образ до поры не кажем.

— Кто же, не глядя, вас нанимает?

— Ты скажи, чего тебе хочется, то мы и сделаем. Только по церквам — и ни по чем больше. В прежнее время сомнений не высказывали. По слуху о нас знали, а по архиерейской грамоте верили. А ныне, знать, не так, — Бурко покачал головой.

— Сейчас все по проекту делается, а его еще утверждать надо, — сказал Семачий.

— Без дива не будет и удивления, — поскреб плешь Бурко. — Но, видно, придется порушить правило: сначала на бумаге все обсказать, а потом сотворять в материале. Берись, брат, за карандаш.

Семачий пообещал мастерам заглянуть вечером к отцу Владимиру, а потом уже связываться с епархией.

— Говорите, народ сам должен выбрать себе церковь? — уточнил Семачий. — Это я тоже поддерживаю. Готовьте пока чертеж.

Через несколько дней, проезжая через деревню, Семачий увидел мастеров, обтесывающих бревна на церковном дворе. Ближние из помеченных деревьев они успели свалить и свозить к стройке.

— Что, не пишутся чертежи? — спросил фермер, подходя к мужичкам.

— Пишутся, — ответил Бурко, — передышаем пока за другим делом, а потом еще писать будем, до глубокой ночи.

Петиня в беседу не вступал, сосредоточенно работая топором. Бурко, догадавшись, что у фермера есть к нему разговор, отложил инструмент и сел с Семачием на ошкуренное бревно.

— Что, ребята, у вас с документами? Они еще царского времени. Вы что, дедовы паспорта прихватили? — как бы невзначай поинтересовался фермер.

— Наши, — сказал Бурко.

— Так... И кто же это в 1867 году церкви в Пермской губернии рубил?

— Мы же с Петиней и рубили...

— В позапрошлом веке?

— А что ж, век и год в бумаге проставлены. Время какое было? Народ вольную получил. Иные разбогатели, грехи отмаливали — деньги на церкви давали. Мы с Петиней рублили. В Пермской, Вятской, Костромской, Вологодской губерниях много храмов наставили.

— Но Петиня едва на восемнадцать лет смотрится, — воскликнул Семачий.

— Незрелый, верно, — согласился Бурко. — Сирота, в монастыре рос. Там какая еда — рыбка да кашка, да черствый сухарик — с этакой кормежки не размордеешь. К тому же его с малства к богомазному делу приставили, красок нанюхался — не вызрел. А я до сорока семи лет мужиковал. Как овдовел, Господь меня в Божии работнички взял, к отроку

дядькой определил. Плотницкому мастерству я его наставил, а богомазной науки от него не перенял. Зато внутренним зрением товарища проникаю, его мысли читаю, его озарения вижу. Вроде как дядька наставный, а на самом деле он голова — я туловище, он дух — я плоть, он мысль-птица — я ловец-охотник.

— Легенды какие-то, Симеон, — усмехнулся Семачий.

— Может, и легенды, — поник Бурко.

Они посидели в задумчивости.

— Ну ничего, — Семачий легкой рукой сжал Симеону колено, — сделаете чертежи, поглядим, какие вы мастера.

Бурко досадливо крякнул и с обидой проговорил:

— Чужие деньги дорогу нам перешли. И ты, Степаныч, в нас усомнился?

— Больно красиво врешь.

— А если не вру?

— И тогда врешь.

На их спор подошел Петиня и молча встал, слушая.

— Брат, Степаныч не верит, что мы с тобой в стародавние времена церкви ставили, — обратился к нему Бурко.

— Я тебе говорил, Симеон, что старым наукам веры уже нет, надо новые познавать, — только и ответил Петиня.

Спустя еще несколько дней мастера явились к Семачему. Они принесли подробный и исчерпывающий проект с чертежами и расчетами. Петиня, словно боясь, что его задумка не воплотится в действительность, в полном виде выразил ее на бумаге. Семачий и Филимонов просматривали лист за листом, дивясь Петининому искусству. Впрочем, чертежи и расчеты — это было для специалистов. Их же вниманием завладел эскиз храма. К старому зданию Петиня подвезал дополнительные постройки — придел с маковкой на крыше и башню со звонницей и островерхой крышей, увенчанной маленькой луковкой. Само здание старой церкви Петиня тоже поднял выше и украсил его приземистым, словно репка, куполом. Обновленный храм на рисунке казался воздушным, он будто парил в вышине. Петиня раскрасил церковь голубой, под цвет неба, и белой, под цвет облаков, краской.

Сдержанный Семачий растроганно пожал Петине руку и обнялся с Бурко. Чувствительный Ванька расцеловал Петиню, а за ним и Бурко.

Оба эскиза — Петинин и тот, что был сделан в городе, — повесили рядышком на церковном дворе, чтобы сельчане сравнивали и выбирали. Обе церкви в своих составных были похожи одна на другую. Та, которую предлагала епархия, смотрелась крепче, основательней, заземленней, обещая прихожанам держать их помыслы на здоровом уровне, не отрывая от земли-матушки. Старая церковь, преображенная Петиней до неузнаваемости, была стройней соперницы, птицей воспаряла к горним высям, давая мысли гордое устремление, но вместе с тем была в ней какая-то незащищенность.

Люди рассматривала оба варианта, не зная, что предпочесть. Перед эскизами встала Ульяна Гарькавая, картинно повела плечиком и заявила:

— Мне все равно, какая из них. Одну снесут, другую поставят...

— Потому что ты переселенка. Тебе ничто здесь не дорого, потому что не твоими отцами-дедами наживалось, — сказала Зинаида. — А мы коренные и потомственные, нам все свое жалко. Сотню лет село с этой церковью стоит, колхозные и совхозные годы выдержала, а теперь разрушить? Предки нам этого не простят.

— Из-за Петини ты так говоришь, — съязвила Ульяна.

— А хоть бы из-за него. Не одна я потерю, если божьи люди из деревни уйдут.

— Что до нас, так нам никакой церкви не надо, — высказались две бывшие доярки Клавка и Шурка, прозванные в деревне Лавка и Чурка. С юных лет они прижили себе по ребенку, сейчас им обоим было уже за тридцать, они все еще видели себя невестами и никак не могли перебеситься. Это их видел Бурко, ныряющих голяком с моста.

— А вы, бесовки и нехристи, помолчали бы! — вспыхнули стоявшие на церковном дворе женщины.

— А помолчали бы сами! — не дали себя в обиду Лавка и

Чурка. — Думаете, вы чего-то решите? Все языки проглотите, как надо будет слово сказать!

— Чего зря балабонить? — раздался голоса. — Тут глядеть надо, где к нам в карман полезут.

— Что за беспутное у нас село? — возмутилась Катерина Михайлова. — Все порушили, одна церковь осталась. Давайте хоть за нее постоим.

— Она больше не наша, ее епархия забрала, — бросил реплику пьяненький мужичонка, приволокшийся на церковный двор ради любопытства.

— И хорошо, что не наша, а то бы мы и ее на дрова растащили, — шумела Катерина, расшевеливая негустую толпу, собравшуюся возле рисунков.

— Раз не наша, чего о ней беспокоиться, пусть хозяева сами решают, какую церковь валить, а какую ставить.

— Тебе, Бородай, и вовсе беспокоиться незачем! — осадил мужичка Катерина. — Ты и за собственных детей не беспокоись. А мы, люди ипатьевские, у кого совесть имеется, подумать должны, прежде чем позволить нашей церковью распорядиться. Один раз мы от нее отступились, но она уцелела. Мастера берутся ее поправить. Неужели мы во второй раз отступимся?

Взбурдаженные спорами ипатьевцы, не зная, на какую сторону повернуть, спрашивали совета у отца Владимира. Священника сердили попытки сельчан свалить ответственность на него.

— Перед вами два образа. Смотрите и выбирайте, который вам предпочтительней. Новая церковь ничего вам стоить не будет. На переделку старой будете собирать с мира.

— Какие у нас деньги? — скучнели безработные, а богатенькие замыкались. Те, кому только бы посудачить, пытались священника:

— А все-таки, в какой из них вам приятней было бы служить?

— По духовному званию я обязан отправлять требы везде, где на то явится нужда, — отговаривался тот, не проясняя своей позиции.

И деревня, за исключением активных агитаторов за старую церковь Зинаиды Судариковой и Катерины Михайловой, не показывала склонности к какому-то мнению. Сойдутся на улице, в магазине, на автобусной остановке, перетолкуют общеизвестное, а своего отношения не выскажут. До самого схода не было ясно, куда клонится деревня и клонится ли вообще.

На сход народ пришел густо, главным образом ради владыки. Стояли любопытной толпой, по-воскресному нарядные и торжественные.

Владыка приехал со свитой и архитектором. Семачий, против обыкновения, не верхом прискакал, а подъехал на джипе, так как после схода он угощал духовенство, архитектора и мастеров обедом и надо было гостей доставить в усадьбу. Бурко и Петиня пришли на церковный двор в странническом обряде, словно сразу после схода намеревались покинуть деревню. Зинаида и Катерина молчаливо и выжидательно стояли в толпе.

Сход вел староста церковной общины, бывший совхозный управляющий Дмитрий Иванович Журавлев. В своем слове владыка объяснил то, что было уже известно: старая церковь за годы небрежного обращения претерпела большие разрушения. Отремонтировать ее возможно, но для этого нужны немалые средства, которых у епархии нет. Вместо старой епархия предлагает новую церковь, деньги на которую выделяет благотворитель. Но исполнена она должна быть по проекту присутствующего на сходе архитектора. Живущие в селе мастера предложили свой проект реставрации старой церкви. Под него требуется собирать деньги. Владыка напомнил, что оба проекта были вывешены на общее обозрение, прихожане успели с ним ознакомиться, и он, в свою очередь, готов выслушать их решение и согласиться с ним, если оно будет приемлемым.

Сход в молчании выслушал речь архиерея, так и не зная, на что решиться. Среди тягостного молчания из толпы густым баском предложили:

— Ставь и ту, и другую! Обе стерпим!

— А не будет ли слишком для вас? — улыбнулся в седо-

ватую бороду владыка. Собравшиеся зашевелились и выпустили из своих рядов смуглолицую, с большими серьгами в ушах, крутобокую женщину, Любовь Шелестову, казначея церковной общины.

Рдея густым румянцем, Люба звонко выкликнула:

— Можно, конечно, сохранить старую церковь, но по деньгам мы не вытянем. А согласимся на новую — божьи люди уйдут, без души деревня останется. Кто знает, что для нас лучше?

Поняв, что сказала надвое, не прояснив выбора, Люба в смятении задвинулась назад в толпу.

Наперед выступила уважаемая в селе старожилка Таисья Андреевна Стрельникова. Когда-то она заведовала зерновым двором, и церковное здание было под ее охраной.

Таисья Андреевна глянула поверх голов приехавшего духовенства, за чьими черными рясами возвышался печальный силуэт церкви, и певучим причетом заговорила:

— Ишь как она почернела, ишь как замучилась, матушка наша. А была светлой. Крыша у нее сверкала, а маковка горела огнем. Бывало, из города возвращаешься, на горе покажешься, а она уж тебя приветствует. Увидишь ее — и ты уже дома. А еще по склону идти, пост переходить, в улицу подыматься, но все равно ты уже дома. Не служили уж в ней, она сама нам служила и нам радовалась. Вот чем была для нас наша церквушка. Теперь хотят ее повалить. Новая, дескать, лучше будет. Может, и лучше, а все же не та, что своя. В нашей деда-прадеды молились. В ней прошлое с нынешним связывается. Не можем мы от нее отступить. Мастера обещают ее поправить и достроить. Петиня вон как красиво нарисовал. Если ему доверить, церковь как новая будет. Вопрос упирается в деньги. Где их взять? Эта задача трудная, для нашего села непосильная. Но мы ведь не одни на белом свете. За нами целый ряд деревень. Все молиться сюда поедут. Мы сколько сможем внесем, они подбавят, епархия, думаю, не бросит, еще люди найдутся. Доброе дело без помощи не останется. Были б воля и желание. Давайте, сельчане, за свою церковь держаться, за Петинин проект!

Ипатьевцы загудели, не подавая, однако ж, разборчивого голоса. Стоявший ближе к часовне невысокий чернявенький мужичок, Александр Васильевич Тонких громко выкрикнул:

— Правда нынче в деньгах. На них хоть новую церковь ставь, хоть старую ладь. А мы, как жизнью зажатые, что мы можем? Ничто! Пусть решение принимают те, за которыми деньги.

— Как это — те! — загалдели женщины. — Нам, что ли, своего слова сказать не положено?

— Что слово — пустой звук! — обернулся к ним Тонких.

С мягкой грацией уверенного в себе зверя к собранию вышел фермер Семачий. Толпа воронкой вобрала в себя шум и затихла, уставив глаза на хозяина усадьбы.

— Если жители Ипатьева пожелают сохранить свою церковь, я готов сделать взнос. — Слова Семачего упали в тишину спелыми грушами. Толпа еще сильнее напряглась.

— Он, конечно, не обеспечит всего строительства, — продолжал Семачий, — но часть затрат позволит произвести. Кроме того, я готов выделять на нужды строительства технику и лошадей. Ну а недостающие средства придется собирать с каждого жителя, по мере его возможностей. И тогда каждый будет считать себя причастным к сохранению своей церкви и ее реконструкции.

Сход принял его слова молчаливым, в котором не было ни одобрения, ни благодарности.

Побуждаемый взглядами Петини, к собранию подвинулся Бурко. Степенно и торжественно он обратился к народу:

— Люди ипатьевские, преосвященный владыка, дозволейте нам, расейским мастерам Питириму Дееву и мне, Симеону Бурко, выправить здешний храм до полного его состава, как многие храмы в Расее мы срубивали и как направлены мы к вам Божьим промыслом. Со своей стороны обещаемся сладить дело по чести, высокой платы не спрашивать, а работы тонкого и искусного содержания произвести на собственный кошт.

Бурко обернулся к товарищу — так ли он сказал. Тот кивком подтвердил.

Сход вышел из замершего состояния, в какое его ввели

слова фермера, и захопал мастеру. С разных сторон полетела крики:

— Пусть строят, не чужим же доверить!  
— Божья мастера — Божья церковь!  
— А платить мы чем будем?  
— Слышал, они не задорого берутся.  
— И недорого где взять?  
— Кормить возьмемся, а деньгами пусть епархия дает.  
— Кто их кормить будет? У половины деревни жрать нечего.

— Ну, на раз, на другой у каждого сыщется. Дело общее, всех касается.

— Чего их кормить? Столько умеют — сами на прикорм заработают.

— Им что — работать или на прокорм зарабатывать?  
— Нам дело какое? Мы за дармовую церковь стоим! С нею мороки меньше. Семачий говорит, не все даст, а остальное-то с нас тянуть будут.

— А мы не дадим. Голосуйте за дармовую!  
— Эй, Тонких, ты за какую церковь руку потянешь?  
— За епархиальную.  
— Небось, твой предок на церковь давал. Тоже не задарма строили!

— Раз давал, пусть теперь мне дадут!  
— Вот навязали заботу, без нас, что ли, решить не могут?  
— Эх, за общее дело совсем стоять разучились! — повис над толпой тоскующий голос, и на этом церковный староста прения прекратил.

Избрали счетчиков. За новую церковь руки взметнулись густо и в основном мужские. За восстановление старой голосовали в основном женщины, а так как их было больше на сходе, то и рук поднялось больше.

Владыка поблагодарил прихожан за изъявление воли, призвал ипатьевцев к ответственности за свое решение и сказал, что предложенная епархией церковь будет построена в другой деревне.

— Ну, повесили хомут на шею. А всё бабы — ум их короткий, — досадовали мужики.

Перед лицо народа вышли церковные мастера Питирим Деев и Симеон Бурко, отвесили низкий поклон «людям ипатьевским за милостивое их решение», второй поклон отдали владыке «за святость его духовную, человеколюбие и благочестивую справедливость», а третий — фермеру Семачему, «за христианское вспоможение и поддержку».

Сход завершился отслуженным архиереем благодарственным молебном.

При следующей встрече Бурко похвастался Семачему выданной архиереем грамотой, разрешающей им с Петиней строить в епархии церкви.

— Это у вас какая по счету? — полюбопытствовал Семачий.

— Много уже.  
— С 1867 года?  
— И с него тоже, — кивнул, не замечая подвоха, Бурко. — По всему расейскому Северу можем рубить церкви, и по Сибири тоже.

— Эдак вам еще на сто лет хватит работы.  
— Похоже, что нет, — раздумчиво произнес Бурко. — Господь в нас с Петиней хранил ремесло. А нынче все сами с усами, без нашего умения обходятся. По всему видать, что это последний наш храм. Отступную у Господа спрашивать будем на поселение в мир. — Бурко наклонился к Семачему, хитровато подмигнул и прошептал:

— Я-то уже, не спросясь, мирской жизнью живу. А Питирим пока опасается.

— У него тоже зазноба есть? — удивился Семачий.  
— Певунья одна, — выдал секрет Бурко — и уже громче, чтоб и Петиня слышал, сказал:

— Ну, раз она у нас последняя, мы в эту церковь всю душу вложим.

## Глава XXI.

### Застоженный сентябрь

До сентября да и в самом сентябре у Семачего еще косили и возили сено, теперь уже осенину. Стога наставили во дворе и за оградой на восточной стороне, тюки сложили в амбаре. Свезли поближе к усадьбе и заскирдовали солому. Семачий наметил продать часть сена, зерно и несколько лошадей.

Стогами заставили свои подворья и работники Семачего — трактористы Судари, скотница Эльвира, старики Волохи, родители поварихи Татьяны и пастуха Сереги, сам Серега и другой пастух.

Судари, как в совхозные времена, были теперь с зерном и сеном, довольством веяло от их двора, и Зинаида, зашедшая навестить дядьку, с порога пропела родственникам:

*Как служил я у пана  
Лето да лето,  
Заслужил я у пана  
Курочку за это.  
Моя курка-щебетурка  
По двору ходит да ходит,  
Цыпляточек водит...*

— У нас одной куркой не обошлось, — сладко потянулся брат Виталий.

— Да уж, ваше богатство всем глаза колет, — сказала Зина.

— Мы свое трудом заработали, — отозвался от стола дядя Николай.

— Зимой что делать будете? — поинтересовалась племянница.

— Зимой я женюсь, — с тем же блаженством проговорил Виталия.

— О, и невеста есть? — заулыбалась гостя.

— Будет, — пообещал Виталия. — В школу молоденькая учительница прибыла, на ней и женюсь.

— Уже познакомился?

— Познакомлюсь, какие дела.

— Куда ж ты жену приведешь? У вас вроде бы тесно, — сказала Зинаида.

— Мы молодых к тебе во вторую избу сплавим, — нашелся дядя Николай.

— У нас квартирант там живет, — напомнила Зинаида.

— Квартиранта давно пора на постель к себе перевести, — наставительно произнес дядя Николай.

— Это только у Витальки все просто: «увидел — женюсь», а у других в таких вопросах сложности возникают, — вздохнула Зинаида.

— От простоты тоже беспутья хватает, — вступила в разговор жена дядьки тетя Аглая. — Вон Ленка наша до того Юрика Михайлова окрутила, хоть сейчас в сельсовет веди. И ведь пойдет, оглуздь, не глядя на то, что годами не вышел.

— Там пустое, — махнул рукой дядя Николай, — пока в сельсовет соберутся, Ленка в два раза против него вымахает и оглядится. Точно в куклы с ним, дура, играет. Рано выпела девка, балует... Э-хе-хе! — покачал он головой. — Во всей нашей родове по таким делам никакого серьеза. Я на Аглае из-за одного имени ее женился — ни у кого, видите ли, такого нет. Костя ледащую взял — детей не родила. Ленка, по его следам, с задохлика милуется. У Зинки готовый жених во дворе — не знает, как подступиться. Ты хоть, Виталька, по уму женись.

— В первую очередь, пап, по чувству, а там посмотрим, — пообещал сын.

Зимой Виталька в самом деле женился, но не на учительнице, а на своей же деревенской. По осени как-то прижал к себе молоденькую девчущку, а она и не пикнула. Он сильнее придавил — снова голоса не подает. Сколько ни ломал — ни разу не вскрикнула, лишь теснее жалась. Дело кончилось тем, что у него самого дух захватило.

— Ну, — сказал он, — не моя сила над тобой, а твоя надо мной. — И женился. Хоть и в горячке судьбу лепили, а парочка получилась удачная.

Когда напряжение в работах спало, хозяин дал Леше Свистку отгул с выходом за ворота усадьбы и деньгами по этому случаю одарил. Проходя в праздничном пиджаке и нарядной рубашке мимо подметавшего двор хозяина, Леша остановился — не скажет ли тот чего. Но Семачий шаркал метлой, не обращая внимания на бездельно стоящего возле него работника.

— Счастливо оставаться, — смущенно сказал Леша.

— Счастливо погулять, — ответно пожелал хозяин.

И сам для себя приятный, сам себя уважающий Леша ступил за ворота.

А на воле Лешу охватила растерянность. Он свыкся с двором, как птица с клеткой, и за его пределами не знал как себя вести и что делать.

«Наказал бы что или словом бы остерег», — похулил он хозяина, молчком выпустившего его из усадьбы. Во-первых, Леше не хватало товарища, во-вторых, — советчика и, в-третьих, — цели, куда, к кому и зачем идти. Понимая, что он уже не бродяжка, а хозяйский служащий, Леша определил себе держаться в соответствии с занимаемым положением, то есть до бесчувствия не напиваться и по канонам своего достоинства не ронять. Поэтому в деревне он не отправился к самогонщицам, товар которых вызывал сомнение, а свернул в магазин, где выпивка хоть и дороже, зато прибавляет уважения покупателю.

Леша взял две бутылки водки, копченой колбаски, рыбных консервов и полкило пряников, которые продавщица нахвалила как свежие.

По выходе из магазина перед Лешей встала следующая задача — кого пригласить в собутыльники. Запаршивевшие мужичонки в компанию уже не годились. Надобен был самостоятельный человек для выпивки и разговора.

По улице мимо магазина шел к себе домой Константин Триединый. Леша окликнул его, а когда тот обернулся, указал на пакет. Константин все понял и кивком позвал Лешу за собой.

В садочке у Константина, за плетьюми дикого винограда, Леша выложил на стол содержимое пакета, включая и пряники. Поглядев на них, Константин спросил:

— Сладкое любишь? Я щас. — Он нырнул куда-то за постройки и принес небольшой бархатно-зеленый арбуз, как видно, собственного урожая. Внутри арбуз оказался темно-красным, с мелкими черными семечками.

— Видал! — крикнул от удовольствия Константин. — У вас в усадьбе такие водятся?

— У нас и не такое растет, — похвастал Леша, вгрызаясь в сочную мякоть.

— Да ну! — не поверил Константин. — Кто ж у вас этим занимается?

— Хозяин балуется, а работаем мы. На следующую весну теплицу хочет поставить. Тогда чего только не будет. Может, и лимоны будем растить.

— Надо бы посмотреть, — всерьез залюбопытствовал Константин.

— Приходи, я тебе покажу, — пригласил Леша.

— Я сам, — обронил тот.

— Как это сам? — встрепенулся Леша. — У нас детей на экскурсию и то по счету пускают.

— Да ладно, давай выпьем, — не захотел объясняться Константин.

Захмелев, Леша снова вспомнил о том, что он теперь не прежний жалкий бродяга, теперь он сам человека угостить может. И, распираемый сознанием собственной значимости, начал приближать разговор к возвеличению своей персоны.

— Ты почему в усадьбу не просишься? Брат и племянник еще как вкалывают, а тебя нету.

— Я же не тракторист, — прогудел Константин.

— В усадьбе всякая работа есть. Я, например, и сторож, и дворник, и конюх, и скотник, и псарь. Хозяин захочет, еще кем-нибудь сделает.

— От работы не падаешь?

— За день, бывает, не присяду. К вечеру ноги гудят. Еще и ночью дозор с собачками исполняю.

— Многовато, — посочувствовал Константин.

— Я вот сейчас гуляю, а хозяин вместо меня двор метет, у скотины чистит, — заливался Леша.

— Платит хоть он тебе?

— Кормит, одевает, когда-никогда денежкой жалуется.

— Эксплуатирует все же.

— Это как? — насторожился Леша.

— Заработанное на руки не дает.

— А зачем оно мне — пропивать чтобы? — дернул плечами Леша. — Я в уважении состою. Хозяин иной раз по отчеству называет. Хоть и под старость, а имя себе возвратил.

— Помимо отчества, тебя еще и дворянкой зовут, — поддел Константин.

— Ну так что? Был-то я бомж — без определенного места жительства. Дворянжка — уже другая статья, ко двору приписанный, значит. А если учесть, что по месту жительства я еще и служу, то в этом и ты, безработный, мне позавидуешь.

— Погоди, как со двора попрут, снова бродягой заделаешься, — напомнил о бренности его успеха собеседник.

— А вот это не говори! — пошевелил Леша перед Костиным носом пальцем. — Иван Степаныч — человек ответственный. Он не только скотину, он и человека обиходить не забывает.

Лешино бахвальство задело Константина.

— Пасеку заводить не хотите? — будто невзначай, поинтересовался он.

— Этого я не знаю, не посвящали. А ты в пчеловодстве смыслишь?

— Маленько смыслю.

— При встрече хозяину намекни. Он до всего нового жадный, может, подхватит.

— Я уж ходил к нему наниматься, не взял, — пряча обиду, сказал Константин.

— Не увидел, значит, для тебя места, — важно подытожил Свисток.

Крепко уже оглушенный выпитым, Леша, однако же, не утратил всегдашнего беспокойства и, заметив, что купленные им на утеху пряники не едятся, тут же озаботился этим.

— Есть у тебя, Костя, во дворе ребятишки?

— Зачем они тебе? — тяжело глянул на собеседника Триединый.

— Пряничком угостить.

— Нету тут никаких ребятишек! — рыкнул Костя.

— А по соседству? — не унимался Леша.

— И по соседству нет! Чего тебя пряники канителият? Жена чаю попьет.

— А, ну так ладно, — согласился Леша. — Чего ж сюда не позвал? Посидела бы с нами.

— Непьющая она, мужская компания ей ни к чему, — хмуро ответил Константин.

— Самим так еще лучше, — повеселел Леша, разливая по стаканам вторую бутылку.

В усадьбу Лешу притащило, должно быть, ветром, но на ногах он держался. Хозяин возился еще во дворе, заканчивая дела.

— Ну как, Степаныч, тяжелехонько без меня? — с развязностью пьяного спросил Леша.

— Без тебя, Алексей, вся работа зависла, — ответил Семачий, с улыбкой глядя, как подгулявшего работника сносит с места. — А ты как отдохнул?

— По большому счету — не очень. В другой раз не пойду.

— Отчего так?

— А дома лучше, — Леша взмахнул рукой, чтоб помочь себе жестом двинуться в нужном направлении, и его осенним листком понесло по двору.

## Глава XXII.

### Последнее свидание

Леночка Сударь проснулась от холода и затаившейся тишины.

— Юр, я пойду, а то мамка хватится, — сказала она в темноту, отыскивая и натягивая на себя брюки.

Ничто из мрака не отозвалось ей, а ее собственные слова упали как в бездну. Леночка насторожилась и прислушалась. Вокруг нее все молчало, даже корова внизу не шевели-

лась. Юра не обнаруживал признаков своего присутствия. Леночка почувствовала себя неуверенно — там ли она находится, где была. Да будто бы там — вокруг сено. А глухо и холодно оттого, что осень, и на дворе, небось, иней. Леночка хотела сползти вниз и, не прощаясь, уйти, как часто делала, но зловещая, замершая тишина наводила на подозрение, что Юры здесь нет. Поэтому она еще раз сказала:

— Ну я пошла, — и, не получив ответа, стала нащупывать возле себя в темноте.

Ее руки коснулись холодного тела. «Заснул, не укрывшись». Но тело было не только холодным, но и твердым. Дыхания не слышалось.

Леночка в ужасе вскрикнула, встряхнула безжизненное тело в попытке привести его в чувство. Дыхания это не вернуло.

Леночка в страхе сползла по приставленной к сеновалу лестнице, добежала до терраски Юриного дома и отчаянно забарабанила в дверь.

— Кто там? — спросил изнутри голос Симеона Бурко.

— Дядя Сеня, позовите тетю Катю! — истошно крикнула Леночка.

— Тебе чего? Она спит, — не отважился показаться в исподнем Бурко.

— Разбудите ее, дядя Сеня! — надрывалась Леночка.

Встревоженный ее воплями, он ушел в дом, и через минуту дверь открыла Катерина, принакрытая поверх ночной рубашки теплым платком.

Позади нее стоял облачившийся в верхнее Бурко.

— Ты чего кричишь? Где Юра? — недовольным со сна голосом спросила Катерина.

— Юра там, — показала Леночка на сарай.

— Ну и что?..

— Он, кажется, умер, — упавшим голосом сообщила страшную новость девочка.

— Ты чего несешь? — вскрикнула Катерина и метнулась к лестнице, приставленной к сеновалу. Бурко с фонарем в руке потрусил следом за нею.

До Леночки донеслись раздирающий душу крик Катерины и утешающее бормотанье дядьки Бурко. Не смея уйти, Леночка обреченно ждала.

— Это ты его уморила! — набросилась на девочку расвирепевшая мать. Симеон успел обхватить ее руками и удерживать. — Все лето преследовала его своею любовью! Разве он пара для такой кобылы, как ты? — Катерина пыталась вырваться из рук Симеона.

— Мы оба любили друг друга, и нам было все равно, какие мы, — твердо сказала Леночка, понявшая, что теперь она должна защищать себя.

— Ты его, потаскуха, заездила?

— Мы с ним не делали нечего, чего бы он не хотел, — не поддавалась Леночка.

— Не делали! С тебя, вон, как с гуся вода, а мой сынок умер! — вопила и бесновалась Катерина.

— Для меня — своя плата за любовь... Я беременна, — угрюмо призналась девочка.

Услышав это, Катерина перестала бесноваться и биться. Натянувшись стрункой и уже без истерики, она жестко сказала:

— Только попробуй выдрать — прокляну и ославлю. Вместо сына внука отдашь — только тогда замирюсь.

— Я согласна, — тихо сказала Леночка.

Известие о смерти Юры прилетело в усадьбу ранним утром. Семачий принял безвременную кончину парнишки как свою вину. Видел же, что тает, — а всерьез не обеспокоился, не направил к врачам, нагружал работой и, может быть, этим подорвал слабое без того здоровье. О Юре он скорбел, как о собственном сыне. Горевал о практиканте-ветеринаре управляющий Филимонов, привязавшийся к нему, как к родному брату. Неутешно плакал Леша Свисток. Даже Ольга, не имевшая сочувствия ни к кому, осуждала себя, что как врач не осмотрела парня, по внешним признакам не догадалась, что у него не живучее сердце.

Деревенская же молва в смерти Юры безоговорочно обвинила Триединую Ленку, уморившую сына завклубши неумеренной любовью.

В октябре Ольга уехала за границу лечиться от бесплодия. В ее отсутствие фермер с выгодой для себя продавал сено и зерно. Ванька Филимонов строил дом. Бурко и Петиня до зимы подняли церковь на новый фундамент, отчего она будто бы подросла, а по морозам на взятых в усадьбе лошадях ушли в лес валить и свозить к стройке помеченные летом деревья.

В холода лошадей по ночам уже не пасли. На рассвете выгоняли их в степь, к закату пригоняли в ангар, докармливая в помещении. Из пастухов на зиму был оставлен один Серега Волоха. Трактористы отгуливали отпуск. За скотницей до рассвета посылались лошадь, привозившая ее на утреннюю дойку. Эльвира работала до обеда и, покончив с делами, уезжала. Вечером коров доили усадебные — Леша Свисток, управляющий или сам хозяин.

Метельным и мутным ноябрьским днем, когда табун стоял взаперти, а в усадьбе, как в крепости, все ворота были закрыты, со стороны степи к ограде прибежал чужой жеребец черной масти с белой снеговой попоной на спине. Он призывно заржал у ворот. Из глубины двора, из-за железобетонных стен бывших коровников ему откликнулись родственные голоса. Пришлый конь воззвал еще призывнее и настойчивее. Отдыхавшие в тепле лошади отозвались лениво и разнбойно. Поняв по ответу, что они не очень желают к нему идти, чужак сделал круг по белой степи, вернулся к воротам и снова призвал запертый табун выходить на волю. На этот раз ему отвечивал только высунувшийся из калитки Леша Свисток:

— Чего ты попусту шумишь? Какой бродяга в такую непогодь гуляет? Иди откуда пришел, не навлекай беду!

(Конец первой части).



Луиза Александровна Ступникова родилась в селе Ногино близ города Приволжска. Волжанка превратилась в амурчанку потому, что отец ее окончил школу красных командиров, после чего пошел колесить с семьей по городам и весям Дальнего Востока. Десятилетку закончила в четвертой школе Благовещенска, где уроки литературы в те годы вела внучка сказочника Ершова, автора знаменитого «Конька-Горбунка». И хотя Луиза Александровна выбрала своим поприщем педагогику и методику преподавания (с 1958-го по 2001 год проработала в БГПИ—БГПУ), но от судьбы не уйдешь. Конек-Горбунок настырно ржал, подбивая к сочинительству. Из бурлящей бездны научных и методических работ выныривали то стихи, то рассказы. Борис Машук одобрительно отозвался о ее прозаических опытах, однако бывшая волжанка с упрямством, достойным лучшего применения, запикивала сочиненное в стол. И только в 2002 году состоялся дебют — цикл рассказов «Бабушкин сад» появился в первом номере альманаха «Амур» (издание БГПУ) и был очень тепло встречен читателями.

Ноне (как говорят на Волге, напирая на букву «о») дебют продолжается.

Ностальгическая повесть

«ПРОСТИ МЕНЯ, АНТОН!»

Письмо пришло с вечерней почтой. Нина Михайловна мыла руки, когда муж протянул ей конверт.

— Положи, — она кивнула на стол, за которым пила чай дочь Наташа, «инженер с будущим», как говорил ее начальник в НИИ. Поставив на стол чашку, расписанную сиренью, из подаренного некогда матери дулевского сервиза, Наташа взяла конверт.

— Откуда бы это? Обратного адреса нет, но на штемпеле славный Питер.

— Это от Антона, — усмехнулся муж. — Он так упорно обожает нашу маму, что я привык к нему почти как к родному.

— Ну, пошло-поехало... — Нина Михайловна вскрыла конверт и, глянув на дочь, сказала: — Такая дружба, Наташа, крепче первой любви. Антон был самым красивым парнем мужской школы, девчонки бегали за ним... — Пробежав глазами строчки письма, она вдруг охнула и опустилась на стул. Муж встревоженно бросил дочери:

— Наташа, капли!

Нина Михайловна оттолкнула протянутую ей рюмку с лекарством:

— Умер!.. Боже милосердный! Он умер, мой дорогой... — Она била ребром ладони по столу, некрасиво сморщившись, плакала и все вглядывалась в плывущий перед глазами незнакомый почерк: «Пишет вам жена Антона. Я не стала бы писать, но он так уважал вас... Сообщаю, что Антон умер. Катя».

Муж постоял, вздохнул и тихо вышел из кухни. Когда первые слезы отступили, Нина Михайловна заговорила, обращаясь к сидящей рядом Наташе:

— Мы дружили, как два мальчика, так шутил Антон. Или как две девочки — это я так подсмеивалась. Я называла его то доном Антонио, то Антоничкой. Мы подружились, когда я девятый заканчивала, а он восьмой... А когда школу кончил — уехал с родителями в Ленинград. Мы переписывались тридцать три года...

Она снова заплакала, но встала, зажгла газ, поставила чайник на огонь. Руки совершали привычные движения, а глаза застыли, и сердце сильно толкалось в груди, и толчки эти почему-то отдавались в подбородке. Нина Михайловна прошла в спальню и уже прикрыла за собой дверь, но Наташа ринулась за ней:

— Ма! Я ухожу... Скоро Сашка придет из школы... Ты меня проводишь?

Нина кивнула, вышла в прихожую. Муж подал ей плащ, но, когда взял свой, она остановила его:

— Не надо, Сережа, не ходи. Я до остановки и назад.

Мать и дочь вышли из подъезда. Обе высокие, стройные, большеглазые. Их и теперь часто принимали за сестер — муж этим гордился, но зато огорчалась Наташа:

— Старую, родители, старую...

Взяв мать под руку, она сразу же начала ее «отвлекать», зная, что внук, первоклассник Сашка, — тема для бабушки всегда желанная.

— Представь, мамочка, что вчера сказанул наш ученый

муж! Когда я несколько темпераментно поговорила с его отцом, этот философ успокоил родителя: «Не расстраивайся, папа, что с нее взять? Женщина!»... Ну не смех ли?

Она заглянула в лицо матери, по-женски отметив, как стала сдавать ее красивая мама. Около губ и в уголках глаз морщинки уже не были «летучею и легкою паутиной», стало обвисать лицо, меньше сделались в припухших веках прекрасные некогда глаза, тронулись морщинками губы.

— Какая ты все-таки красивая, мама, — начала было Наташа, но мать коротко оборвала:

— Не суетись, Наталья.

— Мам, а ты что же — всю жизнь любила этого Антона?

— Всю жизнь я любила нашего папу, дурочка. Потому-то ни разу и не встретила с Антоном, хотя неоднократно была в Ленинграде.

— А почему?

— Не знаю. Не хотелось, наверное...

— Отчего же ты так убиваешься?

— Вырастешь — поймешь, — грустно отшутилась мать.

Они молча, и почему-то не глядя друг на друга, постояли на остановке, а когда Наташа, чмокнув мать в щеку, заскочила в автобус и он тронулся, Нина Михайловна смотрела вслед, не отпуская взглядом прорисованную за стеклом уходящего автобуса фигуру дочери. Автобус завернул за угол, Нина Михайловна с непонятным облегчением глубоко вздохнула, и сердце тотчас отозвалось ноющей болью. Постояла немного и тихонько пошла вдоль фигурной решетки школьного парка с фонтаном, который она не помнила действующим.

Быстро наплывали сентябрьские сумерки, зажглись уличные фонари, и на тротуары легли графически четкие тени еще не облетевших старых тополей. Томительно пахло мокрыми листьями, влажной землей, но было еще по-летнему тепло, хотя сумерки несли с собой переменяющиеся с теплом волны холодного воздуха, напоминая, что минуло лето, что близки осенние дожди, капризные и злые ветры. Внезапно ее пронзила мысль, что эти самые тополя были такими же, когда Антон приходил с мальчиками из мужской школы к фонтану. Эти тополя и при нем осыпали землю клейкой смолистой чешуей по весне, источали сладкий и острый запах молодых листочков в мае, белым пухом покрывали землю в июне, а осенью золотое великолепие их листья одевало город в праздничные одежды.

Около фонтана была волейбольная площадка. Разгоряченные команды играли «на выгон», проигравшие уступали место подпрыгивающей от нетерпения новой группе, усаживались на бортик фонтана и начинали горласто «болеть». Антон не играл в волейбол, он чаще стоял у площадки, держа гитару на плече. Смугло-горячая кожа лица, тонкий с горбинкой нос, миндалевидные, восхищавшие девочек глаза, казавшиеся влажными, выделяли его из всех.

Антон предпочитал мужское общество, девочки, казалось, его не интересовали, и было удивительно, когда он вдруг явился в крошечную квартиру Нины, представился матери: «Я Антон. Можно, пройду к Нине?».

Он возник на пороге ее маленькой комнаты с узкой белой кроватью, с расшитыми треугольными салфетками на облупленной этажерке, с цветами в разностильных черепушках на единственном окне с туго накрахмаленными марлевыми занавесками. Не переступая порога, сказал:

— Пошли в кино? Славка занят, а больше не с кем.

Положил билеты на краешек стула, посмотрел на Нину и, не дождавшись ответа, пошел к выходу.

Только смущением объясняет теперь Нина то, что она не просто отвергла приглашение, что само по себе считалось в ее молодости неприличным. Вскочив на подоконник и дождавшись, когда Антон выйдет из калитки, она крикнула:

— Эй! Забери билеты. Иди один в свое кино, если больше не с кем!

Печальными серыми бабочками вылетели в форточку и опустились на пыльную траву два билета. Антон ушел не обернувшись.

На следующий вечер под окном вырос долговязый Славка с огромным букетом лесных пионов, называвшихся почему-то «марьиными кореньями» и росшими в изобилии около окраинных огородов и на сопках вокруг города.

Нынче сопки, окружающие город, растеряли свой цветочный убор: не полыхают малиновым огнем багульника в мае, не дурманят пьянящим ароматом пионов, не радуют глаз острыми бутонами казачьего цветка сараны. А сколько цвело на них колокольчиков и полевых маков, сколько собирали в июле земляники на облысевших теперь сопках, вытопанных ногами, избитых шинами автотранспорта, искореженных ранами от стекла и железа больших и маленьких свалок. Замусорены многочисленные чистейшие роднички, а ландыши можно найти только очень далеко от города. «И всего-то за тридцать лет», — грустно констатирует Нина Михайловна.

— Это тебе! — сунул цветы на подоконник Славка. — Пошли в парк?

— Больше не с кем? — съехидничала Нина.

— Почему не с кем? С Антоном идем. Сегодня все наши собираются в парке.

Недолги были сборы в те времена: с самодельных плечиков снято наглаженное ситцевое платье, белое в черный горошек, раскручены белые носочки, отряхнуты от зубного порошка парусиновые танкетки. Взмах расческой — и вот она уже бежит, с удовольствием перестукивая ступени высокого крыльца, и чинно выступает из ворот.

Антон в кремовой рубашке с закатанными рукавами молча кивает Нине, и она вновь отмечает про себя, что лицо его как бы освещено горячим светом, пробивающимся сквозь смуглоту кожи. Они втроем идут по пустынной улице, говорят ни о чем, но Нина с удовлетворением отмечает, что Антон, шедший рядом со Славкой, переходит на повороте улицы на ее сторону.

Каждый вечер последнего ее школьного лета они собирались то в парке, то у танцверанды ДОСА, то у школьного фонтана, и везде гитара Антона и голос Нины собирали не только своих, но и посторонних слушателей.

Что же мы пели тогда? — вспоминает Нина Михайловна. — Конечно, нашу любимую «Каховку», «Там вдали за рекой», «Одинокую гармонь», «Летят перелетные птицы», «В городском саду»... Но была одна песня, которую Нина особенно любила, считая, что она известна только в их городе. Она пела ее под гитару Антона, и не было тогда у нее более счастливых минут.

*Когда-то в юности, влюбленною девчонкой,  
Я, перечитывая повесть о весне,  
Ждала часами вас у изгороди тонкой  
И тихо плакала, мечтая при луне...  
Вы, верно, помните прогулку у реки,  
Мой поцелуй в заброшенной аллее,  
Я это сделала рассудку вопреки  
И никогда об этом не жалею...*

Сладко замирало сердце от непритязательных слов, от желания такой же безответной и жертвенной любви. Много лет спустя эта песня прозвучит в исполнении прекрасной певицы, и Антон не преминет написать: «Ниночка, ты пела лучше!» Конечно, лучше только потому, что это была песня их юности, и кто бы смог спеть ее так, как пела она в далеком дальневосточном городке в конце сороковых, когда уже окончилась война и все, что ждало впереди, просто не могло быть несчастливым.

Сердце Нины Михайловны вновь словно зацепилось за что-то острое. Она остановилась — и тут увидела мужа. Взяла его под руку, привычно прижалась к его плечу. До сквера, которым они шли, докатывались шумы заканчивающего трудового дня города, а от реки, из парка, доносился бешеный ритм песни «А я бегу-бегу-бегу...»

— Быстро бегут, — засмеялся Сергей. — Но впечатление, что топчутся на месте. Балдеют на своих дискотеках...

Нина Михайловна промолчала, а перед ее глазами возникла танцплощадка ее молодости: чинно сидящие девочки, толпящиеся юноши; много взрослых нарядных пар. С первыми тактами духового оркестра холодок пробежал по девичьим лицам: неужели никто не пригласит? Но вот подходит молодой человек... Только не надо вставать ему навстречу, вдруг он сделает шаг в сторону и пригласит соседку по скамье. Девочки весело переговариваются: правила неписаного этикета не позволяют смотреть на подходящего в упор...

Каждый танец имел свой рисунок и особые па, которые разучивали по домам, собираясь компаниями, перед тем как решиться выйти в круг танцплощадки. Нина прекрасно танцевала вальс-бостон, сложные фигуры которого исполняла с постоянным завсегдаем танцплощадки, которого все называли Аликом, хотя он был далеко не юнец. Если Нина с Аликом выходили в центр, не многие составляли им компанию. Танец негласно признавался показательным.

Недавно Нина Михайловна помогла войти в автобус опрятно одетому старику, у которого плохо гнулись ноги и дрожали руки, но шляпа была надета с каким-то неистребимым щегольством. И вдруг она узнала Алика. Он тоже узнал Нину, улыбнулся со старомодной галантностью:

— А вы все такая же красавица, когда я имел честь приглашать вас на вальс...

Смущенная взглядами пассажиров — где тут красавица объявилась, — Нина Михайловна сошла на первой же остановке.

Вечером Нина Михайловна стала выбирать из домашнего архива письма Антона, которому последние годы отвечала редко. Одно из сохранившихся писем оказалось с фотокарточкой. Она даже не помнила этот кусочек картона с надписью на обороте: «Вот я какой теперь, Ниночка...»

С фотографии отрешенным — или обреченным? — взглядом смотрел на нее, в сущности, неизвестный ей худощавый мужчина с гладко зачесанными волосами и тонкогубым ртом. Только изящная кисть руки на подлокотнике кресла была рукой Антона.

Поставив перед собой пять фотокарточек Антона, Нина Михайловна сквозь слезы всматривалась в его лицо, казнила себя злыми словами, понимая, что не была она ему другом, нет, не была, это Антон хотел с ней дружить, придумал ее, а ей не было дела до его печалей и жизни. Она плакала, но старалась даже теперь, сама перед собой, оправдать свою холодность. Она директорствовала много лет в лучшей школе города — вот где были ее душа и сердце... Разросшаяся семья — дочь, сын, зять, невестка — все студенты, и все убеждены, что пока они не встали на ноги, родители должны нести на себе хозяйственные заботы... Дочь родила внука... Господи! До писем ли тут было? Вот и отделялась безынформативными открытками: поздравляю... желаю... будь...

В письме к ее сорокалетию Антон написал: «Что-то стал я тебе надоедать, Ниночка, а хотелось бы НЕ. Печальные у меня пошли времена. Маму прооперировали с тяжелым диагнозом, дочка больна рассеянным склерозом, с женой сосуществуем... Дома почти не живу, постоянно в командировках на АЭС...»

Собранные воедино письма создают образ удрученного

жизнью человека. Он постоянно хотел разбудить в Нине ту девочку, с которой так хорошо дружил когда-то и которая стала его забывать.

«Помнишь ли ты вечера в нашем парке? Какой он теперь? Напиши. Впрочем, если загублен, то не надо... Достаточно загублено идеалов в нашей жизни. Вот и из меня ничего этого, о чем мечталось, не получилось. Слава Богу, что хоть руки мои называют золотыми...»

У него и вправду были «золотые» руки: изящество и гибкость пальцев на грифе гитары приковывали не один взгляд, но эти изящные руки умели неожиданно много.

В послевоенное время школа не была озабочена трудовым воспитанием и профессиональной подготовкой. Большинство выпускников поступали в училища, техникумы, институты. Никто не метался в поисках престижной профессии. Окончив учебу, работали на производстве, не дергаясь — ах, это не по мне, ах, я ошибся! Может, потому, что это было поколение военного лихолетья, не знавшее беспечного детства и сытой юности. Дети выполняли домашнюю работу за матерей, заменивших мужей на производстве, копали огороды, перебирали картошку, лущили фасоль, сушили и солили все, что сушилось и солилось, — все годилось в еду. Выращивали худосочных поросят, заготавливали топливо. Они носили обноски старших, умели беречь вещи. Но Антон? Из семьи начальника КГБ, живущий за высоким забором в охраняемом особняке, одетый в специально для него сработанную одежду, не знающий, как подворачиваются рукава отцовского пиджака и утягиваются брюки старшего брата, он, у кого основной заботой была учеба и овладение искусством игры на гитаре, умел поднять завалившийся забор, залатать печную трубу, починить раздрызганный электроутюг, наладить развалившийся велосипед.

Он приносил к ним из дома какие-то инструменты, электрошнур, гвозди. Мать Нины говорила своей подруге, такой же горемыке, как она сама:

— Да не возись ты с этим замком, придет Антоша и наладит.

Антон часто приходил без Нины и уходил, не дождавись ее.

«Смешно вспоминать: мечтал стать прокурором или музыкантом, а стал электриком, что мне, между прочим, не нравится...» — читает Нина.

Она переводит взгляд на фотографии Антона: все правда! Ребята поддразнивали его то прокурором, то гитаристом. В те времена всем давали прозвища: учителям, друзьям, недругам. Она пытается вспомнить, какое прозвище было у нее, и находит ответ в письме Антона: «Нинка-пучеглаз». Она обижалась, а ведь и дочка в гневе или удивлении вытаращивает глаза так, что хочется сказать: придержи глазки. Во времена дочкиной школы уже редко давали прозвища, а учителей звали либо ласково, либо пренебрежительно: «Николаша», «наша Аннушка», «Лизка»...

«Помнишь, как ты приходила к нам за сиренью?» — написано на праздничной открытке. Помнит ли она?!

После войны город захлестнуло увлечение цветами — он как бы хотел скрыть свои облупленные заборы и стены домов, тусклые стекла окон. Летом город превращался в цветник, потеснивший грядки с овощами. Бело-розовые и пунцовые пушистые астры, душистый табачок, анютины глазки, львиный зев, портулак, вьюнки... Со вкусом выговаривались полустертые в памяти названия цветов, в парке устраивались цветочные выставки с романтическими названиями букетов. Но самым популярным цветком был георгин.

Геройское название цветка соответствовало густой зелени вырезных листьев, высоте мощных стеблей, пышному великолепию и разнообразию его цветков. Десятки названий его сортов отражали разнообразие формы и окраски лепестков. Георгин — цветок улицы и свободы. Срезанный с куста, он быстро вянул и не потому ли уступил место цветам коммерческим — надменным гладиолусам, которые могут ждать несколько дней покупателя на рынке. А в те времена продавали букетики фиалок, ландышей, пролесков и прелестных орхидей, называемых «кукушкиными башмачками».

Но что было редкостным в городе, так это сирень. Теперь ею засажены окраины садовых участков, газоны многоэтажек и палисадники частных домов, а тогда сирень была редкостью. Когда Нина проходила мимо дома Антона в пору цветения сирени, ее останавливал этот волшебный аромат детства, того времени, когда жив был отец и пару раз возил ее на родину в село под городом Плесом. Какой только ее там не было! Маленькая Нина отыскивала среди четырехлепестковых цветочков пятиугольную звездочку, которую полагалось съесть «на счастье». Сирень до сих пор осталась ее любимым цветком.

Вот и тогда она не смогла отказаться от предложения Антона прийти к нему и нарезать сирени сколько захочется. Соблазн был велик, и, нарушив правила приличия, усвоенные в женской школе, она пошла к мальчику, подговорив для храбрости свою подружку.

Антон ждал их около калитки, наглухо врезанной в массивные ворота. Оттого что событие было «из ряда вон», Нине запомнились все подробности этого дня.

Девочки вошли за калитку и обомлели: громадные кусты лиловой сирени почти скрывали одноэтажный дом. Нина ринулась к ним и, распахнув руки, обняла пружинистые ветви, прижимаясь лицом к благоуханным гроздьям. Ей хотелось целовать лиловые кисти и молоденькие, еще некрупные листья в каплях недавнего дождя. Платье вымокло на груди, и, застеснявшись, она отвернулась от Антона.

Тут-то и увидела Нина его маму. Изящная молодая женщина стояла на узеньком тротуаре и улыбалась улыбкой Антона. Черные, туго стянутые на затылке волосы, блестящие глаза и крылатые брови делали ее похожей на итальянку или испанку — так показалось Нине, тем более что она не видела ни тех, ни других. Поздоровавшись с девочками, женщина сказала:

— Тоша, пригласи девочек к чаю. — И пошла к дому какой-то особой походкой. Позднее Нина узнает, что мама Антона была балериной, что теперь она обучает этому искусству маленькую сестру Антона, которую Нина увидит на праздничном вечере в школе, когда девочка в чудных тапочках и пышной юбочке, смешно называющейся «пачкой», станцует в одиночестве танец маленьких лебедей.

Девочек напоили чаем за столом, накрытым расшитой шелком скатертью, и потом они признаются друг другу, что обе тогда подумали: из такой скатерти лучше бы сшить нарядное платье!

В доме Антона Нина была еще раз, когда уже стала студенткой, несмотря на приглашения и его самого, и его мамы.

Занятия в институте начались с октября — весь сентябрь студенты копали картошку в пригородном совхозе, перенимая от старшекурсников студенческие вольности. «От сессии до сессии живут студенты весело, — распевали они во всю мощь молодых глоток, — а сессия всего два раза в год!..»

В октябрьский солнечный день ждала Нину у института мама Антона. Нина Михайловна и теперь помнила ту неловкость, которую ощущала, идя рядом с прекрасной дамой в белом пальто и вишневой шляпе. Нина смущалась своего роста, стараясь идти по той стороне тротуара, которая была ниже, прятала обветренные, с обломанными ногтями руки, переживала, что смято после шестичасового сидения хлопчатое платье, а жакетка явно тесна. Анна Николаевна смотрела в лицо Нины, мягко улыбалась:

— Ниночка, я к вам с просьбой. Антоша бросил школу и устроился на завод учеником слесаря. Отец в Москве, а я не знаю, как вернуть его в школу. Убедите его, пожалуйста, что надо закончить десятый класс.

Антон вернулся в школу после краткого визита Нины, месяц ходил к ней заниматься математикой, слушал внимательно, кивал головой — «понятно». Первую четверть умудрился закончить лишь с одной тройкой, причем не по математике.

Анна Николаевна деликатно вручила Нине маленький сверток, в котором оказался отрез нежно-голубого шифона. Первое нарядное платье Нины шили в шесть рук мама, мамин подружка и Нина. Но обновила она это прелестное платье только весной, когда ее наградили на смотре художествен-



ной самодеятельности бежевыми туфлями на каблук. К этому времени она уже подрабатывала лаборанткой в кабинете физики и первую зарплату вместе со стипендией потратила на золотые сережки для мамы, похожие на те, что подарил когда-то маме Нинин отец и которые она променяла на мешок семенного картофеля для своего первого поля.

Отец Нины, красный командир, артиллерист, исчез из семьи, когда Нине шел восьмой год. Нина Михайловна плохо помнила отца, может быть, потому, что он был редким гостем в семье. Вспоминались разные детали, например запах кожи его портупеи, которую он вешал на стул, когда, пропыленный горячими приморскими ветрами, приезжал на часок домой из полевых лагерей; крепкие руки, когда он обнимал сразу всех — жену, сына и дочь; играющий патефон с пластинкой любимой певички отца Обуховой. Военная служба требовала от командиров постоянного присутствия на своем месте в полку.

Они жили в длинном кирпичном бараке. В громадной общей кухне стояла такая же громадная, с несколькими топками, плита. В молодых военных семьях дети были счастливы: им принадлежали склоны оврага, заросшего актинидией и деревьями, увитыми лианами амурского винограда и лимонника. На виноградных листьях оставались разноцветные пятна «пудры» от крыльев великого множества бабочек. Их ловили, хвастаясь друг перед другом, если удавалось поймать махаона, бархатные крылья которого отсвечивали лазоревым перламутром. Наколотые на иголки бабочки украшали небогато обставленные казенной мебелью комнаты барака.

В овраге царил полумрак, пахло сыростью, расцветали белые колокольчики с колючеопушенными лепестками. Про овраг из уст в уста передавались всякие страсти: то кто-то видел тигрицу, то летучая мышь выпила кровь из головы какого-то «не нашего» мальчика. Эти разговоры, над которыми посмеивались взрослые, лишь разжигали азарт игр в Чапаева, в «казаки-разбойники», в прятки, в «дочки-матери».

Счастливые дни омрачались исчезновением то одного, то другого из их крикливой босоногой компании. В овраг просачивалась информация, что это были дети врага народа, что их отец — шпион и об этом нельзя говорить вслух.

В конце лета, ночью, коротко и требовательно постучали и в их дверь. Нина проснулась, когда отец расправлял складки гимнастерки, а его портупея была в руках командира с вишневыми петлицами, в отличие от отцовских черных. Мама, придерживая отвороты халата, успела только кивнуть, когда отец быстро произнес:

— Если что, уезжай на родину.

Хлопнула дверь, зарычал мотор, неярким светом мазнули фары склон оврага. И никто не вышел в коридор. Барак замер. Утром мать ушла на работу, запретив детям выходить из комнаты. И как обидно было Нине, что никто не бухнул в дверь и не позвал: «Нинка, выходи!»

Мать скоро вернулась из детсада, где работала заведующей, и села к столу, не обращая внимания на детей. Кто-то позвал их на кухню и накормил. Но в комнату никто не заходил, и мать просидела за столом до вечера, как каменная.

В поздних сумерках того бесконечного тревожно-скупного дня в комнату вошел незнакомый командир с петлицами того же цвета, как у тех, с которыми ушел отец. Мама встала, а Нина неожиданно сказала:

— Товарищ капитан, — выросшая в окружении военных, она хорошо разбиралась в знаках различия, — не забирайте нашу маму, она не шпионка.

Капитан, казалось, не услышал ее, подошел вплотную к маме и быстро сказал (Нина Михайловна уже не знает, что запомнила она сама, а что рассказала ей, взрослой, мама):

— Берите документы, детей, деньги. Через два часа жду вас у аптеки на Приморском бульваре.

Он вышел, а мама заметалась по комнате. Зашила в подклад Нинино пальтишка записку и деньги и, заставляя Нину повторять адрес сестры отца, жившей в ста километрах от города в рабочем поселке, собрала узелок со сменой детского белья.

Пока они шли по коридору, мама говорила женщинам,

мимо которых они проходили:

— Вот собрались прогуляться.

Женщины молча совали в карман маминой жакетки туго свернутые деньги.

Когда подошли к аптеке, совсем стемнело. Мать завела детей во двор. Нина Михайловна помнит ее горячий шепот:

— Стойте здесь. Если я не приду — посидите в подъезде, там тепло... А утром поездом уедете к тете Симе. Нина, поклянись, что не потеряешь Игорька.

Игорь хотел спать, он хватал маму за руки и хныкал, но, вопреки своему обыкновению, негромко. Видно, понимал, что надо быть тихим и незаметным.

От помойки тянуло прокисшей гнилью, стена дома была влажной и холодной. Они смотрели вслед маме, пока она не растворилась в тени дома, а потом спрятались за мусорным ящиком, там казалось безопасней. Игорь молчал, жался к Нине, а она, охваченная ужасом, прислушивалась к ночным звукам.

Не с этой ли ночи снится ей время от времени сон, пронизанный страхом, когда она просыпается с бьющимся от ужаса сердцем, а уже проснувшись душа ее все ищет место, где можно спрятаться от смертельной беды.

Наконец дети услышали, как с глухо татакающим мотором к дому подъехала машина, и мамин голос позвал детей. Игорек вырвал руку из онемевшей руки Нины и молча бросился на зов. «Скорей-скорей», — мама затолкала детей в машину, и «эмочка», как ласково назывались эти легковушки, рванулась в боковую улицу. Свет редких фонарей высвечивал овал щеки сидящего за рулем и эмалевые кубики на вишневых петлицах.

На вокзале, не выходя из машины, капитан вручил им билеты и адрес:

— Поживете у моих родственников, устройтесь на работу попроще, муж будет знать, где вы.

Нина помнит, как они бежали к поезду, уже лязгнувшему буферами, как заскочили в вагон и, оглянувшись, увидели, как дважды мигнула фарами «эмочка».

Двое суток шел поезд до их станции. Дети бегали по вагону, охотно знакомились с попутчиками, приставали к матери: «Купи, купи!» — когда с пристанционных базарчиков несли в вагоны разварную картошку на капустных листьях, вареные яйца, бумажные кулечки с ягодой, пропитанные темно-красным соком, молоко в бутылках с масляной копеечкой под газетной затычкой. Мать не выходила на остановках, вглядывалась в сутолоку на перроне. Она давала деньги соседям, и они приносили еду, которую с аппетитом уплетали дети.

Какой-то моряк подарил Нине тетрадку и коробку цветных карандашей. Нина прилипла к столику, рисовала пальмы с клетчатками на них ананасами, а Игорь кричал, отнимая у нее неожиданный подарок. Нина отпихивала брата, жадничала, сидя на карандашах и доставая их из-под себя по одному. Моряк отвлекал Игоря, носил его по вагону, держал у окна, и благодарная Нина неожиданно сказала:

— Ма, а давай он теперь будет наш папа!

Получив крепкий подзатыльник, она повторила трижды по требованию мамы:

— Наш папа лучше всех!

В Синеречье поезд пришел глубокой ночью, они дождались утра в крошечной «дежурке», а утром по названному адресу им не очень-то обрадовались, но покормили и положили спать на веранде. Засыпая, Нина услышала:

— С гостями тебя, кума!

— С гостями, да недолгими. Мужнина сестра заглянула на недельку.

Так был определен срок их жизни на новом месте. Станция была маленькая, все на виду, работы не было. Через неделю их отвезли в город. Ехали целый день по тряской дороге. Мама иногда ссаживала детей с телеги, они бежали следом, а возница, посмеиваясь, подстегивал лошадь.

В город въехали в темноте и наконец-то оказались у ворот, которые открыла дородная женщина в накинутом на плечах не по сезону полушубке.

Так они поселились у одинокой тетки Капитолины, дочери которой жили где-то под Брестом со своими семьями, а сын

утонул, купаясь в Амуре после ледохода на спор с друзьями.

Тетя Капа, как звали ее дети, стала им помощницей и заступницей. У нее было крепкое хозяйство: большой теплый дом, коза, поросенок, с десятков кур. Она варила кастрюлю борща с фасолью и перцем на целый день, подкармливала детей то яичком, то молочком, а то и куском сладкого пирога с тыквой, устроила мать уборщицей в лесосплавную контору, учила ее жить, сама отнесла документы Нины в школу, в класс бывшей учительницы ее сына, которого тоже звали Игорем. Маленький Нинин брат стал любимцем тети Капы.

Мать Нины носила до бровей повязанный платок, отдавала полчку тете Капе и так приучила ее к вопросу: «Не было письма?», — что, увидев входящую во двор квартирантку, тетя Капа, не дожидаясь, пока та ее спросит, громко говорила:

— Нетушки, пишут.

Город, в котором они поселились, был приграничным, небольшим, с широкими улицами, окаймленными тополями, черемухой, карагачом. Вдоль заборов тянулись деревянные тротуары, многие дома были украшены резными карнизами и наличниками. Улицы начинались от двух больших рек, были прямыми, многие просматривались от начала до конца. Одна из улиц начиналась театром, а заканчивалась красными кирпичными кладбищенскими воротами. Нина с подругами иногда забегали на старинную часть кладбища, окунались в тишину, окружавшую мраморные — белые и черные — памятники. Девочки благоговейно рассматривали их, читали полустершиеся надписи и дольше всего задерживались около стелы с выпуклыми фигурами маленьких девочек, протягивавших руки к женскому силуэту с закрытой покрывалом головой.

Теперь нет ни ворот, ни памятников, а на их месте стоят два четырехэтажных дома, окруженные гаражами. При строительстве этих гаражей деловитые автовладельцы, наталкиваясь на кости, сбрасывали их в небольшой овражек, присыпая землей, вопреки уверению Пушкина:

*Два чувства дивно близки нам,  
В них обретает сердце пищу:  
Любовь к родному пепелищу,  
Любовь к отеческим гробам...*

Сердца хозяев гаражей, равно как и хозяев города, видимо, обретали пищу в каком-то третьем чувстве, гораздо более им близком.

Город был в основном деревянный и одноэтажный. Только в центре стояли красивые каменные дома — бывшие богатые магазины, училища, гимназии, дворянское собрание, управа, больницы и богадельни. Небо подпирали единственная церковь — все остальные пали в борьбе нового мира с религией — и пожарная каланча.

Автотранспорт был редок, грузы перевозили на конной тяге, народ передвигался в основном пешком. Жители каждого квартала хорошо знали друг друга, вечерами не боялись пройти по малоосвещенным улицам.

Дом, в котором они жили, стоял на окраине, и мимо него с весны до осени гоняли стадо коров, которых держали обитатели окраинных улиц. Молоко покупали нарасхват, записываясь в очередь к молочницам, за керосином ходили в керосиновые лавки, за мукой, крупой и солью — в бывшие лабазы, овощи выращивали на своих огородах.

Спокойная, патриархальная, на первый взгляд, текла жизнь в городке: взрослые работали, дети учились. Внешне спокойная жизнь. У взрослых в предвоенные годы было немало тревог и горестей, а дети жили с чувством защищенности, пели пионерские и комсомольские песни, считали свою Родину лучшей в мире, писали в сочинениях искренние слова благодарности Сталину и партии за свое счастливое детство. Каждому из них была уготована прямая дорога к счастью: октябренок, пионер, комсомолец. Каждый верил, что должен учиться для того, чтобы быть полезным своему Отечеству, мальчики готовились служить в армии, чтобы научиться бить врага, если он дерзнет нарушить границы Родины.

Жизнь семьи Нины текла своим чередом: мать работала, сажала в поле картошку, Нина училась в прекрасной школе, Игорек жил под теплым крылом тети Капы. Они овладева-

ли умениями работать в огороде, ухаживать за скотом и топить печь так, чтобы безугарно не упустить жар. И все ждали писем.

А в 1941 году началась война, и мать воспрянула духом: теперь самая нужда в военспецзах, и скоро надо ждать вестей от мужа. Через четыре долгих и тяжелых года кончилась эта проклятая война, умерла от горя тетя Капа, не получив от своих дочек ни единой весточки, кроме похоронок на зятьев, родственники продали дом, а матери контора выделила в старинном купеческом особняке, превращенном в муравейник с пробитыми пятью входами, две крошечные комнаты при общей кухне.

Их соседями была бездетная супружеская пара, занимавшая бывшую гостиную особняка. Хозяин, военный интендант, приставленный к приему трофеев после разгрома японских сил в Китае, таскал домой рулоны шелка, мешочки с рисом и галетами, рюкзаки с тушенкой. Стены большой комнаты были задрапированы шелком, шифоновые шторы украшали высокие окна. Хозяйка в атласном, расшитом диковинными цветами и птицами халате фыркала на вселившуюся рвань.

Мать Нины, неискушенная в кухонных баталиях, вела себя, как приживалка у злой барыни: мыла полы, подбеливала плитку, не смела поставить для себя хотя бы ящик вместо кухонного стола. И чем больше унижалась мать, тем громче покрикивала на них соседка. Так продолжалось до тех пор, пока Нина, в свои неполные четырнадцать лет, не положила этому конец. Она установила жесткий порядок уборки кухни, сама варила немудреную еду и не стеснялась высказываться относительно источников соседских запасов. А когда соседка попыталась умаслить Нину мешочком риса и парой банок тушенки, та ответила:

— Ворованного не едим!

Хотя, чего греха таить, ей так хотелось поставить на стол котелок с рассыпчатой рисовой кашей, пронизанной ниточками тушенки и благоухающей мясом и лавровым листом!

Теперь соседка старалась управиться на кухне до прихода из школы Нины и разогревала поздний ужин лопающемуся от жира под ремнями кожаной сбруи мужу в своей шелковой комнате.

Старики родители и родня звали мать на Волгу, но она, утратив надежду на возвращение мужа, хранила веру в то, что только здесь найдет их весть о нем. Капитан, так неожиданно вмешавшийся в их судьбу, погиб в предвоенный месяц во время учений — это сообщили ей на станции Синеречье, куда она наведальась, чтобы оставить свой новый адрес.

Но растаяла и эта вера. Мать быстро старела, мучилась от болей в суставах. Она привычно тянула свой воз, уже ничего не желая для себя самой. Глядя на эту грузную старую женщину, не верилось, что она родила таких красивых светлоглазых детей. Сына она любила болезненно нежно, звала его деточкой, кровиночкой, сыночкой, а с Ниной была сурова.

Нина Михайловна помнила — правда, с годами уже без обиды, — как мать однажды в первый и единственный раз хлестнула веревкой ее, отлично закончившую семилетку, заставляя идти учиться в техникум.

Веревка полоснула нежную кожу под ситцевым платьишком, обожгла непривычно резкой болью.

— Чем я буду платить за тебя в школу? — кричала мать. — Чем буду кормить? А в техникуме хоть стипендию будешь получать!.. Выгоню!

На все эти крики-вопросы Нина отвечала так же:

— Выгоняй! Убей! Не пойду в техникум, лучше нигде не буду учиться. Уборщицей наймусь, как ты!

Кончилось все слезами обеих, мать просила прощения, Нина ответила:

— Прощаю, мамочка! Но никогда не забуду.

И не забыла.

Школа была Нининой жизнью, радостью и отрадой. Училась она легко, прибегала на уроки рано, любила запах свежeweмытых полов, гулкость пустых коридоров и просторных классов бывшей женской гимназии. Школа была неда-

леко от дома, и всю зиму Нина бегала в мальчишеских полуботинках, форменное платье ей выдавали в школе — она не знала, из каких средств десятку учениц школа приобретала форму, плату за учебу три года вносили вскладчину за нее учителя — светлая им память — из своих тощих кошельков. Нина шла на золотую медаль — редкостную в те годы, успевая еще работать пионервожатой, участвовать в художественной самодеятельности, в комсомольских рейдах по оказанию помощи при уборке урожая в пригородном совхозе, заниматься с отстающими.

Важная и неприступная директриса, знавшая по именам всех девочек вверенной ей школы, однажды вызвала Нину к себе в кабинет и вручила ей сверток.

— Нина, здесь моя шубка, мне она мала, кое-где потерялся мех, но мама тебе ее приведет в порядок. И фетровые боты. Ты в них в школу не ходи, они все-таки на каблуках, но на улице будет тепло.

Не дав Нине опомниться и что-либо сказать, она величественным наклоном головы отпустила Нину:

— Отнеси пакет домой сейчас, пока все на уроках.

Приближался Новый год. И впервые Нина не убежала с праздничного вечера раньше всех, стесняясь своего пальтишка и старого платка. В этот раз, накинув основательно подлатанную беличью шубку и переобувшись в фетровые белые боты, Нина почувствовала себя взрослой девушкой. И когда этот верзила Славка из мужской школы спросил, не по пути ли им, она молча пошла к выходу, уверенная, что «по пути». Первый Нинин провожатый болтал и дергался всю дорогу, но рядом с ним шел молчаливый юноша по имени Антон. Нина простилась с ними у соседнего дома, побоялась, что увидит мама, а потом они с Антоном почти ежедневно встречались на центральной улице, когда мчались в свои школы, приветствуя друг друга модным тогда словечком «салют».

Что знала Нина тогда про восьмиклассника Антона? Хорошо играет на гитаре, на уроке может сказать, что домашнее задание не выполнил, потому что оно неинтересное. Отсюда ясно, отчего диапазон его оценок был столь размахист: или единица, или пятерка, без промежуточных цифр. Он занимался с группой младшеклассников акробатикой, и когда на школьных вечерах выступала его команда, стоял с серьезным видом в центре незамысловатых пирамид, а на нем со счастливыми рожами висели его подопечные.

Нина Михайловна разворачивает очередное письмо:

«Помнишь ли ты Сережку Шведова, верхового нашего акробата? Он еще всегда высывал от напряжения язык, чем веселил зрителей. Так я встретил его вчера на нашей улице. И не я его узнал, а он меня. Забежали в кафе, повспоминали... Растет молодежь! Он уже инспектор в нашем министерстве. А мы выросли, вот и у тебя есть внук...».

Не раз Антон просил ее фотокарточку. Она послала однажды, но как взбеленился муж! Столько было ревнивых колкостей, что Нина зареклась впредь посылать свои снимки Антону. Правда, когда Наташе исполнилось семнадцать лет, Нина Михайловна отправила Антону прекрасную фотокарточку дочери. Ответ примчался сразу:

«Ниночка, спасибо. Как причудливо тасуется колода... Кровь — великое дело».

«Булгаков», — узнает Нина Михайловна. Сейчас эту книгу легко купить или взять в библиотеке, а в конце сороковых это было невозможно. Есенин и Цветаева, Булгаков, Пастернак и многие другие были в запрете как опасные для нравственности молодежи. В те годы, когда в помине не было телевидения, когда в двух кинотеатрах города по неделе крутили один и тот же фильм, молодежь много читала. Нина, как и ее одноклассницы, тоже глотала книги одна за другой, и у Антона за ремень брюк постоянно была засунута книжка, он, бывало, и у них в гостях читал, сидя на крыльце, иногда даже не заходя в дом...

Однажды в письме он порекомендовал ей «Мастера и Маргариту» Булгакова. Нине книга не понравилась, она выделила только историю Иешуа, о чем и написала Антону. Ответ был многостраничный, с расшифровкой символов и тайн произведения. И позже, в зрелые годы, Нина Михайловна часто перечитывала отдельные главы, собирала научные

и «околонаучные» журнальные статьи о «Мастере и Маргарите», вспоминая каждый раз Антона.

Когда пошла волна реабилитации политических заключенных, Антон вдруг написал: «Что слышно о твоём отце?» и Нина снова поразилась тому доверию, которое Антон завоевал у ее мамы. Она, оказывается, еще в те годы, когда о том и заикаться было опасно, просила его узнать через своего отца — начальника управления госбезопасности — о судьбе репрессированного в 1939 году отца Нины. И Антон принес ей ответ, что бывший старший лейтенант утонул через месяц после ареста, когда заключенных везли на самоходной барже в северные края.

Мать смолчала тогда, но Антон!.. Какую тяжесть принял на свои плечи, когда нес эту весть, не сказав ни слова Нине.

Это известие стало последней каплей, подкосившей мамину жизнь. Она видела, что для нее самой все кончено, но оставались на земле ее дети, и она не хотела, чтобы в их памяти и памяти их детей не было места для их отца и деда.

Когда Нина заканчивала институт, мать уже трудно и неохотно двигалась. Однажды ночью она разбудила Нину:

— Посиди со мной, Ниночка, поговори.

Нина села на краешек кровати с продавленной сеткой. Сидеть на раме было неудобно, хотелось спать.

— Чего тебе, мама?

В эту ночь Нина узнала то, что ее мама хранила в себе все горькие свои годы. Она гладила Нинину руку. От ее шершавой ладони горела кожа, но убрать руку Нина так и не решилась. Оказывается, она, комсомолка, была дочерью врага народа. Выросшая без отца, Нина была уверена в справедливости наказания его за какую-то провинность. Смутная печаль о нем давно оставила ее. Отец ушел из их мира, но мать перед близким последним расставанием хотела пробудить в Нине любовь к отцу.

— Помнишь ли ты папу, Ниночка?

Мать рассказывала разные милые подробности об отце, о его храбрости и веселом характере.

— Меня отбил у жениха прямо на свадьбе, — вдруг заплакала она, — увез на Дальний Восток...

Потом по комсомольскому набору он уехал учиться в Москву, в школу красных командиров. Молодая жена с маленькой Ниночкой на руках ждала его в приграничном военном городке. И он вернулся, полный сил и надежд. Заехав по пути на родину, повинулся перед родными — и привез с собой на Дальний Восток младшую сестру Симу, выдал ее замуж. Служба шла успешно, он получил орден за бои на Хасане, вступил в партию.

— Ты не должна считать его врагом народа, дочка, — горячечно шептала мать в ту памятную ночь. — Я не доживу, так вы доживете, когда папу признают невиновным. Верь мне, наш папа лучше всех.

Этой же ночью она взяла с Нины клятву заботиться о брате.

— Я боюсь за него, Ниночка, какой-то он беззаботный, учится плохо, только бы и бегал где-нибудь, лишь бы ему бездельничать.

Нина поколачивала брата за плохие отметки в школе, силой усаживала за уроки, но он всегда прятался за спину мамы.

После окончания института Нина, уже после смерти мамы, пять лет будет посылать Игорю «приклад» к его стипендии, которую он нередко совсем не получал, где-то подрабатывал, мало писал сестре, но Томский университет все-таки закончил в срок.

В город Игорь приехал всего лишь раз, опоздав на материны похороны. Стоял август, жаркие дни сменялись холодными ночами. Он гостил неделю, но дома ночевал только дважды, что вызывало брезгливое раздражение Нины. На второй день его приезда они пошли на кладбище. Нина несла цветы, стараясь не вызеленить белую юбку, брат шел рядом, крутил головой, узнавая приметы прошлого, и с неизменной улыбкой на красивом лице поглядывал на встречаемых молодых женщин.

На кладбище было тихо, пестро и неопрятно: оградки разных фасонов, кучи проржавевших венков, полынь в

рост человека. На некоторых надгробиях стояли стопки, накрытые заскорузлыми ломтями хлеба.

— Однако неуютно, — поморщился Игорь, — не хотел бы я тут расположиться.

Нина молчала. В тот миг не было в душе горестного сознания, что уже никогда она не увидит маму. Тоска по матери придет с годами. Чем дальше будет уходить мама, тем горше и чаще станет вспоминать ее Нина. С документальных фотокарточек закажет портреты молодых своих родителей, будет рассказывать о них своим детям, редко удерживаясь от слез.

Брат молча стоял у временной деревянной пирамидки и вдруг сипло спросил:

— Где у мамы голова?

— Пирамидка стоит в ногах, — поняла Нина вопрос.

Игорь упал, нет, не упал — рухнул на рыжий холмик с увядшими цветами и глухо застонал. Он вжимался лицом в землю, гладил руками могилу.

— Мамочка, родная моя... дорогая... ты одного меня любила, а я тебя все время огорчал... Прости меня, прости...

Когда он затих, Нина отряхнула ему костюм и вытерла платком лицо.

— Бессердечная ты, Нинка, хоть бы слезу выронила...

Бессердечная... Придумал тоже. Но вот перед нею письма Антона, и она казнит себя этим же словом. Бессердечная? Да! По отношению к Антону. «Характер такой», — пытается она оправдаться перед собой. Скольким людям делала добро, старалась быть справедливой, была уважаема и даже любима многими, но близких отношений не допускала, две подруги со школьных лет, остальные — приятели. Это что, тоже бессердечие? Или равнодушие? А может, издержки профессии, державшей ее в плену разнообразных общений все эти годы? У Нины Михайловны не было ответа, только чувство жестокой и непоправимой вины.

Брат вскоре уехал, женился на женщине с двумя детьми, не поминал о матери в редких письмах. Дважды заезжала Нина в Кемерово к брату, но его жена так холодно встречала ее, так ревниво относилась к их разговорам о прошлом, так покрикивала на Игоря, который безропотно отмалчивался, опуская голову в венчике поредевших кудрей, что прекратились и эти краткие встречи.

Нина Михайловна думала, как он был прав: мать слишком любила его маленького — он и спал с ней почти до двенадцати лет, — отдавала ему всю нежность исстрадавшегося сердца, ограждала от жизненных невзгод и в итоге испортила его. Был бы жив отец, может быть, Игорь вырос бы таким же, как он, храбрым и отчаянным.

Когда на запрос об отце пришел ответ о его реабилитации, Нина поспешила написать об этом брату. Ответ пришел не скоро и был краток:

«Отца реабилитировали, а матери жизнь загубили».

Антон на это известие откликнулся сразу:

«Дико с этим поздравлять, Ниночка, но так важно знать, что отец был честным человеком».

Да, уж его-то отец натворил дел, выявляя шпионов и диверсантов, заговорщиков и предателей повсюду, начиная с партийных верхов и заканчивая захудалыми леспромхозами. Умер он от инфаркта в дни работы XXII съезда КПСС. Может, и Антон нес на своих плечах вину отца, вину невыносимо тяжкую, если сам ты совестлив.

Первое письмо Антон прислал с дороги, сбросив его в почтовый ящик на станции Семиречье, той самой, где началась сиротская жизнь Нининой семьи. Всего одна строчка: «А ты все-таки не пришла...»

Но ведь они простились с Антоном рано утром в этот день, и он, предвидя, что она может не прийти на вокзал, сказал: «Если не сможешь — не приходи», — заранее оправдывая ее.

И сколько же раз он делал это потом, прощая ее бессердечность, ранившую его много раз.

Весть об отъезде в Ленинград Антон почему-то скрывал и сказал об этом в июньский вечер, в день сдачи последнего экзамена, за день до отъезда:

— Мы переезжаем в Ленинград, Нинча!

Мать Нины ахнула и прослезилась, а Нина коротко сказала:

— Счастливчик. Ленинград — это Ленинград!

Антон посидел немножко и ушел, а Нина не сдвинулась с места, чтобы проводить его хотя бы до ворот. У нее была трудная сессия, прибавилось работы в лаборатории. Нина выматывалась, не желая терять славу лучшей студентки факультета. Может, на Антошу просто времени не хватало? Но нет, нет, нет... Когда она познакомилась со своим будущим мужем, то это не отразилось ни на учебе, ни на работе, хотя она постоянно думала о нем, искала с ним встреч, радовалась каждой его улыбке, каждому мимолетному вниманию. С Антоном было иначе: было приятно ловить завистливые взгляды девочек, когда он стоял рядом с ней, не обращая внимания больше ни на кого. Она могла не видеться с ним неделю другую и не скучала по нему.

В ту же ночь, когда Нина на коленях — сидеть уже не было сил, — подперев руками голову и уткнувшись в россыпь цифр в конспекте, доучивала последний материал, в окно легко и часто постучали. Выключив свет, Нина приникла к окну и узнала Антона.

— Я попрощаться, Ниночка. Выйдешь?

Она прыгнула с подоконника — и попала прямо в его объятия. Антон сильно и крепко придержал ее на весу, не давая коснуться земли. Неведомое прежде чувство бросило Нину в жар. Она вывернулась из рук Антона, присовокупив:

— Пусти же, дурак.

«Слов других не нашла, — казнит себя Нина Михайловна. — Господи, да как же он все это терпел?»

Они пошли рядом, и не было слышно их шагов по травке-муравке, ковром расстилавшейся возле пыльной дороги.

Антон провел Нину по всем местам, которые любил и с которыми прощался навсегда. Он никогда больше не увидит ни города своей юности, ни Нины.

Нина Михайловна снова начинает задыхаться, подходит к окну, угадывая хорошо видимый днем и белеющий в темноте школьного парка фонтан. В ту последнюю ночь они посидели и на его чаше, и у танцверанды ДОСА, на которой Антон вдруг запел мелодию вальса-бостона и, распахнув руки, начал выделывать немыслимые па. Нина хохотала от души, но танцевать с ним не пошла. Потом по безлюдной центральной улице они добрались до городского парка, хотели посидеть на скамейке, где она часто пела под его гитару, но за воротами с хриплым лаем носилась неизвестно что охранявшая собака сторожа. Они долго сидели на скамеечке около Нининого дома, переждав легкомысленный июньский дождичек под развесистым карагачом. Под утро похолодало. Антон набросил свой пиджак на плечи Нины и положил руку на ее спину. Она почему-то оробела и старалась не смотреть в блестящие глаза Антона.

В их тихую беседу ворвался грозный голос матери: «Нина, марш домой!» Антон быстро подошел к окну, и мать успокоилась, увидев, с кем сидит на лавочке ее взрослая дочка. В этот миг Нина почувствовала себя не дружкой-подружкой Антона, а его любимой девушкой.

Рассвет заявил о себе щебетом воробьев, росой на траве, посветлевшим небом. Нина испугалась, что кто-нибудь увидит ее в столь ранний час — или столь поздний? — с парнем. «Ну все, Антоша, беги. Мне пора». — «Поцелуй меня, Ниночка, на прощанье», — попросил Антон. Он обнял Нину, и они, как дети, целомудренно и кратко прикоснулись к губам друг друга. Она протянула ему пиджак, а он вложил в руку Нине кулон на серебряной цепочке с веселой вставочкой из финифти: «Это от мамы».

Так рассталась она с верным и надежным парнем. Письма вначале шли едва ли не каждый день, потом Нина стала отвечать через одно, через два... Жизнь шла своим чередом, и Антон постепенно все отдалялся от Нины, но знал о ней все. Она не писала о том, что выходит замуж, но в день ее скромной свадьбы мать Славки, который давно уже служил на Черноморском флоте, принесла охапку сирени:

— Это от Антоши, Ниночка.

Родилась дочка — и длиннейшая телеграмма-поздравление с подписью: «Дядька Антон».

Родился сын — и Антон присылает с оказией дулевский, щедро расписанный сиренью, чайный сервиз.

Антон служил в армии, когда Нина была еще не замужем, и в одном из писем с фотокарточкой солдата в пилотке, лихо надвинутой на бровь, — вот он я какой теперь! — осторожно спросил, не будет ли она возражать, если после армии он вернется в их город. Нина ответила, что не стоит менять прекрасный Ленинград на захолустный городишко.

Антон замолчал почти на год, и вдруг горестный вопль в письме: «Умер Славка! Облудился. Ездил в Мариуполь хоронить. Как невыносимо тяжело терять друзей... Ниночка, живи долго-долго, даже если ты забыла меня...»

Незадолго до своей смерти — а Антон ни разу не обмолвился, что «схватил огромную дозу», как написала в своем письме его жена, — Нина Михайловна получила от него открытку. Не к празднику, не к какому-либо памяtnому дню. Просто так. Без обращения и подписи на ней были написаны строки из седьмой главы «Евгения Онегина»:

*Блажен, кто смолоду был молод,  
Блажен, кто вовремя созрел,  
Кто постепенно жизни холод  
С летами вытерпеть сумел.*

*.....  
Но грустно думать, что напрасно  
Была нам молодость дана,  
Что изменяли ей всечасно,  
Что обманула нас она.*

## Татьяна Филиппова

Татьяна живет в Благовещенске, студентка 2-го курса Благовещенского педуниверситета.  
Печатается впервые.

\*\*\*

Хочу остановить порою  
И ход часов, и бег минут.  
Ненужной, странною игрою  
Желанья эти назовут.

Благословенна эта сила,  
Что даст нам вечность ощутить.  
Она возможность подарила  
Секундами  
Года прожить.

Как нам узнать —  
Что есть пространство?  
Как можно время наблюдать?  
В природе ль нашей постоянство?  
Чего еще нам можно ждать?

Из ниоткуда все берется.  
Зовет реальным человек  
Все то, что в никуда вернется,  
Когда часы окончат бег.

*Что наши лучшие желанья,  
Что наши свежие мечтанья,  
Истлели быстрой чередой,  
Как листья осенью гнилой...*

Больше от Антона не было ни строчки.

Утром Нина Михайловна отправила телеграмму жене Антона: «Плачу вместе с вами. Никогда не забуду своего дорогого товарища Антошу. Отнесите ему от меня сирень».

Подумав, она зачеркнула слово «сирень» — где взять ее в осеннем Ленинграде? — и написала: «цветы». Не все ли равно какие, если это не сирень. На бланке телеграфного перевода она написала: «Прости меня, Антон!».

Несколько лет спустя в день ее рождения — бывают же случайности на свете — по радио транслировался из Ленинграда концерт русского романса. И один из романсов все поставил на свои места.

*Снова слышу голос твой, слышу и бледнею,*

— сдержанно и страстно пел Сличенко. А в конце прозвучало:

*Как теперь на свете жить, как мне быть без милой?  
Не смогла ты полюбить, я — забыть не в силах.*

Не смогла она полюбить, не смогла. Вот и все.



\*\*\*

Мне казалось, что я мертва,  
Но воскресла с тобою вновь.  
Потому что всегда жива,  
Не исчезнет твоя любовь.

Ярко солнце слепит на заре,  
Тихо песня звучит на ветру...  
Лишь одно знаю я о себе —  
То, что я без тебя умру.

Знаю, мне без тебя не жить,  
Без упреков твоих и ласк,  
Без прекрасной и сладкой лжи,  
Что таится в зелени глаз.

# Александр Онищенко

Александр Онищенко родился в 1955 году в Райчихинске. Окончил Высшую школу милиции. Последние годы возглавляет юридическую фирму. Рассказы пишет давно, но печатается впервые.



## Рассказы

### В «ДУРАЧКИ»

В зале обыкновенной городской квартиры идет игра в «дурачки». Играют двое: Елена Петровна и муж ее Алексей Семенович. Оба супруга уже в той поре, когда на многие жизненные вопросы получены ответы, однако хвори и недомогания еще не сделались постоянными спутниками их дней. За окном стоит морозная ночь, а в зале светло и уютно. Супруги сидят в мягких креслах у журнального столика, бросают карты и тихо переговариваются. Наступил тот час, когда дети разбрелись по своим комнатам, а внучка, уgomонившись наконец, спит в детской.

— Погоди-ка, — недоумевает Елена Петровна, — а это откуда девятка взялась?

— Что значит — откуда? — пожимает плечом Алексей Семенович. — Это же я тебе подкинул.

— Как же это ты мог ее подкинуть, когда я к тебе пошла?

— Ну вот, опять ты все путаешь. Не помнишь, что ли: ты пошла, а я тебе перевел?

— Так ты перевел? Ну, так сразу бы и сказал. И чем же я, по-твоему, должна ее бить?

— А это уж я не знаю.

Еще с минуту играют молчком, наблюдая за картой.

— Вот если бы она сразу нас послушала, — говорит вдруг Елена Петровна, — то сейчас бы не дергалась, а жила бы спокойно, как все в ее возрасте живут, и горя не знала бы.

— Ну, это еще неизвестно, как бы все обернулось, — глубокомысленно отвечает Алексей Семенович.

— Вот ты всегда так. Хлебом тебя не корми, а дай пофилософствовать. Мог бы, между прочим, как отец, и запретить. Ну, какая она мать в восемнадцать-то лет... или жена.

— Как же, стала бы она слушать. Будто ты нашу Иришку не знаешь.

— Ну не скажи. Уж к твоему-то слову она еще как прислушивается. Ты для нее, хочешь знать, всегда был и будешь авторитет... Эй, эй, да ты что? С козырей уже ходишь, что ли?

— Здравьете, какие же это козыри? Пики были в прошлой игре.

— А чего же я их тогда берегу?

— Ну, уж это тебе лучше знать.

— Ну да, конечно лучше. Нарочно отвлекаешь меня разговорами, а я потом проигрываю... Ну-ка, давай, давай свою десятку.

— Какую еще десятку?

— Так козырную же.

— Где ж я тебе ее возьму? Она вышла давно.

— Тьфу ты, а я так на нее рассчитывала. Теперь-то конечно, теперь мне деваться некуда.

Елена Петровна в сердцах швыряет карты на стол и уходит на кухню. Оттуда доносится раздраженное звяканье посуды. Муж сидит, неторопливо собирая карты в колоду.

— Так ты будешь еще играть? — спрашивает он, стараясь перекричать создаваемый ею шум.

В ответ доносится глухое ворчание, потом повисает пауза, и лишь через минуту появляется сама Елена Петровна с кружкой чая в руке.

— Что за глупый вопрос, конечно буду. Какой там у нас уже счет?

— Два — один.

— В твою пользу, конечно? — хмурится Елена Петровна. Заняв свое место, она принимается тасовать карты. Начинается новая игра.

— Ну, теперь я глаз с тебя не спущу, — предупреждает Елена Петровна и в самом деле некоторое время следит за игрой. Несколько удачных ходов совершенно окрыляют ее.

— Так, валет с дамой уже вышли, — размышляет она вслух, — теперь-то тебе уже не вывернуться. Что, получил?

Алексей Семенович чешет лысину, прикидывая что-то в уме. Но делать нечего, игра проиграна, ему и тасовать карты.

— И все же, как мы могли в нем так ошибиться, — вновь заговаривает Елена Петровна, сделав первый ход. — Хотя — что уж тут удивительного... А все же каков! Мало, что маменькиным сынком оказался, так еще при всем при этом — нарцисс... Ну, ходи, чего так долго думать-то.

— Да хожу я, хожу. Только мне-то он сразу не понравился. Скользкий какой-то. Это же ты все его расхваливала.

— Кто? Я?!.. Да как у тебя язык поворачивается на меня такое сказать! А хоть бы и расхваливала, так что? Давайте, валите все на меня, как же, нашли виноватую.

— Никто не собирается ничего на тебя валить. Ты лучше отбивайся давай.

— Ну да, сперва обвинит меня во всем, а потом отбивайся... И что я, по-твоему, на такую дрянь козырей должна выкидывать?.. Еще чего, уж лучше я возьму.

— Как знаешь. Только колоды-то уже почти нет.

— Как нет? — изумляется Елена Петровна. — Мы ведь только что начали... Ну вот, опять ты меня заговорил... Тогда я уж лучше отобьюсь. Надеюсь, не возражаешь?

Алексей Семенович, конечно же, не возражает, и она переигрывает ход.

— Вся вина моя в том, — с грустью замечает Елена Петровна, — что уж очень я доверяю людям... Можешь переводить, я все равно отобьюсь... Ну, раз нет, тогда сам отбивайся... Все-таки, что ни говори, а даже и на тебя он поначалу произвел приятное впечатление. Скажешь, нет?

— Поначалу — да, — не стал спорить Алексей Семенович. — Может, лучше оставим эту тему?... Э-э-э, куда бросаешь в отбой? Я же вальта тебе подбросил.

— Какого еще вальта? А разве не ты отбиваешься?

— Ну все, приехали. Доигрались.

— Да погоди, опять ты меня путаешь.

— Ничего я не путаю, смотри сама... Вот я заходил с шестерки...

— Так это же моя шестерка, или... Ну вот, не могу вспомнить теперь.

Однако после недолгих препирательств картина проясняется, и на время порядок игры восстановлен.

— А в общем, ты прав, — спустя немного соглашается

Елена Петровна. — Уж лучше о нем и вовсе не вспоминать. Только нервы зря треплем... Ему, видите ли, не понравилось, что мы не могли купить им квартиру. Можно подумать, мы не предупреждали с самого начала, что у нас таких денег нет. Сам-то, небось, сколько месяцев без работы сидел, а туда же, квартиру ему подавай...

— Ну вот, опять ты за свое, — поморщился Алексей Семенович, — договорились ведь, кажется. Да и какой уже смысл во всех этих разговорах? Теперь уж развелись, чего кулаками махать? Э, погоди, ты что, с козырей уже ходишь?

— С каких таких козырей?.. Так это, оказывается, козыри? Тыфу ты, а я переживала. Тогда вот тебе семерочка пик... В конце концов, если разобраться, то наша Ирочка тоже не подарок. Характером-то небось вся в тебя, не переупрямишь.

— Гм...

— А что, скажешь, нет? Ей бы, раз уж семья, быть бы поласковой, да посговорчивей, а она... Глядишь, может, семья бы и сохранилась. А теперь что?.. Это чья дама-то?.. Ах

## БУРНАШ

С самого раннего детства Вовку Алтынцева тянуло к собакам. Своей собственной собаки он не имел — не разрешали родители. Зато он готов был целыми днями возиться с какой-нибудь дворняжкой, обласкивать ее, добываясь преданности и дружеского расположения. Для него было чрезвычайно важно, чтобы дворняжка слушалась и любила только его одного и никого больше. Он подкармливал ее, гладил, разговаривал и не жалел времени, чтобы научить ее исполнению самых простейших команд.

И надо сказать, что пока дело касалось угощений, все шло как по маслу. Любая из его очередных подопечных, лишь только он появлялся с пакетиком, набитым аппетитными косточками, начинала крутиться у его ног и даже вставать на задние лапы, проявляя любовь и безграничную преданность. Но когда последняя косточка была разгрызена и исчезала в недрах собачьего желудка, интерес к Вовке как-то уж очень быстро ослабевал. Правда, напоследок она еще раз тщательно обнюхивала его руки, чтобы окончательно убедиться в том, что от него нечего ждать, и после этого почти не обращала на него внимания. Что уж там говорить о дрессировках. Учиться исполнять команды дворняжки никак не хотели, а если он как-нибудь проявлял настойчивость, то посылали его вместе с командами ко всем чертям и без оглядки убегали по своим собачьим делам.

Так повторялось не раз и не два, и Вовка наконец убедился, что ждать от дворняжек взаимности — пустое дело. А уж о преданности и говорить не приходилось: любая из них во всякую минуту готова была переметнуться к другому мальчишке, только бы у того нашлось чем поживиться.

В конце концов разочарование у Вовки достигло такого предела, что он совершенно перестал обращать на них внимание. Это вовсе не значит, что он утратил интерес к собакам вообще, он охладил лишь к бегавшим по двору и ластившимся ко всем дворняжкам. Он попросту потерял к ним всякое уважение. Зато с некоторых пор его заинтересовал ирландский сеттер, рыжий гладкошерстный пес, с небольшими висячими ушами, изящный и стройный, точь-в-точь такой, какого Вовка видел на почтовой марке, которые тогда собирал. Кличка у него была Бурнаш. Он безотлучно сидел на цепи рядом с будкой, охраняя сарай, принадлежащий обитателям одного из деревянных домов, которые все еще ютились возле многоэтажных кирпичных строений в ожидании сноса. Заборы вокруг этих домов давно уже были разобраны и пошли на дрова, а вокруг сараев вся земля была усыпана щепками и угольной крошкой.

Бурнаш был злобным и, как подозревал Вовка, ужасно умным псом. Он никого к себе не подпускал, кроме хозяина,

да, я и забыла... А теперь вот молодая такая, а уже мать-одиночка... Ну ты уже совсем. С тузов-то чего?

— Ты бейся давай, не разговаривай... Нам бы с тобой поменьше вмешиваться...

— Это ты себе первому скажи, — тут же отрезает Елена Петровна. — Я, между прочим, с самого начала предупреждала, так ты же сам... О, погоди, что же это... ты что, опять выиграл? Боже, какое коварство! Вот весь ты в этом... Господи, проиграть с такой картой... Нет, ты всю жизнь был такой. Ни в чем тебе нельзя доверять. Чуть стоит зазеваться... Да ну тебя. Что ж это за игра такая, чтобы с такими козырями — и проиграть...

Карты веером летят в разные стороны. Елена Петровна в крайнем раздражении уходит в другую комнату. Оттуда слышен ее возмущенный голос. Это она жалуется старшему сыну на вопиющую несправедливость и коварство отца.

Но пройдет еще какое-то время, Елена Петровна вернется, и игра продолжится обычным порядком...

высокого тощего дядьки с желтым болезненным лицом, который раз в день приносил ему в миске еду.

Как-то, находясь неподалеку, Вовка наблюдал сцену, когда этот свирепый, никого не признававший пес вдруг сделался ласковым и послушным при виде хозяина. Он крутился у его ног, лизал руки и преданно заглядывал ему в глаза. Он с неистовой готовностью исполнял любую его команду и, казалось, готов был выскочить из собственной шкуры, лишь бы ему угодить. Тот, однако, едва его замечал и даже ни разу не погладил. Поставив миску, он тут же отправился в дом, а Бурнаш провожал его тоскливым взглядом, даже не глянув на принесенную еду.

Это так потрясло Вовку, что он потерял покой, задавшись целью во что бы то ни стало подружиться со столь замечательным псом. Он отлично понимал, что эта его затея не только опасна, но и едва ли исполнима. Однако это еще сильнее разжигало его решимость. И вот однажды он пошел к Бурнашу, прихватив с собой несколько обрезков колбасы. Пес лежал на земле возле будки, греясь на солнце. Зеленые маленькие мушки то и дело садились ему на глаза, заставляя пса вздрагивать и трясти головой.

Вовка осторожно приблизился, оставаясь, однако, на почтительном расстоянии. Бурнаш тут же поднял голову, перевалился с боку на живот и строго посмотрел на незваного гостя. Вовка присел на корточки, достал из кармана колбасные обрезки.

— Бурнаш, Бурнаш... Хороший, умный, — приговаривал он, показывая принесенный гостинец. Тот продолжал следить за каждым его движением, настороженно двигая одним ухом.

— Бурнаш, посмотри, что я тебе принес, — продолжал умасливать его Вовка. — Ты, наверное, проголодался. Смотри, как вкусно.

Он поднес колбасу к своим губам и облизнулся. Бурнаш продолжал сохранять достоинство, никак не реагируя ни на колбасу, ни на сладкие Вовкины речи. Спустя некоторое время он встал, крепко отряхнулся, не сводя при этом с Вовки сурового взгляда, а потом опустил голову и так неподвижно стоял, глядя на него исподлобья. Тогда Вовка кинул ему кусочек колбасы. В ответ Бурнаш бросился к нему с яростным лаем, силясь разорвать сдерживающую цепь. Ошейник сдавливал псу горло, он хрипел и метался из стороны в сторону, не оставляя попыток дотянуться до Вовки. На колбасу он даже не глянул, а в глазах его сверкала такая лютая злоба, что Вовка невольно попятился.

В тот день ему так и не удалось продвинуться в осуществлении своего замысла. И все же чем сложнее представлялась задача, тем сильнее крепло желание добиться своего.

Каждый день он приходил к Бурнашу, подолгу ласково разговаривал с ним. Тот слушал, наклоняя голову то на один, то на другой бок, и временами даже казалось, что в нем начинают проявляться легкие признаки расположения. Но так казалось лишь до той поры, пока Вовка оставался на месте и не делал попыток сократить дистанцию. Стоило ему лишь на самую малость сдвинуться вперед, как Бурнаш тут же обнажал острые клыки и принимался рычать. А если это не действовало и Вовка не отступал на прежнее место, он начинал бесноваться на цепи точь-в-точь, как и в первый раз. Проходила неделя за неделей, а Вовке, сколько бы он ни старался, не удалось добиться ровным счетом ничего. Бурнаш оставался неподкупен, а вся Вовкина болтовня и его угощения пропадали даром. Вовкой даже стало овладевать отчаяние: никогда в жизни ему не приходилось иметь дело со столь недоверчивой собакой.

Быть может, в конце концов ему все же пришлось бы отказаться от своей затеи, но случилось несчастье. Хозяин Бурнаша, тот самый высокий тощий дядька, которого, по всей видимости, уже давно точила болезнь, вдруг умер. После него остались его жена, тоже высокая и очень худая тетка, и единственный сын, совсем уже взрослый, редко появлявшийся в здешних местах.

После смерти хозяина на Бурнаша было жалко смотреть. Целыми днями он неподвижно лежал возле миски с нетронутой едой и, положив голову на вытянутые лапы, с тоской поглядывал на то, что происходило вокруг. Он и раньше не отличался упитанностью, а теперь от него остались кожа и кости. Шерсть, прежде такая гладкая и лоснящаяся, свалилась в неряшливые клочки, и было непонятно, как жизнь еще теплилась в его исхудавшем теле. И все же каждый раз, когда Вовка делал попытку к нему приблизиться, он, с трудом поднявшись, скалил клыки и грозно рычал. Правда, теперь в нем уже не чувствовалось той ярости и энергии, с которыми он

раньше бросался на чужака, силясь разорвать цепь. А лай его сделался хриплым и надсадным, похожим на кашель. Вовкины же угощения так и лежали нетронутыми, становясь добычей расхрабренных воробьев.

Теперь Вовку заставляли приходиться к Бурнашу не жажда добиться своего во что бы то ни стало и не прежний азарт дрессировщика, теперь он являлся сюда, чувствуя к осиротевшему псу жалость и сострадание. Не желая понапрасну тревожить его, он сидел в сторонке на корточках и говорил ему самые ласковые, самые теплые слова, какие только знал. А Бурнаш слушал его, лежа на боку и повернув к нему голову, и горестно вздыхал.

Так продолжалось еще недели две. А однажды, когда Вовка к нему пришел, прихватив с собой несколько говяжьих косточек, Бурнаш вдруг поднялся и, осторожно ставя лапы, направился к нему, помахивая хвостом. Прошел, насколько ему позволила железная цепь, и остановился. Он грустно смотрел Вовке в глаза и тихо поскуливал. Тот опешил, не веря своим глазам, а потом, забыв всякий страх, подошел к Бурнашу и погладил его по голове.

— Бурнашка, милый мой Бурнашка, — теребя пса за ухом, бормотал Вовка, и слезы застилали глаза. — Если бы ты знал, какой ты замечательный пес...

На другой день, сразу после школы он отправился к Бурнашу. Но ни возле сарая, ни в будке его не оказалось. Лишь валявшаяся на земле цепь и старенький расстегнутый ошейник напоминали о нем.

— О, опять появился, — проворчала на Вовку хозяйка Бурнаша, которая как раз собралась развешивать на веревки белье. — И чего, спрашивается, ходит? Вот уж кому нечего делать... Чего тарачишься? Да сдох, сдох он. Прямо этой ночью и сдох... А тебе чего тут попусту-то болтаться? Лучше б над уроками так пропадал...

## ПРАЗДНИК

Вечером, в половине шестого, за Анюткой в детсад пришел папа. Она увидела его, играя во дворе возле качели, и тут же кинулась ему навстречу:

— Папа, папа! За мной папа пришел!

Он поднял ее на руки и чмокнул в щеку:

— Ну, Дюймовочка, как у тебя дела?

— Хорошо, — отвечала она, вся сияя от радости. — А знаешь что?

— Что?

— А у нас завтра праздник! — Анютка была взволнована, глаза ее так и светились ликующим блеском.

— Праздник? — не сразу сообразил папа. — И какой же?

— Ну, как же ты не знаешь? Завтра же День космонавтики!

— Ах, вон оно что. Ну, теперь понятно.

Анютка с самого раннего возраста отличалась пылкостью и необычайной энергией. Теперь ей шел четвертый год, она уже сама одевалась, читала по слогам и даже мыла посуду. Садик она любила, хотя иногда дралась с мальчишками и бывала заводилой разных проказ. Она была маленькая, ужасно шустрая и вместе с тем очень впечатлительная, так что обидеть ее не составляло труда.

Она сбегала в группу, собрала в пакет кое-какие свои вещички и затем, с папой за ручку, отправилась домой.

Всю дорогу до дома только и было разговоров, что о завтрашнем празднике.

— Я завтра надену свое самое нарядное платье, — рассуждала она, семеня ножками. — Помнишь, то беленькое? Ты еще говорил, что я в нем совсем как мотылек.

— Ну, еще бы, конечно помню.

— А знаешь, что я еще придумала?

— Интересно, что же такое ты придумала?

— А я придумала вот что. Я попрошу маму, мы найдем с ней стишок про космонавтов, и я его выучу. Правда, здорово?

— Замечательно, я просто тобою горжусь.

Подходя к дому, они увидели в окне маму, а рядом с ней расплылся круглый каравай Петькиного лица. Анютке он был старшим братом, ему шел седьмой год, и он совсем не походил на свою неугомонную сестру. Петька ко всему подходил основательно, не торопясь, долго и мучительно вникая в суть дела. К тому же он был немного с ленцой и всячески сторонился шумных мероприятий. Он сидел с мамой дома, подхватив где-то простуду.

Прямо с порога Анютка оповестила и Петьку, и маму о завтрашнем празднике.

— И что же с того? — с некоторым сомнением спросила мама. — Уж не хочешь ли ты сказать, что у вас будет утренник?

— Обязательно будет, — заверила дочка. — Ведь праздник же. Мне и Татьяна Леонтьевна сказала: «Завтра, Анечка, праздник» — вот.

Весь вечер Анютка по пятам следовала за мамой, ни на минуту не умолкая и пребывая в радостном возбуждении. В конце концов мама отыскала ей стишок про космонавтов, и они закрылись на кухне, где стали его разучивать.

Чуть позднее мама отгладила дочке ее любимое беленькое платье с оборочками, в голубой горошек, а к нему ленту для банта. Не забыли и про беленькие колготки.

В завершение всего Анютка настояла, чтобы все собрались в зале и послушали, как она рассказывает выученный стишок. Стишок она прочитала громко, с выражением, а когда все стали хлопать, то она вся раздурманилась от удовольствия.

После этого Анютка наконец уgomонилась и без лишних



напоминаний пошла в ванную умываться перед сном. Утром, чуть свет, она была уже на ногах, и всех по очереди ходила тормошить, боясь, как бы не опоздать в свой садик. Пока папа завтракал и собирался на работу, мама взялась ее отвести.

В садик они пришли раньше всех. Анютка сняла пальто, вязаную шапочку, а мама прикрепила к ее волосам роскошный бант и поправила платье. К тому времени стали подходить и другие дети с родителями. Некоторые из них хныкали, капризничали и не хотели раздеваться. Папы и мамы раздраженно покрикивали на них, поднялся шум, суета... А вот появилась и воспитательница Татьяна Леонтьевна, тучная женщина, с круглым лоснящимся лицом. На одних детей она просто прикрикнула, других пообещала поставить в угол, так что порядок живо был восстановлен.

— Анюточка, девочка, — елейным голосом пропела она, поздоровавшись с ее мамой. — А ты чего это сегодня такая нарядная? Разве у тебя день рождения?

Тут Анютка заметила, что все остальные дети одеты обыкновенно и вовсе не празднично. Она смутилась и растерялась.

— Ну как же, — вступилась за нее мама, — разве у вас не будет утренника?

— Утренника? — удивилась воспитательница. — Это в честь чего же?

— Так праздник же сегодня — День космонавтики?

— О господи, — в досаде поморщилась воспитательница. — Да какой там праздник. А, так это вам Анютка такое сказала?.. Это я вчера вешала стенгазету, а она увидела и спрашивает: «А для чего вы, Татьяна Леонтьевна, это делаете?» Я возьми ей, да и скажи, что, мол, по случаю праздника. День, мол, космонавтики завтра. Но про утренник я ей ничего не говорила... Анюта, зачем же ты маму обманула?.. Разве я тебе говорила про утренник?

Анютка стояла, опустив голову и чуть не плача.

— Извините, конечно, — возразила мама Анютки, — но почему же сразу и «обманула»? Ну, ошибся ребенок, зачем же вы так?

Она прижала к себе дочку, погладила ее по голове.

— Ну, уж это вы сами с ней разбирайтесь, а только я ни про какой утренник слова не говорила.

Сказав это, воспитательница удалилась.

## ДЕД ИВАН

Так и останется в моей памяти наш двор — маленький, уютный, весь утонувший в зелени, с беседкой и скамейками в тени карагачей и кленов. На скамейках большей частью восседали старики и старушки, в песочнице гудела и копошилась малышня, ну а беседку облюбовали пацаны и девчонки постарше. У всех были свое место и своя компания в нашем дворе, и только один дед Иван был как бы сам по себе. Его видели то на скамейке, молча и с кроткой улыбкой слушающего разговоры стариков, то у беседки, с любопытством наблюдающего за горячими спорами подростков, а то и среди детворы, в песочнице, сидящим на корточках и вместе с ними колушающимся в песке.

Между тем о нем ходила молва, что он как бы немного того, не в себе, что ли. Бывало, подмечали, что он сам с собой разговаривает. Иной раз остановится прямо посреди двора, сперва будто задумается, а потом и начнет. Впрочем, издали было слышно только тихое бормотание, так что слов разобрать было никак невозможно. Но при всем том был дед Иван умельцем на все руки, и за это все его уважали. Соседи не могли нарадоваться его работой и всякий раз, когда что-то выходило из строя, они тут же несли к нему на починку. Принесут ему, бывало, какую-нибудь плитку, у которой погорела спираль. «Иван Федорович, выручай, не на чем даже чайку вскипятить». А он даже засветится весь от радости. Возьмет молчком вещь, повертит в руках, поцокает языком и

— Анюта, рыбка, да не расстраивайся ты так, — успокаивала ее мама. — Нет ничего плохо в том, что ты будешь самой нарядной. Вот после работы за тобой придет папа, а я испеку пирог, и будет у нас вечером настоящий праздник. Согласна?

Анютка уныло кивнула и все же немного успокоилась. Мама проводила ее до двери, и они расстались.

Между тем лишь только Анютка появилась в группе, как со всех сторон стали раздаваться смешки, а Максим, самый задиристый из всех мальчишек, соорудил ей такую рожицу, что все покатились со смеху. Он кривлялся, показывал на нее пальцем и хохотал громче всех.

— Гляньте на нее — вырядилась! А бант какой нацепила, вот умора...

Опустив голову, чтобы не показывать слез, Анютка направилась в уголок с игрушками. Но Максим от нее не отставал, все норовя схватить ее за бант. Пухлые конопатые щеки его раздувались от восторга. Вот по этой-то щеке Анютка и залепила ему подвернувшейся под руку пирамидкой. Тот взвыл, завизжал словно резаный и с ревом, держась за ушибленное место, бросился к воспитательнице.

Перед Анюткой тут же выросла необъятная Татьяна Леонтьевна. Красное ее лицо тряслось от злости.

— Ах, вот ты как?! Мало того что наврала всем с три короба, так ты еще и драчунья! Так вот я тебе не мамочка, не думай. А ну, живо отправляйся в угол. Видеть тебя не хочу!

Вся сотрясаясь от слез, Анютка поплелась в угол, где просидела на стульчике до самого завтрака. А потом она отказалась есть манную кашу и снова была наказана...

Весь день прошел в одних огорчениях. Вдобавок все тот же Максим вылил ей на платье кисель, ну а бант она стащила с головы, еще когда сидела в углу, так что вид ее сделался совсем не праздничный. Все мечты ее были теперь о том, что скоро придет папа и заберет ее отсюда домой. Но день тянулся медленно, и папа все не приходил и не приходил.

Но зато когда он пришел и увидел, что приключилось с его Анюткой, то сильно отругал Татьяну Леонтьевну, а Максиму пообещал оторвать башку, если он хоть раз ее еще тронет. А дома их встретили мама с Петькой, и был устроен пир. Мама и впрямь испекла пирог, а Анютка, уже совсем повеселевшая, с выражением читала стишок про космонавтов.

кивнет: не беспокойтесь, мол, все, что надо, исправим. И впрямь, не успеют глазом моргнуть, а вещь уже готова и работает лучше прежнего. Работал же он либо у себя в сараюшке, где у него имелся небольшой верстачок с тисками, а на гвоздях висели самые разные инструменты, или тут же, поблизости, устроившись на чурбаке.

В ту пору мы, совсем еще детвора, любили крутиться возле него. Нам страшно нравилось наблюдать за его работой. А он не возражал и даже охотно разговаривал с нами обо всем, о чем придется. Разговаривает, бывало, а руки его между тем словно сами собой что-то отвинчивают, прикручивают или зачищают напильником какую-нибудь деталь. Смотреть за его работой было сущим наслаждением, так красиво и ловко у него все получалось.

И что еще интересно, плату за работу он брать отказывался, хотя ему предлагали, и не раз. Основным же его делом было подметать по утрам двор и окрестности, за это он и получал жалованье.

Как сейчас понимаю, дед Иван был вовсе не так уж и стар, ему было что-то за пятьдесят, не больше, хотя для нас, тогдашней детворы, он казался совсем стариком. Голова у него была седая, к тому же он носил бороду, тоже седую. Однако, если судить по его осанке и фигуре, то был он еще хоть куда. В движениях его чувствовались упругость и немалая сила. Бодрый и неутомимый, он беспрерывно был чем-нибудь за-

нят, и при этом на лице его сияла добродушная улыбка.

Его седьмая квартира на первом этаже выходила окнами во двор, и через открытое кухонное окно я видел иногда, как он у плиты готовил себе еду. Жил он один, в гости к нему никто не захаживал. Рассказывали, будто бы когда-то он был военным и даже дослужился до больших чинов. Так это или нет, в точности сказать не могу, сам же он ни о чем таком не рассказывал.

Мне же всегда было любопытно узнать, о чем это он сам с собой разговаривает. Несколько раз, когда с ним такое случилось, я пробовал к нему незаметно подкрасться, но из этого ничего не выходило. Он замечал меня раньше и тут же умолкал.

И все же однажды мне улыбнулась удача. В то утро он, как обычно, подметал двор и тихонько напевал что-то себе под нос. А я сидел в беседке и ужасно скучал. Все знакомые пацаны разъехались по пионерским лагерям, так что мне было даже не с кем пойти на речку.

Между тем дед Иван закончил работу, отнес к себе в сараюшку метлу и мешок. Направляясь к своему подъезду, он вдруг остановился неподалеку от песочницы и как бы задумался. Как только я это заметил, то живо сполз с перекладки, служившей перилами у беседки, и осторожно, перебегая от дерева к дереву, подобрался к нему почти вплотную. Сперва он стоял молча, немного склонив набок голову, и неотрывно смотрел прямо перед собой. Но потом взгляд его вдруг потеплел, на губах появилась ласковая улыбка.

— Здравствуй, свеколка моя ненаглядная! — совершенно отчетливо проговорил он.

Я даже вздрогнул от неожиданности и, сказать по правде, изрядно струхнул. Ноги мои так и рвались задать стрекача, но я все-таки удержался на месте.

— Пришла, не забываешь меня, моя голубушка, — между тем продолжал дед Иван. — Когда ж это мы в последний раз виделись... В четверг?... А не в среду?... Ну, пускай будет в четверг... Не припомню, рассказывал я тебе про Леньку?... Нет? Так вот, он собирается нынешним летом ко мне приехать... Ну да, вместе с женой и с внучком. Да, Славиком его назвали. Ему уж четвертый годик пошел, так хочется его увидеть... На фотографии-то он — вылитая ты, хорошенький. И глазки такие же смысленные, и бровки твои... Так вот, жду... Да нет, я не грустный, чего мне грустить... А на работе у Леньки все вроде бы наладилось, ему даже дали новую должность... Да нет же, и ничего я от тебя не утаиваю, говорю все как есть... Да это тебе, должно, показалось... и голос у меня нормальный... Скучаю по тебе, вот и грустный... Ну хорошо, хорошо, скажу. Просто прочитал Ленькино письмо, пишет он о себе, о семье разное... Не знаю, только мне показалось, что вроде он какой-то не такой. Может, приболел или еще чего... Так я же и говорю,

что это мне так только показалось, а может, там и нет ничего... О Славке о своем пишет, что, мол, такой он у него способный, даже пробует уже читать... О ней?... Не знаю, может, просто забыл. Да и чего сильно-то расписывать, все равно скоро свидимся... Ты, главное, сама не расстраивайся, а я... я что, лишь бы у них все было как следует...

Тут, откуда ни возьмись, появилась Медведиха, из двенадцатой. Толстая сварливая дама, на весь свет обиженная за своего непутевого мужа.

— Мне бы, Иван Федорович, каблук починить. Совсем он у меня разболтался, — жаловалась она, тыча почти в самое лицо деду Ивану своей туфлей.

С минуту он смотрел на нее непонимающими глазами, потом зябко повел плечами, заморгал и улыбнулся своей прежней улыбкой. Он принял туфлю, подвигал пальцем каблук.

— Ничего, выправим, будет как новый.

— Да уж, будьте так любезны, — раздраженно отозвалась Медведиха. — Только мне не позднее, как к вечеру. А то у нас юбилей, а мне и пойти совсем не в чем.

— Да что ж к вечеру, — дружелюбно сказал дед Иван, — через часок, много полтора, все будет готово.

Он отправился к своему сараю, а я снова вернулся в беседку и еще долго раздумывал над тем, что мне только что удалось услышать. Все это было так странно и диковинно, что никак не умещалось в моих мозгах.

А через месяц к деду Ивану и впрямь пожаловал его взрослый сын, а с ним жена и маленький пацаненок. Этот самый пацаненок мне совсем не понравился. Всегда надутый, он то и дело закатывал истерики, так что через открытые окна его вопли разносились на всю округу. Невестка деда Ивана мне тоже не понравилась. Капризная и расфуфыренная, она всегда имела раздосадованный вид и всегда что-то выговаривала деду Ивану, а мужа без конца заставляла ходить в магазин.

Зато сын деда Ивана был, по всей видимости, человеком добрым, может быть, даже излишне мягким. Он частенько выходил во двор, посидеть с отцом на скамейке. Только жена все никак не хотела оставить его в покое и все время звала его в дом за каким-нибудь поручением.

Прожили они две недели или чуточку больше. За это время дед Иван весь как-то осунулся и стал рассеянным. Подметая двор, он больше не напевал ничего, а только все думал и, должно быть, грустил. Не замечал я и того, чтобы он говорил сам с собой. Хотя теперь-то я знал, что разговаривал он вовсе и не с собой.

А в тот день, когда он пошел провожать сына с семьей на вокзал, оттуда он уже так и не вернулся. Взрослые говорили, что его прямо с перрона забрала неотложка, а еще дней через пять его хоронил весь двор.



Альберт Зимановский родился в 1946 году в Читинской области. Окончил Читинский политехнический техникум, был механиком в леспромхозе. Долгое время жил в Магаданской области, где работал на бульдозерах, в том числе и у старателей. Сейчас живет в Новобурейском, слесарь-экспериментальщик вагонного депо. Рассказы печатались в районной газете.

Рассказ

## НОВОСЕЛЬЕ ПОД ПРАЗДНИЧЕК

История эта случилась в одном крупном портовом городе на Крайнем Севере. Любили в то застойное время к разным знаменательным датам делать Родине подарки: то технический какой объект сдать, то жилой многоквартирный дом, а лучше несколько, то корабль на воду спустить, но обязательно к празднику это событие приурочить. Особенно к празднику 7 Ноября — годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Дело это было очень даже политическое; о трудовых подарках писали в газетах, говорили по телевидению. Так вот, этот случай и произошел как раз в очередную годовщину Великого Октября.

Городскую управу лихорадило — требовал обком партии, требовал горком партии: такое-то СМУ обязано — кровь из носу! — сдать государственной комиссии три многоквартирных дома. Что, много недоделок? Ерунда! Устранить огрехи после праздника. Это приказ! Все силы, все резервы брошены на эти дома. Рабочие, мастера и прорабы работали до поздней ночи, не щадя своих сил. В спешном порядке выдавались ордера на квартиры будущим жильцам. Сжималось сердечко у человека, получившего заветный ордер с печатью. Кто хоть раз держал в руках такую бумажку, знает, что это такое — за много-много лет получить наконец приличное жилье. Предел мечтаний для обитателей малосемейных общежитий и тесных коммунальных квартир. У многих на глазах навертывались слезы: наконец-то вспомнили... оценили...

А в городе вывешивались флаги и транспаранты, убирались улицы, народ сновал по магазинам, делая закупки к праздничному столу. Приближение праздника ощущалось всюду.

Но были в городе и такие люди, которым не о чем было рапортовать, и начхать они хотели с высокой колокольни на указы, приказы и праздники. Для них каждый день был праздником, а в новое жилье они привыкли вселяться без всяких там ордеров...

В самом конце октября ясным солнечным днем трое мужчин шли тропинкой, что вилась среди куч строительного мусора, из которых торчали куски арматуры, обломки досок, взрыг разломанные бетонные плиты перекрытий. Свежий снег накрыл город и сопки своим одеялом. Было тепло — по местным понятиям. Пройтись пешком по легкому морозцу было сплошное удовольствие...

Впереди, размахивая руками, шел коренастый мужчина. Одет в телогрейку, на крупной голове что-то похожее на шапку-ушанку. На ногах, не по сезону, резиновые сапоги с короткими голенищами. Телогрейка на груди распахнута, виден треугольник тельняшки. Крупное красное лицо с каплями пота на лбу. Идет-спешит человек по своим делам, — видно, цель близка.

Следом мелко семенил ногами странный человечек: на голове танкистский шлем, одет в драное пальто, на полах нет ни одной пуговицы — потому вынужден руки засунуть в рукава, как в муфту. С локтя левой руки свисает непонятного цвета сумка — явно не пустая. На ногах стоптанные, уже без названия, чуни. Брюки на нем защитного цвета, солдатские. Голова опущена, изредка он поднимает ее, хмуро глядя в спину идущего впереди мужчины, и тогда хорошо видно его сухощавое лицо, малюсенькие, глубоко сидящие глаза. Идет тя-

желю, с одышкой, часто и тяжело кашляет, но старается не отстать.

У третьего походка и вовсе своеобразная. Левую ногу ставит четко, словно солдат на параде, правую странно волочит. Как говорится, левой ногой пишет — правой зачеркивает. На нем шапка с оторванным ухом, солдатский бушлат и солдатские же, черные от грязи, брюки, а обут в солдатские ботинки с блестящими заклепками, не очень-то подходящие для этих морозных мест. Взгляд угрюмый, неприятный: никогда не смотрит собеседнику в глаза. В местных бичевских кругах поговаривают: пьяная мама уронила его с балкона. Роняла, видимо, с умыслом: вдруг загнется, а он, назло непутевой маме, остался жить. Возраст определить невозможно: все лицо в морщинах, словно сшито из множества лоскутков. Но, видимо, он самый младший по рангу среди этой троицы, поскольку прет на спине объемистый рюкзак.

У всех троих клички: Боцман, Гнилой и самый последний — Писарь.

Тропинка вывела их к трем только что построенным пятиэтажным домам.

Возле одного из домов стояли «Волги» и «уазики». Из подъезда в подъезд ходила группка людей, солидных, хорошо одетых, в пыжиковых и норковых шапках, с папками в руках. Деловито задавали вопросы сопровождавшим их начальникам стройки, озабоченно выслушивали ответы. Это работала приемная комиссия. Стараясь не попасть на глаза высокому начальству, мышкой проскальзывали работяги-строители, пытаясь что-то подкрасить, что-то подляпать. Работяги мантулили за премию, положенную за сдачу домов; комиссия работала за бесплатный шикарный банкет. Идиллию приемной работы нарушал рокот гусеничного трактора: «сотка»-гидравлика отталкивала подальше от новых домов залежи строительного мусора, чтобы они не успели смерзнуться окончательно и чтобы территория приобрела товарный, благоустроенный вид.

Троица, не желая попадаться лишней раз на глаза людям, обогнула новые дома с тыльной стороны и за углом крайнего дома остановилась, что-то высматривая. Гнилой вытащил ладонь правой руки из левого рукава пальто и показал на круглое пятно, темневшее на снегу. Это была металлическая крышка люка — такими закрывают колодцы теплотрасс и канализации. Метрах в двадцати отсюда стояли два вагончика на колесах: в них хранился рабочий инструмент строителей, а ночью продавливали бока сторожа.

Боцман выдернул торчавший из кучи мусора толстый кусок проволоки, загнул на одном конце крючок и направился к люку. Крючок подsunул под крышку, рывком поднял ее, отодвинул в сторону и, опустившись на колени, заглянул внутрь. Потом выпрямился, огляделся вокруг: никому не было до них дела — стояли дома, стояли вагончики, тархтел трактор; сплунув, спустился в люк. Через минуту оттуда раздался грубый голос: «Залезай!» Те двое молча, без вопросов, подали внутрь сумку, рюкзак, в котором звякнула стеклотара, и один за другим нырнули вниз.

Колодец был классный: высокий, в рост человека, просторный, сухой и чистый. Ближе к одной стенке проходили толстые трубы центрального отопления. В них были врезаны трубы гораздо меньшего диаметра, которые шли в сторону ближайшего дома. Стояли задвижки. Все трубы лежали в желобах и исчезали в темных квадратных проемах.

Оглядевшись, закурили. Все молчком. Да и к чему даром трекать: все сказано давным-давно, не один день вместе бичуют. После перекура Гнилой поднялся вверх по лесенке, наломал какой-то травы, что торчала из снега, сделал что-то похожее на веник и кинул его в люк. Пока там шуршали веником, глухо переговариваясь, Гнилой стоял, глядя, как в отдалении бульдозер толкает мусорные кучи, и тянул сигаретный дым в свою чахлую грудь. Ему было ровным счетом наплевать на будущую радость новоселов, на этот солнечный день и на этот пока чистый снег. Давным-давно разучился радоваться простым радостям жизни. Да и были ли они, эти радости, за последний десяток лет? Приехал на Север молодым — думал, горы свернет этими вот руками, энергия была через край... А в итоге? «Зона», ЛТП, снова ЛТП. Забыл, когда работал. Бичевал, таскался с одной бичхаты на другую. Устраивали в принудительном порядке на работу — бросал при первой возможности. Где удавалось — воровал, за это был бит много раз. Видно, отбили нутро — стал чахнуть, особенно ближе к холодам; трясутся руки; с весны и до осени маленько оживал. «Похоже, сдохну скоро и лягу в эту мерзлую, Богом забытую землю», — просто и обыденно думал Гнилой последнее время. С Писарем он снюхался года два назад: два убогих человека, они сразу нашли общий язык, делить им было нечего. Писарь его только и слушался, особенно по пьянке, когда, очумев от водки, откуда-то из своих лохмотьев доставал ножик — кого бы пырнуть? Пробовал Писарь вот так и на Боцмана наехать, да ошибся маленько: тот так двинул по его физиономии, что отбил у хромого гангстера последний умишко — за два часа еле-еле привели того в сознание, а вот с умом — того... Что-то сдвинулось в голове. Писарь стал ночами разговаривать и кричать во сне, иногда пускал под себя лужу... Давно не писал Гнилой никому из родни: живы ли родители — кто знает. А кличку ему дали за мелкие гнилые зубы, да еще за гнилое дыхание...

Гнилой отшвырнул окурок и полез в колодец. А там уже был наведен флотский порядок: ни пылинки на полу, а у стенки, словно солдаты у знамени, стояли бутылки. Солнце через люк светило в колодец: оттого он казался уютным, веяло чем-то домашним и даже праздничным. У Гнилого вырвалось: «Во, блин! И у Гитлера такого не было!» — «Да, вроде все хоккей! — Боцман довольно оглядел помещение. — Можно сказать, новоселье состоялось». Еще разок курнули. Гнилой с Писарем вылезли из колодца и подались в город: были еще дела, которые требовалось сделать до наступления ночи...

Боцман разложил на полу газеты, поверх газет бросил телогрейку. Улегся, устало прикрыл глаза. Мысли текли лениво, обрывались, перескакивали с одного на другое... Сегодня опять закусило в груди, когда узрел свою бывшую жену: она стояла на тротуаре, смотрела, как он тягал ящики с грузовой машины в магазин. После исчезла, словно мираж. Что ж, тихий омут семейной жизни оказался круче холодных вод Охотского моря. Всех, кто ходит в моря, при возвращении томит вопрос: «Что там дома — ждут или нет?» Такая доля... И ничего не попишешь тут. И не укажешь, кто виноват.

Вот лично у него: закончилась экспедиция — рвался домой. На сердце было тяжело, в последнее время все шло не так в их семейной жизни: не стало доверия, появилась двусмысленность в отношениях с женой — словно не договаривала она чего-то. Пробовал вызвать на откровенный разговор — отделялась шуточками... Крепко навеселе — отметили с друзьями приход в родной порт, — с букетом цветов, лихо бежал по лестнице. Домой! И уже знал, что его там ждет... Там — от ворот поворот, чемодан в зубы! Гребь веслами от этого причала, чем быстрее, тем лучше для тебя! Ладно. Не он первый — не он последний. Крепился первое время: жадные до работы руки классного моториста, поддержка друзей не давали рухнуть. Потом запил... Первое время друзья-товарищи по работе звали обратно, совали в карманы деньги, ни о чем не спрашивали. «Жалеют», — мрачно думал Боцман, день-

ги пропивал, на суда не шел. Работы было море — что в порту, что на местных заводских и предприятиях. Да, видно, угробила проклятая баба ту основу, на которой веками держался мужик, растоптала, ведьма, и веру, и надежду, и любовь... Теперь уже никто не узнает на улице, руки не протягивает. Обрезало... Сошелся с одной, знал ее еще по молодости. В былые годы занимала хлебный пост в торговле: видная, уверенная в себе женщина была в те годы. Да вот беда, наступила на водочный солитер, и жрал он ее до тех пор, пока не превратился в зеленого змия... Выгнали с блатной работы, пошла по служебной лестнице вниз. Работники торговли так запросто своими кадрами не разбрасываются, всегда найдут местечко потеплее. Из красивой женщины зеленый змий высосал все соки: превратилась в тощую, злую, с вечно опухшим лицом бабу. От былой работы осталась трехкомнатная, богато обставленная квартира, да еще гонор вылезал по пьяному делу. Жили душа в душу... до очередной пьянки. Вот и в последнюю пьянку, после которой Боцман «ушел в штопор», была ссора: в винном угаре он обозвал ее «воблой сушеной» — это чтоб морскую живность не обидеть. Она его обозвала обросшим шерстью животным с рогами; в ответ въехал кулаком в левый глаз подруги. Наутро она, замазав синяк кремами-пудрами, побежала на свою работу, а он — в магазин, где работал грузчиком. Когда шел, в похмельном угаре думал: «Тоже мне баба!.. Сиськи до пупка висят... Одно слово: ни сиськи, ни письки, и попка с кулачок...» В душе понимал, что не прав, а все ругался.

Так и жили. Когда накатывало, брал пузырь и шел в морпорт. Устроившись в укромном уголке, медленно пил водку, курил — и слушал рабочий ритм порта. А потом, ночью, опять тащился домой, к новой жене.

«Н-да, все выходит через одно место, — подумал он, заматерился и повернулся на другой бок... — Должны подойти оба Вовки, — мелькнуло в голове, но встать и поглядеть не было сил и желания. — Да найдут, не впервой, а может, этих придурков встретят...»

А познакомился с ними Боцман на центральном автовокзале, в теплом туалете. Шел на работу, заскочил по нужде в туалет, а там эти два брата-акробата, с фонарями под глазами, с разбитыми губами, опохмеляются бутылочкой тройного одеколона. Надо отметить, теплый туалет для бичей был почти что рестораном — так высоко котировался он среди данной категории граждан. Слово за слово, познакомились, разговорились. История стара как мир. Старатели. Один из них, старше годами, маленького роста, узкоглазый, ноги кривые, уши в стороны, как у Чебурашки, морщась от боли, рассказывал: «Закончили сезон, получили расчет. Ну, мы с напарником Володькой срочно в аэропорт...» — Из одноразового стаканчика хватанул пару глотков одеколона: лицо перекосило, долго отплевывался в угол... Понял Боцман из их рассказа, что, приехав в аэропорт и взяв билеты на самолет, вылетавший на следующий день, они сдали вещи в камеру хранения и в аэропортовском ресторане, на втором этаже, хорошо расслабились. Можно же рабочему человеку, весь сезон отпахавшему по двенадцать часов через двенадцать, сделать себе подарок. Сделали... Перед закрытием ресторана вышли, сели на лавочку перед зданием, курили, вспоминали артель — теперь, отсюда, казалось, не было каторжного труда, казалось, это было не с ними, а с кем-то другим.

Подсел к ним мужичонка неприглядный, ввязался в разговор. Предложил достать бутылку водки у таксистов — конечно, за их копеечку. Достал — выпили... Еще достал водку, много водки, с глубокой старины пошло — старатели гуляют с размахом. Появились еще два молодых мужика. Ушли с глаз родной милиции в темный уголок.

Старшего, его тоже Володькой звать, а кличка — Чача, вырубил первого. Его напарник Вовка-молодой, здоровенный парень, прижался спиной к забору и успешно отражал атаки. Не ожидали местные потрошители карманов такой прыти от парня с детски наивным крестьянским лицом. Один из грабителей упал на землю, уцепился в Вовкину ногу руками, а зубами впился в икру ноги. Наклонился Володя отцепить этого клеща энцефалитного — и все, вырубил.

Очнулись от холода. Профессионалы обчистили их классно — даже мелочь вытрясли, но паспорта оставили. Де-

лать нечего. Долго приходили в себя, совещались. Утром, пряча отрихтованные морды от людей и милиции, получили вещи в камере хранения. Счастье, что билеты на самолет были засунуты в боковой карман чемодана Вовки-молодого. Выход был один: вернуться назад и устроиться на прииск на зиму, по весне — опять в артель.

— Так-то оно так — рассуждал Вовка-Чача, — да только какой дурак нас возьмет на работу с такими рожами? Нет, надо отлежаться. Едем в город, там корефан один живет, раньше у нас в артели работал.

Так и сделали: сдали билеты в кассу, на эти деньги прикатали к Чачиному другу. Тот принял их без особой радости: больше из-за солидарности.

Потом Боцман еще не раз встречал их там же, на автовокзале, где они надеялись встретить кого-либо из хороших знакомых, а главное — денежных. Деньги у них давно закончились, друг, пока по-хорошему, предлагал покинуть его еще в сороковые из ящиков сколоченные хоромы. И вчера днем чья-то сердобольная душа сжалилась и выделила им энную сумму, чему они были несказанно рады.

«А может, махнуть вместе с ними на прииск? — спрашивал себя Боцман. — Есть заначка в двести с копейками... в грязных трусах лежит», — и засмеялся вслух тому, как его «мадам» брезгует прикасаться к его вещам. Аж лицо перекашивается...

Вздрыгнул: в люк опустилась чья-то морда и спросила:

— Тут кто есть?

Боцман разглядел круглое, словно лепешка, лицо, торчащие круглые уши, толстые, будто вывернутые губы, черные короткие волосы, и радостно заулыбался:

— Есть, есть! Залазь, Чача!

Голова исчезла. Потом показались стоптанные туфли, кривые ноги, тощий вихляющий зад. Через минуту перед Боцманом стоял Вовка-Чача.

— Привет! — Повернулся, принял сверху хозяйственную сумку. Вслед за сумкой спустился здоровенный парень. Тоже буркнул: «Привет» — и, поскольку голова его упиралась в потолок, сразу сел на пол.

Вовка-Чача родом из Бурятии: кривые ноги, словно бочку объезжал, и вся его фотография указывали на татаро-бурят-монгольскую расу. Он этого не признавал, в споре совал паспорт под нос собеседнику: «На, смотри. Вишь, написано — русский!» Кличку получил по названию крепкого кавказского самогона. Кто-то привез сей напиток из отпуска, хорошо угостил его. Утром никак не мог вспомнить название так полюбившегося ему напитка: свое имя и то вспомнил с трудом. Когда же ему сказали, как называется это пойло, он встал на середину вагончика и с чувством воскликнул: «О чача! Ты напиток богов!»... Так и стал Чачей. У его здоровенного друга в глаза бросалось лицо: наивное такое, простенькое, с широко открытыми глазами. Много было любителей пошутковать над таким большим ребенком, да все уползали с кровавой юшкой на четырех мослах. Не первый год работает в артели, но впервые не летит на отдых к маме и папе, которых он очень уважает.

Опять слышались шаги у люка. В отверстие с трудом пролез перекошенный деревянный ящик, за ним другой: надо понимать — столы. Следом, матерясь, спустился Гнилой, за ним, путаясь в собственных ногах, Писарь. Теперь компания была в сборе.

Началась предпраздничная суэта: ставили столы, накрывали газетами-скатерками, на них выкладывали закусь. Потом начали устраиваться сами. Писарь контуженную ногу выставил как ружье и навел ее на трубы теплоцентрали. А Чача свои кривые ноги все никак не мог пристроить: перебирал ими, словно конь на привязи, которого кусают оводы. Предвкушая выпивку, Гнилой показывал щетку своих зубов в блаженной улыбке — и все возился, стараясь занять позицию повыгоднее. Только Вовка, Чачин друг, и Боцман заняли места сразу: прочно и надолго. Было что выпить, было чем закусить.

— Ну что, родимые, по первой? — говорил ласково Боцман, разливая водку по стаканчикам: можно было не проверять — разлито точно, почти до грамма. Вообще-то у северян закон: ставят водку на стол и каждый сам наливает

себе, сколько совесть позволит. Но здесь контингент присутствующих особой веры не вызывал.

Все вдруг стали словоохотливы. Гнилой говорил, захлебываясь слюнями:

— Люди уже начали переезжать в новые дома, барахлишко возят...

— Да... — кивал Вовка-молодой. — Праздник послезавтра — а тут еще и новоселье.

— Ну попьют! — качал головой Чача.

Один Писарь молчал: ему дела до новоселов было, как до марсиан — ни жарко ни холодно.

— Ну, вздрогнем, что ли? — Боцман поднял стаканчик и ухмыльнулся. — За наше с вами новоселье под праздничек!

Вздрыгнули, отдышались, стали закусывать...

Их новоселье было не случайным: все бичевские точки милиция знала наизусть, шансов где-нибудь отлежаться в праздничные дни было мало, вот тут и вспомнил Гнилой про новые дома, произвел разведку, доложил Боцману — так развеселая компания оказалась здесь.

После выпитого пошел длинный разговор...

Всего в квартале от подземного бункера, в красном уголке СМУ, проходило праздничное собрание. Уже отзвучали торжественные речи руководителей, наступила вторая, самая волнующая часть вечера: вручались премии передовикам производства, грамоты и... несколько ордеров в новые дома. Такой ордер получил на руки и тракторист-бульдозерист с того самого трактора, на который пялил глаза Гнилой, когда курил наверху. Радость распирала трактористу грудь: «Не-ет, Бог есть! И при социализме есть!» Тем, кто получил ордер, на завтра разрешено было не выходить на работу — короткий день, а кто желает — пусть переезжает. Машины для перевозки вещей будут. Отсчет времени пошел на минуты...

Пир в бункере был в самом разгаре. Гнилой травил байки Вовке-молодому про «зону», где почти курортная жизнь, сплошная радость и достаток. Писарь сидел, задумчиво ковыряя грязным пальцем в носу. Чача на другом конце стола говорил Боцману: «Все жены змеи? Понял?.. Все!» Боцман со слезами на глазах кивал крупной головой. Однако бдительности не терял — встал, высунул голову в люк. На город уже опустились сумерки. Увидев стоявший рядом с домом милицкий «уазик», Боцман шустренько нырнул вниз.

— Тише, вы, разбазлались! У дома стоят менты.

Магическое слово «менты» подействовало, словно кнут дрессировщика.

— Иди, закроем люк, — махнул Боцман Вовке-молодому. — А ты, Чача, достань пачку свечей... там, в сумке.

Люк был закрыт, свечи расставлены и зажжены. Получился очень даже интимный уголок, отгороженный от суетного мира.

В это время тракторист шел к своему трактору...

В колодце еще выпили, и хмельной Чача начал окольцовывать Боцмана, предлагая работу в артели.

— Кормят как на убой! После работ банька, и отдыхай себе на здоровье! Крыша есть над головой, а в конце сезона гребанешь деньгу — целая куча и зараз. — Чача вешал лапшу Боцману на уши, говорил вдохновенно, показывал руками предполагаемую кучу денег. Вот так же вдохновенно гадала Чаче цыганка в Трускавце, где он был по причине слабого мочевого пузыря, он отдал ей последние сто рублей, и в конце она еще обозвала его придурком.

Трактор, гремя своими железными членами, подполз к вагончикам, стал крутиться, вертеться — тракторист искал ровное место. Найдя, нежно опустил отвал на землю, заглушил двигатель, быстро открыл капот, боковину, открыл краники. Зажурчала вода. Поставил на место боковину, капот, пробку с радиатора кинул в кабину и бегом к сторожу — сдать трактор под его охрану. Вряд ли он обратил внимание на то, что отвал лег точно на крышку люка.

— Чача в бункере продолжал заливаться соловьем.

— А бывает, пролетаем. Вот года два назад пролетели в трубу. Председатель дал деньжонок по пятьдесят рэ — это на дорогу... А мы в гробу видели с такими деньгами ехать на материк... — Он прожевал корочку хлеба. — Мы втроем

выпросили у него вагончик, значит, подтянули его к поселку и зажили. Деньги пропили за месяц. Но уж и пропили! Ух! — Его передернуло. — Жрачки нет, топить печку нечем, а на улице-то зима — дай бог выжить! Уперли мы три мешка гороху из старательской столовой. Уголь трассовские шофера давали, еще курить подкидывали, да хлебца иногда... И начали мы это горох варить. Через полмесяца он уже в глотку не лезет. Ни жиринки, ни чайники, один горох на воде, все провоняло горохом: одежда, сам вагончик, представь — в вагончике не продохнуть. Шофера в вагончик заходить перестали — не дай бог спичку чиркнешь...

В неверном свете свечек металась тень. Чача то вставал, то размахивал руками, еще бы — нашлись свободные уши! Все, кроме Писаря, охали да ахали, переживая вместе с Чачей.

— Утром горох, в обед горох, вечером горох. Без хлеба — так. Вот раз поужинали, животы, понятно, раздуло, как у рахитов, только шевельнешься — газы из тебя, как из вулкана, хоть чопик забивай. Вот те крест! — Широко перекрестился. — А мы решили в тот вечер бутылки на помойке собрать да сдать утречком — шибко хлеба охота было... Только стемнело, мы туда: гремим, бутылки в мешок складываем. А тут менты на «уазике». Осветили помойку фарами. Мы легли, а глаза от гороха в темноте, видать, сильно светятся, нас и заметили...

Боцман хохотал во все горло, пискляво хихикал Гнилой, Вовка-молодой и Писарь дремали. А Чача продолжал.

— Побрезговали они нас, значит, в машину заталкивать, палками, как быков на бойню, загнали в нее — и в отделение... А там ремни из брюк выдернули да в камеру до утра. Камера битком, еле нашлось место для троих на полу. Дышать нечем, перегарищем прет, потом воняет... У нас животы во какие! — Чача слепил пальцы рук и вытянул их. — Во какие животы! Давай и мы «шептунов» им подкидывать — свою, значит, лепту вносить... Утром сержант открыл дверь и аж отшатнулся — такая концентрация.

Между делом Боцман разливал водку: кто хотел и мог — выпили.

Чача пылил дальше:

— Веришь? — обращаясь к Боцману, говорил он. — Мы втроем лежим на полу, а вокруг нас пустота, остальные возле стенок сбились и пробуют ртами воздух поймать. А его нету, воздуха. Мы лежим голова к голове, задницы в три стороны торчат: круговая оборона называется... «Н-да, — говорят, — выходите», — нам троим. Тут какой-то блатарь с золотой фиксой подполз ко мне, руку на голову положил и говорит: «Слушай, ты, хорек вонючий! Если вы еще в камере покажетесь — удавим всех троих. Лучше три года — а за вас больше не дадут — отпариться на нарах, чем с таким г..... еще одну ночь в камере отбыть». Привели к дежурному: тот на нас глянул и головой мотнул в сторону двери — нам пинкаря под зад и все... Идем по поселку, штаны падают, ремни-то не отдали, а они не держатся — до того отощали. Кое-как дождался председателя артели, спас он нас от голодной смерти, а то думали, найдут весной три трупа промерзших... С тех пор я не ем горох вообще и в частности. Даже запах не переносу.

С этими словами Чача встал.

— Пойду, облегчиться надо, — сказал, направляясь к люку. — Да и жарко стало.

В другом конце города, на ТЭЦ, машинисты паровых котлов заступили на праздничную вахту. По строгому указанию сверху температура в домах должна была стабильно выдерживаться все праздничные дни. Тепло текло по венам и артериям сложного городского организма, радуя северян горячими батареями. И у подземных новоселов тоже сильнее нагрелись трубы, в них стало сильнее щелкать и стучать — шло тепло.

Чача уперся руками в крышку люка, поднатужился — крышка не шевельнулась. Тогда Боцман, желая помочь другу за его развеселый рассказ, встал и толкнул крышку руками — не шевельнулась. С лестницы уперся головой в крышку — результат тот же. Еще не веря в худшее, крикнул: «Володя! Иди подмогни малость». Володя, чуть не растоптав Чачу, пробрался к лестнице. В четыре руки уперлись в люк. «Поехали!» — скомандовал Боцман. Крышка лежала мертво. Спи-

на у Боцмана вмиг сделалась мокрой, в желудке стало пусто, предчувствие кольнуло в сердце.

— Что такое, а? — спросил он, хотя все уже понял. — Это что ж... Трактор колмотил недавно, видно, наехал на крышку...

В жарком спертом воздухе повисло тягостное молчание. От стенки раздался пьяный мстительный голос Писаря: «Досмеялись, а теперь вот пляшите!»

— Мы ж с Вовкой хотели завтра на автобус... и на прииск смотаться, — нервно, пьяно говорил Чача, шаря рукой возле ящика: нащупал бутылку, булькнул себе в стакан, выпил. Остальным водка не лезла в глотку. В душе каждый надеялся на чудо: а вдруг и придет спасение.

— Куда теперь сходить в туалет? — пробубнил Чача и замолк. Скоро стало совсем тихо, только щелкало в трубах. Компания забылась тяжелым, пьяным сном.

Боцман проснулся: темень, хоть глаз выколи, свечи прогорели, голова тяжелая, похмельная, во рту пересохло. Под ним зашевелился Чача. Он выбрался из-под Боцмана и тихо — по стенке, по стенке — пробрался к трубам, там зажурчало... Так же тихо Чача вернулся на место, приткнулся к Боцману. Все опять уснули.

Проснулись от истошного крика. «Вода! Мужики, вода! — страшным голосом во тьме орал Писарь. — Во, из труб бежит!» — Он хлопал ладошкой по бетонному полу. У Боцмана зашевелились волосы на голове: «Господи! Еще воды не хватало!». Через минуту Писарь матюгнувшись и уже спокойней спросил: «Кто, козлы, из вас .....? Подтопили меня». Жутко звучал в колодце, в полной темноте, хохот из пересохших глоток. Когда хохот затих, Боцман сказал: «У кого спички?» Молодой Володя с готовностью чиркнул спичкой. Нашли оставшиеся свечи, зажгли пару штук — надо было экономить.

— Так, слушайте, что скажу... На корабле один хозяин — капитан, его слово — закон! Здесь командовать буду я! Кто против, считаю — бунт. И сразу бью по сусалу. Поняли?

В ответ тишина.

— Молодцы. Значит, поняли. А сейчас делаем ревизию на камбузе. И еще: не сегодня-завтра праздники закончатся. Будем терпеть.

Полупьяным, им было все равно.

Произвели ревизию: водки — по бутылке на нос, еще пива несколько бутылок, затесалась бутылка минералки... Из продуктов — пара булок хлеба, пара банок рыбных консервов да пара банок тушенки. С куревом было хуже: что у каждого в наличии — и все. Переселили Писаря из мокрого угла, а угол отгородили ящиком — сделали нужник. Проверили вход-выход труб — не проползти. Делать нечего, пришлось пить дальше. После опять спали, обстановка не располагала к веселью.

А проснулся Боцман от шороха. Закурил и в свете спички увидел Писаря: тот мутным взглядом глядел на Боцмана, потом левой рукой сгреб последнюю открытую банку с сайрой с ящика, запустил в нее грязную пятерню, набрал содержимое, поднес ко рту и стал жевать. При этом не отрывал взгляда от Боцмана. Боцману стало дурно, с трудом удерживал тошноту. Положил голову на костлявое тело Чачи, опять уснул. Приснился ему сон: стоит его последняя женушка, разодетая во что-то красивое, цветное, воздушное, сама стройная такая, загадочная, словно принцесса с какого-то там загадочного острова, и ласково так говорит: «Что ж ты, Мишенька, домой не идешь? Я тебя жду, жду, а тебя все нет». Дернулся Боцман головой, просыпаясь: «Какого еще Мишку зовет?» С трудом сообразил: ведь это его зовут Мишкой! Господи, дожил-докатился, забыл, как его и звать-то, все Боцман да Боцман. «Господи! — взмолился он. — Боженька! — добавил. — Выпусти отсюда, буду в Хабаровске — свечку поставлю!» Тяжело посообразжал — нет, за одну свечку не будет его Боженька выручать, а за пять, пожалуй, возьмется — и усилил молитву: «Поставлю пять свечек за спасение!»

Время шло, а спасения не было.

Выпита водка, съедена вся еда. Тут еще у Гнилого открылась «медвежья болезнь», по-научному — диарея. Привык всю жизнь перебиваться чем попало, а тут поел человеческой еды — и все, понесло его... Добил он всех, хотя и так был не

курорт. Все время лежали, было не до разговоров. Какой день, сколько времени прошло — аллах его знает, а только от жары да от вонищи — хоть в петлю головой.

Спасение пришло только на восьмые сутки.

Поскольку дома приняли, никто не собирался после праздника убирать кучи мусора — подождут до весны, да к тому же и смерзлись они. Только на восьмой день потребовался бульдозер. Тракторист разогрел технику, натаскал горячей воды, завел трактор и уехал.

Узники каземата не верили в случившееся.

Говорят, четыре руки с трудом приподняли и отодвинули крышку люка в сторону, и потом еще долго никто не показывался оттуда.

Первым вылез крупный мужчина, и не вылез, а кто-то его просто вытолкнул из люка, как мешок с картошкой. Вторым наверху оказался маленький, лопоухий: те же мощные руки вытолкнули и его, а уж следом вылез молодой, здоровенный. Он не бросил товарищей по несчастью — своей лапой, словно сачком из аквариума, выудил Писаря и Гнилого. Дружно хватили пересохшими глотками морозный воздух. Потом вдруг, словно по команде, дружно стали отползать прочь от проклятой дыры. Три бабки-пенсионерки, из-за отсутствия пока что скамеек стоявшие у подъезда, с удивлением смотрели на бесплатное кино.

Боцман, оклемавшись, хотел быстро встать, да не тут-то было: кружилась голова, ноги не держали — чуть не упал. Пришлось опять встать на четыре мосла. Оттолкнулся руками, с трудом нашел равновесие и распрямился. Сделал шаг, другой — и пошел, сначала тихо, потом быстрее, быстрее... Страшен был его вид: заросшее лицо, провалившиеся щеки, потухшие глаза смотрели куда-то в одну, только ему известную точку. В голове у него стучали молоточки: «Домой! Толь-

ко домой! Солнышко ты мое ясное! Брошу пить... ей-богу, брошу...» — И быстрее, быстрее шевелил ногами — чуть не бежал.

Они все еще не верили, заросшие, грязные, пропахшие целым букетом мочи, вони и пота и еще чем-то могильным, что волей случая спасены.

Володька-молодой поднял Чачу чуть не пинками: «Пошли на автовокзал. Иди, говорю! — И ехидно добавил: — «Праздник встретим!..» У, гад!» — Но дружка не бросил. Сгреб за левую руку и тащил за собой. Спина у Чачи не желала разгибаться, ноги не хотели идти. Отвесив тощий зад, он старательно шевелил ногами, но отставал от своего напарника. Правая рука цеплялась за землю, за бордюры, за бетонную дорожку. Без шапки, с торчащими круглыми ушами и заросший, он напоминал приодетую гориллу.

Одна из бабок спросила:

— Че это, девоньки, деется-то, а?

Самая бойкая фыркнула:

— Не видите, что ли, обезьяну в канализации поймали!

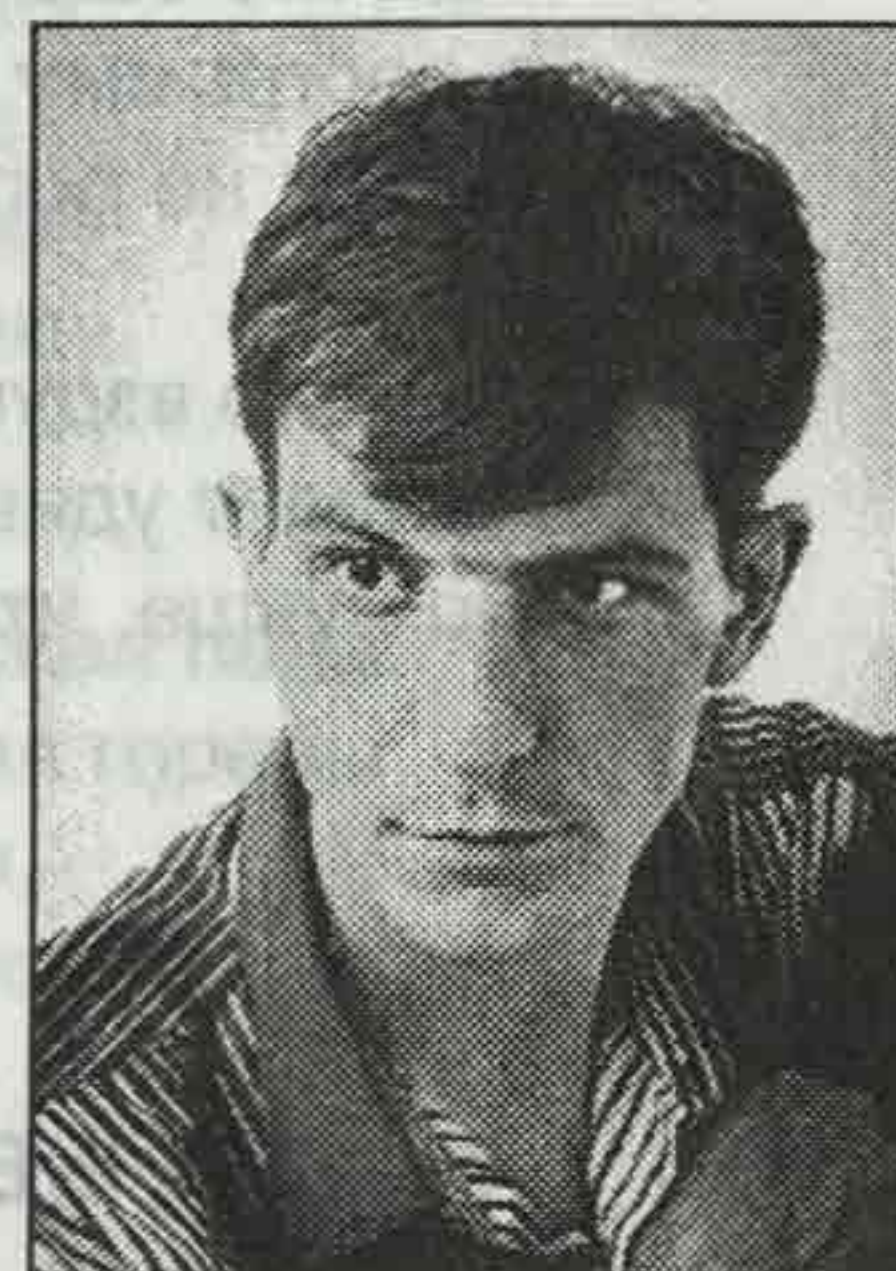
— Так а кто они такие? Бичи, что ли? — не унималась бабуля.

— Надо понимать, работники цирка. Вишь — цирк уехал, а клоуны остались.

Последние «работники цирка» сидели на снегу, пока не подмерзли окорочка, да и некуда им было спешить: никто их не ждал, никому они не были нужны. Наконец встали, помогая друг другу. Гнилой, задыхаясь, потащил Писаря. Тот старался изобразить ходьбу, да плохо удавалось: правая нога цеплялась за землю, оставляя на снегу полосы — то короткие, то длинные, словно по азбуке Морзе: точка, тире, точка, тире... «SOS» — спасите наши души!

## Евгений Кольцов

Евгений Кольцов родился в 1973 году в Красноярске. Участник Всероссийского совещания молодых литераторов (город Клин, 1997 г.). Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте имени Горького. Член Союза писателей России, автор книги стихов. Живет в Благовещенске.



### ЛИ ЯНЛЕНУ

У всякого своих пристрастий  
в литературном деле есть спираль,  
по ней к вершинам и в низовья  
блуждает разум в поиске ответа.

Читал стихи Янлена — очень мило,  
но опечаток многовато в книге.

Винить компьютер в этом я не буду,  
ведь это люди нажимают кнопки.

Но печаль, она не безутешна,  
тот, кто читает, может все исправить.

И за наивность, искренность и чувство  
китайского поэта в сердце благодарить.

\*\*\*

Как скажу я слово «Прощай»,  
сразу грусть и печаль нахлынут.  
И потопят они меня,  
и тогда уже я остыну.

Как скажу я любое слово,  
сразу все другие слова  
вырисовывают оковы  
от «начала» до «наплевать».

Здесь никто обо мне не знает,  
здесь смотрю я на все впервые.  
Здесь и мудрые — лишь гадают  
в одухотворенном порыве.

Все теперь у меня в секрете.  
Эхо первых цветов в глазах.  
Одинокого кто встретит?  
И прощаться — какой страх?

\*\*\*  
Стоят цвета в отрядах радуг,  
в сияньях северных и южных.

Мир летает вокруг света,  
свет кружится вокруг мира.  
Скорей бы уже лето,  
дай звук мне, моя лира.

Смотрю — не смотрю, знаю —  
не знаю, где дно грусти.  
Стою и пою, что летаю.  
В полет! Но куда? Бросьте...

Я выпил с горой бочку,  
вино утекло в море.  
Гора родила точку  
на безграничном просторе.

\*\*\*

Я плохо влияю на окружающих,  
они думают, что сходят с ума,  
они не верят, что это не так,  
а если и так, то это вовсе не плохо.

А если не плохо, то это не я,  
ну кто от меня видел хоть что-то хорошее?

Есть и такие, что верят в свои мифы,  
надеясь, что я — разрушитель иллюзий.  
Хотя обо мне бы и не было речи,  
если б я не настряпал бредовых картин.

И если есть в моих картинах сюжет,  
то что же тогда абстракционная муть?

Тех, кто еще не занес свои лица  
в программу, подлежащую уничтожению,  
прошу не попадаться мне на глаза.

Тех, кто вздумает крикнуть: «Не боимся тебя», —  
ожидает удивительный приз.  
Но лучше, чтобы я этого не слышал.

## БЕССЛЕДВИЕ

Причин для смеха или хотя бы для улыбки может и не быть. Это точно. Я вот сам недавно сижу, что-то вроде и не грущу, в общем, как-то так, ни то ни се. Подходит ко мне такая прикольная морда и улыбается. Я, главное, смотрю в глаза - не безумны ли. Нет, оказалось — не безумны. Я сначала тоже улыбнулся, а потом думаю: с чего это и к чему это? И, естественно, спрашиваю, чему, мол, ты, морда, улыбаешься?

— Просто так, — говорит.

Тут я сразу же:

— У-у-у, просто так не интересно. Что за смех без причины?

— Нет, — говорит, — причина у меня, конечно, есть, но ты не поймешь.

— Ты что, — говорю, — за кого ты меня принимаешь, может, пойму, ты скажи, а там посмотрим.

— Сначала сидел и смотрел в окно, просто смотрел и думал про весь мир, про проблемы этого мира, про себя, про свои проблемы, а потом сопоставил одно с другим — и мне вдруг стало смешно. И теперь как вспомню это сопоставле-

\*\*\*  
Они прочтут и офигеют —  
мои прекрасные стихи,  
в которых розы зеленеют  
и млеет котелок ухи.

Сегодня мы сидим на склоне  
оврага, полного воды.  
Не воры мы и не в законе,  
мы не рабы, рабы немые.

Егорий говорит, что видит  
сквозь толщи вод косяк плотвы.  
А я взираю, как Овидий,  
с не нашей в нашу эру тьмы.

Луч предзакатного светила  
играет с предночной тенью.  
Чтоб ты, родная, не грустила,  
тебе пишу стихотворенье.

Ты будешь очень знаменита  
причастьем к обществу безгрешных.  
И сможешь с именем пиита  
пройти по морю безутешных.

А мы закурим папиросу,  
Начнем смотреть опять на звезды,  
и к звездам улетим без спросу,  
вернемся утром к паровозу.

Он нас доставит в вечный город,  
я брошу в стол листки бумаги  
и буду точно так же молод,  
как Дон Хуан в известной саге.

2002

ние — улыбаюсь. Понял? — спрашивает меня эта морда и улыбается.

— Понять-то я понял, но что здесь смешного? — спрашиваю.

— Да-а, — сказала морда и расхохоталась.

Я сначала обиделся, мол, явно меня за дурака держит, но очень уж заразительным был смех — и я тоже как давай хохотать. Идем мы с ним, с мордой с этой, и смеемся, скажет он какую-нибудь глупость — и мы смеемся: я-то знаю, что я не дурак, но смешно, и не знаю почему, но смешно. А потом он говорит:

— Ну ладно, мне туда, будь здоров, — и свернул на второстепенную улицу.

— Тебя как звать-то? — спросил я его.

А он говорит:

— А меня не надо звать, я сам. Прихожу, если надо.

Это только сейчас я думаю, что это, может быть, был просто глюк, бывают же у людей галлюцинации. Но морда такая прикольная, и улыбается, гад, так смешно, и смеется заразительно. Я теперь как вспомню — улыбнусь, а спроси почему, тоже, наверное, скажу — не поймешь.





Ирина Спиридонова живет в городе Зее. Стихи ее печатались в газете «Зейский вестник», в коллективном поэтическом сборнике «Полевой дневник» (Благовещенск, 2000) и в альманахе «Приамурье» за 2001 год.

## ПУРНАГХАТА

### I. Горизонт событий

Горизонт событий – область,  
окружающая черную дыру.  
БСЭ

1.

В дни, когда город едва не спился  
В ожидании нового кризиса,  
Бросила другу красную клипсу,  
И та под кровать закатилась.  
Она потом сказала,  
А может быть, врала тайком:  
Он вернул ей веткою коралла,  
Дорогою раковиной.

Когда у соседа сгорел холодильник,  
К нему прибежал сосед.  
«Неужто тебя не предупредили,  
Что скоро отключат свет?»  
Он починил бесполезный ящик  
На совесть, не наспех,  
И получился лёд настоящий,  
Наверное, лет пятнадцать.

В доме у него была,  
Мне увидеть довелось,  
Прямо в комнате дыра  
В землю и насквозь.  
Непомерно черна  
Не имевшая дна  
Дыра.

2.

В малых городах свои наркотики  
(или я не так их понимаю).  
Эти травки сердца не испортили.  
Эти сопли мозг не выжимают.

Здесь произрастают груды мусора  
И пустеет денежный мешок.  
Почему же так  
Жить на свете хорошо?

### II. Средство от тревоги

1.

Полынь холодная сказала,  
Покрыта инеем седым,  
Что люди знают очень мало,  
И все их знания — как дым.

2.

Так, как я люблю тебя, едва ли  
Возникают горы и моря,  
Разве только овощи в подвале  
Под зеленым оком сентября.

3.

Час седьмой  
Раннею зимой.  
Окна освещены.  
Манекены со спины.

4.

Для моих широких плеч  
Шар земной — пуховый мяч.  
Как тебя мне уберечь —  
Хоть немного озадачь.

Разве я не утаю,  
В виде первого луча,  
Как я жил в твоём краю,  
Как я сутками молчал?

5.

Ты выходишь из пены монтажной,  
Из пьянящих моих опилок  
И проходишь походкой важной  
Мимо ящиков и бутылок.

Пусть тебя лелеет и нежит  
Природа моя неказистая,  
Пусть пяту тебе не отрежет  
Дверь кабинета статистики.

6.

В добрый путь, моя морская пена.  
В добрый путь, моя живая горечь.  
Когда я преклоню колена,  
Ты, будто ночь, меня укроешь.

## КУВШИН

Жил да был один кувшин.  
Он хотел достичь вершин,  
Но не мог достичь вершин,  
Потому что он кувшин.

Николай Глазков

1.

Хороша моя дубрава,  
Жизнь не кончена пока.  
Там сидела птица пава  
На извилине сука.  
Она, пава, запропала  
В новостроенных домах,  
Да прошла худая слава  
О моих земных делах.

Не печалься. Я воскресну.  
Мне совсем не тяжело.  
Загляни за край небесный,  
Там порядок и тепло.  
Там камней огромных гряда

Станет каплей кипятка,  
Там смеркается, покуда  
Мимо топают века.

Я видал законы в правке,  
С добавленьем новых слов,  
И людей в калечной давке,  
И последнее число.  
Я видал, как наценяют  
То, что сами нам должны,  
И брезгливо отгоняют  
Смертных жителей страны.

На меня укажут пальцем  
В нашем городе родном,  
Рады встрече со скитальцем,  
Не испуганным огнём.  
— Отчего он нам пророчит  
Лишь грядущую беду,  
То ль рекламу сделать хочет,  
То ли вправду был в аду?

### 2.

Пусть меня кромсала и жевала  
Система счастья и благополучия,  
Ничего другого не желаю —  
Вновь свалиться с проходящей тучи.  
Не включенный в списки по зарплате,  
Никому на свете не знаком,  
Прямо на молочном комбинате  
Я войду к ней легким сквозняком.  
Маленьким глотком кефира,  
Крохотным кефирным грибком  
Пусть я на губах останусь милых,  
Никому на свете не знаком.

### 3.

Запасался перед новой бурей.  
Очередь за денежной трухой.  
Всё мне славно, словно ласки гурий.  
Жизнь моя не кажется плохой.

Краше твоего лесного края  
Слова не осмелился найти,  
Неплакучей ивой вырастая  
На твоём нерадостном пути.

Может, просто греешься во мне,  
Нехорошем, нелюбимом, мудром,  
Как оса осенним зябким утром  
Греется в капустном кочане.

Весна моя пресная,  
Среда моя дисперсная,  
Из пылинок собранная мной,  
Я Земле был другом и наперсником,  
Вечно упрекаемый Луной.  
Планета сумрачная, злая  
Смогла меня приворожить,  
Я живу, не зная,  
Как дальше буду жить.

Струна моя слабая,  
Душа моя храбрая,  
Только не единое со мной,  
Пусть кто-то платит не рублем, а пагубой,  
И плоть его кинжалом покарябана  
Под лучшую одежду выходной,  
А мне такие средства бесполезны,  
Полностью раскрытому над бездной  
В собственную волю глубиной.

Не могу поверить я,  
Что годы зря прошли.  
Я не буду перхотью  
На черепе Земли.

Влеком неизмеримой глубиной,  
Не стараясь ближе подойти,  
Возрос неопалимой купиною  
На твоём нерадостном пути.

## Татьяна Варфоломей

Татьяна Варфоломей родом из Молдавии. В настоящее время живет в Благовещенске. Публикуется впервые.

\*\*\*

Как мне остаться светлячком на дне?  
Последнюю надежду не утратить,  
Скользить в прохладной темной глубине  
И терпеливо ждать твоих объятий...

\*\*\*

Никто не знает, где начало.  
Ведь не нашли еще конца —  
Того, что есть и в крохе малой,  
И в бесконечности Творца!



\*\*\*

Да, милый мой, я знала,  
Когда судьбу с тобой связала,  
Что не на жизнь, скорей на смерть.  
Но было легче умереть  
В тот миг мне, чем с тобой расстаться,  
Сквозь слезы молча улыбаться.  
Несчастливым нечего терять.  
Пусть шансов мало, но опять  
Я распахну свои объятия,  
Хоть шансов мало, но опять...



Родился в 1943 году в поселке Архара. Закончил Благовещенский политехнический техникум, а после армии — Благовещенский пединститут, работал на стройках, в профсоюзных органах, в том числе областных, потом областной администрации. Автор острых полемических статей и заметок, публиковавшихся в областной печати. В нашем альманахе за 2001 год напечатано его эссе «Печальные парадоксы бытия», вызвавшее заинтересованные отклики.

Рассказы

### АНТАГОНИСТЫ

Ожесточенный спор двух людей был таким страстным, будто два непримиримых соперника делили наследство. Ни по одному вопросу эти люди не только не могли достичь взаимопонимания, но их аргументы начисто исключали друг друга или, выражаясь научно, были антагонистическими. Один из них был молодой симпатичный юноша, другой — угрюмый, неужоженный старик.

— Ну как вы не понимаете, — горячился юноша, — человек живет, чтобы реализовать себя через работу, науку, творчество, спорт.

— А зачем это? — бесстрастно вопрошал старик. — А если человеку нравится не делать ничего, нравится созерцать мир, просто созерцать? Какой это энтузиаст придумал, что надо, как вы говорите, реализовывать себя?

— А вы считаете, что лучше всю жизнь пролежать на диване?

— Хм!.. А может, это было бы и лучше.

— Да для кого лучше-то?

— Для всех, — так же невозмутимо отвечал старик. — К вашему сведению, юноша, социологи подсчитали, что у человека из всей его деятельности в течение жизни только два процента действительно полезны. Остальные девяносто восемь процентов — никому не нужная чепуха, или суета сует, как говорится в Библии. А лишняя деятельность — это вредная деятельность. Так что уж лучше на диване лежать — вреда меньше.

— Да врут всё ваши социологи, — нервничал молодой человек. — Вот я серьезно занимаюсь легкой атлетикой, много времени уделяю тренировкам, бегаю уже на мастерский результат. Это что, по-вашему, лишняя деятельность?

— А вы, я вижу, наивно полагаете, что полезная. Да и так, без всяких соревнований, известно, что все люди бегут с разной скоростью, и если кто-то бежит быстрее другого, ничего от этого человечество не выиграло.

От этой непробиваемости защиты парень был просто в отчаянии.

— Вы что, действительно считаете весь мир глупым, когда почти весь Земной шар, затаив дыхание, следит за Олимпийскими играми или чемпионатом мира по футболу? По-вашему, стадион заполняют сто тысяч дураков?

— Не знаю насчет дураков, — забурчал старик, — но вот Колизей в Древнем Риме тоже собирал по пятьдесят тысяч зрителей, где люди тоже, затаив дыхание, наблюдали, как одни убивают других. Да еще и под аплодисменты. Сейчас, мне кажется, мы опять идем к этому же. Ликовать оттого, что другой страдает... Нет, не по-христиански это. Потому, когда вы говорите, что почти весь Земной шар смотрит футбол, то мне ближе выражение Иисуса Христа: «Если все, то не я». Лучше бы придумали соревнование, кто дольше дома просидит, не выходя. Вы знаете, молодой человек, в семнадцатом веке жил такой ученый Блез Паскаль, который сказал очень умную фразу: «Все беды оттого, что люди слишком мало сидят дома».

— Так, понятно, — все более заводился юноша, — спорт вы не признаете. Может, вы и музыку, и живопись считаете лишними?

— А что они мне сделали хорошего — и музыка, и живопись?

У старика на все горячие вопросы юноши были холодные, меланхоличные ответы, которые своей безапелляционностью просто выводили из себя молодого человека. Над многими этими вопросами он прежде даже и не задумывался никогда, полагая, что человечество давно дало на них ответы и они не требуют доказательств, настолько они очевидны. И вот на тебе, приходится доказывать, что снег белый. И больше всего его злило, что доказать не получалось.

— Да взять хотя бы ансамбль «Биттлз», — продолжал он свои наскоки на старика. — Вы знаете, они весь мир перевернули!

Старик закивал головой:

— Да, да... Хорошо помню те времена. Только я ни по себе, ни по другим не почувствовал, что от этого «Биттлз» стало лучше. Психоза вокруг них было много, только и всего.

— Да их песни против войны знаете какой резонанс имели?

— Знаю. Войн стало еще больше. А по живописи я вам вот что скажу. У главарей гитлеровского рейха, да и у многих других высокопоставленных преступников в разных странах и картины на стенах висели знаменитые, и библиотеки домашние были классикой заполнены, ну и что?

— С вами невозможно разговаривать, вы как герой из одной пьесы, который все отрицает уже из принципа... Хотя театр вы, конечно, тоже раскритикуете.

— Театр тем более, — впервые за весь разговор согласился старик.

— По-вашему, такие люди, которыми гордится все человечество, Эсхил, Сервантес, Шекспир тоже занимались пустым делом, когда писали для театра? А вот Нерон уж какой обладал властью, а хотел, чтобы его признавали не как императора, а как артиста.

— Театр, молодой человек, подделка. Хотите увидеть настоящие страсти, настоящие комедии и трагедии — идите в народ, если уж вам не сидится на диване, посмотрите внимательным взглядом на жизнь людей: вот где настоящие и смех, и слезы. А плакать искусственными слезами на сцене... Как говорил известный театрал Станиславский: «Не верю!» Да и дьявольское это ремесло, скажу я вам, не Божье.

— Ну хоть церковь вы признаёте — и то хорошо, — как бы почувствовав слабое место в обороне старика, обрадовался юноша.

— Нет, молодой человек, церковь я тоже не признаю, ибо что церковь, что стадион, что театр — разницы нет. И там, и там — игра.

— Да вы что, как вы такое можете говорить, это же духовность, это святое! — Нет, юноша не считал себя верующим человеком, но и не был атеистом. Просто сейчас об этом так много говорят и никто не оспаривает роль церкви в обществе — и тут услышать такое сравнение...

— Святое, говорите? — старик внимательно посмотрел на парня. — А знаете ли вы, молодой человек, сколько времени проводил в церкви Иисус Христос? Так вот, скажу я вам, там он почти не бывал. А знаете, кто ее регулярно посещал?

Фарисеи. Это те, кого Христос осуждал. Вот так. Верно заметил Владимир Высоцкий — был такой поэт когда-то: «Эх, и в церкви все не так, все не так, как надо».

— Да как можно так жить? Почему вы такой угрюмый, почему ни во что не верите? — уже раздраженно, почти со злостью спросил парень.

— А вы видели, юноша, хохочущих мудрецов, пророков или тех же монахов-отшельников? — все тем же ровным голосом отвечал старик. — Не видели и не увидите. Их скорее можно увидеть плачущими над погибающим человечеством.

— Ну давайте все ликвидируем, забросим науку и в пещеры вернемся, — уже с какой-то обреченностью сказал молодой человек.

— Может, и надо. Древние мудрецы говорили: «Пока не

положим правильного начала, не будет правильного конца». Пока же наука принесла больше зла, чем добра. Быстрее и масштабнее люди стали уничтожать и друг друга, и зверей, и природу. Так что и с наукой, юноша, тоже надо разобраться.

Дискуссия очевидно заходила в тупик.

— Все, молодой человек, хватит. Я вижу, что нам с вами никогда не договориться, — с горечью воскликнул старик и... захлопнул тетрадку. Тетрадей было много. Это были дневники его молодости, в которых он увидел себя, каким был почти пятьдесят лет назад. Вот с самим собой он и вступил в яростный спор. Но это были, казалось, два настолько разных человека, будто из разных миров, с совершенно разными общественными ценностями. А кто из них прав... одному Богу известно.

## МОМЕНТ ИСТИНЫ

Он был всегда примером для подражания и предметом зависти. Его уважали товарищи, ценили друзья и любили женщины. В студенчестве он был дважды капитаном: волейбольной команды и КВН. Своей эрудицией он поражал даже близких, а обильным знанием стихов — девушек. Став семейным человеком, он и здесь был образцом. К середине жизни имел высокую должность, налаженный быт, разносторонние интересы, дружную семью, прекрасных детей... Что еще надо человеку для полного счастья? «Удачная судьба... Любимчик фортуны», — таков был общий вывод тех, кто знал его. И сам себя он чувствовал вполне состоявшимся и везучим человеком.

Неожиданной болезни, свалившей его, он сначала не придал значения. «С кем не бывает», — отмахивался он. Лежа в больнице и размышляя о жизни, он перебирал в воспоминаниях все то, что было ему дорого, чему он посвятил свою жизнь. В памяти всплывали многочисленные друзья, девушки, яростные спортивные схватки, жаркие диспуты о литературных героях. Жизнь была богатая, и ярких, запоминающихся событий хватало на каждый день болезни.

Болезнь прогрессировала, и стали донимать боли. Из-за них сами собой ушли из воспоминаний спортивные и литературные картинки прошлого. Больше думалось о друзьях, жене, детях, своем ухоженном дачном участке.

Боли усиливались и вытеснили из памяти друзей, дачу, машину. Страдания не оставляли его и, несмотря на частые уколы, стали уже невыносимыми. В редкие минуты полегчания он думал уже только о жене и детях. Но вскоре и этих минут не стало. Боль сковала все клетки организма, не оставляя места ничему. Он с ужасом осознал, что сейчас уже ничего не зависит ни от квалифицированных врачей, ни от могущественных друзей, ни от любящей семьи. Ни от кого! И тут он произвольно прошептал: «Господи... помоги...» Так, наверное, происходит отсев золотого песка. В замутненной воде много всякого плавают на поверхности, привлекая внимание. На поверку же оказывается, что на виду всегда несущественное, а цвет золотого песка появляется последним.

Но, впервые в жизни всерьез обратившись к Богу, он с пугающим удивлением обнаружил, что ответа, который должен исходить из души, нет. Всегда считавший себя духовно богатым человеком, он внезапно почувствовал в своей душе такую пустоту, такую тоску от ощущения чего-то упущенного безвозвратно.

«Но почему? За что?» — мысленно страдальчески спросил он. И, как бы в ответ, калейдоскопически побежали в подсознании картинки прошлого. Он опять как бы увидел себя молодым и сильным, когда, взмывая над сеткой в затяжном прыжке и вколачивая мячи, как гвозди, в площадку соперников, становился героем матча. Его до последних дней ласкали воспоминания, как на творческих вечерах он становился любимцем публики и восхищенные взоры девушек ловили только его. Будто вчера было, как шел он по служебной лестнице, честно обходя конкурентов, потому что был лучше. Память сохранила немало приятных воспоминаний, где в центре внимания был он. «А что тут плохого! — возмутился его разум. — Целеустремленно утверждать свое «я» для большинства людей является смыслом жизни».

Он опять впал в беспамятство. Сознание затуманилось, и наступила темнота. Всё... И вдруг засветилась маленькая точка. Она увеличивалась и превратилась в круг, в центре которого светился яркий, но не ослепляющий лик кого-то знакомого. «Да это же Иисус Христос», — догадался он. Тот смотрел на него как бы осуждающе. «И где же теперь твое «я»? — читалось в его взгляде, — не говорит ли он, что все твои достижения оказались иллюзией, пустым тщеславием, как сладострастный сон, после которого ощущаешь пустоту в душе и мнящую жажду чего-то настоящего». Он с ощущением ужаса вдруг почувствовал, как размывается его твердое жизненное кредо — фундамент его жизненных успехов, так уходит льдина из-под ног человека в открытой воде. «А теперь вспомни, — будто на экзамене, вопрошал этот мягкий, но пронзительный взгляд, — кому ты хоть раз пожертвовал своим «я»?» Он не знал, что ответить, так как не мог припомнить такого. «А ведь насколько приятнее такое вспомнить, — продолжал внушать ему этот взгляд, — и в какой мере это важнее, ибо именно по этим заслугам судят человека. Неужели ты ни разу не слышал истину, — сквозило укором в Его взгляде, — что тот, кто хочет быть первым среди людей, тот должен стать им в услужение?»

Он опять открыл глаза и, еще не понимая, по какую сторону бытия находится, увидел, будто на экране, как стоит он перед белым престолом, на котором сидит Тот, кто только что говорил с ним, и открывает Книгу жизни, по которой в итоге судят всех людей. И его душа замерла в напряженном ожидании.

# Свободный город

# литературский

Внимание!  
Страницы, начиная с этой и кончая 110-й,  
просим считать разминкой  
будущего свободненского литературного  
альманаха.

Сразу скажу, что я не собираюсь отбивать хлеб у свободненских летописцев по части литературного краеведения. В этом деле они и сами доки хоть куда, достаточно назвать, к примеру, Евгения Паршина. В мою бытность редактором литературного приложения «Глагол», которое выпускала газета «Амурская правда» в канун 200-летнего Пушкинского юбилея, Евгений буквально забивал портфель «Глагола» многостраничными проектами, знаменательными датами и любопытными сведениями об известных людях, книгах и событиях, так или иначе связанных с его родным городом и литературой в частности.

Пожалуй, нет сегодня в области товарищества более постоянного и крепкого, чем литобъединение города Свободного. Секретов в этом феномене несколько, назову главные, на мой взгляд.

Как это ни парадоксально, сказывается влияние провинциального образа жизни. Людям пишущим хочется общения, когда новорожденные «горячие» рукописи просятся быть обнародованными. Отсюда четкая почти по-железнодорожному регулярность заседаний местного литобъединения. На него собираются не только горожане, но и жители окрестных поселков и деревень. Деловитость и некая праздничность царят в эти часы погружения в глубины творчества, беседы о тайнах мастерства, магии слова. Богатство душевного мира каждого свободненского литератора, будь это убеленный сединами ветеран или же начинающий прозаик либо поэт, чья заветная тетрадка со стихами и рассказами соседствует в школьном ранце с учебниками по русскому языку, математике, истории и другими, — вот объединяющее начало.

Притом все они разные, как ни пытайся их стричь под одну гребенку. Ни с кем не спутаешь лиричную и музыкальную Веру Золотареву, ершистого и кипящего идеями Алексея Падалко, темпераментного, переполненного гражданскими чувствами Григория Шумейко, раздумчивую Галину Соснину, мудрую и женственную Веру Овчар, загадочного мастера поэтических метафор Александра Шкурата. Список можно продолжать, ибо как не сказать о бывалом прозаике Геннадии Фролове, литературном критике и оригинальном мастере рассказа Борисе Якимове, нежных поэтессах Людмиле Ломако и Татьяне Шишелякиной, но страницы альманаха не хватит для одного только перечисления свободненских литераторов.

При содействии администрации города и его отдела культуры свободненские литераторы, начиная с 1986 года, проводят совместно с Амурской писательской организацией Комаровские чтения в честь своего знаменитого земляка, лауреата Государственной премии поэта Петра Комарова. Эти праздники литературы предваряются литературными конкурсами, в которых участвуют все, начиная от школьников и кончая пенсионерами. Каждый год с той поры мы узнаем имя нового лауреата премии имени П. Комарова. Почетные регалии они принимают из рук заместителя мэра и постоянного куратора конкурса Петра Михайловича Скрыбина и начальника отдела культуры администрации города Любови Михайловны Михалевой. В этом я вижу не просто формальное внимание чиновников к заботам литераторов, но,

прежде всего, отеческую и материнскую заботу, в основе которой лежит главное — любовь к творчеству своих земляков.

Очень важно, что есть у местных литераторов свой дом, освященный именем П. Комарова. В нем ощутимо витает дух творчества, овеянный в литературные экспозиции и картинные выставки. У самовара с чаем ведутся неторопливые разговоры о жизни. И я там был, мед-пиво пил...

Везло свободненцам и с руководителями своего литературного объединения. О первом из них пишет в этом номере альманаха Б. Якимов в своей статье «Поэт Константин Хомьюк». Традиции, заложенные Хомьюком, продолжают и обогащают новыми идеями и делами его преемники, среди которых несомненные лидеры последних лет Алексей Падалко и Михаил Кушнарев. Их «административный ресурс» не иссушает истоков личного творчества. Помогая писать и издаваться другим, они сами весьма продуктивны, о чем свидетельствуют их персональные книги. И если Кушнарев по преимуществу оригинальный поэт и острый пародист, то спектр увлечений Падалко простирается от фантастических повестей и реалистических рассказов до поэтических баллад и учебников по развитию творческой фантазии.

Заботливо пестуют свободненцы свой литературный «подросток». В этом году они выпустили, например, отдельной книжечкой под трогательным названием «Капелька» стихи и прозу школьников — победителей городских литературных конкурсов. Уверен, что со временем имена Маши Слабиевой, Ани Синяк, Насти Михалевой, Олеси Шпак, Димы Еременко и их друзей появятся и на страницах альманаха «Приамурье». Впрочем, чур меня от пророчеств на эту тему! Время само расставит всех по местам, но задатки для этого у свободненцев есть.

Мне кажется, что в последние годы довольно ощутимо возросло количество персональных книг, выпускаемых членами литературного объединения имени П. Комарова. Это отрадно, пусть не иссякает источник благотворительности, позволяющий талантам находить путь к читателю. От себя лишь скажу, что вполне можно вести речь о некоем периодическом издании вроде альманаха или журнала. Коллективных сборников уже недостаточно, чтобы отразить картину развития литературного процесса в городе и районе. И если творческая сторона этого проекта лично у меня сомнений не вызывает, то финансовая часть нуждается в современном обеспечении. И уповать нужно не только на государственные структуры, но и на меценатов-благотворителей. В Свободном они есть, надо их только заинтересовать.

Итак, перелистните эту страницу и приступайте к чтению произведений свободненских литераторов. Уверяю вас, сие занятие не покажется вам утомительным и неинтересным.

**Игорь Игнатенко,**  
секретарь правления  
Союза писателей России,  
председатель правления  
Амурской областной общественной  
писательской организации.



Геннадий Фролов написал повесть «Доля» — о своем детстве и ранней юности. Она вышла отдельной книгой в Свободном в 2001 году. Автор предисловия к ней Н. Сватков говорит: «Вы не оторветесь от книги, пока не дочитаете до конца». Так и оказалось — я прочел книжку в сто сорок страниц убористого шрифта не отрываясь. Было такое ощущение, что где-то в сумеречной комнате напротив меня сидит за столом человек, крепко испытанный жизнью, и негромким, глуховатым голосом, без всякого нажима, без подчеркивания жуткой сути излагаемого предмета, рассказывает о том, что было и как было. Как это было — и больше ничего.

Постараюсь и я так же, без нажимов и перехлестов, высказать свое впечатление от общения с книжкой Геннадия Фролова. Считаю, что это одна из лучших вещей автобиографического жанра, которые мне доводилось читать. И одно из лучших прозаических произведений вообще, написанных в Приамурье. С этой точки зрения меня не сдвинуть.

Владислав Лецик.

## ДОЛЯ

### Отрывок из повести

После расселения нас по баракам и казармам началось трудоустройство взрослого населения. Матери определили место работы на железной дороге\*. Какой была эта работа с лопатой, киркой и кувалдой для двадцатидевятилетней женщины — матери четверых малолетних детей, — можно только догадываться да поражаться пределу человеческих сил и возможностей. Без всяких средств к существованию, кроме того мизера, что платили ей за работу на железной дороге, мать как-то умудрялась сводить концы с концами, не давая нам умереть с голоду. Иногда после работы ее приглашали белить квартиры, мыть полы у состоятельных людей. А к состоятельным тогда относились почти все служащие. Поэтому, кроме ее дневных смен, ночные были не редкость. Они были заметным подспорьем к основному заработку, а значит, и к нашему столу. Так продолжалось до того дня, пока однажды в нашей клетке барака не появилась симпатичная девушка — мать младшая сестра, тетя Катя. Приехала она со станции Сиваки Амурской области, где проживали тогда все наши родственники по материнской линии. Приехала не в гости, а по решению семейного совета братьев во главе с бабушкой. Там, в Сиваках, чтобы хоть как-то облегчить участь своей сестры, ее братья решили забрать у нее двоих пацанов к себе на воспитание — если отдаст. Кого — решать ей самой. После длительных раздумий, со слезами на глазах и дрожью в голосе, она согласилась. Выбор ее пал на средних — Гошку и меня. Впоследствии мать, как бы оправдывая свое решение, говорила мне, уже взрослому: «Если бы я вас тогда не отдала Катерине, мы бы не выжили, все погибли бы с голоду. Отдавала я вас с одной лишь целью — всех сохранить». Конечно, она была права: мы действительно б не выжили. Решение ее было мудрым, по силе равным решению командира, выводящего свою часть из окружения мелкими группками. Когда все возможности уже исчерпаны, когда ясно, что в лоб не пробиться. Обратный путь был короче, быстрее. Он почти не запомнился. Отъезд, проводы наши тоже опускаю. Слишком горькими они были. Мать как будто отрывала нас от себя, оставляя кровоточащую рану.

Приехали вечером, никто не встречал. Вышло какое-то смещение графика движения поездов, и наши не то опоздали нас встретить, не то встречали слишком рано. С вокзала тетя Катя привела нас домой к бабушке, которую мы с Гошкой почти не знали. Жила она с двумя еще не женатыми сыновьями да незамужней дочерью Катериной — студенткой педучилища.

Все родственники были в сборе. Был здесь и дядя Миша — старший из братьев, с женой Татьяной. Чувствовалось, что нас здесь ждали. Началось тисканье, оханье, комплименты

по поводу Гошкиной широкой кости и беззлобные шутки в мой адрес: уж очень худой, все время придется водить за ручку, чтобы не унесло ветром. После отмыывания дорожной грязи, причесываний, приглаживаний наконец приступили к заждавшемуся нас ужину. От повышенного внимания к нам, тепла, уюта отошло первое отчуждение к незнакомой обстановке, почти незнакомым, хотя и родным, людям. Отошли тревоги ожидания этой встречи. Даже куда-то на задний план ушла щемящая тоска по своей клетке в бараке, по матери, братьям, всему тому, что осталось в далекой Хакассии.

После ужина и всех обговоренных родственниками проблем дядя Миша, коренастый, с ногами кавалериста, с копной черных как смоль кудрявых волос на голове — кряж, вставая со стула, сказал: «Ну что, Гена, пойдем домой... Собирай его, Таня». Мы с братом еще не знали, что жить в дальнейшем нам предстоит поврозь и борьба за выживание будет у каждого из нас своя. Не знали мы того, что семейный совет нас поделит. По его решению Гошка будет жить с бабушкой и ее еще неженатыми сыновьями, а я — с дядей Мишей в его семье.

Мои новые воспитатели, так скажем, жили неплохо. Молодые, здоровые, хоть и небольшой, но свой дом. Престижная по тем временам работа: он — шофер, она — повариха. Все у них в доме было. Все, кроме одного — детей. И вот появился я — недостающее звено для их, казалось бы, полного счастья. Но, увы, со мной их мечтам о полном счастье не суждено было сбыться. Во-первых, потому, что мне было уже пять лет и я еще помнил мать. Во-вторых, по причине моего упрямого от рождения характера. И, в-третьих, войны. У Гошки все было проще. Он остался с бабушкой и двумя ее неженатыми сыновьями — дядей Алешей и дядей Ваней. Он в доме был в качестве внука и племянника. В качестве кого должен был быть я? Племянника или сына? Для них желаннее и лучше подходило второе. Детей у них за все совместно прожитые годы не было и уже не будет. Поэтому Татьяна с первых дней моего появления в их доме с педагогической настойчивостью стала прививать мне любовь к себе, то есть к ней и к слову «мама». Делалось это довольно-таки просто, главное — в отсутствие дяди Миши. К завтраку или обеду накрывался стол. Татьяна приглашала: «Гена (Геша или сынок), мой руки — и за стол». Я мыл, садился на свое место и обнаруживал, что около моей тарелки не было ложки. Она это сразу же замечала. «Что, ложечки нет? А ты попроси ее. Скажи: «Мама, дайте ложечку». Я молчал. «Ну, повторяй за мной: ма-ма, дайте ложечку». Я молчал. Начинаясь лекция о ласковом теляти, которое двух маток сосет. Постепенно в ласковые нотки вплелся металл. «Ты что, язык проглотил? Пока не назовешь мамой, есть не дам». «Ну и не надо». Обстановка за столом накалялась. В какой-то момент интуицией улавливаю верхушку накала и, не дожидаясь подзатыльника, мышкой устремляюсь под кровать. Кровать была широкая. Я прибавился к стене, и достать меня оттуда было не так-то просто. Сидеть я там мог и час, и два, пока она, предчувствуя скорый приход дяди Миши, не начинала уговаривать меня вылезти. Уговоры

\* В конце тридцатых годов семья Фроловых, гонимая тогдашними «сельскохозяйственными реформами», оказалась в деревеньке Александровке близ Норска. Отца вскоре арестовали, и больше его никто не видел. Мать с четырьмя маленькими детьми выслали в Хакассию — «из Сибири в Сибирь». (Прим. редактора).

почти не действовали, и, как правило, заканчивалось это всегда тем, что ей самой приходилось лезть за мной под кровать. И так три-четыре раза в неделю.

С дядей Мишей отношения складывались по-другому. Мужик он был компанейский, веселый, гармонист, плясун, а если запевал песню, слышать ее можно было на любом конце поселка. Общался он со мной всегда доброжелательно, в каком-то добродушно-шутливом тоне. Эта манера общения со мной, все его отношение ко мне сделали свое дело. От избытка чувств к нему, в знак большой благодарности я иногда стал звать его папкой, доставляя этим ему огромное удовольствие. С братом мы виделись редко, потому что жили на разных концах станции, да еще через линию железной дороги. А вскоре и вообще расстались с ним на долгие годы, как с матерью и другими братьями.

Сперва дядя Ваня, а следом и дядя Леня ушли в армию. Гошка с бабушкой остались вдвоем. Тетя Катя училась и жила в Сквородино. Через месяц-два после проводов дяди Лени к бабушке приехал еще один из ее сыновей — Николай. Всего к этому времени у нее оставалось их пятеро да четыре дочери. Дядя Коля был рослый молодой мужчина с манерами коммивояжера, в общении — с претензией на интеллигентность. За этой внешностью скрывался очень внимательный, добрый и очень порядочный человек. Он да дядя Миша были любимцами и авторитетами не только в своей семье, но и среди тех, кто их знал. В армию дядю Колю не брали по болезни — туберкулез кости. Работал он заведующим золотоскупкой, имел квартиру, хотя и был еще не женат. Вот он-то и увез бабушку с Гошкой к себе в Ольдой. Насовсем. Оборвалась последняя ниточка, последняя связь с родной фамилией, когда-то большой семьей Фроловых. Отныне на протяжении восьми долгих лет я буду идти по жизни как Строкачев Геннадий Михайлович — фамилия и отчество дяди Миши.

Гошку увезли. Родственники разъехались — кто в армию, кто на учебу, а кто и совсем на новое место жительства. Получилось так, как будто все они ждали нашего приезда только для того, чтобы, прихватив моего брата, разбежаться по разным углам Союза.

А тем временем по планете расползлась коричневая чума, неся с собой горе и страдания народам. Зловещая тень ее докатывалась и до России. Мир жаждал крови. Испания, Хасан, Халхин-Гол, линия Маннергейма — отзвуки этих событий докатывались и до Сиваков. Слово «интервенция» стало самым расхожим на страницах газет. Надвигались сороковые военные годы. Блеск значков «Ворошиловский стрелок», «Осоавиахим», «ГТО» стал предметом особой гордости у подростковой молодежи. Ребячьи игры в войну, в чапаевцев, баталии на деревянных саблях — все это нагнетало на взрослых атмосферу какой-то тревоги. К добру эти игры не приведут, предрекали бабки. В воздухе все чаще витало страшное слово «война». И вот о ней своим громовым голосом объявил Левитан. Она наступила. Начало ее здесь, вдали от линии фронта, сопровождалось каждодневными хмельными проводами, гармошками, залихватскими песнями, плясками да обилием слез на вокзалах.

В один из таких дней проводили и мы с Татьяной папку дядю Мишу. Он, как всегда, шутил, ерошил мои волосы. Татьяна крепилась, пыталась улыбаться, стойко держалась до какого-то момента. А потом, с первым гудком паровоза, в каком-то беспамятстве обхватив его за шею, забилась, запричитала навзрыд, как будто прощалась навечно, как будто молила его о прощении неизвестно за что: или за то, что мы оставались с ней дома, а его увозила война, или за будущие, еще не совершенные ею грехи. Видимо, из-за малолетства или из-за слишком частых перемен в моей еще очень короткой жизни я был спокоен. Наверное, к этому моменту жизнь научила меня принимать ее удары как нечто должное.

Мы с Татьяной остались вдвоем в нашем маленьком доме. На западе уже полыхали пожарища. Война, упиваясь кровью, наслаждаясь мертвечиной, ломая все на своем пути, корежа, коверкая судьбы людей, целых народов, выявляя героев и трусов, воздавая славу и почести первым, низвергая в пропасть бесславия вторых, с неутолимой жестокостью вступала в свои права на целых четыре года. Для меня лихолетье только начиналось. Все испытания еще впереди. Выдержать

бы только, продержаться эти четыре спрессованных, напичканных кошмарами года, да и потом еще...

Военная машина раскручивалась, набирала обороты, вносила свои коррективы в устоявшийся уклад мирной жизни. Опустели прилавки магазинов, враз куда-то все подевалось. Страна входила в русло карточной системы, жесточайшего нормирования, всевозможных ограничений. Останавливались, закрывались, перемещались, перепрофилировались цехи, заводы, целые предприятия, отрасли. Все становилось на рельсы войны, на потребу ее ненасытной утробы.

Столовую, где работала Татьяна, как и многие другие, ввиду нехватки продовольствия закрыли. Поэтому она была вынуждена сменить работу и устроиться на автозаправочную станцию. Внешне жизнь в нашем доме мало чем отличалась от довоенной, если не считать моей постоянной тоски по папке-дяде Мише да новой трехсменной работы Татьяны, от которой я был не в восторге. Особенно от ее ночных смен, когда мне приходилось оставаться одному. Было страшновато. Хотя и от ее присутствия в доме, особенно в дневное время, я мало испытывал удовольствия, так как теперь все свободное время она тратила на мое воспитание. С каким-то упрямым фанатизмом изо дня в день она добивалась от меня, чтобы я называл ее мамой. Дядя Миша был в армии, а значит, и лазить под кровать за мной ей было необязательно. Поэтому иногда я там и засыпал. Язык не поворачивался называть ее мамой. Это ее злило. Методика уговоров постепенно сменилась на сплошные шлепки, подзатыльники. Жаловаться было некому, и не то от смены воспитания, не то еще от чего, но в какой-то день она своего добилась — я назвал ее мамой. Называл и в дальнейшем, когда бывал в безвыходных ситуациях, а они бывали довольно-таки частыми. Я чувствовал жуткое смущение, произнося это слово, язык не слушался, деревенел. Я отворачивался, не мог смотреть ей в глаза, а она требовала этого. Я испытывал какой-то стыд, мне казалось, лучше бы провалиться сквозь землю, чем произносить это слово. Это была пытка. Память о матери, братьях притуплялась, с каждым днем отдаляясь все дальше и дальше. Такое воспитание настолько исказило мое восприятие, отношение к слову «мама», что через много лет при встрече со своей родной матерью я не смогу назвать ее мамой. Я так же, как в свое время с Татьяной, буду испытывать смущение, неловкость, стыд. Так же неуверенно, с трудом, преодолевая себя, буду произносить это слово от случая к случаю, обращаясь к родной матери. Стыдно, каюсь, но ничего с собой поделать я уже не мог. Выработанный ее чрезмерным усердием антагонизм к слову «мама» был сильнее меня. Извилины, ответственные за раскрепощенность, за выражение теплоты, ласки при общении с ближними, тем более с родной матерью, у меня к тому времени, видимо, заскорузли, захлопнулись в моей коробке. Объяснить, понять это состояние, не испытывав его, очень сложно, а испытать не дай бог никому. При жизни матери я так и не смог выразить ей свои сыновьи чувства. Сейчас ее уже нет. Нет и братьев, хотя им бы жить да жить. Ушли молодыми. Жалко. Их ранний уход — это не что иное, как издержки «счастливого детства», издержки нашего костоломного времени.

Повествование мое — это не вымысел, не пересказ из вторых-третьих уст, все это было со мной. Это память моего детства, моя жизнь, моя судьба. Судьба, схожая с тысячами судеб таких же, как я, пацанов моего времени. Схожая, но не одинаковая. Одинаковой была лишь сущность нашего детства, всей нашей жизни. Нас, пацанов, как и весь народ, пытались насильно осчастливить. Но, как сказал кто-то очень умный, насильно ничего нельзя дать, насильно можно только отнять. Вот и отнимали: у родителей — детей, у детей — родителей. Отнимали просто детство, не говоря о счастливом. Отнимали жизни в войнах, в промежутках между войнами. Отнимали за Родину, за победу коммунизма, отнимали по ошибке, отнимали просто так. Отнимали все, невзирая на возраст, положение, убеждения. И все во имя утопического равенства, во имя призрачного светлого будущего. Обидно, что все это под другими вариациями, с другими искривлениями продолжается и сейчас, когда на пороге моего поколения уже глубокая осень. Конечно, это уже другая тема для разговора. Я же возвращаюсь в то далекое прошлое, где жизнь, как бы то ни было, шла

своим чередом — дорогой военного времени. Где моя мама Таня вживалась в новые условия жизни, в свою новую роль — солдатки. Вживалась довольно-таки успешно. Особенно это стало заметно, когда в поселке расквартировали прибывшую откуда-то воинскую часть — на лесозаготовки. С ее появлением к Татьяне зачастила ее подруга, тоже солдатка. Сперва одна, затем стала приходиться с другом-военным, а вскоре и с двумя, один из которых предназначался, разумеется, для Татьяны. Был он неприметен, среди прочих военных ничем не выделялся, разве что языком, который у него, видимо, был подвешен к маятнику вечного двигателя. Потому что за столом и за ширмой в постели он трещал без умолку. Трещал о своей тяжелой судьбе. О том, что он прошел Крым и Рым. Что Беломоро-Балтийский канал вынес на своих плечах и выкопал его чуть ли не в одиночку своей лопатой. О том, как начальство, чуть ли не в ставке Сталина, разобравшись в его невиновности, выпустило его на свободу и, присвоив звание младшего лейтенанта, прислало сюда, на лесоповал. О том, что присвоение младшего лейтенанта — это ошибка, которую должны скоро исправить, присвоив ему звание не ниже майора. Татьяне все это льстило, она слушала, поддакивала и во всем соглашалась. Еще он говорил ей, что она у него первая женщина, его первая мужская радость, мечта его холодной одинокой жизни.

Эти встречи продолжались до тех пор, пока однажды, во время очередного застолья, в дверь постучавшись, не вошла в дом женщина приезжего вида. Окинув компанию испепеляющим взглядом, она с криком: «Ах вы паскуды, да я вам всем сейчас рожи кислотой изуродую», — кинулась к младшему лейтенанту, на ходу выхватывая из кармана какой-то флакон. Но на то он и был младшим лейтенантом, чтобы одним прыжком, роняя стулья, опередить события. «Дети с голоду пухнут, а ты здесь с этими проститутками свой паек прое...», — кричала она, пытаясь открыть флакон. Он тем временем, обхватив ее поперек туловища, как-то умудрился выдавить его из ее руки. Флакон, упав на пол, закатился под мою кровать. И не то от обиды, безысходности, захлестнувшей ее, или еще от чего, но с потерей флакона нараставший накал страсти пошел на убыль, а вскоре и совсем утих. Лишь перевернутые стулья, пристыженные, виноватые выражения на раскрасневшихся лицах четверки да скулящие всхлипывания ночной гостьи напоминали о том, что чуть было не разразившейся здесь трагедии.

Приезжая оказалась женой младшего лейтенанта, матерью его троих детей. Приехала она по письму, написанному ее отцом, тестем младшего лейтенанта, служившим рядовым солдатом вместе с ним в одной роте. Больше он в нашем доме не был. Приходили другие. Из скромной в начале войны солдатки Татьяна превратилась в разбитную забубенную бабу с жизненными принципами: «Все равно война, война все спишет». И списывала, но не все и не всем. Многим за грехи их она по завершении своей кровавой агонии предьявит счет, для оплаты по которому иным и жизни не хватит. Но это будет потом, а пока — «все равно война, война все спишет». И пошло-поехало... Интерес к моему воспитанию, как и ко мне самому, у нее пропал, ей было теперь все равно, как я ее называл: мамой, тетей или вообще никак не называл, обращаясь к ней. Это меня устраивало. Я наконец-то освободился от опостылевших ее уроков о ласковом теляти, зубрежки слова «мама» и многого другого, чего не понимала и не принимала моя детская натура. С переменами, происходящими в Татьяне, я получал свободу, а вместе с ней — и улицу. Отныне моей школой станет улица, учителями — ее авторитеты, такие же пацаны, как и я, но постарше.

Поэтому неудивительно, что свою первую самокрутку я выкурил, когда мне не было еще и восьми лет. В восемь, после первого в своей жизни приема спиртного, я по-настоящему был пьян. От самокрутки полдня кружилась голова, а после спиртного из меня три дня тянуло зеленью. В общем, «пить и курить он начал одновременно» — это про меня сказано. Да и возрастом своим я, наверное, многих опередил на этом поприще, подтверждая тем самым заверения партии и правительства о нашем «счастливом детстве».

С Татьяной между тем мы все дальше и дальше отдалялись друг от друга, все глубже погружаясь каждый в свой омут.

В один из каких-то вечеров я не пришел домой ночевать. Это было не замечено. Во всяком случае, никто с меня за это не спросил, хотя шлепки, подзатыльники, а иногда и основательные трепки продолжались, как и прежде, если не чаще. Но теперь это было не из-за того, что я не называл ее мамой, а так, на всякий случай. Чтоб не путался под ногами. Все это вызывало во мне обиду. Она копилась где-то внутри, чтобы при случае выплеснуться наружу. И случай не заставил себя ждать. Однажды, после очередной экзекуции, Татьяна нагнулась над сундуком, ища в нем что-то. Реакция была мгновенной. Вид ее согнутой, незащищенной спины взорвал во мне весь накопившийся клубок обид. Скрещенными в замок ручонками я изо всех сил ударил ее по спине. Почувствовала она удар или нет, но недели две мы с ней не виделись. Она, наверное, и выпрямиться не успела, как я был уже на улице. Благо, что было лето. Ночевал где придется, питался тоже чем придется, вплоть до воробьев, нанизанных на проволоку и обжаренных на костре. Меню мое, кроме воробьев, иногда разнообразилось овощами с чужих огородов или макухой (жмых), если ее удавалось стащить со свинофермы. Макуха шла деликатесом, особенно если ее разогреть на огне, тогда она становилась мягче. Раза два через форточку я забирался к себе домой, реквизируя при этом весь имеющийся в доме хлеб и все съестное, что попадалось под руку, что мог растолкать по карманам и за пазухой. Назад уходил той же дорогой. Татьяна, видимо, догадывалась или знала наверняка, куда исчезали продукты, и поэтому специально оставляла форточку открытой. Вообще-то до войны она была неплохой женщиной.

Сейчас, взглядывая в то далекое прошлое, мне трудно представить себя в том времени. Во времени, когда я, восьмилетний пацан, каждый вечер с заходом солнца был вынужден думать об очередном чердаке или каком-нибудь закутке для своего ночлега. А утром, с первыми его лучами, — о том, чтобы насытить свой постоянно тоскующий желудок. Все это было, было. В тот вечер, когда я решился провести ночь на чердаке своего дома, я еще не знал, что эта ночь будет последней, проведенной в доме папки-дяди Миши, последним общением с Татьяной и вообще последней ночью моего пребывания в Сиваках. В дальнейшем мои встречи с этой станцией будут проходить и проходят только из окна вагона, когда случается проезжать мимо. И каждый раз эти мимолетные свидания навевают ностальгическую боль воспоминаний о своем детстве. Сиваки — это станция моего раннего взрослого детства, моих встреч и расставаний с родственниками и родными. Сиваки — это кусочек моего прошлого, хорошего или плохого, главное — жизненного. А жизнь, что бы она нам ни преподнесла, — прекрасна. Видимо, не случайно поэтому даже о плохом далеком мы иногда вспоминаем с приятной грустью.

В те сумерки, когда я впервые забирался на чердак своего дома для очередного ночлега, Татьяна меня видела. Но, чтобы не спугнуть, виду не подала. А ночью, когда я спал на подстилке для сушки голубицы, она поднялась ко мне и, разбудив, за руку привела в дом. В доме не ругалась, не била, а, заставив умыться, накормила и уложила спать. Утром, когда я проснулся, ее в доме не было. Пахло вареной картошкой, обжитостью, щемящим уютом. Я встал, походил по комнате, разглядывая ее содержимое как бы заново, со стороны, и понял, что все в ней, казавшееся еще вчера родным и близким, было уже чужим. Интуиция, опережая мое детское сознание, подсказывала, что я здесь посторонний, временный, чужой. Чужой этому дому, вещам в нем, Татьяне. На табуретке около стола стояла сумка, сшитая или сплетенная из кусочков кожи. Из нее тоненькой струйкой шел пар. Я заглянул в нее — там, на дне, в бумажном пакете лежало несколько вареных, еще горячих картофелин. Там же стояла бутылка, закрытая бумажной пробкой, как позже я узнал, с чаем. Татьяна, видимо, только что вышла. Я уже умылся, стал одеваться, когда она пришла. «Встал? — спросила она. — А я за хлебом ходила». Принесенный хлеб — нашу суточную пайку — она тоже уложила в сумку. Завтракали молча. Чувствовалась напряженность, ожидание чего-то недоговоренного, недосказанного. После завтрака Татьяна достала из сундука чистые майку и трусы, шерстяной костюмчик — толстовочку с шорти-



ками на ляпочках, — подаренный мне дядей Колей в его последний приезд за бабушкой и Гошкой. Все это она мне велела надеть вместо моего замызганного хлама, что было на мне. Я послушался. Она помогла расправить и застегнуть ляпочки на шортиках. После чего оглядела всего с ног до головы и, видимо, удовлетворенная осмотром, с какой-то решимостью сказала: «Ну вот и все, а теперь пошли». Я не стал спрашивать куда. Мне было все равно. Я уже ощутил свою обреченность, понял, что ничего не могу изменить в каком-то надвигающемся новом этапе моего будущего.

На улице моросил дождь. В его мелкой, почти невидимой мороси уже проглядывало первое дуновение осени. От этого еще тоскливее и обреченнее я почувствовал свое одиночество. Мыслей о побеге не было, к тому же, уводя в неизвестность, Татьяна крепко держала меня за руку. Неизвестностью оказался вокзал, куда мы пришли. Потолкавшись немного на перроне, она подвела меня к одному из вагонов прибывшего с запада поезда. Переговорив о чем-то с высыпавшими из него солдатами, Татьяна отвела меня в сторону и со словами: «Ты мне не сын!» — как-то неуверенно, суетливо сунула мне в руки пустой конверт с номером полевой почты в Куйбышевке-Восточной. Потом, как бы спохватившись, вытащила откуда-то из-за пазухи 46 рублей и подала их мне вместе с той запомнившейся на всю жизнь кожаной сумкой: «Это тебе на дорогу. И еще: ты уже не маленький, знай — я тебе не мать, поезжай к отцу — адрес на конверте, не затеряешься, найдешь». Все это при абсолютной сухости глаз, ни слезинки, ни раскаяния. О том, что не мать, я знал. Но тем не менее, ее открытое признание явилось для меня полной неожиданностью, ушатов холодной воды. Я не нашелся, что ответить, да это было и ни к чему. Своим признанием она все расставила по местам. Никаких наставлений, напутствий в дорогу, кроме одного: «Заберись на третью полочку за решетку для багажа — проводники тебя там не заметят, ты маленький, а дяденьки военные не выдадут, я им сказала, и смотри, не вылазь оттуда до самой Куйбышевки. Хлеб и картошку можно поесть и за решеткой, чай в бутылке». Что она наговорила военным, не знаю, но они знали, что я без билета и что нужно мне до Куйбышевки-Восточной, поэтому сами посадили меня на полку. Гудок паровоза и — прощай, Сиваки, мама Таня, прощай все, что еще как-то связывало меня, мое детство с родственниками и родными. Впереди беспризорность. Мне шел девятый год от роду, был 1942 год, второй год войны.

Из отрешенно-равнодушного состояния, в котором я находился все это утро, вывел меня стук колес. Он же вернулся и к осознанию произошедшего. Впервые в своей короткой жизни я ехал один. Родных рядом, а может, и на всем белом свете, — никого. Перед глазами — кадры Татьяниного отречения от меня. Они усиливали, нагнетали чувство потерянности, одиночества. И хотя это очередное гromыхание колес, лязг буферов, эту дорогу я принял по инерции как должное, чувство какой-то тревоги, напряженности, необъяснимого страха не покидало меня.

Солдаты, как только я оказался наверху, обо мне забыли. Они шумно играли в карты, смеялись; где-то пиликала гармошка, брэнчала гитара. Вагон жил своей дорожной обыденностью. Раза два-три по нему проходил проводник, но меня он не видел. Зато я, как загнанный зверек, забившись за решетку багажной полки, наблюдал за всем происходящим в вагоне, глядя сверху вниз.

Через какое-то время, утомленный передрыганиями дня, я заснул. Сон был дремотным, чутким, пробуждение — тяжелым и потным. От лампочки, подвешенной к потолку, в глаза бил свет. Хотелось воздуха, пить, хотелось спуститься вниз, к людям, но боязнь быть замеченным проводниками удерживала меня. Когда же я все-таки решился на этот шаг, кто-то, дернув меня за ногу, сказал: «Подъем, заяц, просыпайся, скоро тебе сходить». Я слез. «И куда же ты теперь, сынок?». «Не знаю, пойду искать отца». «На улице ночь, дождишься утра на вокзале», — напутствовал меня сердобольный солдат.

После сивакской приземленности Куйбышевка показалась громадиной. Яркая освещенность перронки, толпы спящего народа, красные, синие, зеленые огни светофоров, пе-

ремежающиеся с разноголосицей гудков, клубы пара, дыма — все это меня ошеломило. Остатки ночи провел в зале ожидания, пристроившись на одной из лавок. Есть не хотелось, но, вспомнив о содержимом сумки, машинально вытащил из нее кусок хлеба и, почти не жуя, проглотил, запив холодным чаем из бутылки. Мне еще никогда не доводилось ночевать одному на вокзале, поэтому все для меня здесь было в диковинку: и храпы одних, сидя спавших пассажиров, и тихие беседы других, и медленные, степенные прогуливания по вокзалу третьих. Во всем чувствовалась заторможенность, лишь изредка нарушаемая всплесками оживления при подходе очередного пассажирского поезда или эшелона. Вскоре вошел и я в этот замедленный ритм ночного вокзала и задремал. Ночь показалась вечностью. Я дремал, засыпал, просыпался, опять засыпал, а утро все не наступало. Я ждал его. Боялся проспать, прокараулить. Мне казалось, что с рассветом, с наступлением нового дня закончатся все мои беды. Что утром первый же военный, к которому я обращусь и покажу адрес, сразу же расскажет мне, как найти папку-дядю Мишу, а может, и сам отведет меня к нему. Но, увы! Ожиданиям, надеждам не суждено было сбыться в это утро. Поиски растянулись на многие дни, среди которых будут и привод в милицию, и побег, и холодные ночи, и главное — голод.

Все это будет позже, а пока рассвет я все же проспал. Он пришел неожиданно. Когда после очередной дремы я открыл глаза, было уже совсем светло. Пассажиров в зале поубавилось, уборщицы подметали пол, расталкивая при этом кое-где спящих пассажиров. Соскользнув с лавки, я тут же поторопился на поиски. Мне казалось, что все военные на вокзале такие же приезжие, как и я. Поэтому, выйдя на улицу, я пошел прочь от вокзала, не важно, в какую сторону, лишь бы подальше, лишь бы скорее встретить местного военного. Но, к моему огорчению, первый из них, к кому я обратился, только пожал плечами, прочитав протянутый ему конверт: «Не знаю, частей в городе много, поспрашивай других, может, и встретишь того, кто знает эту часть». Потом был второй, третий, пятый, десятый, бесчисленный, но ни один из них не мог сказать, где мой папка. Как заведенный бродил я по городу в этот и последующие дни, но все безрезультатно. Как две капли похожие дни, сменяя друг друга, все дальше и дальше уводили меня от надежды. Я ее начал терять.

Моя кожаная сумка давно опустела, и я оставил ее там, где доел из нее последние крошки хлеба и последнюю засохшую картошину. Ночевал по-прежнему на вокзале. Уборщицы и милиционеры настолько привыкли ко мне, видимо, считая меня неотъемлемой частью зала ожидания, что не замечали моего присутствия.

Воровать я еще не решался, просить не позволяла не то врожденная гордость, не то застенчивость, поэтому от голода меня уже шатало, временами кружилась голова, перед глазами мельтешили круги. Иногда хотелось вернуться назад к Татьяне, но теплившиеся еще где-то на задворках сознания остатки надежды найти папку удерживали меня. К тому же, где сейчас искать эти Сиваки, на какой поезд садиться, в какую сторону — я уже забыл, если не сказать проще — совсем не знал. Все, что с ними было связано, казалось таким далеким, нереальным. О родных, родственниках уже не вспоминал. Все было отодвинуто в дальние закоулки памяти постоянно сосущим чувством голода. Он преследовал, не давал ни о чем другом мыслить. Лишь конверт с адресом еще как-то поддерживал и толкал меня каждое утро на поиски по незнакомым улицам недоброжелательного, как мне казалось, ко мне города. Чем питался все это время, что пил, на какой грани выживания стоял — не припомнить, не понять. Но, видимо, грань была уже краем пропасти. Потому что когда однажды мне посчастливилось поднять с земли несколько картошин и огромную турнепсину, выпавшие из идущей впереди меня груженой повозки, я безумно обрадовался. Растолкав все это по карманам и за пазухой, едва обтерев грязными руками, я принялся грызть картофелину вместе с кожурой, не замечая, что она сырая, как будто всю жизнь только такой и питался. На зубах хрустел песок, руки дрожали, ноги не слушались, спазмы сдавливали горло. Но не в силах выполнять две работы — идти и грызть, я присел у забора, притулившись к нему спиной. Отходил медленно, постепенно, не замечая,

как чувство голода уступает место чувству уверенности. Вновь появилась надежда на успешные поиски. Вставая с земли, я с удовлетворением ощутил холодок от картошки и турнепса за пазухой. Поправив все это под рубашкой, снова двинулся в путь.

В этом районе города я еще не бывал, поэтому удивился, оказавшись вскоре среди множества торгующих прямо на улице людей. Это был базар. Он поразил своей пестротой, обилием продаваемой одежды, скорее не продаваемой, а меняемой на продукты. Кто-то, выкрикивая во весь голос, нахваливал, показывал, предлагал товар лицом. Кто-то вполголоса предлагал, из-под полы показывая, свой товар явно криминального происхождения. В одном углу здоровенная баба пыталась всучить другой, худенькой, круглую большую булку хлеба за плюшевую полудошку. Худенькая отталкивала от себя протянутую руку с булкой, причитала во весь голос: «Ну как тебе не стыдно, жлобина ты, за такую дошку — одну булку? Да подавись ты ей сама, я лучше в печке сожгу ее, чем задаром тебе отдавать...» — и, наругивая еще как-то, стала уходить от нее прочь. Булка в руках этой крупной женщины заворочила меня. Не сводя с нее глаз, я вытащил свои еще не растроченные 46 рублей и, подавая их ей, еле шевеля губами, попросил: «Тетенька, продайте мне». Взяв деньги, она пересчитала их и, тут же возвращая мне, злобно прошипела: «Проваливай со своими грошами, покупатель сопливый». Одновременно с этим сочным шипением я услышал за спиной бодренький старческий голос: «Лучше купи у меня, малец, на мой товар у тебя денег хватит». Я оглянулся. Весь сморщенный, щупленький дедок тут же из большой синей сумки продавал семечки. Он почти вырвал у меня из рук деньги, быстро пересчитал и, возвращая мне часть из них, не спрашивая, сколько нужно, рассовал по моим карманам два стакана семечек, что-то приговаривая при этом. Мне ничего не оставалось, как только радоваться дедовой доброте — и деньги еще есть, и полные карманы семечек.

На выходе с базара три мужика у киоска о чем-то шумно спорили, пили квас. Подойдя к ним, я тоже решил утолить давно мучившую меня жажду, благо, что деньги еще были. Поднявшись на цыпочки, я просунул в окошко остатки своих денег. Продащица, не глядя, тут же высунула мне пол-литровую банку серой мучнистой жидкости и еще какую-то сдачу. Я начал пить. Мужики, продолжая свой спор, не обращали на меня внимания. Сколько выпил я этой дряни, не знаю, но вскоре в голове помутилось — и больше из этого дня я ничего не помню. Очнулся на второй день за печкой в дежурной комнате милиции. Проснувшись от диких криков, исходивших от пацана лет пятнадцати, которого допрашивали с пристрастием здесь же, в дежурке. Его взяли с поличным в тот момент, когда он с таким же, как сам, пацаном срезал рисованный на материале плакат со словами: «Хочешь жить — убей немца!». Из этих плакатов после стирки и крашения какие-то тети, как он говорил, шили детские трусишки и маечки на продажу. Плакат этот был не первый, милиция давно охотилась за теми, кто их срезает, и наконец-то выследила. Напарник сбежал, а его взяли. О том, куда идут эти плакаты, он уже сознался. Сейчас из него выколачивали, кто шьет. И тут он кричал, плакал, но не говорил. Вскоре после моего пробуждения его куда-то увели. Я вылез из-за печки. В до горечи накуренной комнате сидели два милиционера. В окно плотным тугим пучком бил солнечный свет. В его потоках, как осенние облака, тяжело переваливаясь, подминая друг друга, поднимались к потолку сизые клубы дыма. Голова гудела, раскалывалась, хотелось пить. Ничего не соображая, я направился к двери, но сидящий за столом милиционер остановил меня: «Ты куда это, алкашенок? Не успел проснуться, а уже за похмельем? А ну, подойди к столу, рассказывай, из какой колонии или детдома сбежал». Я не понимал, о чем он спрашивает. Не знал, что такое колония, детдом, не мог понять, где я, как оказался здесь и вообще что от меня хотят. «Ну как, хороша была бражка?» — допытывался другой. Оказывается, у киоска я пил не квас, а брагу, которую продавали там по девять рублей за банку. Это я понял из комментариев милиционеров к моим собственным показаниям.

Когда, переборов чувство страха, я наконец понял, чего от меня хотят, то вытащил свой уже затертый конверт и,

отдавая его милиционеру, стал доказывать, что ищу отца.

Я просил, чтобы меня отпустили, чтобы помогли найти его — папку. Но, видимо, показания мои и просьбы были неубедительны. Хотя через какое-то время один из них снова взял у меня конверт и, переписав адрес себе на бумажку, стал куда-то звонить, называя при этом папкину фамилию. Мне же пока велено было сидеть здесь, в дежурке, до выяснения. Я сидел, ждал. В какое-то время в дверь, что вела во двор, а их было в комнате три, вошел еще один милиционер, неся в руках деревянный поднос с хлебом. Вошедший поставил его на стол, что-то прочитал в лежащем на столе журнале и, пересчитав куски хлеба на подносе, ушел с ним через боковую дверь. Как я позже узнал, это был хлеб на арестованных. Обо мне, разумеется, при дележке забыли или решили, что после вчерашнего «кваса» мне не до еды. И действительно, есть не хотелось, поэтому проплывающий мимо меня в руках милиционера поднос с хлебом я проводил глазами равнодушно. Он не возбудил во мне чувство голода. Все мысли были заняты другим: во-первых, как избавиться от постоянно подкатывающей тошноты и урчания в животе, а во-вторых, как вырваться отсюда? Из разговора моих стражей я знал, что сегодня у них коллективный выезд на копку картошки. Они ждали смены, ждали машину. Поэтому неожиданно раздавшийся с улицы автомобильный сигнал как по команде поднял их с места и устремил в угол, где были свалены в кучу пустые мешки, ведра, лопаты. Все это они стали выносить на улицу. Я наблюдал за ними в окно, видел, как они подавали весь этот инвентарь, слышал, как громко переговаривались, шутя препирались с принимавшими в кузове их товарищами или родными. Этот сигнал всколыхнул и меня, я его тоже воспринял как призыв к действию, но, кроме того, и к свободе. Мгновенная реакция — взгляд в окно, секунды на размышление, и я уже у двери, только у другой. У той, через которую вышел милиционер с подносом хлеба. Выскочив на улицу, я пролетел мимо домика, примыкавшего почти вплотную к основному зданию. Вдогонку мне неслись запахи какого-то варева. Видимо, домик был кухней. За домиком разбросанные дрова — колотые, чурки, бревна, дальше — двор и ворота. Ворота на запоре, сбоку — калитка, я к ней — она открыта, и вот я уже за высоким забором на улице. Или калитку они вообще не закрывали днем, или по чьей-то халатности мне крупно повезло. Выскочив на улицу, я бросился бежать вдоль забора. Бежал, пока не закололо в боку; свернув за угол, пошел пешком. Отпустило — опять куда-то бежал, шагал, петлял, инстинктивно путал следы, пока не оказался на берегу речки. Это была Томь. Здесь я еще не бывал. Подойдя к воде, припал к ней, стал пить холодную речную воду. Потом умылся, наверное, первый раз со времени, как покинул Сиваки.

День был солнечный, я валялся, грелся на берегу, наслаждался свободой. Тошнота и урчание давно прекратились, но появилось так знакомое мне сосущее чувство голода. Мой турнепс и остатки картошки остались где-то за печкой в милиции или вывалились еще раньше по дороге, когда меня доставляли туда. На берегу, кроме меня, почти никого не было, лишь вдалеке какая-то женщина, стирая белье, поминутно отгоняла от воды своего маленького пацанчика.

Сколько времени провел на берегу — не знаю, но когда солнце стало закатываться за дома и от речки потянуло прохладой, я решил уходить. Вот только куда? На вокзал я идти боялся, думал, что вся милиция города занята моими поисками. Мне казалось, куда я ни пойду — в любой стороне меня ждет кара за побег. А идти надо. Становилось прохладно. Солнце уже втягивало в себя последние запоздавшие лучи дня. Надвигались сумерки. С неохотой, силой необходимости отрывал я себя от приютившего меня берега. Поднявшись, еще раз окинул взглядом быстро бегущую чистую Томь. Полюбовался золотистыми бликами уходящего солнца на воде, ее заросшими на той стороне берегами и невольно позавидовал — она в своих берегах, в своем ложе, она всегда у себя дома. А где мой дом? Кто ждет меня? Куда идти? С этими невеселыми мыслями я все же направился в сторону города. Войдя в город, как неприкаянный, как обреченный брел я по его улицам, бороздя сандалиями дорожную пыль, временами замедляя шаги, будто хотел затормозить время, а с ним — и надвигающийся ночной холод.

Кое-где уже зажигались огни... Где-то скрипели ворота. Слышна была беззлобная ругань хозяек, загоняющих свой скот. Гремели затворы ставень, девчоночий голос звал домой брата, обещая ему трепку от мамы. Сумерки между тем, постепенно, но уверенно сгущаясь, уступали место темени ночи. Ноги мои, не ведая того сами, по паровозным гудкам привели меня снова к вокзалу. Из-за угла какого-то строения смотрю на привокзальный свет. Милиции не видно. На лавочке сидит офицер — я их, офицеров, уже отличал от солдат. Подхожу к нему, протягиваю адрес — делаю это на вокзале впервые, так как до сих пор считал всех военных здесь приезжими. Я и сейчас бы не подошел, но мне нужно было хоть с кем-нибудь поговорить, чтобы хоть голосом согреться. Дрожь уже донимала. Опять, в который раз, задаю свой вопрос: как мне найти папку? Прочитав конверт, он вернул его мне. После чего стал расспрашивать, откуда я, как оказался здесь и еще много о чем. А потом, как бы спохватившись, спросил: «Ты есть хочешь?». Конечно, я хотел есть. Взяв меня за руку, он завел в буфет при вокзале, посадил за стол и, подойдя сперва к буфетчице, а потом к окошечку, что было слева от нее, принес оттуда полное блюдо густой лапши и ложку. Поставив все это передо мной, он вытащил из своей полевой сумки кусок хлеба и, протягивая его мне, сказал: «Ешь, потом я расскажу тебе, где искать отца». От избытка чувств я чуть не разревелся, хотя, должен заметить, слез в детстве своем не помню. Их ни до, ни после, ни в этот раз не было. И только сейчас, на исходе своего пути, иногда при воспоминании о своем прошлом глаза затягивает влажная пелена.

В буфете он ни о чем не спрашивал. Молча, как мне казалось, наблюдал за мной, смотрел, как я зачищал с блюда последние лапшинки, как смахивал с ладони в рот последние крошки хлеба... Когда со всем этим было покончено, он все из той же своей сумки вытащил кусок сахара и, протягивая мне, сказал:

— Погрызи, а то, наверное, уже забыл, что это такое.

Потом мы сидели с ним на улице на той же самой лавке, на которой я впервые увидел его. И он снова задавал мне свои, прерванные первым за много дней ужином, вопросы.

— Так, говоришь, папка у тебя хороший, а мамка — мама Таня?

— Да.

— Значит, она привезла тебя сюда и бросила?

— Нет, я сам приехал. Она только на вокзал в Сиваках привела.

— А за что же она тебя отправила?

— Не знаю, сказала, что я ей не сын.

— И когда, давно она тебя отправила?

— Давно.

— Ты домой хочешь?

— Нет, к папке хочу, — обреченно произнес я.

Видимо, поддавшись моему настроению, он как-то очень тепло прижал меня к себе и надолго замолчал. А через какое-то время, не понимая к кому обращаясь, произнес:

— Ничего, они нам за все ответят. Пусть не думают, что конец света наступает и с них некому будет спросить. Спросим, еще как спросим, и твоей маме Тане тоже счет предъявим. Звать-то тебя хоть как?

— Гена, — ответил я.

— Ну вот и хорошо. А меня зови дядей Гришей. Так-то лучше. Будем считать, что мы с тобой хоть и с опозданием, но познакомились.

Я промолчал.

— Ничего, парень, не вешай нос, папку найдешь — и все у тебя наладится, — успокаивал он меня. — Папка твой где-то здесь, рядом, может быть, на той стороне линии. Ты утром, как проснешься, перейди по виадуку на ту сторону, — указал он рукой, — потом по дороге поднимись наверх и иди по ней, пока не увидишь часовых под грибками за колючей проволокой — это военный городок. Твой папка где-то там. В общем, поспрашивай у солдат. Если не скажут, попроси их, чтобы они отвели тебя в комендатуру — там все воинские части города знают, они его быстро разыщут. Я бы сам его разыскал, помог тебе, но скоро мой поезд, мне дальше ехать надо.

И, как бы в подтверждение его слов, откуда-то издали высветился яркий луч света приближающегося поезда.

— Ну что, Гена, прощаться будем? — сказал он, вставая. Затем слегка прижал меня к себе обеими руками, тут же отстранил и стал подниматься в первый от лавки вагон остановившегося поезда. Поднявшись в тамбур, он еще раз напомнил мне про виадук, военный городок и комендатуру.

Поезд, видимо, опаздывал, потому что не успел дядя Гриша закончить последние напутствия, как он вздрогнул, дернулся и, пытаясь, лязгая буферами, стал, набирая скорость, удаляться. А вскоре и вовсе скрылся.

С уходом поезда опустел перрон. Ушли с него и последние, навьюченные узлами, пассажиры, беззлобно сетуя на какую-то Нюрку, не встретившую их. Все разошлись, а я еще долго стоял, глядя вслед уже невидимому поезду.

Гена нашел все-таки своего «папку-дядьку». Время, которое он прожил в качестве «сына полка» в воинской части в Куйбышевке-Восточной (ныне Белогорск), а затем в Биробиджане, наверное, можно считать самым светлым в его детстве. Он там, по крайней мере, оттаял. Солдаты, у большинства из которых дома оставались дети, относились к нему с трогательной теплотой. Ну а потом Гена получает предложение ехать учиться в суворовское училище (радужная перспектива по тем временам!) и одновременно узнает, что у него есть родная мать и родные братья, уже вернувшиеся в Амурскую область и живущие в поселке золотодобытчиков Соловьевске. Малец, уже практически забывший о них, повинувшись какому-то безотчетному чувству, отказывается от суворовского и едет к родным в Соловьевск. И снова — жизнь в нищете и лишениях...

Мы очень советуем вам найти и прочесть эту книгу.

# Григорий Шумейко

Член Союза писателей России Григорий Шумейко — известный в Амурской области бард, автор тринадцати сборников стихов, лауреат премии имени Петра Комарова.



## ДВОЕ

Ты — о любви, а я вот — о своем,  
И ты, и я за счастье свое бьемся.  
И, как всегда, чем хуже мы живем,  
Тем больше над собою мы смеемся.

Ты — о судьбе, а я — о нас с тобой,  
И твой, и мой пока еще не вечер.  
И, как всегда, рискуя головою,  
Мы беды все иллюзиями лечим.

Ты — о душе, а я все — о делах,  
Ни ты, ни я Всевышним не забыты.  
И, как всегда, блуждаем мы в мирах,  
Которые пока что не открыты.

## ХОЛОДАЕТ

...  
Холодает, опять холодает...  
Значит, осень, уже за окошком.  
А соседка на картах гадает  
И все варит в мундирах картошку.  
Тетя Клава. Когда-то ведь Клавка!  
Было дело — любовь и дорога.  
Ей бы к пенсии дали прибавку,  
Только карты здесь вряд ли помогут.

Холодает, опять холодает...  
За окошком — минорные гаммы.  
Знаю, друг мой с похмелья страдает,  
Но займы не идет за деньгами.  
Ну да ладно! К закату проспится.  
Похмелиться и к ночи — не поздно.  
Он когда-то ведь жил аж в столице,  
А теперь на Востоке здесь мерзнет.

Холодает, опять холодает...  
А в подъезде расхристаны двери.  
Лист последний уже опадает,  
И я в теплую зиму не верю.

## ПОЗОВИ МЕНЯ В МАЕ

Ф. Гончарову

Домоседов я не понимаю,  
И другой я судьбы не хочу.  
Селемджа! Позови меня в мае,  
Я на крыльях к тебе прилечу  
Посмотреть, как закат перламутров,  
На хрустальную воду-слезу.  
У тебя ж я возьму только утро  
Да и в город с собой увезу.

Я с тобой навсегда уже связан,  
Что ни лето, то новый поход.  
Селемджа! Позови меня сразу,

Лишь разбудит тебя ледоход.  
С давних лет я тобой заморожен,  
Все, что было и будет, любя,  
Селемджа! Ты — тигрица, но все же  
Укротить я сумею тебя.

Как дожить до весны, я не знаю,  
Чтоб не сглазить, пока промолчу.  
Селемджа! Позови меня в мае.  
Я на крыльях к тебе прилечу.

## НЕСОВМЕСТИМОСТЬ

Как жить — учить меня не надо,  
Да и смотреть вдогонку косо.  
Ты лучше сядь со мною рядом,  
Не задавая мне вопросов.  
Взгляни на небо голубое,  
Во храме дня послушай песню.  
Мы оба разные с тобою,  
И потому нам интересно.

О, как святош я ненавижу,  
Живущих правильно и точно!  
Ты лучше сядь ко мне поближе,  
Подруга грез дальневосточных.  
За все недоброе прости мне,  
Что ты — с дождем, а я вот — с вьюгой.  
Мы до того несовместимы,  
Что, как никто, нужны друг другу.

Забудь про время снегопадов,  
И что ноябрь — уже не осень.  
Ты лучше сядь со мною рядом,  
Не задавая мне вопросов.

## ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Не кощунство и не драма,  
Не удар родне под дых...  
Я люблю жену и маму,  
А потом всех остальных.  
Много есть людей хороших,  
Но себя не обмануть:  
Всех любить — большая ноша,  
А для сердца это — жуть.  
Для мозгов работы — слишком.  
Всем нельзя создать уют.  
Вряд ли выдержат нервишки,  
Ведь они порой сдают.  
Не одаришь всех дарами,  
И не хватит всем тепла.  
Я люблю жену и маму,  
...Да вот мама умерла...

## ГРУСТНАЯ ПЕСНЯ

Свою судьбу не переспорить,  
Но я всему наперекор  
Хочу уйти на яхте в море,  
Туда, где не был до сих пор.  
Уплыть от берега подальше  
Хочу неведомо куда,  
Где нет предательства и фальши,  
Где только небо и вода.  
Веди, луна, и солнце, грей!  
Туда хочу я поскорей.

Свою судьбу мне не подправить,  
Как в осень травам не расцвести.  
Найти себя давно пора ведь,  
Чтоб разобраться, кто я есть.  
Назло всем пакостям на свете  
Хочу я только лишь туда,  
Где dalej синь, где только ветер,  
Где только небо и вода.  
Веди, луна, и солнце, грей!  
Туда хочу я поскорей.

Свою судьбу не переспорить,  
Но я, не глядя на года,  
Хочу уйти на яхте в море  
И там остаться навсегда.  
Веди, луна, и солнце, грей!  
Туда хочу я поскорей.

## НЕ УСПЕВАЮ

И так всегда — и в грешном, и в святом,  
Забросив все, безвременьем губя,  
Я оставляю что-то на потом,  
Обманываю только лишь себя.  
Боюсь отстать, а может, и устать,  
Уже я соглашаюсь без стыда,  
Что долюбить, доспорить, дочитать  
Уже я не успею никогда.

## Валентина Абраменко

Валентина Федоровна Абраменко приехала с родителями в Свободный в 1937 году. По профессии она художник, долгое время руководила Свободненской художественной мастерской, участвовала в престижных выставках. На этом пути у нее есть и памятные победы, и немалый опыт. Ну а поэт она, по собственному признанию, «молодой, начинающий».

\*\*\*

Отзвенело, отцвело  
Мое бабье лето,  
И тоска ушла давно  
И потухла где-то.

Разошлись дороги враз  
Тихо, безмятежно,  
Но любовь все светит в нас  
Пламенно и нежно.

\*\*\*

На полатях душно, прело,  
Пахнет мятою в углу.  
Дверь скрипучая запела,  
И уснуть я не могу.

Тихо охает старушка,  
Лавка старая скрипит —  
Это ветер-побирушка  
В двери яростно стучит.

## СОН

Приснилась родина опять.  
Куда ж мне деться?  
Тоски прибавилось, видать,  
В душе и сердце.  
Иду в слезах к родной Десне,  
Все — вербы, вербы...  
Ах, если б это не во сне!  
Судьба! Ты стерва!  
Туда, где звезды, как глаза,  
Всегда хочу я,  
Где в тихих хатах — образа  
И Бог ночует,  
Где все могильные кресты  
Родных и близких,  
Где нет продажной суеты  
И веры низкой.

Приснилась родина опять...

## ПОД ПАРУСОМ СУДЬБЫ

Игорю Игнатенко

Всю душевную боль не сдержать взаперти,  
Не утешить строкой карандашной.  
Можно выстрадать все, мимо денег пройти,  
Ну а мимо любви — это страшно.

Во вчерашнюю жизнь я хожу, как в музей,  
И все чаще сужу себя строже.  
Можно все потерять, а вот верных друзей —  
Не дай Бог! Не дай Бог! Не дай Боже!

И теперь я уже знаю, чем дорожить,  
И кто стоил чего, я давно уже знаю.  
Можно мир увидеть, а без Родины жить  
Не смогу, не хочу, не желаю.



Под окошком кто-то ходит,  
Кто-то хлопает и бродит.  
Это ветер окаянный,  
Хулиганистый и пьяный.

Завывает он в трубе,  
Надрывается, свистит,  
Пыль гоняет по избе,  
И бормочет, и шипит.

Осветил квартиру свет.  
Тишина и ветра нет.  
Знать, привиделся мне сон  
Иль донесся детства звон.

Галина Ивановна Соснина родилась на Енисее, после окончания Томского пединститута долгое время работала в Якутии, преподавала английский, была директором школы. В 1984 году переехала в Свободный. С 1989 года живет в Углегорске. Автор сборника стихов «Судьба моя — Россия» (Свободный, 2000) и книги «Дальневосточная космическая гавань» (Благовещенск, издательство «Зея», 2001), посвященной истории и людям космодрома Свободный. И вот совсем недавно, в октябре 2003 года, в издательстве «Зея» вышла отдельной книгой ее документальная повесть «Родные корни», где рассказывается об истории одной семьи в нескольких поколениях, начиная от прихода на Енисей молодой четы крестьян-переселенцев. События, описываемые в повести, охватывают целое столетие.



## РОДНЫЕ КОРНИ

Отрывок из повести

Уж много дней и ночей лежит Иван в госпитале старого русского города Вологды. Говорят, что фашисты дважды бомбили их состав по пути сюда, словно и не видели красного креста. Иван ничего не помнит, он долго был в забытьи. Очнулся в госпитале, что разместился в здании школы. Высокие белые потолки, десяток кроватей в палате, голые березы за окнами. А перед глазами все проплывают картины атак, от которых становится невыносимо жарко и жутко. Во сне Иван кричит. В такие минуты дежурная сестра прикладывает прохладную ладонь ко лбу Ивана и тихонько поворачивает его набок, приговаривая: «Успокойся, милоч, успокойся. Война далеко». От ее ласкового голоса приходит умиротворение, и он засыпает. Снова видит бой, кровь и себя, здорового и невредимого, и недоумевает, неужели жив? Удивительно!

Сегодня в нем что-то изменилось. Иван еще не знает что, но чувствует, что он и слышит, и видит, и воспринимает все как-то по-другому. Удивительно громко тикают его часы, подвешенные на ремешке к спинке железной кровати. Раньше он не слышал их тиканья. Ветер раскачивает макушки берез за окном, а раньше, приходя в себя, он не помнил, что бывает снег и ветер. Пошевелил руками, обрадовался, что целы. Ощупал всего себя, все на месте. Хотел повернуться набок, острая боль сразу напомнила ему о последнем бое и о ноге. Нога была в бинтах, толстая и какая-то неживая. Огляделся, на всех кроватях лежат раненые. Интересно, кто они, откуда, где воевали? В палату вошли врач и дежурная сестра. Увидев Ивана с открытыми глазами, радостно улыбнулись. Врач похлопал Ивана по плечу:

— Прекрасно, молодой человек. Прекрасно. Теперь вы будете долго жить. Все осколочки из вашего тела мы вынули, а нога заживет. Время все лечит. — Подмигнул дружески и пошел к другой кровати.

Иван повторил про себя слово «жить». Жить? Как тут жить? Разве можно назвать это жизнью? Прикован к кровати, перебинтован, как кукла. И тут же вспомнил Катю. Тело словно облили холодной водой: где Катя? Почему он так долго не вспоминал ее? Что с нею, с их сыном? Какое сегодня число?

Насилу дождался, когда закончится обход, и повернулся к соседу по кровати. Это был мужчина лет сорока пяти, спортивного телосложения. Лицо чисто выбрито, в темных волосах серебряные нити, усы аккуратно подстрижены.

— Простите, пожалуйста... А какое сегодня число?

Иван не узнал своего голоса. Мужчина отложил газету.

— Ну, давай знакомиться. А то лежим рядом почти месяц, скоро родными станем. Николай Михайлович я. А число сегодня двадцатое, январь на дворе.

Он видел, как Иван поник, закрыл лицо руками и отвернулся к стене. Когда привезли Ивана, Николай Михайлович уже мог обслуживать себя. Левая рука в гипсе, но ведь есть правая, а она важнее. Левая нога в гипсе, разворочена ступня, но ведь и это поправимо. Главное, можно жить. Николай Михайлович всегда был оптимистом. Он радовался новому дню, просыпаясь утром, он восхищался рассветами, по вечерам любовался закатами; как в детстве, его удивляли узоры,

нарисованные морозом на оконных стеклах. Он страдал, что война выбила его из строя так рано, но верил, что еще успеет отомстить фашистам за все. Он успел привязаться к этому молодому парню и сейчас очень хорошо понимал его состояние.

— Не грусти, дружище! Все это временно. Зарастут раны. Меня вот подлатали, скоро снова в строй, а ты молодой, значит, кости быстрее срастутся. Женат?

— Женат. Катюшка у меня и сын. Когда уезжал на фронт, всего неделя ему исполнилась. Потеряли они меня теперь, долго не писал.

Разговорились о родных, о доме, о той жизни, что была до войны. Потом, вспомнив трудные осенние бои, задумались, приумолкли. Оба увидели вновь бесчисленные холмики свежих могил. Засыпая, Иван решил завтра же написать Кате письмо. А под утро ему снова приснился бой, с кровью и смертью. Фашисты лезли, как саранча, кто-то давил на грудь, на ноги. Прохладная ладошка опять спасла его от кошмара.

Открыв глаза, Иван увидел рядом с собой женщину в белом халате, лет тридцати пяти — тридцати семи, круглолицую, кареглазую. Глаза веселые, губы ярко накрашены. От нее повеяло молочно-травяным запахом лета, утренней росой, чем-то родным, деревенским, и Иван улыбнулся незнакомке.

Это была медсестра Людмила, которая работала в госпитале с первого дня войны, очень жалела раненых, всячески старалась облегчить их боли. Муж ее воевал. Сына и дочку отправила к матери в Омскую область.

Иван увидел близко ее сияющие глаза, и ласковое «милоч» согрело его душу. Что она сказала? Ах, да. «Скоро поправишься, милоч».

Пролетели еще недели две, письмо он так и не написал. В душе копилось раздражение на себя и на Катю, которая так далеко. Она-то живет. Жива и невредима, фашисты далеко. Мама, папа рядом, и никаких забот. А он что, разве живет? Один, прикованный к постели, и ни одного близкого человека рядом. А сам, не отдавая себе отчета зачем, ждет каждый день встречи с Людмилой, чувствуя в ней что-то материнское, чего ему не пришлось испытать в детстве. Он еще очень слаб и нуждается в посторонней помощи. Днем помогают Николай Михайлович и Дмитрий, сосед по кровати справа. А когда те отдыхают — Людмила. Она и подушку поправляет не так, как это делают мужчины, и вода из ее рук гораздо вкуснее. Иван неулыбчив. В глазах боль и отчуждение. Но душа все больше раскрывается на это удивительное «милоч» и тянется к ней, как цветок к солнцу.

Однажды она спросила

— Ты несчастлив, Иван? Я не ошибаюсь?

— С чего ты взяла? Сама-то знаешь, что это такое — счастье?

— Да уж знаю, — посуровев лицом, ответила Людмила и молча отошла от кровати.

Иван закрыл глаза и решил прокрутить свою жизнь, словно бы со стороны посмотреть, счастлив ли он. И поплыли пе-

ред глазами моменты счастливого общения с женой, их короткая совместная жизнь, ее ласковые руки и губы, которые он узнал бы из тысячи, доброе отношение родных Катюшки к нему, Ивану. Но какой-то бес стал вдруг перепутывать все: на месте Кати в лодке с ним плыла Людмила, целовал и обнимал на пароходе опять ее, и даже на «их» камне он сидел с Людмилой. Иван злился, гнал прочь это наваждение, ненавидел себя, презирал. Искал причины такого поворота событий, но не видел их.

Несколько дней пролежал, отвернувшись к стене. Когда успокоился, не стал вовсе смотреть в ее сторону.

Людмила привыкла всем нравиться. Были и такие, кто не прочь поразвлечься. Ни один мужчина перед ней не устоит, считала она. А этот хромой сокрушает ее веру в себя, в свою неотразимость.

Сегодня она решила добиться его расположения во что бы то ни стало.

— И что это мы загрустили? — пропела она, улыбаясь Ивану. — Война у вас позади, радоваться надо и брать от жизни все.

Иван промолчал, давая понять, что говорить не желает.

Людмила поджала губы, молча поправила простыни, подушку, оглядела его худое тело со всех сторон, бросила дерзкий взгляд, как говорят, с головы до ног и усмехнулась:

— Не думаю, что ты будешь интересен женщине. Ты же не мужчина, а кусок железа.

— Возможно. Поищи мужчину в другом месте.

— Обойдусь без твоих советов, — и быстро вышла, глубоко униженная его нежеланием даже взглянуть на нее, а она так старалась понравиться.

«Дубина деревенская! Что он смыслит в любви».

Время текло медленно. Порой казалось, что часы остановились. А раны, как назло, не заживали. Во время перевязок врач недовольно смотрел на кровавые бинты и хмурился. Иван часами лежал молча, наблюдая за другими ранеными или глядя бездумно в одну точку. По ночам он кричал уже не так часто, но перед глазами по-прежнему полыхала земля и горело небо, словно навечно запечатленные в памяти фотосъемкой. Теперь Иван видел себя как бы со стороны: помнил свою боль за истерзанную Родину, горячее желание уничтожить врага, а потом пустота и он, раненый, беспомощный, на той страшной земле.

В такие минуты бессилия, когда понимаешь, что уже нельзя ничего изменить, ему пришла жестокая мысль — проверить Катюшку, так ли уж она его вправду любит или только притворяется.

После обеда, когда раненые погрузились в сон, Иван написал жене письмо. Он сообщил, что война для него давно окончилась, лежит в госпитале, без ног и левой руки. Обузой ей быть не желает. В конце приписка: «Разве ты примешь такого калеку? Иван».

Письмо получилось сухое и горькое, но Иван быстро свернул из него треугольник, написал адрес и попросил медсестру отнести на почту.

Сердце разрывалось от терзания совести и от жалости к себе. Он боялся получить от Катюшки отказ и хотел этого, чтобы хоть как-то оправдать свою холодность к ней и тягу к другой женщине.

Двадцать второе февраля, день рождения Ивана, стало поворотным днем в его судьбе. Уже начиная со следующего года он будет отмечать день рождения только двадцать третьего, объясняя это тем, что просто любит этот праздник, годовщину армии... А в тот раз он почти забыл о дне рождения, вернее, накануне помнил, а в тот день забыл, как вдруг появилась она, Людмила, в ярком платье, бусах, накрашенная и надушенная. На какое-то время показалось, что нет войны, а вокруг красивые нарядные женщины. Людмила вынула из сумки кастрюлю, обернутую полотенцем, и по палате разнесся домашний дух горячей картошки. А через минуту на тумбочке появились соленые хрустящие огурчики, кусок сала и банка варенья.

— С днем рождения, милоч, — ласково, словно и не сердилась на Ивана, произнесла она и поцеловала его в щеку.

Раненые зашевелились, заулыбались. Каждый сказал что-то хорошее в своем пожелании. А Николай Михайлович потечески похлопал по плечу:

— День рождения в юности — вера в счастливое будущее, в зрелые годы — воспоминание обо всем хорошем, что было в жизни, и надежда, что лучшее еще впереди. Хочу пожелать тебе веры и надежды. Будь оптимистом, ты же дрался на фронте, а на госпитальной койке сник. Дерись за жизнь и сейчас!

Поднял стакан с водой, чокнулся со стаканом Ивана и выпил, добавив:

— Русские никогда не сдаются!

Вечером, когда Людмила пришла на дежурство, Иван взял ее руку в свою, извинился за грубость и поблагодарил за внимание. Снова захотелось жить, любить, мечтать. При первой же возможности попросил врача разрешить встать с постели. Первые пробы его расстроили: голова кружилась, сил в здоровой ноге совсем не было. Иван тут же повалился в кровать. Но он стискивал зубы и повторял все снова и снова. Старался подольше сидеть, а не лежать. Потом ему принесли костыли, и начались активные тренировки. Дмитрий, рослый белокурый парень, помогал ему делать первые шаги на костылях, потом еще и еще. Они подружились. Дмитрий рассказывал о своих боях, о доме, о невесте, потом поведал о том последнем бое, когда задрожала земля, от стен окопа полетели пласты земли и хлынула из носа и ушей кровь. Больше он ничего не помнил. Слава Богу, силы начали возвращаться потихоньку.

Теперь Иван не тратил времени зря, а учился ходить. За окнами госпиталя еще стояла зима, слышался дальний звон церковного колокола. Это был медово-тягучий звук, и Ивану нестерпимо захотелось пройти по снегу, ощутить себя частичей мирной жизни, увидеть ту церковь и все вокруг.

Но прошло немало времени, прежде чем врач разрешил выходить на свежий воздух. Сначала Иван задохнулся, таким неожиданно холодным был воздух, по спине пробежал озноб. Однако вскоре он справился с этой проблемой и попробовал идти по снегу. Нога тут же подвернулась, и устоял он только благодаря костылям. По гладкому полу госпиталя ходить было гораздо легче. Но Ивана радовал снег, морозный воздух и уже то, что он на своих ногах, неважно пока на каких. Через несколько дней шофер госпиталя по пути за продуктами прокатил Ивана по улицам Вологды. Он увидел деревянные дома, украшенные резьбой на любой вкус, Спасо-Прилуцкий монастырь с крепкими каменными стенами. А больше всего Ивана поразил знаменитый Софийский собор XVI — XIX веков. Глубокий снег в предсумеречное время казался синим, а собор на его фоне выглядел розовато-белым, словно сказочным. У Ивана дух захватило — вот она, история! Прикованный к постели, он ненавидел и госпиталь, и этот город. А сейчас вдруг почувствовал расположение к нему и интерес. Хотелось петь. Мысли о доме он гнал прочь, так как было стыдно даже перед собой за совершенную глупость, он прекрасно представлял, каково будет Катюшке и ее родителям по получении такого письма. А внутренний голос упрямо твердил: посмотрим.

В начале апреля Людмила куда-то исчезла. От медсестер Иван узнал, что она получила похоронку на мужа. Чуткий к горю чужих, а тем более знакомых, он решил выразить ей соболезнование. Узнал у подруги Людмилы адрес и заковылялся по незнакомой тропинке к ее дому. Нашел без труда. Это был небольшой домик с резными ставнями и крылечком, с зеленой калиткой между двух берез. Потоптался, поскрипывая костылями, и постучал в дверь.

Людмила ахнула, увидев Ивана, лицо зарделось.

— Ты? О Господи!.. — и села на табуретку. — Как ты дошел? — Спихнув Ивана на широкий стул, обтянутый черной кожей, помогла снять шинель.

В комнате было тепло, от печки еще исходил дровяной дух. На стене тикали ходики. Людмила поставила чайник на печь, собрала на стол небогатое угощение, достала из шкафчика пузырек спиртного, разлила по стопкам:

— Помянем Вадима, пусть земля ему будет пухом, — и выпила. Налила еще раз и опять выпила, отводя заплаканные глаза.

Посидели молча, потом она быстро, словно боялась, что

ее прервут, стала говорить, каким хорошим и добрым человеком был ее Вадим, каким внимательным мужем и заботливым отцом. Она, конечно, и мизинца его не стоит. Всегда чего-то искала в жизни, мало любила его и ценила. Только в разлуке поняла, что жила неверно — и вот нет его.

— Как же мне попросить у него прощения? — произнесла она с болью и залилась горькими слезами, от рыданий плечи ее содрогались, слезы лились ручьем. Иван не мешал: пусть выплачется, легче станет. Потом тихонько погладил ее по голове, по плечам. Людмила резко выпрямилась и вдруг обвила его шею руками, стала страстно целовать его лицо, глаза, уши, губы. Кровь прихлынула к голове Ивана, по телу пробежала дикая волна забытой страсти и смыла на своем пути все препоны...

Пришел он в себя, когда было уже поздно. Людмила тихо лежала рядом, успокоенная и молчаливая. Иван оделся, не поднимая глаз, коря себя за случившееся, вышел за дверь, осторожно прикрыв ее.

А в госпитале его ждало письмо из дома. Катюшка, милая Катюшка писала, что любит, всегда ждет, не важно, с ногами или без ног, пусть только скорее возвращается в их дом, где подрастает их сынишка.

Лицо горело от стыда: как мог усомниться в ней, как мог изменить ей? И весь последующий месяц он терзался мыслями раскаяния, знал, что прощения ему нет и никогда не будет.

Николай Михайлович видел резкую перемену в поведении Ивана и как-то во время прогулки попросил:

— Расскажи мне все. Я, может быть, и не смогу тебе помочь, но каждому в такой момент нужно, чтобы его выслушали.

Закурили. Помолчали.

— Ты переживаешь, что ранен? Но у тебя есть любимая жена, сам же говорил. С хорошей женой можно прожить долго и не заметить прожитых лет. — Николай Михайлович выпустил струю дыма и долго наблюдал, как она медленно расходится и исчезает в воздухе.

— Я больше не вернусь к жене, — выдавил из себя Иван.

— Она полюбила другого?

— Нет. Она как раз ни при чем. Это я предал ее.

Голос Ивана выдавал его волнение.

— Расскажи-ка мне все, — участливо и требовательно повторил Николай Михайлович. — Каждому в такой момент нелегко.

Услышав слово «каждому», Иван почувствовал, как его личное горе превратилось во всеобщее, словно все люди обречены на страдания от любви, и Иван без утайки поведал Николаю Михайловичу все-все.

— Не убивайся. Хорошо, что ты понял это все сам. У тебя есть надежда, что будешь понят и прощен. Дом — это то место, где тебя прощают и понимают. Часто случается, что настоящую силу любви открываешь, когда переспишь с другой женщиной.

Перед майскими праздниками Ивана осмотрела целая группа врачей, и он был комиссован. На другой день его в сопровождении медработницы отправили поездом домой.

В конце марта пришло долгожданное письмо от Ивана. Катюшка с Шуркой были в телятнике. Только что корова Зорька принесла бычка, и они, радуясь приплоду, быстро переделали всю работу и сейчас собирались домой. Федька работал поблизости, в МТС. Он возился с ремонтом старенького трактора, когда увидел почтальоншу с письмом для Кати. За месяцы войны он вытянулся, повзрослел и с нетерпением ждал первого парохода, чтобы отправиться на фронт. А вести приходили тяжелые. В районной газете читал, что фашисты зверствуют, глумятся над населением городов, сел, деревень, бьют прикладами, топчут сапогами, выламывают пальцы и зубы, разлучают матерей с детьми. Федька не находил оправдания этой жестокости. С детства видел доброту, заботу со стороны всех, кто его окружал. А во время войны люди делились друг с другом последним и все что могли отдавали фронту. После того, как мать слегла, получив извещение о пропаже Миши, Федька с тревогой думал о братьях и сестрах. Поэтому, увидев письмо для Кати, он решил быть рядом

с ней в эту минуту. Взяв письмо, он направился к телятнику. Катюшка давно ждала весточки от мужа, но не запрыгала от радости, как это было бы в мирное время, а осторожно взяла солдатский треугольник из рук брата, чуть помедлила и решительно развернула.

«...Суровые дни настали для нашей страны. Враг почти непрерывно ведет огонь по нашим позициям, в занятых районах чинит кровавые расправы. Это изверг. Но для старшины Ивана П. война закончилась. Остался без ног и руки. Разве я нужен тебе с культями? Не унывай. В такой серьезный момент нельзя унывать. У тебя еще будет счастье...»

Не веря своим глазам, Катюшка еще и еще раз пробежала глазами по строчкам. Ни одного ласкового слова. Может, не Иван прислал это письмо? Какая-то ошибка? Почерк его. Еще раз перечитала адрес, все сходится. Брат и сестра осторожно спросили, что случилось, но не получили ответа. Катюшка, бледная, с глазами полными слез, не выпуская из рук письма, смотрела куда-то вдаль, словно пыталась разглядеть в той далекой дали своего Ивана. Яркое весеннее солнце и белый снег слепили так, что глазам было больно. Федор и Шурка медленно пошли от телятника, проваливаясь в подтаявшем снегу. Они поняли, что Катюшке надо побыть одной.

Она перечитала письмо медленно, вслух, словно для больного старого человека. Сухие казенные слова никак не вязались с ярким солнцем, легким дуновением ветерка и началом пробуждения природы. Она представила мужа куклой в бинтах на госпитальной кровати, и сердце ее сжалось. Конечно, Иван страдает, ему больно и одиноко, и он не хочет стать ей обузой из гордости, потому и написал такое письмо. Боже мой, да разве можно считать обузой мужа или жену, ведь, обмениваясь обручальными колечками, они дают клятву верности в болезни и здравии, в горе и радости. Если они любят друг друга. Если бережно хранят в памяти лучшие мгновения своей жизни, выделив их из тысячи других, потому что это были мгновения их счастья. И в сыночке Генке течет кровь обоих, отца и матери.

В тот же вечер Катюшка вышла навстречу судьбе, написав мужу нежное письмо, полное любви и желания быть с ним, пусть безногим и безруким.

Встреча парохода — всегда радостное событие для живущих у реки. А сегодня ждали фронтовика, и каждая женщина робко надеялась, что муж, сын или брат неожиданно, без предупреждения, живой вернется домой. Все молча, во все глаза, смотрели на приближающуюся громаду парохода.

Катюшка держала сына за руку, искала глазами среди пассажиров на палубе дорогое ей лицо, а слух машинально улавливал абсолютно все: неожиданный, как всегда, бас паровозного гудка, звон якорной цепи, затихающую, словно биение сердца, работу машины, звук выдвигаемого трапа.

И вдруг она увидела Ивана. На своих ногах! Он стоял, широко раздвинув ноги, опираясь на костыли.

Катюшка провела ладонью по глазам, словно проверяя зрение: сомнений нет, Иван машет левой рукой.

— Господи, какое чудо, и руки, и ноги целы, — прошептала Катюшка сама себе и кинулась к трапу.

Боясь причинить мужу боль, она осторожно припала головой к его груди, зажмурился от счастья глаза. Иван приобнял Катюшку как-то неловко, с виноватой улыбкой, а она, почувствовав что-то неладное, тут же отпрянула.

Уже через час в избу набилось полно баб и ребятишек. Всем хотелось узнать, как там, на фронте. Каждая надеялась узнать что-нибудь о своем муже.

Иван сидел на передней лавке под образами, держа на коленях сына. Рядом — Катюшка. Отец все поглядывал на мальчика, узнавая в нем свои и Катини черты, целовал его пальчики, пухленькие щечки. Отвечал на вопросы сельчан.

Раньше по праздникам шумел-гулял ждановский дом, хозяйева умели угостить гостей. После пляски опять садились за стол, ели, пили. Кто-нибудь затягивал песню, ее подхватывали все, так, что огонь в лампе дрожал. А теперь гуляли скромно, не получалось веселья, каждой семье коснулась война. Больше говорили...



Со дня приезда мужа жизнь для Катюшки стала пыткой. Иван внешне вел себя ровно. Решал кое-какие хозяйственные вопросы, вел мужские разговоры о жизни, о войне, выполнял самую немудреную работу по дому. А больше отдыхал, так как при каждом неосторожном шаге нога подворачивалась, и Иван падал навзничь, если не успевал опереться на костыли. Катя понимала страдания мужа, видела, что ему трудно чувствовать себя беспомощным, и сначала объясняла перемену в его поведении именно этим. Но время шло, а он не проявлял никаких знаков внимания к жене, был даже более сух, чем бывал в отношении к сестре. Каждое утро Катя делала перевязку ран мужа, теперь уже ловко, и с улыбкой вспоминала свои первые перевязки, свой страх перед кровью. Теперь она стирала окровавленные бинты, кипятила их, проглаживала горячим утюгом. А потом каждой клеточкой испытывала огромную любовь к дорогому ей человеку, касаясь его тела пальцами рук. Над деревней плыли сладчайшие запахи спелого лета с утра и до поздней ночи. Они полонили, оплетали с головы до пят, волновали молодую кровь. А Иван словно окаменел. После ужина он уходил в дальний конец огорода, к бане, долго сидел на вкопанной им еще до войны в землю скамейке, наблюдая мерцание огней бакенов на реке и догорание дня. Спать укладывался в бане.

Деревенские молодки завидовали Кате — муж вернулся домой живехоньким. А ей приходилось кусать губы, чтобы не разреветься у всех на глазах, улыбкой подбадривать каждую, как раньше, а по ночам реветь белугой от одиночества, от боли, которая впивается в тело, к которой нельзя привыкнуть. Уткнувшись в подушку, заливалась слезами горечи и жалости к себе в этой ночной пустоте. И только когда засыпала, приходило облегчение. А все, что скопилось в ней за время одиночества — нежность, ласку, заботу и верность, — Катюшка отдавала сынишке.

Однажды под вечер она забежала к подруге. Та с тревогой взглянула на Катю, в грустных глазах которой плескалась невыносимая боль, — и вдруг сорвалась:

— Он наверняка нашел себе там подругу. А ты, как дурочка, письма ждала. Обманывал он тебя, подлый. Все они такие, мужики. За каждой юбкой волочатся.

Катюшка побледнела. В висках застучало... Он не любил ее! Значит, никогда не любил ее, если завел себе подругу! Почему? Как он мог? Обмануть ее ожидания? А она считала его самым надежным... Кровь прилила к лицу, стало жарко, казалось, она вот-вот задохнется от бессилия и боли, которые стискивали ее грудь.

— Все мужики — жеребцы, не удержишь от соблазна, —

продолжала меж тем Шурка. — Даже в горький для страны час у них одно на уме.

— Замолчи... Не говори мне больше ничего, — выдавила из себя Катюшка и выбежала за дверь.

Ветер дул в пылающее лицо Кати, а она все ускоряла шаги, сама не ведая, куда несут ее ноги.

Очутившись у своего камня, она упала на него плашмя и разразилась рыданиями. Жизнь не представляла больше ценности, все померкло. Хотелось умереть, исчезнуть совсем. Солнце садилось. Закат разгорался, как пожар, и казалось, что волны дымятся, накатываясь на раскаленную докрасна гальку, — это заметила Катя, когда подняла голову на звук чьих-то осторожных шагов по берегу. Некоторое время сидела не оглядываясь. Катюшка быстро умылась, Потом, зачерпнув ладонями воду из реки, ополоснула заплаканное лицо и выпрямилась. Учитель подошел, молча постоял у воды, шагнул на камень и сел рядом с молодой женщиной. Воздух начинал густеть, от реки повеяло прохладой.

О причине ее страданий знал только он, только ему доверил Иван свою тайну — в поиске не утешения, нет, и не оправдания своего поступка, а из желания опереться на мудрость человека, лучше, чем он, понимавшего жизнь.

Чувства приходят к нам внезапно. Мы интуитивно угадываем будущие отношения с понравившимся нам человеком, души наши трепещут, но мы понимаем и то, что обиды не проходят в сердце до конца. Иван ненавидел низость, неверность — и не знал теперь, как помочь себе. Вольные ветры вдали от фронта, сочные высокие травы, нежный, влюбленный взгляд жены, напевы гармошки вечерами — самое время было радоваться жизни, забыть ужасы войны, к тому же Катюшка никогда не узнала бы об измене мужа. Но Иван не мог простить сам себя, и душа его была беззащитна.

— Дружок, послушай, — обратился учитель к Катюшке, — я понимаю, что незваный гость хуже дождя во время сенокоса, но я хочу сказать одну вещь. Знаю, как тяжело тебе, как тяжело Ивану, но постарайся понять его и простить. Неумение и нежелание понять приводят к трагическому концу. Ты ведь сибирячка. А сибиряки крепкие люди, они умеют побеждать трудности. У тебя получится тоже.

Катюшка смотрела на учителя опухшими от слез глазами, верила каждому слову этого человека и постепенно приходила в себя. А дома, еще и еще раз проанализировав поведение мужа, она твердо решила последовать совету учителя — успокоиться, не торопить время, не поддаваться отчаянию, все будет хорошо.

## Надежда Губанова

Надежда Губанова — учитель Новгородской школы Свободненского района, победитель районного конкурса «Учитель года-2002». В 2001 году стала членом Свободненского литобъединения.



### ОСЕННИЕ БУСЫ

Когда кричат печально гуси  
И на крыле тепло уносят,  
Я примеряю чудо-бусы —  
Их на крыльцо бросает осень.  
На тонкой нити паутины,  
Что отливает серебром,  
Как яхонт, ягоды рябины,  
Горит шиповник янтарем.  
Кроваво-красная калина  
Мерцает жарко, как рубины,  
Как свечи, пламенем неярким  
Пылают ягоды боярки.  
Гласит народное поверье,  
Что охраняет ожерелье  
От сглаза, порчи и напасти.  
Владелец их узнает счастье.

### САРАНКА

Я из дома уйду  
Завтра спозаранку.  
В этот день на лугу  
Зацветут саранки.  
На лугу правит бал  
Разноцвет амурский.  
Королевою там  
Лилия даурская.  
Иван-чай — кавалер —  
Вышел на полянку,  
Лучше всех королев  
Для него саранка.  
Я на луг не шагну —  
Бал боюсь нарушить.  
На тропе постою,  
Успокою душу.



Анна Дуброва преподает русский язык и литературу в школе № 8 города Свободного.

\*\*\*

Будет жизнь нас испытывать строго,  
Иногда загонять в тупик.  
Всяк пойдет лишь своею дорогой,  
Проживет свой назначенный миг.  
У природы такие мы разные:  
Волен кто, кто не волен понять,  
Что, счастливые и несчастные,  
По земле будем рядом шагать.  
И мудрец, и глупец в этой жизни  
Проживут и паденье, и взлет.  
Говорят: жить душа остается.  
Остается? Так в новый полет.  
И как прежде — кому что назначено.  
Выбираем мы путь себе.  
И за прежнее, если не плачено,  
Рассчитаемся в новой судьбе.

## Игорь Колесников

\*\*\*

Мне жизнь всего лишь раз была дана,  
Но не могу себе найти я места.  
Ведь, как и я, вся мечется страна,  
Уже не первой свежести невеста...  
Не жду уже подарков от судьбы,  
А полстраны и жить уже не в силах.  
И только добавляются столбы  
На безымянных, брошенных могилах.



Вера Дмитриевна Золотарева по образованию — музыкальный работник. Ее стихи печатались в «Свободненском вестнике», выходили отдельными книжками.

\*\*\*

Дал ты мне, Господи, душу ранимую,  
Сердце, открытое злу и добру,  
Неутолимую, неистребимую  
Тягу к перу.  
Счастлива я, что живу бесприданницей,  
Всюду со мной мой незримый багаж.  
Все растеряю. Лишь верным останется  
Мой карандаш.

## СФИНКС

Стоит и смотрит сфинкс загадочный  
И отражается в Неве.  
Река волной играет сказочной...  
Тебе не знать, не знать и мне,  
Какие ветры сны навеяли  
Для этих каменных мозгов.  
А он стоит себе уверенно —  
За жизнь-то не платить долгов.  
Стоит в веках и ухмыляется  
И постоянно на виду,  
В волне чухонской отражается —  
Имейте, мол, меня в виду.  
Не знал волнений и терзаний,  
Загадкой был всегда для всех,  
Душа не тронута страданием,  
И на губах гранитный смех.



Игорь Колесников по профессии парашютист-пожарник. Член городского литобъединения.

## Вера Золотарева

\*\*\*

Утром дышится свободней,  
Боль утихла, притомилась.  
Жить спеши, пока сегодня  
Во вчера не превратилось.

Береги свой ритм походный,  
Эту малость, эту милость.  
Жить спеши, пока сегодня  
Во вчера не превратилось.

Пусть кому-то не угодна  
Строчка — вот уже пробилась.  
Жить спеши, пока сегодня  
Во вчера не превратилось.

Что там, завтра? Труд бесплодный,  
Может быть, души бескрылость...  
Жить спеши, пока сегодня  
Во вчера не превратилось.



Евгений Хомяков — преподаватель средней школы с. Сычевка Свободненского района. В городском литобъединении — с 1970-х годов.

\*\*\*

Мое село, ты без огня сгораешь.  
Твой с каждым днем заметнее урон.  
Хоромы исчезают и сараи,  
И совесть к воровству идет в поклон.

По бревнышкам, кирпичикам и слегам  
Все «наше» превращается в «мое»,  
И в тогу делового человека  
Бессовестное рядится жулье.

Гляжу вокруг, и кажется мне, будто  
Средь моря, где за тыщу миль земля,  
Возводятся на палубе каюты  
Из досок от обшивки корабля.

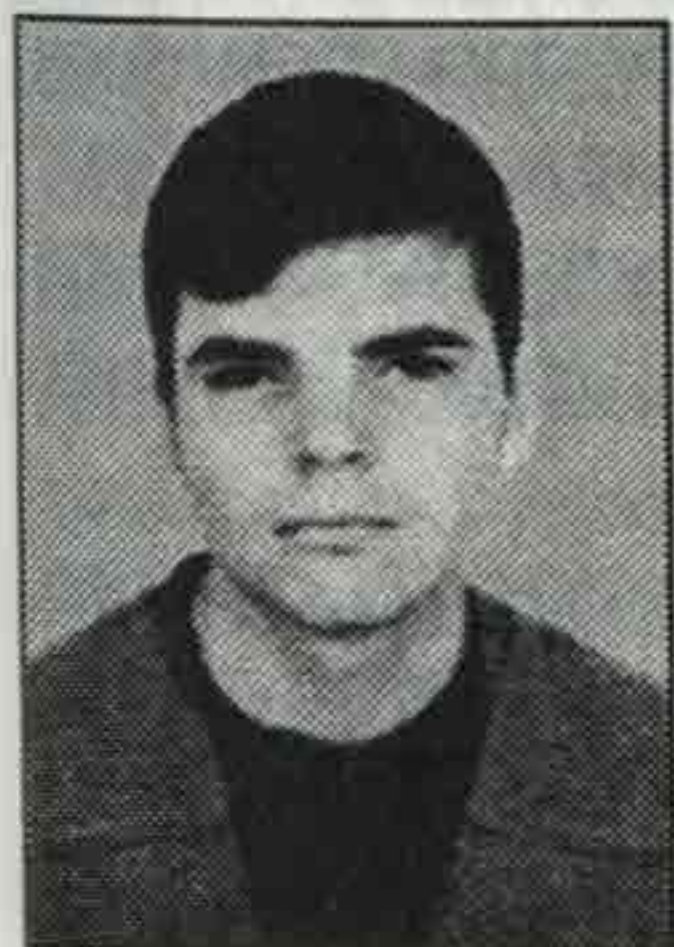
\*\*\*

Сад осенний пуст, прозрачен,  
Как звенящее стекло.  
Лето в листьях желтых прячет  
От зимы свое тепло.  
Лист резной — рассказ о лете —  
Спрячу в книжке записной.  
По нему, как по билету,  
В летний день схожу зимой.

## Ольга Кривошеина

\*\*\*

Протоптанные стежки,  
Поникшие цветы.  
Вечерние дорожки.  
Неясные мечты.  
С небес звезда упала —  
Желанье загадай,  
На первое свиданье  
Смотри не опоздай.



Родился в 1986 г. в пос. Углегорск Свободненского района. Студент БГПУ.

### ЧЕЛОВЕКУ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ

Компьютерной эре  
За крохотный срок  
Открыты все двери  
В наш скромный мирок.

Жизнь стала отныне  
Простая совсем —  
Всучили машине  
Лавину проблем.

## Евгений Хомяков

\*\*

Луна, как плуг блестящий  
В небесной борозде.  
Мы еле ноги тащим,  
Устав за долгий день.  
А звезды — будто зерна  
Набухшие горят.  
На этом небе черном  
Из них взойдет заря.

### КОРОЛЕВА ВЫПУСКНОГО БАЛА

Королева выпускного бала —  
Белый бант и черные глаза —  
В новый вальс пускается устало,  
Снова не решившись отказать.  
Королева выпускного бала  
Под прицелом взоров всех мастей...  
В штиле ограниченного зала —  
Буря безграничная страстей.  
Королева выпускного бала.  
Как проклятье, как порочный круг.  
Белых каблучков два тонких жала  
Колют не паркет — сердца подруг!  
Королева выпускного бала.  
Треволнения сердцу и уму.  
Милость одному — другим опала.  
Но пока неясно, что — кому.



Первые стихи Ольги Кривошеиной были напечатаны в газете «БАМ» под редакцией известной бамовской поэтессы Тамары Шульги. С 1996 года Ольга живет в Свободном.

## Владимир Пушкарев

Пусть мощное тело  
Гнет спину горбом,  
А нам надоело,  
А мы отдохнем.

Мозги из металла  
Пусть блещут умом,  
А нам не пристало,  
А мы отдохнем.

Так робот хваленый  
К сему под конец  
Людьми поднесенный  
Наденет венец.

И с этим придут  
Совсем новый век.  
Да нужен ли будет  
Тогда человек?

Вера Александровна Овчар опубликовала книжку «Капитанская внучка» (Свободный, 2001). Это сборник воспоминаний, очерков, рассказов. Заглавие сборника вытекает из очерка «Мой дед», где рассказывает о судьбе штабс-капитана Омского кадетского корпуса А. И. Кудрявцеве, репрессированном и расстрелянном в 1938 году. Центральное место в книжке занимают воспоминания давних лет под общим заглавием «Детство в Порт-Артуре». Часть из них мы здесь публикуем.



## ДЕТСТВО В ПОРТ-АРТУРЕ

### МЫ ЕДЕМ В ПОРТ-АРТУР

Наверно, это было ранней весной. В нашей маленькой комнатке на улице Пограничной во Владивостоке сидел на стуле возле окна человек в военной форме и рассказывал очень интересные вещи. Говорил он с моей мамой, но иногда обращался ко мне, и адресованное мне вызывало у меня и восторг, и сомнение, и большое желание верить его словам, и нетерпение: «Скорее бы все это осуществилось!». Служил этот военный в Порт-Артуре на Квантунском полуострове. Он привез от отца письмо. Шел 1946 год, время тяжелое и полуголодное. Фрукты — яблоки и мандарины — связаны в основном с новогодней елкой. Игрушки самодельные. У меня был большой деревянный грузовик, сделанный одним из умельцев столярного цеха в театре, где мама работала портнихой в костюмерном цехе. Куклы, клоуны сшиты маминими руками, не говоря об одежде для них. А тут этот человек говорил, я буду иметь все: куклы настоящие, даже велосипед, а еще у нас будут разные-разные фрукты и обязательно каждый день. Я смотрела в окно, выходящее на крышу полуподвального этажа, видела кусочек внутреннего двора и представляла себя с рулем велосипеда в руках, но почему-то в этом же самом дворе.

Сборов и посадки на пароход я не помню. Название парохода я запомнила — «Гоголь», но почему-то не уверена в правильности этого. Пассажиров было довольно много, люди сидели в трюмах. Мама рассказывала, что отец ходил в штатском, ему было неудобно перед более высокими чинами. Полковники со своими семьями вынуждены были ехать в трюме, а он, простой лейтенант, занимал замечательную каюту, где даже не качало, и еще была невиданная роскошь — раковина с блестящими кранами холодной и горячей воды. Потом в нашей уютной каюте появилась женщина с двумя детьми. Мальчик был примерно моего возраста, а девочка младше. Звали ее Лелей, она с трудом ходила от последствий укуса энцефалитного клеща. Ее постоянно тошнило, и чудесная раковина потеряла свою привлекательность. Мне очень жаль, что я не помню фамилии этой семьи, впоследствии мои родители поддерживали с ними приятельские отношения, но где-то дороги разошлись, и связь потерялась. Погода во время плавания была отличной, дети играли на палубе, с восторгом прыгали под искрящимися струями воды, когда матросы мыли палубу. Путь корабля проходил вокруг Кореи. Как-то вокруг нашего корабля столпились длинные узкие лодки, совсем не похожие на широкие, с круглыми бортами, шлюпки нашего корабля. В лодках сидели люди с желтыми лицами в широких соломенных шляпах. Они продавали фрукты. Детское внимание рассеянное, и я не помню, купил ли их кто-нибудь.

### КОРПУСА

Как мы высадились на берег в Порт-Артуре, память не сохранила, но знаю, нас поселили, как и очень многие семьи, в корпуса. Так назывались длинные здания, стоящие параллельно друг другу вдоль нескольких гряд сопки. Корпуса были соединены одним широким коридором, пол которого был на-

клонным, и мы зимой катались по нему сверху вниз на санках, так как доски пола почему-то были покрыты слоем тонкого скользкого льда. Если мне не изменяет память, в этих зданиях был у японцев авиационный институт, и при захвате его наши солдаты выбрасывали дорогое оборудование в окна. Мы находили под окнами и вокруг зданий много всяких трофеев: то почти целый микроскоп, то какие-то коробочки с красными и белыми кнопками. Но однажды мы, ребята, перелезли через какой-то дощатый забор и попали в царство странных больших ламп. Они были чуть ли не одного с нами роста, с множеством извилин. Стыдно признаться в том, что мы били эти лампы, кидая в них камни, лампы взрывались и разлетались на мелкие осколки. Нас выгнали, но мы переколотили почти все эти огромные лампы-страшилища.

Жизнь в корпусах была очень некомфортной, холодные огромные комнаты с высокими потолками. Сначала в одной большой секции поселили несколько семей, и мы все — и взрослые, и дети — мыли деревянные некрашенные полы. В корпусах было много детей, я запомнила фамилии двух мальчишек примерно моего возраста: Игорь Латышев и Генка Шилов. В школу мы еще не ходили. Целыми днями играли в коридорах корпусов и на склонах сопки среди одичавших яблонь. Когда эти яблони успели одичать, если прошло не больше года, как японские садовники или китайцы, работающие на японцев, перестали о них заботиться, на этот вопрос трудно ответить. Но плоды были мелкие и зеленые. Может, просто детвора успевала объесть их, не давая им созреть. Я помню вкус этих кислых яблочек, довольно маленьких, так как они не успевали вырасти. Одна девочка ела эту зелень с особенным аппетитом и приговаривала: «Моя мама говорит, у меня сладостей много, а кислотностей мало». Наверно, ее мама имела в виду пониженную кислотность желудка девочки. Часть яблонь беспощадно вырубалась на дрова и нашими жителями корпусов, и китайцами. Японцы обогревали свои помещения электричеством, наши же ставили в комнатах буржуйки. Все годы в наших домах нас обогревали эти железные печки с трубами под потолком, протянутыми в форточку. На этих печках готовили также и еду.

Много лет прошло с тех пор, и многие картины прошлого стерлись из памяти. Только четыре фотографии запечатлели тот период жизни. Мне 6 лет, но мама учит меня писать буквы, я старательно вывожу палочки, крючки и целые буквы. На снимке видны плоды моих усилий. Мама сидит рядом. Я похожа на первоклассницу, но не в школьной форме, а в рубашке, перешитой из папиной гимнастерки, галстук, очевидно, тоже уменьшенная копия папиного. Интересно, тогда не было военной формы с галстуком, мама предвосхитила современную форму. На столе пенал, я сосредоточена, а мама наклонилась ко мне, сейчас я понимаю, какой любовью ко мне наполнен мамин взгляд. Как ей хотелось выработать у своей дочери хороший почерк. Она всегда страдала от отсутствия такого у нее самой. Она не училась в школе, с 13 лет работала, пошла в вечернюю и сразу сдала экстерном за семилетку. На другом снимке мы с папой сидим на изогнутом стволе одной из тех самых яблонь. Ветки без листьев. Южная зима, и снега не видно. Папа в шинели и армейской зимней шапке, даже звезда отчетливо видна. Я в цигейковой шубке, шапка

— острым капюшончиком и муфточка из той же цигейки. Руки спрятаны в муфточку, голова немного наклонилась, и тень прикрывает глаза, хорошо освещены солнышком носик и левая щека, но не скрыть улыбку счастливого ребенка, сидящего на коленях у своего папки.

На Квантунском полуострове было много пленных японцев. В корпусах они встречались чаще, так как они делали ремонт разрушенных частей зданий. Они иногда были без конвоя, подчинялись своим командирам, считались очень дисциплинированными. Их дисциплинированность была фантастичной. Я слышала, как говорили взрослые об отправке пленных японцев в свою страну. Подошел пароход, японцы выстроились в колонну по одному и по команде своих командиров спокойно, без толкучки, один за другим бегом погрузились на корабль. На корабле их размещением руководили другие японские командиры. Когда ответственный за посадку наш офицер доложил вышестоящему начальнику о завершении посадки, тот сразу не поверил. Но факт подтвердился. Вся операция заняла во много раз меньше отведенного времени на погрузку. Но это было позднее, а тогда, встречаясь с этими людьми, странно одетыми и с совершенно другими лицами и фигурами, мы старались быть от них подальше. Но однажды, катаясь на санках и спустившись вниз к отдаленному нижнему корпусу, мы вдруг обнаружили себя в окружении этих странных фигур япошек, как мы их звали, для нас они были такие же ненавистные враги, как и фрицы. Встреча была неожиданна, мы вскочили с санок и огляделись, мы искали взглядом безопасное место для отступления. Наши глаза встретились. Мы и раньше иногда замечали выражение глаз пленных, обычно у них были усталые, невеселые, но совсем не враждебные взгляды. Сейчас мы чувствовали злость, какую-то свирепость, нам даже показалось, что блеснуло лезвие кривого ножа. Не помня себя от страха, мы побежали на звук русской речи. По дороге нам встречались другие японцы, но от страха нам мерещился среди них один, тот самый страшный, у которого, нам показалось, был японский кривой нож. Мы долго вспоминали об этом случае. Что по этому поводу говорили взрослые, не помню.

## НЕПРИВЫЧНЫЙ КЛИМАТ

У мамы и у меня появились чирьи. У мамы на боку, у меня же прямо над бровью. Нестерпимо болел глаз. Мама повела меня к врачу, тот стал настаивать на срочном вскрытии нарыва. Мама была категорически против. Обычно мягкая и уступчивая, в этом же случае она проявила такую убежденность в предложенном ею методе лечения, что врач спросил: «Вы медицинский работник?» И получил ответ: «Для своего ребенка я врач». Ей дали ихтиоловую мазь, йод и бинты (в то время не было аптеки, да и потом я не помню никакой аптеки, все необходимые лекарства выдавались лечащим врачом). Мама постоянно меняла повязку, прикладывая к месту нарыва свежую мазь, и очень скоро врач сделал маме комплимент: «А вы, мамочка, молодец! Нарыв прорвался благополучно, и шрама не будет у девочки». Так оно и было, при всем желании не могу найти следы того ужасного нарыва.

На этом привыкание к жаркому и влажному климату Квантунского полуострова не закончилось. С наступлением тепла нас кусали сотни комаров, среди них были и малярийные, и энцефалитные. Нам постоянно делали прививки против энцефалита, малярии, чумы, холеры и прочие. Места укусов воспалялись, гноились, покрывались коростами, от которых могли остаться следы, как от оспы. В школу нельзя было идти с болячками на ногах, надо было непременно надевать чулки, а потом дома с трудом снимать, отдирая коросты и замедляя заживление. Дети ходили разрисованные зеленкой или марганцовкой. Но через пару лет кожа детская привыкала, и можно было легко узнать по «разрисовке» впервые приехавших, свежих людей. Да и загар у «старичков» был особый. Когда мама привела меня в ленинградскую школу, медсестра с удивлением спросила: «Вы откуда приехали?» Светловолосые, глаза серые, на людей Востока не похожи — и такой желто-бронзовый загар.

Но если говорить о загаре, то невозможно не сказать об

особом оттенке загара у наших русских эмигрантов, живших в Дайрэне. У них он был очень красивый, золотистый, очень нежный. Поговаривали взрослые, что они держат в секрете тайну такого красивого загара. Не знаю, была ли в том доля истины, просто отношение к эмигрантам было не очень доброжелательное, общаться с ними не поощрялось. Даже китайцы говорили о них с пренебрежением: «У тех русских нет Москвы». А про жителей советского гарнизона: «У этих русских есть Москва».

## АРЧО И ВАН

Удивляли нас китайки с очень маленькими ножками. Они всегда ходили в мягких матерчатых тапочках, похожих на пирожки. Шли они очень медленно и покачиваясь. В центре Порт-Артура в небольшом особняке был Исторический музей. Возле входа в дом застыли гранитные статуи священных китайских собак, больше похожих на львов. В музее среди всяких других экспонатов были древние мумии. Страшно было смотреть на изуродованные ступни ног женских мумий. Вот, значит, как выглядели ножки этих китайок на самом деле — без тапочек в форме «пирожков».

К нам приходила одна такая женщина средних лет. Она забирала белье для стирки. Носила белье в белом узле. Иногда вместо нее приходил ее сын, кажется, его звали Арчо, и говорил: «Сегодня ветра большой. Она не может ходи. Нога шибко маленькой». Этот Арчо часто помогал моей маме приносить продукты из магазина-склада, где мы получали паек.

Однажды мама отправила меня получать что-то очень объемное и тяжелое. Она объяснила, где найти Арчо. Я пошла со своей подружкой. Весело болтая о своих детских интересах, мы подошли к складу и, не узнав, есть ли тот нужный товар, сразу отыскали Арчо и попросили его помочь. Он пошел с нами к прилавку. И — о ужас! Выданные мне продукты уместились на самом донышке сетки. Я молчала, не знала что сказать, но Арчо не моргнув глазом взял эту сетку и пошел впереди нас. Мы шли позади, мне было и неловко, и стыдно, и я боялась упреков своей мамы. Она расплатилась с Арчо, меня поругала. Ее слова я не помню, а вот то чувство горячего стыда и неловкости, какое я испытывала, следуя за мальчиком, живо и сегодня.

Заглаживает это неприятное чувство только воспоминание о встрече с Арчо в одном из ресторанов на железной дороге. Мы покидали Квантунский полуостров навсегда. Ехали поездом. Поезда подолгу стояли в то время в крупных городах, а иногда и вовсе на каких-то полустанках и разъездах, ожидая прохода встречного поезда. И вот в одном ресторане к нам подошел высокий юноша-официант в черном костюме, в галстучке «бабочка». Он улыбнулся неожиданно, и мы узнали в этом довольно респектабельном юноше нашего Арчо. Он был очень доволен своей работой и рад встрече с нами.

Говоря об Арчо, вспоминаю другого китайского мальчика. Он был невысокого роста, но намного старше нас. Имя у него было очень типичное — Ван. В то время под влиянием детского фильма «Тимур и его команда» мы все устраивали свои штабы. Это было уже в Дзинь Чжоу. Один из наших штабов располагался в каменном сарае возле дома Светы Картошкиной. На юге темнеет рано. В одно такое уже темное, но совсем не позднее время мы зашли в свой штаб. Там было темно, но мы почувствовали, что кто-то есть в углу. Конечно, мы испугались, но медлили убежать, стараясь разглядеть, кто же находится рядом. Нас было трое или четверо и, наверное, поэтому мы не убежали. И тотчас же услышали: «Твоя моя не бойся! Есть свечочка?» К этому времени наши глаза привыкли к полумраку, и мы увидели подростка в грязных лохмотьях, довольно чумазого, но с приятным выражением лица, умным взглядом не очень узких глаз. Мы удивились и показали на Свету. Он замотал головой и поправил: «Свечочка надо гори». До нас дошло, ему нужна свечка. Конечно, мы готовы были принести ему и свечку, и поесть, натаскали ему разной еды. Наша игра в «тимуровцев» приобрела особый смысл.

Но однажды наш подопечный исчез. Первое время мы часто о нем вспоминали, но потом забыли. И вот однажды с нами здороваются молодой китаец в традиционном костюме

рабочего, синего или желтого цвета. Так были одеты тогда все рабочие местной текстильной фабрики. Наш Ван предстал перед нами в новеньком с иголочки светло-желтом костюме. Чистое лицо казалось намного светлее, чем мы привыкли видеть, а глаза светились такой радостью и гордостью молодого рабочего. Ему было приятно видеть наше изумление, радость при виде такой перемены в судьбе китайского «гавроша». Лицо его расцвело в улыбке, и он поведал нам об устройстве на фабрику. Как и подобало настоящему рабочему, у него на груди сверкала цепь разных значков, а в кармашке были две авторучки. О! Он был бы таким важным, если бы не добродушие его глаз. Больше мы его не видели, но хочется верить, у него все хорошо сложилось в жизни.

## КИТАЙСКАЯ ШКОЛА. СТАРЫЙ ГОРОД

Почти пять лет прожили мы на Квантунском полуострове, конечно, нас окружало местное население, особенно в Дзинь Чжоу, где возле нашего дома находилась маленькая китайская школа, но общения с китайскими сверстниками, совместных игр почему-то не было. Два мира почти не соприкасались. Окна маленькой школы были открыты и так низко расположены, что мы, детвора, наклонившись, видели весь класс и очень странных учеников, просто неправдоподобно дисциплинированных. Мы старались привлечь их внимание. Напрасно, ни одного поворота головы, ни одного взгляда в нашу сторону — урок для них был священ.

Кто-то из маминых знакомых вел уроки в китайской школе и говорил, что все, что планировалось, все легко выполнялось, и всегда оставалось время, которое надо было заполнить дополнительным заданием. По словам этих учителей, это было совсем не похоже на уроки в нашей школе, в нашей советской средней школе, как она там называлась. Но на перемене какие это были шумные дети, они прыгали и бегали. Девочки играли в «зоску», но подкидывали своими ножками не свинец, прикрепленный к куску, вырезанному из чьей-то шубы, за что и запрещали беспощадно «зоску» в нашей школе, а маленький матерчатый мешочек, наполненный соей. Это была национальная игра для девочек. Прыгали они и через веревку, и даже играли в разновидность «классиков». У них был свой мир, свои игры, после уроков их не было видно на улице, наверно, были заняты работой в своих семьях и не болтались, как это было свойственно нам, до вечера на улицах.

Однако очень сердечно принимал нас зал, почти до отказа забитый детьми и молодежью в новом Доме культуры, построенном из кирпича разобранной стены, отделявшей Ста-

рый город от новой части. В Дзинь Чжоу тоже был Старый город. Кладка кирпичей была настолько крепкой, что целиком кирпичи не вынимались, только дробленые, но это не мешало китайским строителям построить отличный Дом культуры.

Наша школа выступала с большим концертом. Среди номеров тех лет были обязательно всякие физкультурные пирамиды. Помню, после каждой на несколько секунд застывшей «фигуры» раздавались очень громкие аплодисменты, это нас окрыляло, и мы бодро маршировали по сцене, выполняя очередную «фигуру».

## МОРЕ. КОЛОКОЛ АДМИРАЛА МАКАРОВА

Наша жизнь так или иначе была связана с морем. Самое приятное — это когда мы проводили многие часы на берегу. Желтое море теплое, купаться одно удовольствие...

В бухтах Желтого моря мы видели особенные отливы. Вода уходила от берега на очень далекое расстояние, обнажалось илистое дно, во многих местах видны были круглые норки, в которых при нашем приближении исчезали юркие крабы. Чем дальше от берега, тем крупнее крабы. Перед глазами так и стоит это темное илистое дно, все в круглых норках, и движущиеся боком-боком крабики...

...было очень интересно бродить по недавнему дну и пытаться ловить крабов. Китайские ребята делали это гораздо проворнее. Однажды мы не заметили, как ушли далеко от берега. Вода едва касалась наших ног, но вдруг скрыла ступни. Море возвращалось. Было ли преувеличено наше опасение, что можно не успеть дойти до берега? Наверное, так, и особой опасности мы не подвергались. Но почему так опустело это место — никого не было вокруг? Мы побежали. Вода шла за нами по пятам. Рано темнеет на юге, а может, день нахмурился, и потому казалось и море темным, и все вокруг тревожным и мрачным. Больше мы так далеко не заходили в бухту во время отлива.

Летом, после окончания учебного года, нас с Леной отправили в летний лагерь. В сопках стояли большие армейские палатки. В одной палатке помещался целый отряд. Спали на раскладушках. Лагерная жизнь стерлась из памяти, но запомнился Колокол в море. Он находился довольно далеко от берега и во время отлива был скрыт под водой. Звучал он гулко и скорбно каждый раз, когда волны прилива или отлива раскачивали цепь его языка. Это был памятник на месте гибели корабля адмирала Макарова. Черный силуэт его был хорошо заметен во время отлива. Берег моря в этом месте высокий, и вся бухта видна как на ладони.

## Надежда Янышева



Надежда Янышева — член Свободненского литобъединения с 1992 года. В Свободном вышло несколько книжек ее стихов.

### АВГУСТ

Август — месяц долгожданный,  
Листья клена на тропе.  
Урожайный и желанный,  
Ты дары приносишь мне.  
Дозревают облепиха,  
Вишня, слива, виноград,  
А ночами тихо-тихо  
Звезды яркие горят.  
В марях спеет голубика,  
Тишина на грани крика,  
Чашка с медом на столе  
И дождинка на стекле.



Александр Шкурат родился в 1964 году в Свободном. Окончил Дальневосточный государственный университет. Впервые его стихи были опубликованы в газете «Амурский комсомолец» в 1981 году. Автор стихотворного сборника «Небо свободы» (Свободный, 2002). Между прочим, заголовок «Небо свободы», если бегло скользнуть по нему глазами, читается как «небосводы». Но, может, автор имеет в виду «свободненское небо»? Кто его знает. Поэты — народ замысловатый, к тому же самостоятельный — гуляют сами по себе.

## AVE MARIA

От рафинированно-чувственных  
До слов артельных «на авось»,  
Как я хочу тебе сочувствовать,  
Как ты поешь!

Размеренны, как гул столетий,  
Стихи стихий,  
Но твоя музыка балетней —  
Стихает гимн.

Импровизация спасительна:  
Не оторваться от канона,  
Но появлению Крестителя  
Предшествует Мадонна.

Как голубь из аквамарина  
В музыке сфер  
Растает, так и ты, Мария, —  
Вне схим и схем;

Вне тех усилий, от которых,  
Как от пресловутых розг,  
В обетованные просторы  
Бегут среди увядших роз  
И, позабыв об увяданье,  
О страхе, боли и тоске,  
Сливаются в лобзанье тайны,  
Как соль и солнце на песке.

5 декабря 1983 г.

\*\*\*

Река живет дождем и умирает в море,  
Неся двойную смерть: свою и облаков —  
Сквозь лунный свет и зеркала из соли,  
Как отраженьем воскрешенный Бог;

И если кровь смешалась с древним ядом,  
А память сердца обнажает боль  
Своим жестоким и прекрасным взглядом,  
Рождается бессмертная Любовь.

\*\*\*

Свобода — ожидание души,  
Рожденное предчувствием ухода,  
И Словом обжигающая жизнь,  
Как Бога скрывшая природа.

Иллюзия провидческого зла  
Не происки ли грезы совершенства?  
Нас муки музыка спасла,  
Даруя обещание блаженства.

\*\*\*

Пуст запах кладбища... Произнеси: несчастен,  
Губами растворяя немоту,  
Я не отвечаю: новый мир прекрасен,  
Утратив все права на красоту.

\*\*\*

Т. Г.

Атрибуты меркантильны:  
Спрятав лица,  
Объявляем догматичным  
Очевидца.

Это маска —  
Мы с тобою не такие.  
Это сказка:  
Мы другие, мы другие!

Словно птица —  
Впечатление мгновений.  
Нам приснится:  
На дворе тысячелетья.

И, как в вечность, —  
Откровенно и не строго —  
Мы поверим в бесконечность  
Или в Бога.

И увидим — не услышим,  
И услышим как сквозь сон:  
Это время жадно дышит  
Черной пастью звездных псов.

А проснемся —  
И начнется все сначала:  
Как мы радостны!  
Как были мы печальны...

5 декабря 1983 г.

\*\*\*

В истоках сна изменчивое имя  
Сгорает маской зеркала, и ты,  
Наедине с молитвами твоими,  
Отыскиваешь новые черты

В печальном облике души своей, роняя  
От боли просветленные слова, -  
Так падший ангел тщетно жаждет рая,  
Но ты лишь этой жаждою жива.

\*\*\*

Как вернуть земное тело,  
Потерянное на ветру,  
Тебе, чтоб не осиротела  
Душа, покорная крылу,

И, духом познавая душу,  
Освободить твой скорбный лик  
От соглядатаев воздушных —  
Одними ими жив двойник,

Тебя преследующий взглядом,  
Наполненным огнем и льдом...  
Когда и небо дышит ядом,  
Мы умираем под дождем.

## ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

### I.

**Поэт (пишет):**  
«Прощай... Я видел, как исчезло море,  
Когда ты обернулась, и твой путь  
Вдруг показался взглядом, не нашедшим отраженья,  
Мне, серебро принявшему за ртуть  
И обреченному на вечное паденье  
Отравленной слезой в бездонной чаше горя.  
Тогда я понял, что посмертно проклят был  
Изменчивым блаженством наслажденья,  
Оставив памяти исчезновенья пыл,  
И проступал уже, как под листвой змея,  
Лед судорог смертельного томленья  
Сквозь скорбную улыбку Бытия».

**Появляется Дьявол.**

**Дьявол:**  
Я знаю: ты искал меня.

**Поэт:**  
Как лук — стрела в слепом полете.

**Дьявол:**  
Как сын — в тоске по материнской плоти.

**Поэт:**  
Как сумрак — в отблесках огня.

**Дьявол:**  
Пока ты раб воспоминаний,  
Их прихотливая игра  
С тобою — оправданье знаний,  
Но память — времени сестра.  
Не дорожи своим покоем:  
Влюбленность многое простит,  
А испытание Судьбою  
Тебе свободу возвратит.

**Поэт:**  
Но, может быть, меняя кожу,  
Презреньем царственно горда,  
Змея себя не уничтожит,  
Свой хвост кусая...

**Дьявол:**  
Что ж, тогда  
Мы ей пообещаем крылья,  
И кровь горячую, и... свет, —  
Признаться в собственном бессилье  
Так трудно, когда веры нет.  
И что ей боль — она чиста.

**Поэт:**  
Ее безжалостная слабость,

**Дьявол:**  
Минуя искушений радость,

**Поэт:**  
Раскроет пламенем уста.

### II.

**Дьявол:**  
Отверженный сильнее боли:  
Настигнут ею, но молчит,  
И только призрак мертвой воли  
Под маской стыд изобличит.

**Поэт:**  
Ведь каждый — исповедь в грехах,

**Дьявол:**  
Если не проповедь порока,

**Поэт:**  
И тщетна милостыня Бога:

**Дьявол:**  
Страсть, порождающая страх.

**Поэт:**

Любовь — рожденье зеркала свободы;  
Как эхо обнажает тишину,  
Безумьем пауз разрушая своды  
Умерших в звуке — ангелов вину,  
Слиянье душ в их жертвенном покое...

**Дьявол:**  
(Мишенью воскрешенная стрела?)

**Поэт:**  
Уносит к небу отраженья моря, —  
И в пепел обращаются тела.

**Дьявол:**  
Но это смерть, ее с любовью сходство  
Обманчиво — жар ледяных зеркал  
Оправдывает право первородства,  
Которое Бог свету дал,  
И нет спасения в отмщенье...

**Поэт:**  
Так что ж, «уснуть и видеть сны»?

**Дьявол:**  
Проснуться — и не ждать прощенья —  
Пред ликом Смерти все равны.

**Поэт:**  
В ее глазницах — дождь безумья, —

**Дьявол:**  
Прозрения напрасный дар, —

**Поэт:**  
И опьянение лазурью, —

**Дьявол:**  
Темна летейская вода.  
Твоя душа приют отыщет  
Там, где бесплодная земля  
Хранит огонь, что послан свыше,  
Забвеньем мук не утоля.

### III.

**Поэт:**  
Усилим упавшего пера  
Не обнаружить и следа полета,  
Когда безумием наполнена игра  
Теней во сне и призраков охота.

**Дьявол:**  
Бессмертным быть — опасная работа.

**Поэт:**  
Жив Агасфер, но смертная зевота  
Повсюду с ним.

**Дьявол:**  
С тобою — ад добра.

**Поэт:**  
А ты?

**Дьявол:**  
Я исчезаю...

**Поэт:**  
Чтоб опять вернуться?

**Дьявол:**  
О нет! Теперь навеки ты один.  
Позволь губами век твоих коснуться...

(Целует поэта в глаза, поэт умирает)

А может, вместе улетим?

(Оба исчезают)

1991, 1992 гг.



Людмила Ломако родилась и живет в Свободном. Окончила Народную академию изобразительных искусств в Москве. Участница художественных выставок в Свободном, Благовещенске, Чите, Хабаровске, Томске, Комсомольске-на-Амуре. Стихи и рассказы печатались в газетах. Автор стихотворного сборника «Шиповник» (Свободный, 1992).



## ПОЛНОЧЬ

В полночь, перед сном, вышла на балкон  
подышать свежим воздухом  
и отпрянула от необычности увиденного —

звезды, неожиданно крупные, до того были  
пронзительно видны в черном прозрачном лаке неба,  
что, казалось,  
зависли перед самым лицом!

Даже рука невольно дернулась, чтобы  
отодвинуть невидимую сеть из созвездий,  
как паутину, унизанную  
после дождя сияющими и тяжелыми каплями.

А когда, опираясь на перила, глянула вниз,  
то голова закружилась — и внизу тоже  
мерцала вселенская бездна!

Что за наваждение?

А это в черном-пречерном зеркале  
большой лужи отражалось все,  
что творилось в центре неба,  
вместе с перекинутым поперек мостом  
Млечного Пути и Полярной звездой.

В этом тесно заселенном мире звезд  
жизнь, казалось, кипела всюду —  
как в гигантском ночном мегаполисе.

И отчетливо поверилось вдруг — и в инопланетян,  
и в Бога, и во все неведомые силы,  
уму человеческому непостижимые.

Но от этого не было страшно, а наоборот —  
от вида такого откровенного и близкого  
ночного неба стало вдруг и спокойно, и надежно,  
как будто я у себя дома.

## ВИШЕНКА

Белый май!..  
Зацвела и наша вишенка,  
запахла нежно, сладостно, с приятной горчинкой.

Легкое, светлое деревце стоит в саду,  
как на ножке балерина,  
с гибким, юным изяществом.

Ее тонкие веточки Весна облепила  
розоватыми цветами с какой-то особо  
трогательной деликатностью.

Кора у веточек атласная,  
коричневато-бордовых оттенков.

И кажется, что именно этот цвет  
и питает корешки чашелистиков  
розовой, густой влагой,  
по-акварельному, постепенно  
высветляясь к кончикам лепестков —  
до молочной матовости.

А мелкие упругие узелки бутончиков  
на вид такие кисельно-розовые,  
что не вытерпела я и потихоньку  
обломила маленькую веточку.

Осторожно отгоняя липкую пчелу,  
надкусила мягкий древесный кончик,  
вмиг поняла истинный сок сердцевины:  
«Да ведь косточкой вишневой пахнет!»

## ДОЖДЬ В ОКТЯБРЕ

В гостях, попивая чаек за разговорами у огонька,  
не сразу и заметишь, как наступают ранние  
осенние сумерки...

Домой шла уже в темноте, под неясными  
звездами — на них медленно наплывал  
тускло-черный туман невидимой тучи, и  
они, мутнея, растворялись во мраке.

На пустынной улице фонари кое-где  
золотили углы домов. Количество их  
и обозначало этапы моего пути, да еще  
светофор мигал маячком мне издали...

Прошуршала рядом тень одинокого прохожего  
с искоркой сигареты.

Проурчал мимо милицейский «уазик»,  
внимательно посветил фарами.

И опять затаилась осенняя мгла,  
лишь шорох листьев под ногами.

Ветер сорвался сверху, сильно толкнул в спину  
и загудел, как в вытяжную трубу, вдоль  
улицы, шумно поднимая листву, как  
широким помелом. Листья с клубами  
пыли взнеслись в мутно-черное небо,  
улетая неведомо куда.

Заскрежетала, взгромыхая, жесть  
на крыше, заскребли костисто ветки  
кустарника по изгороди, заметались  
рваные тени.

Полы моего плаща забились крыльями —  
тоже порываясь куда-то.

Кинулась я в подъезд ближайшего дома —  
переждать вихрь. Вынула из сумочки  
свой черный берет, кое-как натянула  
на вздыбленные волосы. Затосковала было —  
близятся холода...

Ветер задул порывами, и я опять  
заспешила домой — немного осталось идти.

Но только вошла в нашу аллею  
из темной зыбкой громады

старых тополей, как ударили в землю первые  
капли дождя.

И загудело следом, ринулось вниз  
с осенних небес!

Я уже бежала, гонимая сзади  
плетями дождя с летящими листьями.  
Тяжелые, как ртуть, капли выщелкивали  
по плащу резкий ритм, а под каблуками  
остро плясали фонтанчики воды с мелкими камешками.

Наконец добежала до родного крылечка!  
Отдышалась, постояла еще немного



Людмила Ильинична Шишелякина (1926–1999) оставила о себе светлую память в Свободном. Она была талантливым педагогом, творчески одаренным человеком. С 1961 года являлась членом городского литературного объединения имени Петра Комарова. В 2001 году в Свободном вышел в свет сборник ее стихов «Мне б до ваших сердец достучаться», изданный по инициативе ее родных людей и подготовленный к печати литературным объединением и домом-музеем П. Комарова.

## ПРОЩЕНИЯ НЕ БУДЕТ

Сердцу как-то тревожно и больно —  
Что же это такое творится на свете?  
Без вины виноваты бывают невольно  
В полупьяном угаре рожденные дети.  
Ведь рождение ребенка — всегда это радость,  
Дети наши — надежды и чаянья наши.  
Только эти малютки становятся в тягость  
Отупевшим от хмеля отцам и мамашам.  
Поскорей бы избавиться им от младенца,  
А появится новый — и с ним то же будет,  
И, поспешно его завернув в полотенце  
(Обойдется и так, от него не убудет),  
На скамейке у кассы вокзальной подбросят  
И спокойно уйдут. Совесть сердце не гложет.  
Как же подлых подонков земля еще носит!  
Разум с этим кощунством смириться не может.  
Может быть, что когда-то придет просветленье  
К человеческий облик утратившим людям,  
И поймут с опоздавшим уже сожаленьем:  
За прожитую жизнь им прощенья не будет.

\*\*\*

Я помню ясно, будто бы вчера:  
Был день, когда хотелось мир обнять!  
Ко мне склонилась ласково сестра:  
«Ну, поздравляю с доченькой! Вы — мать»,  
Чудесным светом озарился дом,  
И с новой силой захотелось жить.  
Как полон мир, когда ребенок в нем,  
И этот мир мне надо сохранить.  
Пусть те, кто тщатся мир у нас отнять,  
И поднимают руку на детей,  
Запомнят: им не даст спокойно спать  
Проклятье миллионов матерей!

под навесом — с него вилось, струилось  
и пело взхлеб с десятков водяных струн.

Но вскоре ветер успокоился, дождь пошел  
ровнее, зажурчал монотонно.  
Запахло мокрой землей и палым листом.

Дома отряхивала плащ от капель,  
а стянув с головы берет,  
долго вынимала из спутанных  
волос желтый лист, сухой лапкой уцепившийся  
мне в пряди.

## Людмила Шишелякина

\*\*\*

Мне говорят: «Куда ты все спешишь?  
Пора бы отдохнуть — ведь на покое».  
Но нет. Претит суждение такое,  
Что проку в том, что только ешь и спишь?  
Хочу быть там, где я еще нужна.  
Кому-то, может быть, согрею душу,  
Безмолвье одиночества нарушу...  
Мне там теплее, где я не одна.

\*\*\*

Как сердце забилось тревожно и сладко,  
Мне будто бы как и тогда — восемнадцать,  
И снова глядим друг на друга украдкой —  
Мы начали только недавно встречаться.  
Чарующий звук духового оркестра,  
Он юность далекую нам возвращает!  
Начало пути, где еще неизвестно,  
Что жизнь нам готовит и что обещает.  
Я к парку под вечер бегу торопливо,  
Туда, где оркестра призывные звуки,  
Где свет и движение. И как я счастлива,  
Когда в нашем танце сплетаются руки!  
Минули года, но то чувство осталось:  
Парения, счастья и светлой надежды.  
Спасибо оркестру за самую малость:  
Я в вальсе кружусь молодая, как прежде...

Алексей Падалко родился в 1938 г. в Свободном. Работал учителем, строителем, художником. Член Союза писателей России. Пишет и прозу, и стихи. Но не только. В 1985 г. издательство «Просвещение» выпустило его книгу «Задачи и упражнения» по развитию творческой фантазии у детей». А в 2001 г. в Москве увидел свет его «Букварь изобретателя», содержащий около 300 задач на техническую смекалку для детей 10-14 лет.

Автор 15 изобретений. Автор герба города Свободного. Получил первый приз в конкурсе на лучший герб Амурской области.



## «ФИЛАНТРОП»

### Рассказ

Набирающий творческий вес прозаик Юрий Сидорюк искал деньги на свою четвертую книжку. Продолжительные поиски привели его в «ЧП» с красивым названием «Райская тишина». «Где-где, — рассуждал упорный прозаик, — а здесь деньги должны крутиться немалые. Люди мрут как мухи, и конца этому нет. А значит, и контора эта будет всегда процветать. Думаю, из-за несчастной тысячи не обеднеют...»

Размышляя так, Сидорюк незаметно для себя самого миновал занятую разгадыванием кроссворда тонкотелую секретаршу и очутился в кабинете директора. Еще молодой, но уже располневший блондин уставился на вошедшего голубыми прыгающими глазками. Прозаику он показался самой добротой и душевностью. «Уж этот-то не должен отказать...»

Сидорюк поспешно вынул из черной школьной сумки отпечатанную на машинке рукопись и, боясь, что его перебьют, сразу зачастил проникновенно:

— Это нужно не мне. Это нужно детям и внукам. Школам. Библиотекам. Всем любителям литературы. Рассказы, которые я...

— Понятно, — все же перебил его директор. — Что вы хотите?

— Как что, — осекся Сидорюк. — Спонсорскую поддержку.

— Сколько?

— Ну, сколько сможете... С миру, как говорится, по нитке — голому...

— Ну, про рубашку я знаю. Две тысячи хватит? На доброе дело не пожалею.

Он нажал кнопку на столе справа от своего пухлого животика. Вошедшей бухгалтерше, полноватой женщине, лицом и светлыми кудряшками похожей на Мадонну, сказал:

— Ольга Ильинична, посмотрите, что у нас в наличии. Поможет товарищу писателю!

Ольга Ильинична уже раскрыла свой гроссбук, с которым она, видимо, не расставалась даже ложась спать, быстро отарабанила:

— Так. «Амурэнерго» мы задолжали 46 тысяч, «Единому заказчику» — 16, связистам — пять с половиной. А сегодня пришел штраф на 20 тысяч...

— Штраф?! За что?!

— Шофера пьяные ездят. За июнь гаишники шестерых застукали... За вырезатель еще...

— Как — за вырезатель? Кто попал?

— Да те двое, из новеньких, которых вы без паспортов приняли.

— Говорил же, не принимать! Тоже мне помощнички... Ну и сколько всего долгов?

— 171 тысяча.

— Сколько, сколько?! — поперхнулся шеф.

— 171 тысяча.

— Вы что, спятили! Да нам с нашей нищенской прибылью за три года из долгов не вылезти! Работнички... тоже мне!

Шеф погрузился, махнул бухгалтерше рукой, дескать, идите, в раздумье постучал пальцами по столешнице, поднял глаза на заскучавшего Сидорюка:

— Ну, вот... хотелось как лучше, а вышло...

— ... как всегда, — закончил проситель. — Да я понимаю, чего уж. Эта беда не только у вас. Не первый вы меня так провожаете.

— Вы уж извините, товарищ писатель. Так хотелось уважить...

Не успела за Сидорюком закрыться дверь, как в ней возникла худосочная фигурка секретарши:

— Ролан Семеныч, к вам посетительница.

— Что она хочет?

— Говорит, из отдела культуры.

— Ну ясно, за деньгами... Ладно, давай.

Шеф оценивающе взглянул на молодую привлекательную женщину с загадочно-просящей улыбкой. Сказал тепло:

— Слушаю.

— Добрый день, Ролан Семеныч. Что-то вы город свой забываете. Все «ЧП» и даже бюджетники на артистов средства жалуют. Ребята наши первые места везде занимают, славу городу делают. А сейчас вот нас в Японию приглашают на фестиваль духовной музыки. Подсобили бы чуток на костюмы, Ролан Семеныч, а?

— Для благого дела никогда не откажу. Раз Япония, тут придется раскошелиться по полной программе, — он нажал кнопку на столе справа от своего пухлого животика.

И когда «оформленная под Мадонну» вошла и раскрыла свой гроссбук, попросил:

— Посмотрите, что у нас там в наличии. Надо помочь нашей культуре!

— Так. «Амурэнерго» мы задолжали 46 тысяч, «Единому заказчику» — 16, связистам — пять с половиной. А сегодня пришел штраф на 20 тысяч...

— Штраф?! За что?!

После того как и поборница культуры несолоно хлебавши удалась восвояси, Ролан Семеныч пригласил бухгалтершу присесть:

— Ну, что у нас там на самом деле?

— Идем с прибылью. И с немалой. Только в этом месяце мертвецы принесли нам доход в 115 тысяч...

В эти секунды кто-то постучал в дверь.

— Войдите.

Вошел... прозаик Сидорюк.

— Ролан Семеныч, — начал он, наступательно глядя в тревожно запрыгавшие глазки шефа. — Сегодня утром я побывал за кладбищем. Что там нашел, не поверите! Там о-го-го какие кучи мусора понаворочены! Вашего, Ролан Семеныч, мусора.

— Откуда вы знаете, что он мой... наш? — забеспокоился шеф.

— А вот смотрите. — Сидорюк вставил в видеомagnифон кассету и нажал кнопку. — Видите? Десятки ржавых металлических венков... искореженные надгробные памятники... Ой, сколько же здесь всего понавалено! В городе, дорогой Ролан Семеныч, только вы этим занимаетесь. Больше никто. Вместо того чтобы все это вывезти на свалку, вы гадите у себя под носом. Экологи еще не видели. А увидят!..

— Что вы хотите?

— Мне надо издать книгу.

— Ольга Ильинична, что у нас там в наличии?

Понятливая бухгалтерша тут же раскрыла гроссбук и начала было читать:

— Так! «Амурэнерго» мы задолжали 46 тысяч, «Единому...»

Но шеф внезапно взорвался:

— Да уберите вы свою... — он на секунду умолк, кашлянул и сурово продолжил: — Сколько реально мы можем дать писателю на книгу? Сколько, я спрашиваю?!

Ольга Ильинична, приоткрыв рот, непонимающе смотрела на шефа, но вдруг сообразив, что это уже не игра, выпалила:

— Две тысячи!.. Или три.

— Три с половиной! — твердо сказал Ролан Семеныч. — А иначе мы пойдем по миру с протянутой рукой.

— Мало, — так же твердо парировал прозаик. — Надо двенадцать.

— Двенадцать? — ополоумел шеф, и глазки его, закончив прыгать, остановились на упрямых губах Сидорюка. —

Да за двенадцать нам надо месяц пахать без передышки!

— Двенадцать, — стоял на своем Сидорюк. — Или...

Поняв, что это «или» имеет нехороший оттенок и дело может принять очень и очень крутой оборот, шеф безнадежно махнул рукой:

— Ольга Ильинична, выплатите писателю двенадцать тысяч. Поскребите у себя по сусекам.

— Поскребу, Ролан Семеныч. Мы как раз уже кое-что подобрали... Идемте, уважаемый товарищ писатель...

## Михаил Кушнарев

### НОЧНОЙ ЭТЮД

Лунной ночью выйду в поле,  
Голубой стоит овес.  
Скирды сена прокололи  
Небеса до самых звезд.

Разнося кому-то вести,  
Вспыхнул быстрый метеор —  
Меж собой ведут созвездья  
Непонятный разговор.

Словно снегом лунным светом  
Ночь всю речку занесла.  
Где-то двое в лодке едут —  
Серебро летит с весла.

### ГИПОТЕЗА

Давно это было...  
Художник седой Леонардо,  
Джоконду увидев,  
Нашел в ней пример для искусства.  
Взял кисть он, холсты  
И портрет стал писать вдохновенно.  
Смущаясь немного,  
Она живописца спросила:  
— Я не из красавиц,  
Так будут ли мной любоваться?  
Скорее, портрет мой  
Тотчас же предастся забвенью,  
Как только он будет  
Вниманья толпы удостоен!..

Но старец, лукаво взглянув,  
Ей развеял сомненья  
И так объяснил он:  
— Порою так люди беспечны,  
Что часто не в силах  
Увидеть красы настоящей,  
А мне все открылось.  
И я вот с помощницей-кистью  
Им взор открываю  
На то, что для них недоступно,  
А раз поглядев,  
Оторвать не посмеют уж взгляда!

— Да ну! — усмехнулась Джоконда,  
Взглянув с недоверьем  
Туда, где да Винчи,  
Забыв про орудье искусства,  
Ходил взад-вперед  
У неясного контура дамы,  
Толкуя о вечном —  
Духовной красе человека.  
— Да ну!... — Этот голос сомненья  
Внезапно услышав,  
Тотчас от суждений глубоких своих

Михаил Кушнарев — член Свободненского литобъединения с 1974 года, а с 1998-го — его председатель. Печатался в районных газетах, в коллективных сборниках, выпустил две книги стихов.



Оторвавшись,  
Творец знаменитый  
Усмешку Джоконды увидел  
И миг тот блаженный  
На влажном холсте обессмертил.

— Да ну!.. —  
Удивишься, читатель,  
— Уж так ли все было?

Все так! А не веришь,  
Еще погляди на творенье.  
Три века не сходит  
Усмешка, улыбкой прикрыта,  
Три века не могут понять  
Мудрецы всего света  
Того, что великий художник  
Не образ, как есть он,  
А мысли и чувства,  
Сомненья Джоконды оставил,  
Укрыв под искусной игрой  
Живописных приемов.

А мысли и чувства —  
Они лишь живому присущи.  
Живое — нетленно,  
И в этом кольце неразрывном  
Скрывается тайна усмешки  
Прекрасной Джоконды!

### СЕЛО ВОЗРОЖДАЮЩЕЕСЯ

Иду я пригорком покатым  
По пыльной весенней стерне,  
И старую бабушкой хата  
Идет, ковыляет ко мне.

Подперлась шестом, как клюкою,  
Убрать, так повалится вбок.  
И где-то под пыльной стрехою  
Воркует седой голубок.

И вижу — полно здесь народу,  
Окраиной трактор бурчит,  
Лопаты звенят в огородах,  
И смех где-то детский звучит.

Вот кто-то запел над рекою,  
Вот звякнуло — моют окно.

И полнится сердце покоем,  
И в нем утвердилось одно —

Под этим задумчивым небом,  
Средь бурь, потрясений, страстей,  
Мы живы деревней и хлебом,  
И смехом счастливых детей.

И все утверждения лживы,  
Что сгинет российская кровь.  
И некуда хуже — а живы,  
А живы — поднимемся вновь!

Май 1994, с. Чудиновка.

## ГЕОМЕТРИЯ ЛЮБВИ

Жизнь споткнулась, покатила юзом,  
Успевай лишь синяки лови.  
Виновата тут гипотенуза  
В жутком треугольнике любви...

Смотришь на меня ты хмуро, немо.  
Знаешь, отчего вся эта злость.  
Наших чувств шальную теорему  
Самому доказывать пришлось.

И теперь друг другу мы обуза,  
В этом вся и соль, и все дела.  
И твоей любви гипотенуза  
До другого катета пошла.

От меня иль от забот устала?  
Только не понять уже самой,  
Почему идешь к тому кварталу  
По гипотенузе, по прямой!

Вот и все, что говорить тут, хватит!  
На кого здесь возводить хулу?  
Лишь спрошу, а твой ли это катет  
И к тому ли придешь углу?..

1996

## ПАРОДИИ

### О чем грустят коровы...

Под звук рожка задумались коровы  
О прелести нескошенных лугов.

Виктор Могильников.

И атеист воскликнул бы: «О Боже!  
Чем нас не удивит двадцатый век!»  
Я понял, все подбив и подытожив:  
Корова мыслит, словно человек!

Поэт, меня, творца ироний тонких,  
Прости за то, что рубану сплеча.  
Мне кажется, задумались буренки  
О «прелести» пастушьего бича!

### Встают охотники...

А там, за ключьями тумана,  
Где дерн до рыжей глины взрыт,  
Сойдя к воде, тяжелый мамонт,  
Вот-вот призывно затрубит.

Константин Выборов.

«Встают покосчики»

Проснулось племя. Плюнув смачно,  
Разводит кто-то дымокур,  
Махорку сыплет. Дым табачный  
Перебивает запах шкур.

Вино вчерашнее допито,  
И предводитель, зол и хмур,  
Обглоданные пнув копыта,  
Тропой уходит на Амур.

За плечи брошена централка,  
Цигарка гаснет на губе.  
И смотрит вслед неандерталка,  
Косматых чад прижав к себе.

Исчез за ключьями тумана.  
Храни судьба его от бед.  
Трубил там нынче утром мамонт,  
Так быть жаркому на обед!

1978

## Двойники

Из проруби синей, из черной реки  
Безмолвно взирают мои двойники.

Сергей Мнацаканян.

Живу как на угольях, сжав кулаки, —  
Куда я ни сунусь, везде двойники.  
Никак не дают ни поесть, ни уснуть.  
Решил я в деревню от них улизнуть.  
Корову привел попить на родник —  
Из проруби смотрит безмолвно двойник!..  
Не спишь по ночам, сочиняешь стишки,  
Глядишь, напечатали их двойники.  
От горя развеяться сунешься в бар —  
Двойник пропивает там мой гонорар!  
Попал в вырезатель двойник среди дня,  
А счет за услуги пришел на меня!  
О Боже! Кого среди них только нет —  
Враги, ясновидцы и даже сосед!..  
Купить сигареты спустился на миг,  
Вернулся — в постели с подругой двойник.  
Смирился, что их, двойников, целый свет,  
Лишь жалко — поэтов порядочных нет!

1983

## Не чешись!

Вот зачесалось под лопатками...  
Неужто  
Крылья за спиной?!

Юрий Белинский.

Когда спина моя зачесется,  
То сразу прошибает пот.  
От мысли горькой впору вешаться —  
Вдруг вместо крыльев горб растет?

Подумайте, легко ли в ранге том  
Прожить поэзии творцу?  
Мне непременно надо в ангелы,  
А сатаной быть не к лицу.

Но зазудит макушка с пятками,  
И опасенье тут как тут:  
Неужто, — мучаюсь догадками, —  
Рога с копытами растут?

Конечно, ерунда такое все,  
Но исподволь встает вопрос:  
Вот зачесалось ниже пояса...  
Неужто все же лезет хвост?!



Песня о Свободном (на музыку А. Короткова) была написана и с успехом исполнялась еще в 1982 году, к 70-летию города. Сейчас, по прошествии двух десятилетий, точки зрения поменялись. Но из песни слова не выкинешь.

## ПЕСНЯ О ГОРОДЕ СВОБОДНОМ

Всегда по-своему красивый —  
И жарким летом, и в снегу,  
Наш город — часть родной России  
На правом зейском берегу.  
Здесь под горбатыми мостами,  
И величава, и вольна,  
У Транссибирской магистрали  
Вскипает зейская волна.

Вот горожанами поставлен  
На площадь серый пулемет,  
И на высоком пьедестале  
Здесь за свободу бой идет!

Там тополя склоняет ветер,  
Где партизан в земле сырой,  
Но стал свободным — и навеки  
Свободным назван город мой.

Вдаль убегают сопки волны,  
Опоры ЛЭП на них встают.  
Неумолимой силой полны,  
Моторы гимн труду поют.  
Когда на сопках догорает  
Луч солнца нежно-золотой,  
В сады и парки приглашает  
Наш город — вечно молодой.

## Петр Лазарев

Петр Лазарев со школьных лет начал публиковать заметки и статьи в районной и областной печати. Член городского литобъединения с 1997 года. В доме-музее Петра Комарова открыта постоянная выставка его «лесной скульптуры».



## РАЗМЫШЛИЗМЫ

Три мечты: родиться в рубашке, жить припеваючи, умереть со смеху.

Не уверен — не уверяй.

Время — не деньги: в банк не положишь, в долг не возьмешь.

Управлять своими мыслями труднее, чем автомобилем, потому что в мозгу сплошные извилины.

Отдай ужин врагу, так он и завтрак с обедом потребует.

Взять себя в руки не трудно, удержать себя в руках — вот задача.

Прыгнуть выше себя некоторые могут, но убежать от себя — никто.

Выход из себя — не выход из положения.

Придя в себя, проверь — ты ли это?

Спешить взять от жизни все — то же, что есть суп не ложкой, а поварешкой: подавиться можно.

Порулить может каждый, все дело в последствиях.

До скотского состояния может дойти только человек.

Бывает мало поставить на деле крест, надежней — еще и оградку.

Хотел взяться за ум, но никак не мог его обнаружить.

Хочешь купаться в роскоши — научись плавать.

Одни не знают, где взять свободное время, другие не знают, как его убить.

По дурным наклонностям легко скатиться в пропасть.

Потерянную совесть не вернуть и за вознаграждение.

Незнание нравственных законов часто создает иллюзию безгреховности.

Самое простое решение проблемы — выкинуть ее из головы.

Если только мыслить, то будешь только существовать.

Хочешь жить — умей вертеться, но если будешь слишком вертеться — станешь пропеллером.

Если долго-долго ехать, никуда не сворачивая, то непременно свалишься в канаву.

Исполнив долг, становишься свободным.

Все на свете имеет две стороны и... середину.

Самый тяжелый груз — это ненужные мысли.

Борис Николаевич Якимов — лауреат премии имени Петра Комарова. Пишет рассказы, публицистические и литературно-критические статьи. В Свободном выпустил несколько книжек, имеет публикации в областных и центральных газетах, в журнале «Дальний Восток».



## ПОЭТ КОНСТАНТИН ХОМЬЮК

Старшему поколению советских людей выпала нелегкая доля оказаться участниками и непосредственными очевидцами важных исторических событий, главным из которых была Отечественная война, ставшая величайшей трагедией и в то же время великой воинской славой нашего народа. Не миновала эта участь и поэта Константина Хомьюка — самой яркой фигуры среди свободненских литераторов того поколения.

Он родился на Украине в 1919 году и к началу грозных событий был студентом Симферопольского учительского института. В преддверии войны с фашистской Германией Советский Союз, чтобы обезопасить свои северо-западные районы от внешней агрессии, вынужден был провести короткую военную кампанию против враждебно настроенной Финляндии. Туда прямо со студенческой скамьи был направлен и двадцатилетний Константин Хомьюк. Эта война проходила в тяжелейших условиях зимы 1939 — 1940 годов. Обескровленная сталинскими чистками, не обеспеченная достаточным вооружением и необходимым обмундированием, Красная Армия несла большие потери не только в ходе боевых действий, но и от жестоких северных морозов.

Будущий поэт получил серьезные обморожения ног, был признан негодным к дальнейшей строевой службе и годы Великой Отечественной войны провел в должности политрука в свободненских военных госпиталях.

После демобилизации из армии по причине завершения войны возвратился в Симферополь, закончил институт и, получив диплом учителя русского языка и литературы, в начале 50-х годов, будучи уже семейным человеком, вновь приехал в Свободный, который стал для него второй родиной. Здесь он всю свою трудовую жизнь проработал педагогом. Здесь он сформировался и как поэт, хотя первые его стихи о героической борьбе испанского народа против фашизма были опубликованы в газете «Крымский комсомолец» еще в пору его студенчества в 1937 году. Сама жизнь, юношей вырвавшая Константина Хомьюка из студенческой среды и бросившая его в горнило событий, определила гражданскую направленность его поэзии, а войну сделала ее главной темой.

*Здесь шла война, и я иду по следу,  
А в памяти всплывают те года,  
Когда мы сердцем верили в победу  
И чувств иных не ведали тогда.  
И этих дней, и тех ночей суровых  
Не заслонит веков седая мгла,  
И наша скорбь в цветах, в венках еловых  
У пьедестала памяти легла.  
Живые со слезой на лицах строгих,  
Порою без салютов и цветов,  
Здесь клали мертвых прямо у дороги  
В сырую землю в несколько рядов.  
А сколько их — известных, неизвестных,  
Что на полях сражений полегли!  
Отцы и деды, парни и невесты...  
Молчат курганы, плачут ковыли.*

К этой теме поэт возвращался до последних своих дней. Но он проявил себя и хорошим лириком. Очень трогают душу, например, его глубоко личные строки:

*Мороза нет, и я не прячу рук,  
Снежинки падают и на ладонях тают.  
Все хорошо, прекрасно все вокруг,  
И лишь тебя одной мне не хватает.  
Терзает душу горестный упрек,  
А рядом с ним стоит вопросов бездна:  
Как, почему тебя я не сберегу?  
Ищу ответ, но, видно, бесполезно.  
И ты промчалась как метеорит...  
Но светлый след твой в памяти хранится.  
Никто тебя мне в жизни не затмит,  
Ты снишься мне и будешь вечно сниться.*

А стихотворение «Посвящение», на мой взгляд, является одним из лучших произведений поэта. Оно неизменно декламируется на всех Комаровских чтениях, которые ежегодно проводятся в городе Свободном и всегда бывают важным литературным событием областного масштаба.

*Одним стихам придут забвенья сроки,  
Другим — прожить полжизни мотылька.  
Лишь болью сердца тиснутые строки  
Переживают в памяти века.*

*Я Комарова книжку раскрываю —  
Звенят слова в лирическом строю.  
То песнь земле — от края и до края —  
И небу, под которым я стою.*

*Здесь он шагал росистою тропью,  
Любил тайгу, Амура синеву,  
Имен других не затмевал собою  
И день грядущий видел наяву.*

*В руке блокнот, карандаша огрызок.  
А сколько встреч, свиданий и разлук!  
Он твердо знал: конец пути не близок,  
Велик наш край, и жизнь бурлит вокруг.*

*Порой судьба бывает к нам сурова,  
Болит душа, сошелся клином свет.  
Мы открываем томик Комарова —  
И все прошло. Светло и боли нет.*

*Стихи творца поэзии тревожной  
Прочтете вы с собой наедине —  
Вам ваша боль покажется ничтожной,  
А радости прибавится вдвойне.*

Мне кажется, значение его поэзии заключается в том, что в эпоху коммунистической идеологии и удручающего единомыслия он сумел подняться над общим уровнем в оценке происходившего в стране и тем самым способствовал прозрению народа. Об этом, в частности, говорит его стихотворение «Опричники»:

*Библейский ад — что сказка, благодать.  
Но мысль одна тревожит на досуге:*

Не попаду я в райский сад к подруге,  
Мне, грешнику, тех яблок не видать.

Вот ад земной... Дежурный «воронок».  
Здесь не смолу варили и не битум  
Здесь Василек глумился над избитым,  
А добывал избитого Ванек.

Не каждому дано быть палачом,  
А те могли по печени и почкам  
Лупить мешком, наполненным песочком,  
Иль валенком, набитым кирпичом...

Ушли в былое жертвы грозных лет.  
Давно зарыли Василька с Ваняткой.  
Но, по привычке говорить с оглядкой,  
Я вспоминаю их кровавый след.  
И ордена ж вручали палачам!  
Вождем на то подписана бумага...  
О, сколько их, святых могил ГУЛАГа,  
Взывает к нам и ныне по ночам.

Среди представителей его поколения и сейчас еще не многие из тех, кто не подвергался репрессиям и кого обошла эта печальная участь, совершили такой эволюционный шаг в своем мировоззрении.

Константин Хомьук был разносторонне одаренной натурой и проявил себя не только в поэзии. Он виртуозно играл на гитаре и, обладая хорошим голосом, прекрасно пел. И вообще, в нем постоянно чувствовался артистизм, так украшающий нашу жизнь. Не случайно поэтому одним из первых в городе он начал публичные выступления. Неизменным успехом у горожан пользовалось проникновенное исполнение им под гитару романсов — сложного и изысканного певческого репертуара, доступного далеко не каждому, даже и профессиональному певцу. Музыкальный от природы, он и сам писал песни. В 1982 году на конкурсе, посвященном 70-летию Свободного, его песня о городе, написанная в соавторстве с местным композитором В. Марыгиным, получила первую премию. Да, поэт Константин Хомьук был по-настоящему яркой личностью, оставившей заметный след в местной литературе.

Октябрь 2000 г.

Он родился в 1919 году в украинском селе...  
В преддверии войны он окончил школу...  
В 1941 году он ушел на фронт...  
Воевал в составе 1-го Украинского фронта...  
После войны он вернулся в родную деревню...  
Он работал учителем, журналистом...  
В 1959 году он переехал в город...  
Он начал писать стихи...  
В 1982 году он участвовал в конкурсе...  
Он получил первую премию...  
Он оставил яркий след в литературе...



## «...СВЕТОМ СТАТЬ И ПЕРЕЖИТЬ СЕБЯ»

Двадцать лет минуло с тех пор, как ушел из жизни амурский поэт Игорь Еремин. Мы публикуем воспоминания, присланные в редакцию «Приамурья» членом Союза писателей России Анатолием Филатовым, ныне живущим во Владивостоке.

Я сидел на лавочке в парке, напротив памятника Ленину. Серебристая краска на вожде поблекла, местами облезла. С севера надвигались редкие тяжелые тучи. Парк то погружался в сутемь, то выныривал из тени. К памятнику подошли двое мужиков, установили лестницу. Один забрался наверх, другой стоял внизу, держа банку с раствором в поднятых руках. Тот, что вверху, окунал в нее мастерок и замазывал трещины.

— В Москве из Мавзолея хотят убрать, — проворчал он, — а мы тут зализываем. Кому это нужно, если прошлое рухнуло? — И зло сплюнул.

— Ишь ты, рухнуло! — откликнулся тот, что снизу, намного старше первого, с изможденным лицом. — А память? Ето куда? Нет, историю не так просто перечеркнуть, это факт, — качнул он маленькой птичьей головой и приподнял банку с капающим раствором.

Я слушал их, сидя на лавочке в парке имени Дзержинского города Белогорска, куда привела меня память о замечательном амурском поэте Игоре Алексеевиче Еремине. Вспомнились строчки из его стихотворения «Ходоки».

*...Шли к Ленину — заступнику, вождю —  
Ходатаи соломенной России.  
И боль, и неуверенность свою  
К нему в сердцах открытых приносили...*

Не в один ли из вечеров, когда вместе с поэтом сидели мы здесь, пришло ему на ум то, что потом откристаллизовалось в строчках.

И как бы в небыль ушли те двое, приводившие в порядок каменное изваяние вождя, память повела меня на тропу тридцатипятилетней давности.

Я женился в армии на втором году службы. После демобилизации остался в Белогорском районе Амурской области. Еще с детства с непостижимой силой меня тянула к себе литература. Служа в армии, публиковался в «Суворовском натиске», «Ленинском пути», стихи мои звучали по радио. Решил попробовать свои силы в журналистике. Приехал из Томичей, где жил в то время, в Белогорск — узнать, не возьмут ли на работу в редакцию газеты. Проходя через парк имени Дзержинского, заполненный музыкой репродуктора и хлопаньем дверей верандного вида кафе, я увидел на лавочке крепко сбитого с рыжей шевелюрой человека. Спросил:

— Не скажете — где-то здесь «Ленинский путь»?

Щеки рыжего дернулись в усмешке.

— Мы все идем его путем.

Я не принял юмора и сказал:

— Редакция где-то здесь...

— Вон там, — кивнул он в сторону забора, за которым возвышалась шиферная крыша одноэтажного здания. — Что хотели?

— Насчет работы.

— Журналист?

— Нет, но...

— А-а, — протянул он безучастно, и глаза его, голубые и слегка навывкате, потеряли ко мне интерес и тут же вонзились взором в белокаменную фигуру вождя, что ушла в сутемь набежавшей тучи...

А уже через два дня мы сидели с ним в комнате с печным отоплением. На тяжелых дверях висела табличка: «Отдел писем». Я уже знал, что мой начальник, этот солнцеголовый



Справа налево: Игорь Еремин, Леонид Андреев и Владимир Руссков. Благовещенск, областное совещание молодых литераторов, 1975 год.

человек, — поэт. За окном обильно сыпался желтый лист. От печки исходило благостное тепло и поднималось к высокому потолку. Игорь Алексеевич регистрировал в журнале пришедшие письма, а я листал подшивку «Ленинского пути» и ощущал себя как-то радостно-неуютно. Приняли на работу, и я был, конечно, счастлив, — но пока маялся без дела.

Заглянул редактор, бывший капитан третьего ранга, и кивком головы позвал нас к себе в кабинет.

— В селе Новом, — сказал он, — есть интересный человек — директор школы. Ему 75, начал учительствовать сразу после Гражданской. Нужно к Октябрьским написать о нем очерк. Сами, Игорь Алексеевич, возьметесь или новенького пошлете?

— Он еще в армии с нами сотрудничал, думаю, и сейчас справится.

— Смотрите, это задание райкома, как бы потом не краснеть.

При этих словах я почувствовал, как щеки мои запылали. Действительно, а вдруг не справлюсь? Очерков я еще не писал. Но отступать не хотелось.

— У журналиста нет второстепенных материалов. — Еремин вскинул на меня взгляд синих выпуклых глаз и погладил левое плечо в том месте, где оно было прострелено. Это уже потом я узнаю, что в молодости Игорь Алексеевич стрелялся. Одни говорили, что причиной тому явилась поэзия, а если быть точнее, то — непонимание поэта литературными чиновниками. Жена его, Галина Никитична, утверждала, что это след ранней несчастной любви. Пуля прошла мимо сердца, и редкий счастливый случай подарил стране большого поэта, о котором редактор журнала «Наш современник» Сергей Викулов впоследствии скажет: «Поистине богата ты талантами, земля!»

...Свое первое задание я выполнил, наверное, неплохо. Очерк «Директор школы» поместили на редакционной доске «Лучшие материалы», за него мне выдали премию, но главное — мы подружился с Игорем Алексеевичем, и эта дружба сохранилась до конца его жизни, хотя не так много было отпущено поэту — он прожил всего 49 лет. Последний сборник «Зрелость», подготовленный к печати им самим, вышел уже после его смерти. Но вернемся в тот 1966-й, когда я пришел в «Ленинский путь».

Жил я у дальних родственников моей жены, которая с малолетней дочерью пока оставалась в военном совхозе, где преподавала математику в школе. Одному после работы было скучно, и я ходил на набережную неширокой, с желтыми водами речки Томь. О чем-то мечтал здесь под всплески холодных волн, потом бродил по улицам Белогорска, впитывая его вечерние звуки. Два месяца назад город отметил свою сто

шестую годовщину. Он был ровесником Владивостока, где я родился, и уже этим становился для меня своим. Он активно застраивался пятиэтажками. С населением 75 тысяч человек Белогорск по своему географическому расположению имел хорошую перспективу дальнейшего развития. Здесь была одна из самых крупных железнодорожных станций Амурской области, откуда шли поезда на центр области Благовещенск. На станции в то время происходила модернизация: выстроили светлый просторный вокзал, на перроне установили памятник Ленину, расширился грузовой парк. Недалеко от вокзала располагались вагонное и локомотивное депо. В области и за ее пределами хорошо знали продукцию завода «Амурсельмаш», выпускавшего теплогенераторы для сельского хозяйства. В этом же районе города находились крупный мясокомбинат, овощеконсервный завод, чуть поодаль — шиноремонтный завод. К городу прилегали поля совхозов и колхозов как Белогорского, так и Серышевского районов. Кстати, в Серышево, в газете «Сельские новости», Игорь Алексеевич начинал свою журналистскую деятельность. В Белогорске имелись профессиональные училища, музыкальное училище и экономический техникум. В этом городе на берегу неширокой илистой речки Томь и формировалась личность поэта Игоря Алексеевича Еремина...

На то время в редакции подобрался коллектив, зараженный тягой к писательству. Игорь Еремин, Андрей Гажа, Георгий Кузьмин и автор этих строк писали стихи. Редактор Анатолий Михайлович Дербышев, Владимир Иваровский, Евгений Свиридов и Александр Тряпша — двоюродный брат хорошо известного хабаровского поэта Валерия Тряпши — прозу. Прозу писал и Георгий Кузьмин, который вторым после Еремина станет членом Союза писателей СССР, уедет на жительство в Хабаровск и станет поднимать исторические темы. Короткими эпиграммами подхихикивал над журналистской братией заведующий сельскохозяйственным отделом Анатолий Дроздов. Пройдя хорошую журналистскую школу, Анатолий Павлович впоследствии возглавит областную газету «Амурская правда» и будет руководить ею долгие годы.

Помнится, мы устраивали в «Ленинском пути» литературные диспуты, выступали в школах, часто выходила литературная страничка. И, конечно же, первой величиной значился Игорь Алексеевич Еремин. Строго относясь к творчеству собратьев по перу, он не позволял расслабляться и самому себе.

С высоты прожитых лет я вижу, какими были мы тогда наивными, считавшими себя гениями и постоянно стремившимися сделать что-то необыкновенное. Помнится, как наш добрейший секретарь, талантливый Андрюша Гажа, очевидно, и во сне видевший свой будущий поэтический сборник, сделал макет очередного номера газеты в виде книжечки, а редактор уступил ему. Потом пришлось отчитываться и в райкоме, и в горкоме партии. Но мы не унывали. Литстраницы продолжали выходить. Там печатались стихи Виктора Могильникова, Геннадия Захарова, Кадомцевых — отца и сына, Андрея Гажи. Готовя эти страницы, Еремин очень редко помещал там свои стихи, ибо хорошо отличал стихотворство от поэзии.

Однажды он заболел. Я пошел проведать. На заиндевевших ветках трещал тридцатиградусный мороз. Еремин жил в самом конце улицы имени Кирова, как сейчас помню, за номером 205. В квартире у него было холодно. Дочери Еремина сидели в крохотной кухне в пальто и пили горячий чай. В комнате жена, сидя у окна, чинила школьную форму. Игорь, укрытый одеялом, лежал на диване.

— Я не вовремя? — спрашиваю Галину Никитичну и киваю в сторону дивана. — Спит?

— Где уж там, будет он спать. Пишет.

И тут, в самом деле, из-под одеяла высовывается рыжая голова, в глазах смешинки.

— Послушай, что я написал. — Прокашлялся, поднес к глазам измятый под одеялом листок и прочитал:

*Внутри нетопленного клуба,  
На стенах изморозь бела.  
Но я дышу, и пара клубы  
Гоню в ладоши не спеша...*

— Это будет стихотворение о том дне, когда в промерз-

лом клубе мы, дети, радовались вместе со взрослыми победе под Сталинградом. Что-то вот тяжело идет.

Со временем этот разговор забылся, мало ли приходит поэту в голову. Может, не получилось, не написал. Но уже через годы, когда Игоря не стало, читая его последний сборник «Зрелость», я вдруг встречаю:

*...А у него в усталом взгляде  
Сегодня радость.  
В первый раз!  
Он говорит о Сталинграде,  
С победой поздравляя нас...*

И я тут же вспоминаю холодный зимний день, рыжеватых девочек на тесной кухоньке и рыжую голову, высунувшуюся из-под одеяла.

С Игорем Алексеевичем мне довелось работать недолго — всего четыре месяца. Поэт написал статью о спорте и высказал в ней совсем иное мнение, чем то, что имелось в горкоме и райкоме партии. Состоялось заседание, на котором Еремин не изменил своих взглядов и отказался делать поправки к опубликованной статье, хотя знал, что рискует быть уволенным. Что и последовало в ближайшее время. Был сфабрикован слух о моральном проступке его жены, вроде бы она пыталась украсть в магазине какую-то вещь. Расчет был верным. На слух, хотя он был лжив и нелеп, Игорь Алексеевич отреагировал уходом из редакции. В начале 1967 года он уезжает в Биробиджан, где на протяжении двух лет работает в областной газете «Биробиджанская звезда». Но и в Амурской области имя его не теряется. Ереминские стихи звучат по радио, публикуются в областных и районных газетах. О нем говорят с уважением даже тогда, когда, казалось бы, надо обидеться.

— Да, друг у тебя интересный, — говорил мне мой преподаватель, профессор пединститута Борис Афанасьевич Лебедев. — Он ведь тоже был моим студентом. Литературу знал великолепно. Ну вот за эти знания я и поставил ему «отлично». А Игоречек, чудак, представляешь, пришел в деканат и пожаловался, что я зависил ему оценку. Вот такой казус... Да что тут обижаться — ведь он поэт от Господа.

В Белогорск Игорь Алексеевич возвращается в 1969 году. В тот же год выходит в Хабаровском книжном издательстве его сборник «Ладони». Стихи Еремина начинают печатать «Наш современник». Там же, в Москве, издается сборник «Земные корни». Его принимают в Союз писателей СССР. Работает много и упорно.

*Когда живешь, переживая,  
Когда от множества обид  
Душа, как рана ножевая,  
В часы бессонницы болит, —*

*Тогда нет ничего разумней,  
Чем взять работу потрудней,  
Пот, проливая, как слезу, в ней  
И находя опору в ней.*

*Ей отдаваясь без остатка,  
Поймешь, что жизнь — хотя горька,  
Но в час душевного упадка  
Работой все-таки сладка.*

*Забудешь каждую обиду.  
И все, что мучило сперва,  
Все, в чем ты клял судьбу-планиду, —  
Все нипочем, все трын-трава.*

...За эти два года кое-что изменилось и в моей жизни. После ухода Еремина из редакции я несколько месяцев возглавлял отдел писем, затем — сельскохозяйственный и попутно работал с начинающими поэтами. Однажды в редакцию вошел высокий смуглый человек. Это был Джеймс Ллойдович Паттерсон, которого старшее поколение помнит по кинофильму «Цирк», где он снимался двухгодовалым чернявым ребенком. Бывший

лейтенант морского флота, окончивший Литературный институт, Джеймс к тому времени имел два поэтических сборника, собирал материал об отце, дикторе Всесоюзного радио, умершем от контузий, полученных во время войны. Наша дружба сохранилась и по сей день. Бывая в Москве, я всегда проводывал Паттерсона до тех пор, пока вместе с мамой, Верой Ипполитовной Араловой, хорошо известным театральным художником, он не уехал на жительство в Америку, к родственникам по отцовской линии. На днях я разговаривал с братом Джима, и тот сообщил, что где-то в августе Джим и мама возвращаются в Россию. Это замечательно, когда поэты возвращаются домой. Не менее важно вернуть большого мастера художественного слова из неоправданного забвения. Особенно сейчас, когда эфир заполнен бездуховной песенной баландой, когда достойной поэзии и прозе уделяется мало внимания, а на страницы попадает то, за что заплачено.

...Случилось так, что в год возвращения Игоря Алексеевича в Белогорск мы получили с ним квартиры, причем в одном доме и в одном подъезде. Ему дали четырехкомнатную на третьем этаже, мне — трехкомнатную на первом. Все чаще и чаще стали наезжать в город поэты, уже известные в области. Подолгу засиживались в рабочем кабинете Еремина тогда еще начинающие литераторы Олег Маслов, Виктор Алюшин, Игорь Игнатенко. За бутылкой вина, но без курева — Еремин не курил и не терпел запаха табака. Говорили о поэзии, рассматривали рукописи начинающих. У него было особое чутье на одаренных людей. Как зерна от плевел быстро отличал он поэзию от стихоплетства. Умел дать точное и емкое определение творчеству того или иного литератора. Иногда оно могло показаться жестким и обидным, но не мог он ради своей сиюминутной выгоды похвалить то, что к поэзии не имело отношения.

...Жизнь текла своим руслом. Моя дочь Ольга училась в одном классе с Наташей — второй из трех дочерей Игоря Алексеевича. Последнюю — Верочку — он всю жизнь звал «мальчик мой». У него были одни девочки, а чувствовалось, что он очень хотел иметь сына. Возможно, это происходило оттого, что в детстве и отрочестве Игорь Алексеевич жил в большой и дружной семье. Родился он 17 сентября 1934 года в селе Понзари Тамбовской области. В семье было пятеро детей. Игорь — первенец. Потом родились Эдик, Лева, Владимир и Лариса. Вскоре после войны семья переезжает на Дальний Восток. В Волочаевке Еремины — отец и сыновья-подростки — срубили дом и навсегда бросили здесь свои корни. Отец, Алексей Акимович, учительствовал, мать, Зоя Васильевна, занималась домашним хозяйством. Своих родителей Игорь Алексеевич очень любил.

*Умирающей матери взгляд,  
Он последний, другого не будет,  
Потому сын вовек не забудет,  
Что, прощаясь, глаза говорят.*

*— Мальчик мой! — оживают в глазах,  
Как в словах, то ли вздох, то ли голос.  
Смерти, мол, не боюсь ни на волос —  
За тебя моя боль и мой страх...*

Читаешь эти строки — и словно тебя самого накрывает огромная боль утраты.

*...Умирающей матери взгляд,  
Может, что-то еще напоследок  
Говорит он под вздохи соседок.  
Разглядеть бы, да слезы слепят.*

В последние годы жизни поэт часто вспоминал Понзари и предлагал мне съездить в Тамбов, в края его детства. Но у нас все как-то не выходило. И в первую очередь из-за того, что Игорь Алексеевич смертельно боялся высоты и наотрез отказывался лететь самолетом. Добираться поездом, на это нужно было много времени, которого всегда в обрез. Но мысленно он жил тем далеким, ибо, как не мной сказано, «воспоминания есть рай, откуда никто не может нас выселить».

И появлялись стихи о том далеком, как, например, «Свет в окне».

*Тронет вожжи отец:  
— Но, Чубарый!  
А Чубарый и сам по себе,  
Чуя запах жилья, будто парой  
Тянет воз торопливо к избе.  
Далеко еще. Но, как указкой,  
Тычет батя кнутом в темноту.  
— Ждут! — басит он со сдержанной лаской,  
Свет, в окне разглядев за версту.  
Хорошо-то как после дороги,  
После пыльной ее кутерьмы,  
Знать, что встретит нас мать на пороге,  
Как бы поздно ни прибыли мы...*

... В Волочаевке первым из отцовского дома уехал Игорь. Но и студентом он не забывал проводить родителей. Сюда же, в первый год своего учительства, он приехал со школьниками поработать на совхозных полях. Тут и встретила его светловолосая, тоненькая, как лоза, молодая агрономша.

— Сейчас я и не упомяну, — рассказывала мне впоследствии Галина Никитична, — из-за чего у нас вышел скандал. Но именно так началось наше знакомство. А через два дня там же, на грядках, дождавшись, когда школьников рядом не было, он вдруг заявляет: завтра приду к родителям руки твоей просить. Я чуть с лошади не упала. А он и в самом деле пришел. Мать его, Зоя Васильевна, предупреждала: «Смотри, Галина, характер у него не из легких». Так оно и оказалось. Когда Эдик приезжал, всегда их встречи заканчивались скандалом.

С братом Еремина Эдиком, который рос в большой семье вторым ребёнком, я познакомился, когда тот уже служил старшим лейтенантом недалеко от Белогорска. Это был высокий, спортивного вида человек. Как Игорь Алексеевич, он в своих суждениях оставался неуступчивым и компромиссов не признавал. Следует отметить, что поэт, в отличие от брата, не очень-то посвящал в свои мысли и взгляды окружающих его людей. Он любил слушать других, и то, если это была не просто словесная баланда, а когда просматривалось в разговоре какое-то зерно для будущих стихов.

Меня тянуло к этому человеку. В том, 1969-м, когда Еремин вернулся в Белогорск, я работал собственным корреспондентом Амурского телевидения по Белогорскому и Серышевскому районам. Иногда он ездил со мной на съемки, чтобы набраться впечатлений. Выезжали мы с ним в Возжаевку к учителю и поэту Виктору Коротаеву, наведывались в военсовхоз к моей теще угоститься яблоневого бражкой. В городе мы обычно ходили втроем: Игорь, баянист Владимир Евстюхин и автор этих строк. Нас часто можно было увидеть за столиком в одной из вечно прокуренных забегаловок города. Там к нам присоединялся рабочий завода «Амурсельмаш» Николай Дегтярев. Он жил в собственном домике с уютным двором, куда мы порой и перебирались подальше от гомона и табачного дыма забегаловки. Из настезь распахнутого окна хрипел голос Высоцкого, к песням которого Еремин и я относились отрицательно, но помалкивали, дабы не обидеть Дегтярева. А тот разливал по стаканам вино и читал свои стихи. Игорь вроде бы слушал, но я знал, что своими мыслями он где-то далеко от этого стихоплетства, но не высказывает суждений, потому что знает: Дегтярев никогда не будет претендовать на место в поэтическом ряду, это у него то, что у многих проходит после школьного возраста.

Иногда мы выбирались на берег Томи. Евстюхин захватывал с собой оранжевый баян, хотя чаще всего его меха так и не показывали свою широту и не трогали музыкой знойный день и желтизну быстро мчавшихся вод. Дно реки илистое, с неожиданными ямами, здесь, бывало, тонули люди. Но известно, что выпившему море по колено, и мы лезли в эту широко струящуюся желтизну реки и находили в том удовольствие. Правда, и здесь Игорь Алексеевич оказывался как бы сам по себе. Он оставался на берегу и созерцал окружающее, воспринимая все по-своему, по-еремински.

Он не был вхож во властные структуры, и не устраива-

ли ему презентаций по выходу сборников, как это бывает сейчас, когда сплошь и рядом появляются книжонки скороспелых поэтов, стремящихся засветиться на поэтическом Олимпе. В отличие от многих нынешних «опрезентованных», Игорь Алексеевич работал так, чтобы стихотворение было наполнено жизненной силой, чтобы оно удивляло тайной естественности и свободы языка.

*Зимы заснеженные виды  
Не восхищают, а гнетут,  
Когда смотрю, как инвалиды  
По скользкой наледи идут.*

*Вот летом это незаметней,  
Протезы или костыли,  
Они свой стук теряют в летней,  
Звук поглощающей пыли.*

*А на морозе скрип их резок.  
И плачет, и скрежещет снег,  
Когда проходит на протезах  
Войну прошедший человек.*

*Его завизжу, и тоскою  
Враз отзывается во мне  
И сорок первый под Москвою,  
И все, что было на войне.*

...В рабочем кабинете, где он и спал, не было ничего лишнего: железная с панцирной сеткой кровать, голые стены, письменный стол журнального варианта с пишущей машинкой с краю и небольшая стопка книг. В основном словари. Но я не помню, чтобы Игорь прибежал к ним, во всяком случае, в моем присутствии. Вид из рабочего окна выходил во двор с высокими тополями, за которыми просматривался кусочек городской дороги и стела комсомольцам, павшим на фронтах Великой Отечественной.

Увидев меня из окна, он призывно махал правой рукой, левая, поврежденная давним выстрелом, обычно находилась в опущенном полусогнутом состоянии. Я заходил, мы выпивали по стопке-другой. Он читал новое, только что написанное, и никогда не спрашивал: нравится ли. Очевидно, по выражению моего лица понимал, какое впечатление производит прочитанное им. А я улавливал музыкальность и ритм стиха и чувствовал, как что-то раскрывается во мне от услышанного, большое, волнующее. И вспоминалось прочитанное о поэзии у Адалиса, что «в этом и есть сила поэзии, но не только. Главное — в остатке. Стихотворцу необходимо знание техники стиха, но надо знать и причины, и способы поэтического воздействия. Поэзия — это мышление образами». Не случайно в углу под шторой в ереминской комнате часто валялись скомканные исписанные листки. Поэт искал свои образы, а те давались, конечно же, не так просто. Пианисту даны, если я не ошибаюсь, 78 клавиш, чтобы донести до нашего сознания великие творения композиторов, а писатель, поэт имеет в своем арсенале всего 33 буквы, и от того, как он ими варьирует, зависят прочность и красота созданного им.

Мы никогда не касались с ним темы моего творчества. Я — потому что боялся отдалиться от поэта, и еще потому, что видел, как далеко мне до Игоря. Еремин — очевидно, потому, что не любил лезть туда, куда его не приглашают, а еще он, как мне казалось, считал меня «пленником кино». Возможно, так оно и было. Работая собкором областного телевидения, я подружился с директором кинотеатра «Россия» Александром Михайловичем Рыжковым, и мы создали народную киностудию. До этого она числилась любительской, у ее истоков стоял преподаватель физики Владимир Ефимович Богдан. Мы киностудию, так сказать, подняли на новый уровень: помимо городских новостей, снимали киноочерки о передовых людях города и района. Уже были отсняты ленты о Героях Социалистического Труда учительнице Марии Иосифовне Лисицыной, машинисте локомотивного депо Михаиле Ефимовиче Горбачеве, о белогорских ребятах Анатолии Денисенко и Владимире Гаюнове, погибших при защите острова Даманский. Часть наших фильмов представлялась на ВДНХ СССР. Времени

было в обрез. И все же нет-нет да и появлялись мои рассказы и стихи в газете «Ленинский путь». Старых сотрудников в редакции оставалось все меньше и меньше. В Полярково уехал возглавить тамошнюю газету Анатолий Михайлович Дербышев, в Благовещенск, в «Амурскую правду», — Анатолий Павлович Дроздов. Владимир Иваровский занялся живописью и работал где-то художником. Андрей Гажа изредка подавал весточки из далекого Анадыря...

*Зовут по-разному дорогу:  
То просто тропкой, то тропой.  
Одна ведет тебя к порогу,  
Другая — в рощу за собой.*

*Одна мелькнет во ржи проселком,  
Другая, взбудоражив снег,  
Проложит на морозе колком  
Свой — первопутком — санный след.*

*Живет дорога век от века,  
И миновать ее нельзя.  
В судьбе любого человека  
Она то стежка, то стезя.*

*Но вот что важно: все дороги,  
Как ни зови их на веку,  
Ведут в конечном-то итоге  
К дороге главной — к большаку.*

Так писал он в поэме «Большак». А чтобы написать эту поэму, Игорь не только прислушивался и присматривался к событиям своего времени, но и бросал свой пристальный взгляд на прошлое нашего государства.

*Ах, этот путь! Не зря казалось:  
Здесь боль всея Руси больней,  
Чем где-нибудь, души касалась,  
Ведь здесь она была видней.*

*Ведь здесь текла сплошным потоком  
Россия нищих и калек,  
Напоминая ненароком,  
Как жизнь трудна, как тяжек век.*

*Ведь и в Сибирь все тем же трактом  
Этапом ссыльные брели.  
Еще не зная, что там, как там,  
В дали той каторжной земли.*

Дальше развивая свою мысль и показывая, какие преобразования произошли на окраинах бывшей каторжной земли, поэт в действительности выходит на большак и, с блокнотом в руках, посещает строительство Зейской ГЭС, Байкало-Амурскую магистраль.

Вспоминается, как вдвоем с Игорем мы ездили в город Зею. На станцию Тыгда, откуда дальше предстояло ехать автобусом, поезд пришел теплым июльским днем. Автобус на станцию еще не подали, и мы зашли с Ереминым в кафе, где отведали местной медовухи, несколько бутылок этого напитка взяли с собой. В ожидании автобуса мы расположились под высокими, пахнущими смолой тополями. Здесь и допили медовуху. Дорога пролегла сквозь густой темный лес и была в колдобинах. Старенький автобус карабкался между крутых сопок. Трясло. Игорь, надвинув на глаза шляпу, казалось, спал.

Но вот, читая поэму «Большак», встречаю следующее.

*Жаль, не всегда был адрес Зея.  
И по дороге неспроста  
Я обретал вид ротозея,  
Дивясь на здешние места.  
Земля то буйством разнолесья,  
То обнаженным камнем скал  
Влекла к себе, да так, что весь я  
В окно автобуса врался.*

*Вставали сосны-великаны,  
И чудилось, что с веком в лад  
Они, как башенные краны,  
Вздывают стрелы вместо лап...*

*Когда живешь вперед с заглядом,  
Мечту не примешь за мираж!  
Ведь твердо веришь: будто рядом  
И впрямь строительный пейзаж.*

Тогда в Зее я снимал киносюжеты для новостей Благовещенской студии телевидения. Игорь Алексеевич приехал собрать материал, который войдет потом в поэму «Большак». Мы жили в деревянной двухэтажной гостинице. На неделю зарядили дожди. Лес стоял темным и нахохленным, дороги размыло. Зея взбухла, шумно несла свои воды, затапливая берега. В такую вот слякоть мы добирались до строительства. Я снимал кинокамерой. Еремин что-то записывал в блокнот.

— Отсиделся бы, — говорю ему. — Погода наладится, тогда и придешь на проран.

— Ну а как писать о работе вот в такую погоду?

Убеждать его было бесполезно.

Вечером, раздевшись до трусов и развесив в номере свое белье, чтобы высохло к утру, мы сидели за рюмкой вина, обсуждали увиденное днем, читали стихи из приобретенных здесь книг. Еремин не покупал что попало. Он имел привычку долго рассматривать сборник, проникать в суть содержания, и когда убеждался, что держит в руках поэзию, тогда уже приобретал. Помнится, к концу той поездки я неудачно пошутил. Как-то Игоря не было в номере. Я взял со стола купленные им книги и подпер каждой из них пустые бутылки из-под вина, предварительно расставив те в шифоньере по полкам.

— Это же надо, — поразился Еремин, открыв дверку шифоньера. — Как правильно подмечено. Пьют поэты, причем повсеместно.

Он решил, что этот намек дали ему кастелянша гостиницы либо уборщица. Я пожалел о своей шутке, но не стал рассказывать, ибо, как и все поэты, Игорь был очень раним.

Об этом свидетельствует и другой пример. Однажды мы поехали с ним во Владивосток, где проживали наши матери. Окно купе подернуто чернотой ночи. Дочери наши, Наташа и Оля, уже спят. А нам с Игорем надумалось сходить в ресторан выпить по рюмке вина. Стук колес и серп луны, торчащий в краешке окна, да безлюдность ресторана оставляли в душе отпечаток какой-то легкой неведомой грусти. Мы сидели и ждали, когда принесут заказанное, а тут вошли иностранцы. Что-то шумно обсуждая, они расположились недалеко от нас. И тут же возле них засновали оба официанта и прочая прислуга вагон-ресторана. Иностранцам заменили скатерку. Слово по мановению волшебной палочки на столе у них оказались выпивка и закуска. Как и тогда, когда мы ехали с Ереминым в автобусе в Зею, поэт сидел, казалось бы, безучастный к происходящему. Но вот он встал, подошел туда, где уже звенели фужеры и дрожала иностранная речь, взял чужой фужер и чужую, с черной жидкостью вина, бутылку, налил полный фужер и под ошеломленными взглядами присутствующих выпил.

Я был ни жив и ни мертв. Опешили и все остальные. Но вот официанты пришли в себя и с перекошенными лицами подлетели к поэту.

— Хам! Высадим!

— Надо не забывать, кто в России хозяин, а кто гость, — сказал Еремин. — Запишите на мой счет еще одну бутылку и поставьте гостям.

Когда у иностранцев появилось не заказанное ими вино, их лица выразили удивление, а Еремин приподнялся и дал рукой знать, мол, примите от нас.

Поэма «Большак» была опубликована в журнале «Наш современник». Там же печатались поэмы «Солдатка», «Далекый свет», над которыми Игорь Алексеевич работал так же тщательно, отрабатывая каждую строчку.

К тому времени отец Еремина умер, и произошло это в школе, на уроке. Его похоронили в Волочаевке, там, где когда-то был срублен его руками и руками сыновей бревенчатый дом. Зоя Васильевна переехала жить во Владивосток к сыну Льву Алексеевичу. Я встречался с ней однажды в Белогор-

ске, когда она приезжала проведать внучек. Эта женщина, среднего роста, рыжеволосая, с мягкими чертами лица была очень внимательна к собеседнику и немногословна. Чувствовалось, что за плечами у нее нелегкий, но достойно пройденный путь. Во Владивостоке она имела квартиру в районе Столетия города, за кинотеатром «Искра». Квартира располагалась в цокольной части дома, куда солнце проникало лишь к вечеру. Я был здесь единственный раз, и когда зашел сюда и увидел Игоря и Зою Васильевну рядом, то в очередной раз очень удивился внешней схожести матери и старшего сына. А Льва Алексеевича, сидевшего в углу стола и все порывавшегося завести какой-то разговор, можно было принять за постороннего человека, так, зашедшего в гости. Черты лица его были острее, чем у брата и матери, русые волосы прямо зачесаны, скулы обтягивала сухая темная кожа. В тот мой первый и последний приход к Ереминым во Владивостоке у них шел разговор об отце, чью могилку в Волочаевке, очевидно, сыновья давно не посещали. Чтобы не мешать семейной беседе, я договорился с Игорем об отъезде в Белогорск и ушел. Я знал, как трепетно относится Игорь к памяти отца.

*...И вот стою перед могилой,*

*Родней которой в мире нет.*

*Отец, как он заждался, милый!*

*Ведь не был здесь я столько лет!*

*Мы и при жизни-то не часто*

*Встречались. В год, быть может, раз.*

*Тем большее давали счастье*

*Те встречи каждому из нас.*

*Бывало, сядем на порожек,*

*У ног разложим дымокур.*

*И пусть он, прогоняя мошек,*

*Ест и глаза нам чересчур,*

*Сидим, не пряча дум заветных,*

*И говорим не впопыхах:*

*Я — о своих делах газетных,*

*Он — об учительских делах.*

*... Ведь он и умер прямо в школе,*

*Пришел с урока, сел вздохнуть,*

*Но, крикнуть не успев от боли,*

*Вдруг свесил голову на грудь...*

В конце 1979 года я переехал во Владивосток, туда, где и родился. Но Амурская область, по которой я много поколесил, будучи корреспондентом, навсегда осталась в моем сердце. И при любой возможности я посещаю Белогорск и Благовещенск, где прошла моя юность. Такая поездка состоялась в начале 1982 года. Первым, кого я встретил в Благовещенске, был Еремин. Помятый и плохо выбритый, он встретился мне в гастрономе и тут же предложил взять бутылку вина. Я купил, и мы поехали в Дом радио к нашим общим друзьям. В холле нас останавливает председатель комитета Борис Петрович Рябов. Пока я рассказывал ему о своем житье-бытье, Игорь Алексеевич куда-то исчез, и я не мог его найти.

— Да ты не волнуйся, — сказал редактор «Солдатского часа» и амурский поэт Виктор Алюшин, — никуда он не денется, пока ты не купишь бутылку вина.

— Я уже купил. Она у него.

— В таком случае ты его не увидишь.

Я не увидел Еремина тогда — и уже никогда...

В немалой степени причиной его смерти стала алкогольная отравка. Я заостряю на этом внимание, ибо не секрет, что люди искусства сильно подвержены болезни винопития. Известный писатель Иван Дроздов недавно выпустил книгу «Унесенные водкой». Это исповедь о том, какой вред приносит алкоголь писателям. Но разве только люди творчества несут невосполнимые потери от «зеленого змия»? Алкогольный фашизм ворвался на каждую улицу, в каждый дом и беспощадно косит поколение за поколением. Наш общий с Ереминым знакомый Николай Трифионович Дегтярев, некогда про-

стой рабочий завода «Амурсельмаш», еще в молодости понял, какие беды несет алкогольный яд. И полностью отказался от него. Да и не только отказался, а повел борьбу. Получил образование, стал доцентом Международного института славянской культуры. Сейчас помогает людям осмыслить огромный вред алкоголизма, возвратиться к здоровому образу жизни.

Алкогольный яд отнял жизнь и у другого амурского поэта — Геннадия Хорошавцева, и у детского поэта — моего друга из Хабаровска Бориса Копалыгина, у поэта из Приморья Геннадия Лысенко...

— В последний год своей жизни, — рассказывал мне известный журналист и литератор Благовещенска Юрий Петрович Залысин, — Игорь писал роман «Мать». Главы из этого романа мы давали по радио. А вон в той комнате... — Юрий Петрович встал из-за стола, высокий, как и прежде словоохотливый и подвижный, прошел к дверям и открыл их в комнату, заполненную послеобеденным солнцем, — ...он жил. Игорь тогда только что окончил пединститут и поступил в «Амурский комсомолец». Я редактором был. Писал он свежо, интересно. Стихи его публиковали. Своего угла в Благовещенске у Игоря не было. Ну я и уступил ему эту комнату...

Этот разговор происходил два года назад. Вот уже нет и Юрия Петровича Залысина. Время безжалостно, и оно же, время, что-то навсегда утверждает в нашей памяти.

Тогда, после встречи с Залысиным, я сидел в кафе под открытым небом на берегу Амура. Напротив — поэт и переводчик с китайского Станислав Демидов, редактор Владислав Лецик. Рядом со мной — поэт Виктор Алюшин. На том берегу реки белели новостройки Китая. Недалеко от нашего столика разместилась группа желтолицых парней, что-то обсуждавших на своем языке. А мы вспоминали молодость и то время, когда возник конфликт на Даманском.

— А помните ереминское «Петухи»? — спросил Стас Демидов. — Игорек еще тогда предугадал, что придет время, когда мы запросто будем ездить друг к другу, и вот так рядом сидеть с китайцами, как сейчас.

А мне вспомнилось, как вместе с Игорем Алексеевичем мы стояли у парапета недалеко от этого места, где мы сидели сейчас, и его взор из-под насупленных рыжих бровей был устремлен на ту сторону реки. Может быть, в то время и родились у поэта эти строки.

*Встает Россия с петухами.  
И я в одной из деревень  
Проснулся в их веселом гаме,  
Когда едва забрезжил день.  
...Ах, как он бил крылом, горластый!  
Как выводил:  
— Кукареку!  
Как бы по-русски слово «Здравствуй!»  
Передавал через реку.  
Так зарождалась связь простая.  
Я ждал всего какой-то миг —  
И вот с приветом из Китая  
Уже летел ответный крик.*

Нужно не забывать, что писалось это, когда еще не зарубцевались раны после Даманского. В этом стихотворении поэт откровенно говорит, где его баррикады и за что он сражается:

*...и сквозь тумана волоконца  
В любом китайце наугад  
Уже я рад бы был знакома  
Признать, как много лет назад.  
Уже я рад бы был как брат  
Его приветствовать стократ,  
Чтобы услышать, как когда-то,  
В ответ по-русски: «Здравствуй, брат!»  
Но нет, не поднял глаз китаец.  
Стоял он, голову клоня,  
Как будто спрятаться пытаюсь  
За конским крупом от меня.  
Как будто этим утром майским  
Меж нами не реки краса,*

*А снова островом Даманский  
Вражды дымилась полоса.  
Ну что ж... Пусть дружбы нет в помине  
В Пекине на столбцах газет,  
Но кто ж поверит, будто ныне  
Ее и в нашем сердце нет?*

А в конце стихотворения поэт усиливает свою мысль, что придут иные времена:

*...Как ни насилуй душу властью,  
Ни отравляй наркозом слов,  
Не может состоять, по счастью,  
Жизнь из одних кошмарных снов.  
И над Китаем встанет утро!..  
Не это ль у любой стрехи  
Нам так естественно и мудро  
Напоминают петухи...*

Память — это не только взгляд в прошлое, это благодатная почва для нашего продвижения вперед. В канун своего отъезда из города моей юности я обратился к редактору газеты «Белогорские вести» Козедубу:

— В сентябре исполняется 65 лет со дня рождения Игоря Алексеевича. Может, отразим это в вашей газете? Ведь основное написано Ереминым в Белогорске.

— Знаешь, места на полосе и так не хватает, вряд ли чем помогу, — ответил Козедуб.

Я не сказал ничего, что хотелось бы ему сказать, и пошел в парк Дзержинского, где когда-то познакомился с Ереминым. Здесь несколько лет назад я написал это стихотворение:

*Глоток воды,  
Еще глоток воды,  
И может быть, покинет сердце жажда,  
И в памяти прорубятся следы  
Сквозь тихий парк,  
Где шел ты не однажды.  
Глоток воды,  
Еще глоток воды.  
За «воду» ты ругал,  
Читая гранки.  
Как сердце жжет от этой вот беды,  
Что дочерям ты не сорвешь саранки.  
Что без тебя раскроется «Большак»,  
Листвою строчек путников встречая.  
Прости, что плохо твой запомнил шаг.  
Прости, что свет такой не излучаю!  
Все кажется:  
Откроется окно,  
Солнцеголовый, выглянешь ты сверху.  
И я пойму:  
Ты ждешь меня давно  
Бессонной ночи гранок сделать сверху.  
Глоток воды,  
Еще глоток воды!  
И может быть, покинет сердце жажда.  
Да забинтую в памяти следы  
Сквозь тихий парк, где шли мы не однажды.*

Жаль было расставаться с этим тихим парком, да и с самим городом, у порога которого длинной лентой извивалась мелководная Томь. И я все сидел под тополиным листопадом и мысленно опять проходил по улицам Белогорска.

На этот раз я побывал в квартире, где когда-то застал Еремина больного, закутанного в одеяло, но с неизменной авторучкой в руке. На одном из перекрестков города я встретил Владимира Ефимовича Богдана, которому недавно присвоили звание почетного гражданина Белогорска. Сердце мое екнуло, но ветеран войны, очевидно, не узнал меня или не заметил. И я не решился быть назойливым и своим вниманием возвращать человека в прошлое, ностальгия — она не всегда кстати. По этой же причине я не зашел к Михаилу Ефимовичу Горбачеву и Марии Иосифовне Лисицыной, о которых снимал документальные фильмы около двадцати лет назад. Я только проведаль сына и старых друзей. У сына в канун 2001 года

родилась дочь, и она стала последним жителем Белогорска из явившихся в этот мир в ушедшем тысячелетии. Это не прошло незамеченным, и когда появился младенец нового тысячелетия, то эти два события объединили и торжественно отметили в мэрии города.

Из старых друзей я всегда посещаю Николая Трифоновича Дегтярева. И ныне он в гуще народных масс, но теперь с миссией возвращения заблудившихся в этой жизни и погрязших в пороках алкоголизма и табакокурения к здоровому образу жизни. Не один десяток лет колесит он по всеям Амурской области, исцеляя людей и тем продлевая им жизнь. Николай Трифонович бережно хранит ереминские книги, подаренные ему автором. Он отдал мне для работы над очерком пожелтевшие номера «Ленинского пути», где публиковалась сказка Игоря Алексеевича «Мишка-никудашка». Для меня, детского писателя, явилось радостным открытием, что Игорь Алексеевич обращался к творчеству для детей. Я хорошо помню, как любил он своих дочерей, и особенно младшую Верочку. Ей он и посвятил это произведение.

*Расхворался мишка,  
Мишка-никудашка.  
Он лежит в постельке белой,  
Он лежит и не встает.  
Невеселый, неумелый,  
Даже лапу не сосет.  
И над ним страдает Света:  
Что же это? Как же это?..*

Так начинается эта удивительная сказка в стихах, и тут же возникает вопрос: почему сказка посвящена Вере, а героем выступает Света? Да дело в том, что Вера жила тогда в Благовещенске с отцом, а дочери Света и Наташа оставались в Белогорске, и теперь память поэта тянулась к тем, кого не было рядом.

Две пожелтевших вырезки газеты «Ленинский путь». А шла сказка в трех номерах.

— Была ли она окончена? — интересуюсь я у Ивана Егоровича Дымы, бывшего заместителя редактора газеты «Ленинский путь».

— Два номера, где она шла, подписывал я, — отвечает Дыма. — А вот дальше не помню.

Следует отметить, что Иван Егорович и его жена, преподаватель математики Вера Антоновна, хорошо знали Игоря Алексеевича, хранят его книги, журналы и газеты, в которых печатался поэт.

— Еремин очень ответственно работал со словом, — вспоминает Дыма. — Одно время я был редактором районной газеты в Мазаново. И мы остались без секретаря редакции. Я попросил Игоря Алексеевича выручить нас. Он согласился. И газета наша как бы приобрела новое лицо. Смотрелась свежо и интересно. Но возникла проблема. На Еремина стала жаловаться одна сотрудница, что он издевается над ее материалами, безбожно правит их. Дело дошло до райкома партии. Состоялась беседа с первым секретарем. Я и говорю ему: что вы хотите, этот человек профессионал, член Союза писателей, поэт, и русский язык знает так, как не знаю даже я, редактор. Да вот сам убедись. — Иван Егорович достает из папки еще одну пожелтевшую вырезку. — Уже и не помню, как она попала ко мне, но очень жаль, что окончание стихотворения утрачено. Стихотворение называется «Времена года».

*Однако же расчетливой весьма  
Была, налаживая жизнь, природа:  
Не зря ж четыре времени у года —  
Весна и лето, осень и зима.  
Не зря весна, разливов кутерьма,  
Да спевки птиц, вовсю орущих хором,  
Да жизни новый разворот, в котором  
Весна и лето, осень и зима.  
И дух цветов врывается в дома.  
Трава и та пытливости не прячет,  
Вверх так и лезет, чтобы знать, что значит  
Весна и лето, осень и зима...*

Где-то я прочитал: «Если дорога бесконечна, ты никогда не скажешь, какая часть ее пройдена. И если рассказу конца-краю не видно, все равно, где его оборвать. Говорить о поэзии можно бесконечно, и всегда останется сказать больше, чем было сказано. Между прочим, таково свойство и самой жизни...»

Поэзия Игоря Алексеевича Еремина говорит, что он и сегодня идет рядом с нами по этой земле, которую он любил сыновней любовью. Ей он и посвятил свою последнюю поэму, которая так и называлась «Земля». К сожалению, этот шедевр амурского поэта был не завершен.

*Распаханными далями чернея,  
Дорогами далекими пыля,  
Лежит она... А облака над нею —  
Как паруса. И вдаль плывет земля.*

*«Земля — корабль!» — так написал Есенин.  
Но времена иные подошли.  
И вот она с улыбкою весенней  
Сама свои шлет в космос корабли.*

*Масштабы, безусловно, все условны  
В сравнимой относительности их.  
И тридцать верст по счету баснословны,  
Когда их мерешь на своих двоих.*

Может быть, на своих двоих поэт померил не так уж и много, но мысленно он охватывал огромные просторы нашего государства, да и всей Земли, поэму о которой он и замыслил. Окончить ее ему не было суждено. Но жизнь продолжается. Города молодеют, и чтобы они становились еще моложе и краше, мы обязаны оглядываться на прошедшее и брать от туда все лучшее.

...В один из вечеров я сидел в квартире у Галины Никитичны — вдовы поэта. Вместе с ней и старшей дочерью Светой мы вспоминали те далекие дни, читали стихи Игоря. А когда умолкали, то каждый, наверное, думал о своем, но если суммировать, то мы думали о бытии человека и бескрайних просторах за темным окном. Где-то там, далеко, среди северных широт светит сейчас окно избы младшей дочери Веры, у которой растет сын. Вторая дочь, Наташа, живет в селе под Кемеровом. Бог щедро наградил ее детьми. У Наташи их пятеро. Да, жизнь продолжается, и продолжается история... Буквально на минуту успел заскочить я в школу, где некогда преподавала Мария Иосифовна Лисицына. Сейчас это школа искусств. Я зашел в тот класс, где когда-то снимал для фильма партизан Белогорска. Класс был заполнен ярким солнцем. Преподаватель истории Светлана Забытова, я называю ее без отчества потому, что она еще очень молода и только вступает в великую сказку по имени Жизнь, вела урок истории. А за окном класса высился памятник погибшим в годы Гражданской войны. Каменный партизан с приспущенным знаменем как бы всматривался в окна школы, убеждаясь, на ту ли тропу выводят нынешнее молодое поколение. Память — это великий дар для продвижения человечества вперед.

Завтра я уезжаю из Белогорска, но я снова вернусь к нему в своем очерке, чтобы рассказать о поэте, который творил в этом городе и оставил в литературе заметный след. Последний его сборник «Зрелость», вышедший после смерти поэта, заканчивается так:

*А жизнь и вправду слишком уж мала,  
Чтобы объять по праву бесконечность,  
И если все же нам доступна вечность,  
Тому причиной добрые дела.  
Они и после нас, о нас трубя,  
Живут, как свет звезды, давно потухшей.  
И я судьбы пока не знаю лучшей,  
Чем светом стать и пережить себя.*

1999–2002 гг.

Владивосток — Белогорск — Владивосток.



«Варя» — это, по-вашему, женское имя? Не только. «Варя» — это еще и «порция продукта, отпускаемая для варки на один раз, например, варя мяса». Это мы вычитали в интереснейшей книжке, выпущенной в этом году Благовещенским педуниверситетом. Она называется «Словарная картотека Г. С. Новикова-Даурского», к печати ее подготовили преподаватели Л. В. Кирпикова, В. В. Пирко и И. А. Стринадко. В книге содержится большое количество диалектных слов говоров Забайкалья и Приамурья, собранных в свое время амурским краеведом Григорием Степановичем Новиковым-Даурским.

А теперь вот и альманах «Приамурье» отдает дань памяти этому замечательному человеку. За что спасибо нашему постоянному автору Николаю Рудковскому, который с энтузиазмом освещает в своих очерках культурную историю Амурской земли. Напомним, что в номере альманаха за 2001 год напечатан его очерк «Поэт и воин» о Леониде Волкове, с большим интересом встреченный читателями.

Страницы истории

## НЕУТОМИМЫЙ ИСКАТЕЛЬ

*«В какой чудесный век живет теперешнее поколение людей. Как я счастлив, что дожился до этого... Давно ли мы узнали о запуске гигантского космического корабля — нового спутника Земли. Еще не закончились обсуждения этой победы советской науки, как вот сегодня радио оповестило мир о запуске автоматической космической станции в сторону Венеры... Ну как же не ликовать нам, советским людям? Ведь это наши советские ученые, техники и рабочие осуществили эти запуски...».*

Этими словами 13 февраля 1961 года заканчиваются дневниковые записи Григория Новикова-Даурского — известного дальневосточного ученого-краеведа, многие годы жизни отдавшего изучению Приамурья. Два месяца спустя Григория Степановича не стало. Он так и не узнал о полете в космос первого человека — Ю. А. Гагарина.

По стечению обстоятельств, в день его похорон доставка газет с помещенным там некрологом была задержана, и большинство людей узнали об этом прискорбном событии с опозданием. И поэтому на кладбище они пришли в самый последний момент, когда останки этого незаурядного человека уже предавали земле...

### «УЧИСЬ ЛАТИНСКОЙ ГРАМОТЕ, ПАРЯ — ФЕЛЬДШЕРОМ СТАНЕШЬ...»

...Старая избенка на окраине Нерчинска огласилась детским криком: повитуха приняла на руки первенца семьи бедных мещан Новиковых — Гришу, родился который 14 октября 1881 года.

Отец новорожденного, Степан Николаевич, имел, что называется, «золотые руки» и считался лучшим каменщиком и печником в городе. Выезжая в разные селенья, летом он клал печи, строил дома, штукатурил, а зимой делал сундуки, кровати, столы и табуретки. Его ценили за честное отношение к работе. Он много читал, причем очень хорошо умел читать вслух — избашка Новиковых в зимние вечера частенько наполнялась соседями, собиравшимися его послушать. От отца-то и унаследовал Григорий любовь к чтению о путешествиях и приключениях. И первыми его книгами, купленными впоследствии на свои деньги, стали номера журналов «Вокруг света» и «Природа» и приложения к ним — сочинения Майн Рида, Мавра Иокая и других авторов приключенческого жанра.

Беда была с отцом, когда тот бывал пьян, а пьяным с работы он возвращался частенько, превращаясь в итоге в отпетого алкоголика. Добрый и не скандальный будучи трезвым, в подпитии он превращался в сущего демона, террори-

зируя домашних. Очень много горя, обид и побоев перенесла от него его жена — женщина тихая и трудолюбивая, от которой Грише в надел достались терпеливый характер и уживчивость с людьми. Она научила его грамоте. Хотя читать Гриша начал с пяти лет, но в школу никогда не ходил и, позднее, в графе «образование» указывал — «самоучка». Детей его мать рожала каждый год, но все они скоро умирали, выжили только двое — он и брат Кеша. Работала она по найму: стирала белье, мыла полы, белила комнаты известью, копала и полола огороды у купцов и зажиточных мещан, а весной катала мацу в еврейской общине к Пасхе.

Дед, Николай Ильич, служа трапезником при церкви, занимался чтением псалтыри по умершим. Тихий старичок, среди людей слыл он за начитанного и образованного, но, однако, никто из домочадцев никогда не видел, чтоб он читал что-нибудь, кроме псалтыри и библии, и то, кажется, по памяти, так как видел уже плохо.

Замечательным человеком была бабушка. Это была совершенно неграмотная восьмидесятилетняя старуха. Но как много она знала! К тому же обладала удивительной памятью. Например, события из своей жизни и места, где ей приходилось бывать еще в молодости, помнила до мельчайших подробностей и умела рассказать просто и увлекательно. Знала множество сказок, песен, прибауток, пословиц и поговорок. Благодаря ей Григорий, обладавший феноменальной памятью, и полюбил устное народное творчество. Жаль только, что бабушка имела отвратительный характер: сварливая и придиричивая, она причиняла много горя невестке, портила характер своего сына.

Когда Грише исполнилось семь лет, от чахотки умерла мать. А потом отец, совсем сбившийся с пути, заболел и слег надолго в лечебницу, откуда вышел со слабым здоровьем. А вскорости он заболел падучей болезнью — эпилепсией.

Дед в это время сильно одряхлел. Бабушка исполняла все работы по дому, а оба внука помогали ей. В течение последующих шести лет Новиковы терпели страшную нужду. Ведь, помимо пособия от городской управы — три рубля в месяц — никакого иного дохода не было. А меж тем семья состояла из пяти человек: отца, который, несмотря на свою хворь, продолжал прикладываться к рюмке, а после паралича правой руки и левой ноги сделался совершенно нетрудоспособным, двух стариков и двух детей.

Летом Грише и его брату приходилось заботиться о заготовке топлива на зиму и носить воду с реки, зимой — возить лед и оттаивать его на воду...

Дом семейства Новиковых находился в пригороде «Забока», в километре от города Нерчинска Забайкальской (ныне Читинской) области, на берегу протоки, в малую воду пересыхавшей. За протокой находился остров с зарослями черемухи, боярышника и шиповника, а прямо за рекой высилась гора, склоны которой заросли мелким березняком и





**Григорий Степанович Новиков-Даурский**

осинником. В другую сторону от дома раскинулся обширный сухой луг с несколькими озерками, богатыми карасями и гольянами. Григорий с братом бывали летом то на реке с удами, то на острове за черемухой, то на горе за грибами.

Уже мальчишкой Гриша полюбил природу и начал приглядываться к ее явлениям, стараясь понять их. Именно с этой поры берут истоки его опыты собирания насекомых, камней, а несколько позже — археологических остатков на местах древних стоянок в окрестностях города — в подражание организатору Нерчинского музея ссыльному народовольцу Алексею Кирилловичу Кузнецову.

Иннокентий, хотя и был младше своего брата на четырнадцать месяцев, в детстве и в молодости отличался силой и крепостью здоровья. Гриша же часто болел и был слабым. Поэтому тот и стал раньше старшего брата зарабатывать: одиннадцати лет от роду его отдали в работники к одному мещанину.

Григория же взял на работу подручным в кабак старый приятель отца, Капустин, но тот пробыл здесь недолго — оказался неспособным обходиться с клиентами заведения. После этого батрачил у зажиточных мещан. В 1895 году, когда началось строительство Забайкальского участка Сибирской железнодорожной магистрали, он подался туда на земельные работы, где работал коноводом.

В самом начале зимы, катаясь с горки, Гриша неудачно упал и вывихнул себе руку, отчего пришлось на время отказаться от работы и сидеть дома. В это время расхворались дедушка с бабушкой, и на его плечи свалилась забота о хозяйстве, по уходу за больными стариками.

Накануне Нового года умер дедушка, и его похоронили за счет городской управы. Бабушку увезли в больницу. Все имущество, которое уместилось на одних дровнях, сложили в больничный амбар, а Григория управа отдала в работники к дяде помощника городского старосты — зажиточному мещанину Силинскому, занимавшемуся хлебопашеством и из-



Дом в Нерчинске, где родился и провел детство Г. С. Новиков. Фото 1940-х годов

возом. Его новый хозяин оказался человеком черствым и злобным, часто осыпал бранью, а то и угощал увесистым кулаком тщедушного паренька. После очередной экзекуции Григорий не выдержал и сбежал от него. Поводом к побегу послужило еще и то, что хозяин не отпустил его на праздник Масленицы в гости к бабушке в больницу. Но оказалось, что в тот день, когда он отправился проведать ее, та уже скончалась. Так что с братом они остались одни-одинешеньки на белом свете, круглыми сиротами, лишившись в течение трех месяцев отца, деда и бабки.

Иннокентий нанялся в работники к извозчику, а Григорий, которому шел уже пятнадцатый год, по ходатайству городского старосты Шульгина, за двенадцать рублей в месяц был определен рабочим в Нерчинскую аптеку. В обязанности его входило растапливать печи, убирать помещения, мыть аптекарскую посуду, помогать аптекарю и его помощнику в их работе: просеивать, толочь, месить, что дадут, а также носить обеды провизору и обслуживать его и проживавшую при нем сестру.

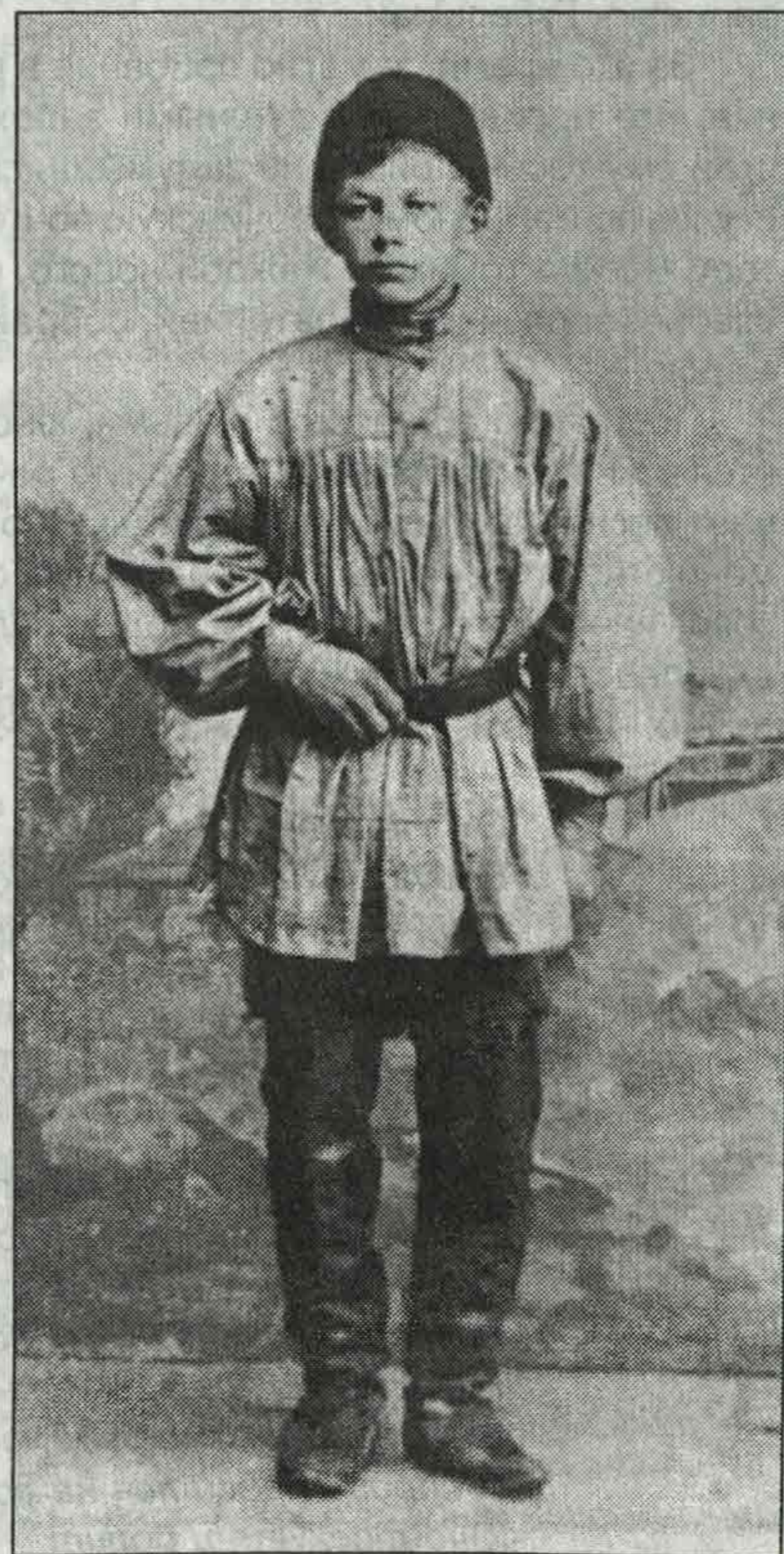
В одном здании с аптекой помещались также городская управа и библиотека. Аптека — на нижнем этаже, а управа и библиотека — на втором.

Под жильем Грише отвели сравнительно небольшую квартиру в лаборатории аптеки. Хотя трудиться приходилось много, но, в отличие от предыдущих его занятий, работа была несложная, а вечера — вообще свободными, и Григорий забывался за чтением любимых книг.

И все же первое время ему было несколько тяжело в непривычной обстановке. Провизор Литман Михайлович Шлайн, простой и добродушный человек, показался Грише суровым барином, а его сестра и кассирша — слишком важными барышнями, и он стеснялся с ними разговаривать. Лишь спустя какое-то время, познакомившись с ними поближе, увидел, насколько славными были эти люди.

А вот исполнявший обязанности помощника аптекаря восемнадцатилетний Минея Израилевич Губельман, окончивший школу фармацевтов, уже с первого дня знакомства показался ему таким простым и сердечным человеком, что паренька сразу же потянуло к нему. Между ними быстро установились дружеские отношения. Минея, несмотря на то, что семья его жила далеко не завидно, нередко снабжал Гришу то картошкой, то сахаром, то хлебом.

Однажды, рассматривая различные склянки с медикамен-



**Григорий Новиков в юности**

тами, Григорий обратил внимание на незнакомые ему буквы на наклейках. И, слыша, как Шлайн произносил мудреные названия, беря в руки тот или иной флакон, стал записывать на листочке бумаги латинские названия, как они значились на ярлыке, а рядом — русский перевод. Увидев, чем тот занимается, Губельман и сказал:

— Знаешь что, паря, учись латинской грамоте, пойдешь на военную службу — фельдшером станешь. В магазине Рыжкова купи учебник, и я тебе помогу усвоить эту премудрость.

На следующий день за шестьдесят копеек, которые ему одолжил Миней Израилевич, он купил «Руководство латинского языка» Виноградова. Как только Губельман освобождался от работы, он заходил в лабораторию, и занятия начинались. Узнав, что Гриша хотя и читает бегло, но о русской грамматике не имеет ни малейшего понятия, он ознакомил его и с некоторыми элементарными правилами русского правописания.

Учеба шла весьма успешно. Через неделю Григорий уже свободно читал многие этикетки на бутылках и баночках. Губельман, а иногда и Шлайн, чтобы проверить познания в латыни, посылали его в склад за наиболее простыми медикаментами и материалами, вроде деревянного масла, спирта, сахарного сиропа и тому прочего, называя их по латыни, а он приносил то, что нужно.

Другим учителем Гриши оказался секретарь городской управы Александр Семенович Бояркин, заведовавший также и библиотекой. Он научил его пользоваться словарями: толковым словарем Даля и энциклопедическим Брокгауза и Эфрона, только появившимся в продаже.

Миней Губельман увлекался составлением гербариев. Приобщил он к этому делу и Григория. Научил он его также готовить желатиновые формы для гектографа, что впоследствии пригодилось Новикову для издания рукописного журнала в японском плену.

В начале 1898 года Миней Израилевич уехал из Нерчинска в Читу. Уезжая, он передал в дар только что открывшемуся тогда Нерчинскому музею свой гербарий из тысячи двухсот растений.

«После отъезда Губельмана из Нерчинска, — напишет в своих воспоминаниях Григорий Степанович, — видеться с ним мне больше не пришлось. Позже, встречая в печати имя академика и видного революционного деятеля Емельяна Ярославского, я не сразу понял, что это мой знакомый Миней Израилевич Губельман...».

За это время, заметно прибавив в росте, возмужав и поняв, что пропитанный душными запахами лекарств мирок стал ему тесен, Гриша, не задумываясь, оставил аптеку, поступив почтальоном в Нерчинскую почтово-телеграфную контору. Всегда томимый жаждой нового, на новом поприще он всерьез заразился филателией, собрав хорошую коллекцию марок.

Постоянно общаясь с людьми, юноша жадно вслушивается в живую и образную народную речь: неустанно записывает песни, частушки, пословицы и поговорки. К этому времени относятся первые литературные опыты Григория Новикова, начавшего печататься под псевдонимом «Даурский», впоследствии ставшим составной частью его фамилии. Среди них — стихи. Где-то в начале 1900-х годов он пишет:

*Ох! Не знаю, что такое  
Вдруг случилось со мною?  
Мне не нравится жаркое  
И капуста с ветчиною.*

Есть у него и такое стихотворение:

*Никто меня не понимает,  
Лишь всяк смеется надо мной.  
И пустельгою называют,  
Бездельником, бумажною душой.  
Нет! Не могу я вынести боле  
Насмешек, колкостей, обид,  
А сердце просится на волю,  
Оно тоскует и болит.*

В октябре 1903 года Григорий Новиков был призван на военную службу и, по личному желанию, определен на флот и назначен в Квантунский флотский экипаж в Порт-Артуре. К месту службы он прибыл в первых числах декабря, а через месяц началась русско-японская война, первый удар которой пришлось вынести Порт-Артуру.

Новиков, до блокады крепости с суши, числился в 15-й мастерской роте экипажа и работал в портовой малярной мастерской. Затем всех новобранцев-мастеровых, в том числе и Григория, выделили в особую рабочую команду молодых матросов 15-й роты. Команда эта использовалась на разных работах: приходилось носить из города в казармы хлеб, мясо и прочие продукты, возить воду, доставлять на передовые позиции провиант, помогать санитарам выносить раненых и убитых в боях, хоронить умерших в госпиталях, тушить часто возникающие в городе пожары. И кроме того — нести караульную службу.

Между тем число матросов этой команды убывало: люди болели дизентерией, тифом, цингой и желтухой. Во время санитарной работы на позициях жизни многих из них обрывались под разрывами неприятельских снарядов, их косило пулями. Немало среди них было и раненых. А работы не убывало, напротив — становилось все больше и больше... Люди не выносили такой нагрузки и шли к командиру с просьбой отправить на передовую позицию. С такой же просьбой обратился и Григорий Новиков.

Командир — капитан 2-го ранга Бубнов — внимательно выслушал все доводы молодого матроса.

— Я знаю, — произнес он, — что вам тяжело, и на позициях, пожалуй, легче. Но если я пошлю вашу команду на передовую, то кто же будет вас самих-то кормить там. Ведь ты, наверное, видел, у нас люди на позициях все больны, всем хочется отдохнуть. Надо терпеть.

Спустя месяц Новикова перевели в 13-ю роту и назначили юнгой экипажного баталера, а еще через месяц — 1 января 1905 года (по старому стилю — 19 декабря 1904-го) — эпопея обороны Порт-Артурского гарнизона закончилась капитуляцией крепости, весь гарнизон которой оказался в плену у японцев.

Сдача крепости состоялась 23 декабря. Солдаты и матросы были построены у своих казарм, а затем поротно двинулись через город, на запад от гавани, в Чайную долину, где и произошла официальная передача пленных по спискам — отдельно офицеров, унтер-офицеров и рядовых — японскому командованию.

Прощание с командирами было сухим: большая часть офицеров не пользовались не только любовью, но и уважением своих подчиненных. Жалели оставшихся больных товарищей, с печалью глядя на остатки укреплений и окопов...

У Григория Степановича к тому времени начиналась цинга: тяжелели ноги и стали кровоточить десны. Однако осматривавший пленных в Дальнем японский доктор не заметил никаких признаков болезни, и Новикова не вернули обратно в Порт-Артур, как тех, у кого обнаружили признаки цинги. Возможно, это произошло оттого, что осмотр производился в темном сарае ночью, при свете небольшого фонарика. Впоследствии у него болезнь эта прошла, однако зубы остались слабыми и десны кровоточили до старости.

В Японию портартуровцы стали прибывать в середине января 1905 года. К тому времени в нескольких «приютах», как называли помещения и лагеря для военнопленных, находилось всего около трех тысяч пленных.

«Вскоре после прибытия в свой «приют» — лагерь в Хамадера, близ города Осака, — пишет Г. С. Новиков в одной из своих статей, — пленные портартуровцы стали получать письма от товарищей, находившихся в других лагерях. В этих письмах между прочим проскальзывали смутные сведения о каких-то «брожениях» среди матросов и солдат и передавались некоторые слухи о происходящих в России событиях. Такие же новости изредка сообщали нам японские переводчики, находившиеся среди нас и «сочинители», выдумывавшие и разносившие по баракам всевозможные «новости», спекулируя на том, что всем хотелось хоть что-нибудь слышать и знать о жизни в России.

Новиков — матрос 14-го  
Квантунского экипажа.  
Порт-Артур, 1904 г.



Весной 1905 года к нам в Хамадера стали изредка, какими-то путями, попадать русские газеты, конечно, старые с известиями о событиях, бывших в январе, феврале, но пленные читали их с большим интересом...».

«Пленных очень мучило полное отсутствие правдивых известий о ходе войны, — говорилось в дневнике одного обер-офицера, попавшего в плен под Мукденом и отбывавшего его в офицерском лагере в Фукуока. — Японцам нельзя было верить — они ввали напропалую. Приходилось довольствоваться сведениями иностранных газет, где правда была перемешана с ложью».

...Лагерь в Хамадера разделялся на пять участков — «дворов», из которых самым обширным был 4-й двор, где помещалось десять тысяч пленных. Во всех же пяти дворах было двадцать две тысячи человек. Помещались пленные в дощатых бараках по двести — двести двадцать человек в каждом.

Четвертый двор, где находился Григорий Степанович, пленные в шутку называли «соединенными штатами», потому что часть бараков занимали солдаты и матросы нерусских национальностей: татары, евреи, поляки и другие. Полякам присылалось много книг и газет из Америки, от польских эмигрантов. Русские же, кроме старых газет, долго не получали ниоткуда никакой литературы, а читать очень хотелось, и в апреле, в бараке № 10, артиллерийский офицер Гринавцев создал первую «Товарищескую библиотеку» из книг, собранных у товарищей по плену. Набралось свыше двух тысяч экземпляров.

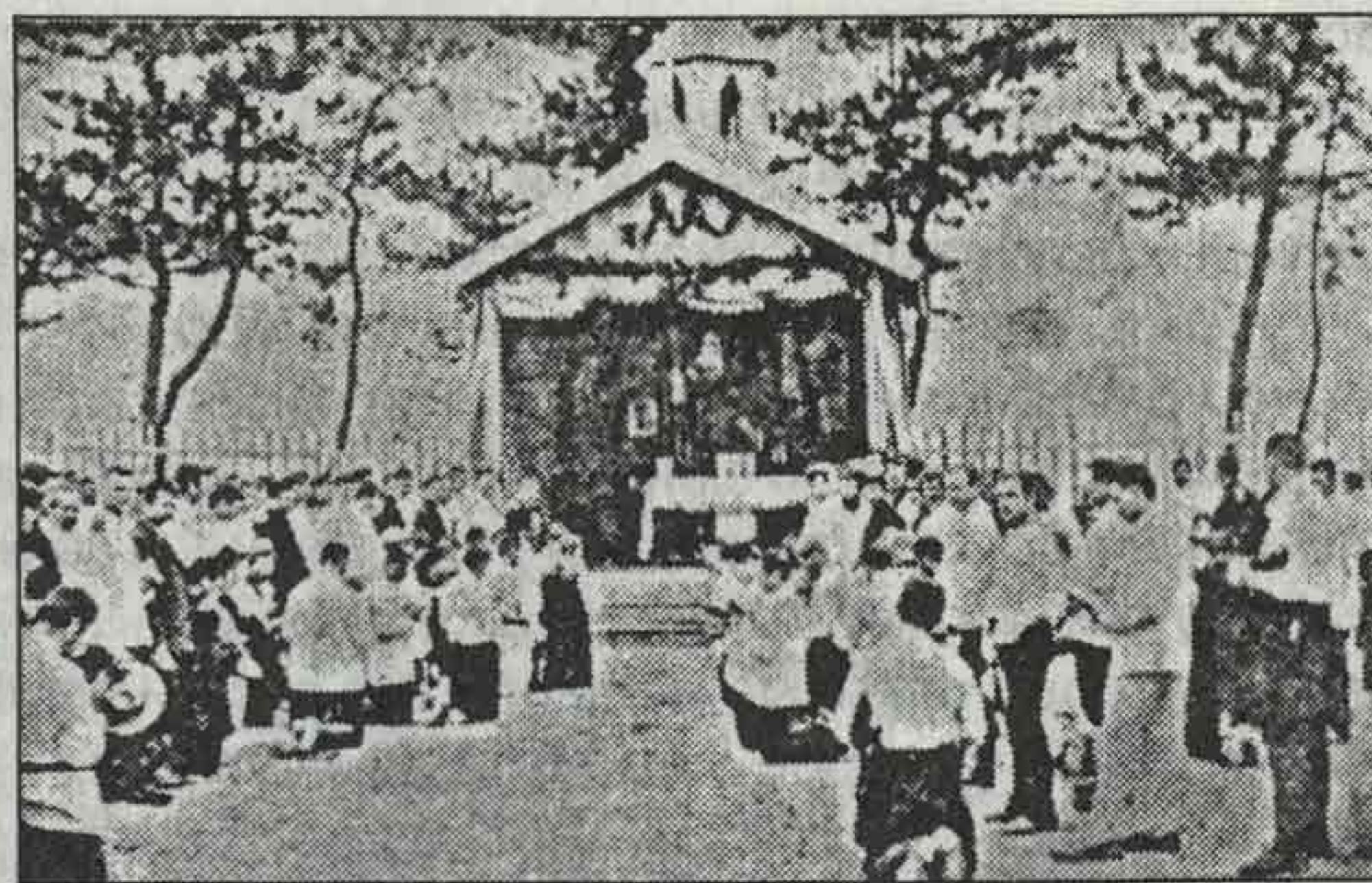
В начале июня 1905 года Новиков, заручившись поддержкой наиболее грамотных своих товарищей, которые составили «редакционный коллектив», стал издавать рукописный журнал под названием «Друг».

«Желая дать некоторое развлечение товарищам по плену, — говорилось во вступительной статье «От редакции» первого номера журнала, выпущенного в субботу, 4 июня, — мы решили издать настоящий рукописный журнал. Помещая на его страницах всякого рода мелкие статьи, сочинения нижних чинов, как то: рассказы, очерки, стихотворения, задачи, шарады и прочее.

Цену, несмотря на то, что свои средства ничтожны и что за каждый экземпляр каждого номера работы, по крайней мере, на целый час, назначили мы невысокую, зная плохие финансы подписчиков.

В статьях журнала найдется, конечно, немало грамматических ошибок и нелитературных оборотов слога, но мы надеемся, что читатели не будут требовать того же от нашего журнала, что должно быть в настоящем литературном органе».

Помимо иных публикаций, в № 1 журнала «Друг» был прозаический этюд Григория Новикова «Ночь на Ляодуне в декабре 1903 года», а также его небольшое стихотворение «Судьба».



Богослужение в лагере русских военнопленных. 1905 г.



Военнопленные портартуровцы. Новиков — в первом ряду второй слева. 1905 г.

*Неумолима ты, сильна,  
Ко всему ты равнодушна,  
И, как мрамор, холодна  
И, как мрамор же, — бездушна.*

Успех журнала превзошел все ожидания. Поскольку спрос на него все возрастал, пришлось отказаться от утомительного и малоэффективного рукописного его размножения и перейти на гектографическое копирование. Изготавливать гектографические формы взялся сам Григорий Степанович, так как знал рецепт их изготовления.

Чайки над морем, белый парус, волнистая линия — кусочек суши, слово «Друг», мостом перекинувшееся в сторону далекой родины, — таково оформление этого журнала.

В середине июня пленные Хамадеры получили из разных источников известие о гибели флота у Цусимы и достоверные сведения о событиях в России, а 5 июля по баракам разлетелись брошюры, изданные ЦК РСДРП в Швейцарии, и другие революционные листовки.

Журнал «Друг», получив возможность увеличить тираж, стал помещать не только стихи и рассказы самодеятельных авторов, но и статьи на «гражданские темы», в которых подвергались критике русские политические и общественные порядки.

За издание этого журнала сотрудникам его, в том числе и Новикову, черносотенцы, каковые были среди пленных, стали угрожать физической расправой. Поэтому в конце ноября им пришлось перебраться на третий участок Хамадерского лагеря, где был лазарет и канцелярия лагерей Осацкой провинции. Григорий Степанович стал работать в справочном бюро военнопленных на проверке их списков (всего в Японии находилось в августе 1905 года 82 000 российских пленных). А спустя несколько дней он услышал, что черносотенцы четвертого участка предприняли еврейский погром (все военнопленные евреи, татары, поляки и немцы были японцами сгруппированы на этом участке в отдельных бараках), но потерпели позорное поражение. Разузнав подробности, Новиков послал об этом корреспонденцию в журнал «Япония и Россия», издававшийся в Кобе старым русским поли-

тическим эмигрантом доктором Николаем Константиновичем Русселем (Судзиловским). Четвертого декабря статья Новикова увидела свет в № 14 журнала.

Вскоре после заключения Портсмутского договора о мире Н. К. Руссель познакомился с журналом «Друг» и лично с Григорием Степановичем, который стал получать от него непосредственно журнал «Япония и Россия», материалы для помещения в «Друге», бумагу для его издания, а также революционную литературу, письма и экстренные выпуски телеграмм, из которых пленные узнавали все русские события, в некоторых случаях скорее, чем жители многих мест в самой России. К примеру, о царском манифесте 17 октября 1905 года раньше всех в Хамадере узнала редакция «Друга» из письма Н. К. Русселя и экстренного выпуска телеграмм, присланных им. А всего за время существования журнала — три с половиной месяца — вышло двадцать его номеров и три листка прибавлений.

...Согласно расписанию эвакуации пленных на родину, портартуровцев должны были отправлять в первую очередь. В первой партии уехали пленные из первого двора Хамадерского лагеря: матросы, минеры и артиллеристы. Их отвезли в Кобе, где посадили на пароход Добровольного флота «Воронеж». На этом же пароходе отправлялся адмирал Роже-ственский со своим штабом, контр-адмирал Вирен и пятьдесят других офицеров.

С одной из последующих партий был отправлен в Россию и Григорий Новиков.

### В ЧИСЛЕ НЕБЛАГОНАДЕЖНЫХ

Те заметки и статьи на «гражданские темы», в которых подвергались опубликованные в «Друге» русские политические и общественные порядки, были взяты полицией на заметку. И посему Новиков сразу же по возвращении домой попадает в число неблагонадежных.

«Глубокоуважаемый Николай Константинович! — пишет он доктору Русселю. — Давно уже собираюсь написать Вам, но все как-то не удавалось. То некогда, а то и время есть, так опять настроение такое пакостное, если можно так выразиться, кисло-горькое, пустота в сердце и в голове, чувствуешь себя как будто в чаду или в каком-то неразберихом хаосе и не можешь добраться до своей собственной души, до своих чувств. Мысль где-то глубоко притаится, и взамен ее в голове царит кошмарный бред. Отчего это? Не знаю. Может быть, оттого, что жизнь моя течет не по тому руслу, которым хочу я направить ее, может, от тяжелого одиночества и в семейном отношении, и в отношении служения идеалам правды и добра.

*И скучно, и грустно,  
И некому руку подать  
В минуту душевной невзгоды,  
А годы проходят...  
Все лучшие годы!..*

... Сердечное Вам спасибо за книжку «Мысли вслух». Прочитал я ее от одной обложки до другой. Много хороших мыслей пробудила она в моей голове. Давал читать ее и другим.

Я живу в Нерчинске, да и куда я вырвусь из него, скованный нуждой? Сколько хороших идей, мыслей и начинаний роились в моей голове, но все они пока лишь в голове, а не на деле по причине тяжелого материального положения. Теперь предполагаю оборудовать маленькую типографию с осени, а там, может быть, и газетку начну издавать. Денег на типографию мне обещают взаимнообразно знакомые... Вот лишь насчет газеты дело плохо — денег на издание никто не дает из боязни, что ее скоро «прихлопнут»...

Вспоминая издание журнала «Друг» и твердо веря в лучшее будущее Сибири, я надеюсь, что желание мое издавать газету не заглохнет и осуществится...».

Однако мечты мечтами, а жизнь диктовала свои условия. В те трудные дни, когда бывший пленник Хамадерского лагеря тщетно искал работу, полицейский надзиратель Мак-

симов «по секрету» указал ему на истинную причину всех бед и злоключений и посоветовал уехать из Нерчинска.

В августе 1907 года Новиков переехал на Казаковские золотые промыслы и поступил работать почтарем — перевозил корреспонденцию из конторы в Нерчинск. Одновременно он занимался переплетным делом, писал корреспонденции в нерчинские и читинские газеты. Через два года он вновь возвратился в город детства и определился на службу в почтово-телеграфную контору почтальоном. Однако здесь его опять стали посещать агенты полиции.

К слову сказать, на Казаковских золотых промыслах Григорий Степанович сблизился с руководителями социал-демократического кружка Романом Туровским и Андреем Ближниковым, а в Нерчинске вступил в кружок братьев Шиловых, цель которого, как объяснили ему товарищи, — организовать кооператив с потребительской лавкой, столовой, библиотекой и другими культурными учреждениями, а также взаимопомощь и содействие общественности города в культурных общественно полезных мероприятиях. Однако уже после первого заседания кружка Новиков понял, что цель и задачи кружковцев — отнюдь не в создании одного только кооперативного объединения, а в более серьезной работе.

В мае 1910 года в Нерчинск приехал Степан Самойлович Шилов. Чтобы ознакомить его с активом кружка, его братья — Федот и Дмитрий — устроили пикник на каменном карьере за рекой Нерчей, сойдясь туда группами по два-три человека, с корзинками и узелками. Всего собралось более двадцати человек (в кружке в то время числилось около пятидесяти членов).

— Вы, товарищи, еще только культурничаете и называть себя революционерами не можете, — как можно миролюбивее произнес Степан Самойлович, выслушав о том, какую работу проводят кружковцы.

Затем, повернувшись к Дмитрию, положил свою руку ему на плечо.

— Ну а ты, руководитель группы, все еще прикрываешься маской «толстовца»? Я знаю, что это у тебя только маска, а вот когда будет нужно сбросить всякие маски и взяться за оружие, ты возьмешь винтовку?

Тот, постояв некоторое время молча, поднял голову и твердым голосом сказал:

— Возьму!

Позднее, в годы гражданской войны, он сдержал это слово. Степан и Дмитрий были видными деятелями подпольной организации большевиков, организаторами партизанской борьбы с интервентами и белогвардейцами в Амурской области, а третий их брат — Федот — в 1918 году был председателем Нерчинского Совета.

...Полицейские преследования привели к тому, что в 1911 году Григорий Степанович вынужден был оставить службу и заняться продажей газет в книжном киоске на станции Нерчинск-город. Скучного заработка едва хватало на прокормление семьи (в то время он состоял в гражданском браке с Софьей Ивановой). «Не забывали» его и черносотенцы, неоднократно присылавшие письма с угрозами. Новиков решает снова перебраться на Казаковские золотые промыслы, но его заставили уйти и оттуда.

Зимой 1914 года, отправив жену с грудным ребенком в Нерчинск, он с двухлетней дочуркой перебрался в Ундинскую станицу, где занимался фотографией и переплетал книги — все это давало возможность кое-как перебиваться. А летом он вновь вернулся в Нерчинск. Здесь-то и созрело решение покинуть родные места и вместе с семьей уехать на Амур.

### НА ЗЕМЛЕ АМУРСКОЙ

Благовещенская пристань, куда нога Новикова ступила со схода парохода «Зоря» 22 июля 1914 года, встретила его оживленным гомоном людской толпы. Встречали прибывших, провожали отплывающих, сновали туда-сюда грузчики, отягощенные чемоданами и узлами пассажиров. Здесь же происходила загрузка и выгрузка пароходов различными товарами. На набережной слышались беспрестанные свистки,



Пристань в Благовещенске

всюду — говор, крики, скрип возов. Одним словом, видна была кипучая деятельность промышленного города.

«По набережной Амура, начиная от пристани Амурского пароходства и торговли, протянулся городской бульвар — излюбленное место прогулок благовещенской публики в летнюю пору.

Вдоль Амура размещена главная часть города, где сосредоточены административный и торговый центры, а вдоль набережной Зеи и в северо-восточном углу — фабрики, заводы, паровые мельницы.

Внешний вид Благовещенска, расположенного на ровной местности и ограниченного с юга Амуром, с востока — Зеей, а с севера и запада — небольшими возвышенностями, представлялся особенно привлекательным, когда к нему подходишь на пароходе снизу.

Амур при слиянии с Зеей образует ровное, почти без извинов, плесо верст на тридцать пять — сорок. В ясную погоду от китайского города Айгуна, находящегося в сорока верстах ниже Благовещенска, бывает виден и сам город — главный административный и торгово-промышленный центр Амурской области. Вдали резко выделяются сооружения: белое здание Духовной семинарии и красные — мельницы Торгового Дома «Тетюков». По мере приближения постепенно вырисовывается вся набережная Зеи — с пароходами и целым рядом мельничных и заводских труб, — и сама река широкой водной дорогой уходит вдаль, за линию горизонта. Плесо Амура не видно — оно скрыто островами. Поэтому человеку, не знающему расположения города, вполне может показаться, что тот расположен на правой стороне Амура, поскольку уходящая вдаль Зея сравнительно легко принимается за продолжение величайшей дальневосточной водной артерии. Но еще несколько минут и... из-за островов показывается Амур и открывается другая, южная сторона Благовещенска: набережная с триумфальными воротами, сооруженными в 1891 году по случаю приезда цесаревича Николая Александровича Романова, ныне царствующего Императора Николая II.

Вид города, если подъезжать к нему сверху, не представ-

ляет ничего особенно примечательного, так как Амур с этой стороны делает несколько кривых поворотов, скрывающих Благовещенск от зрителя до последнего момента. Видеть город отсюда мешают также сопки, расположенные с западной его стороны.

Набережные улицы Амура и Зеи бывают оживлены только летом. Зимой же, с закрытием навигации, жизнь на них замирает. Зато в зимнюю пору чрезвычайно оживлены центральные улицы — близ Гостинодворского и Амурского базаров».

Что особенно поразило Григория Степановича буквально в первый же день приезда, так это распланировка города, совершенно не похожая на большинство других городов России. Улицы его, как продольные, так и поперечные все без исключения прямы, широки, и кварталы представляют собой правильные прямоугольники.

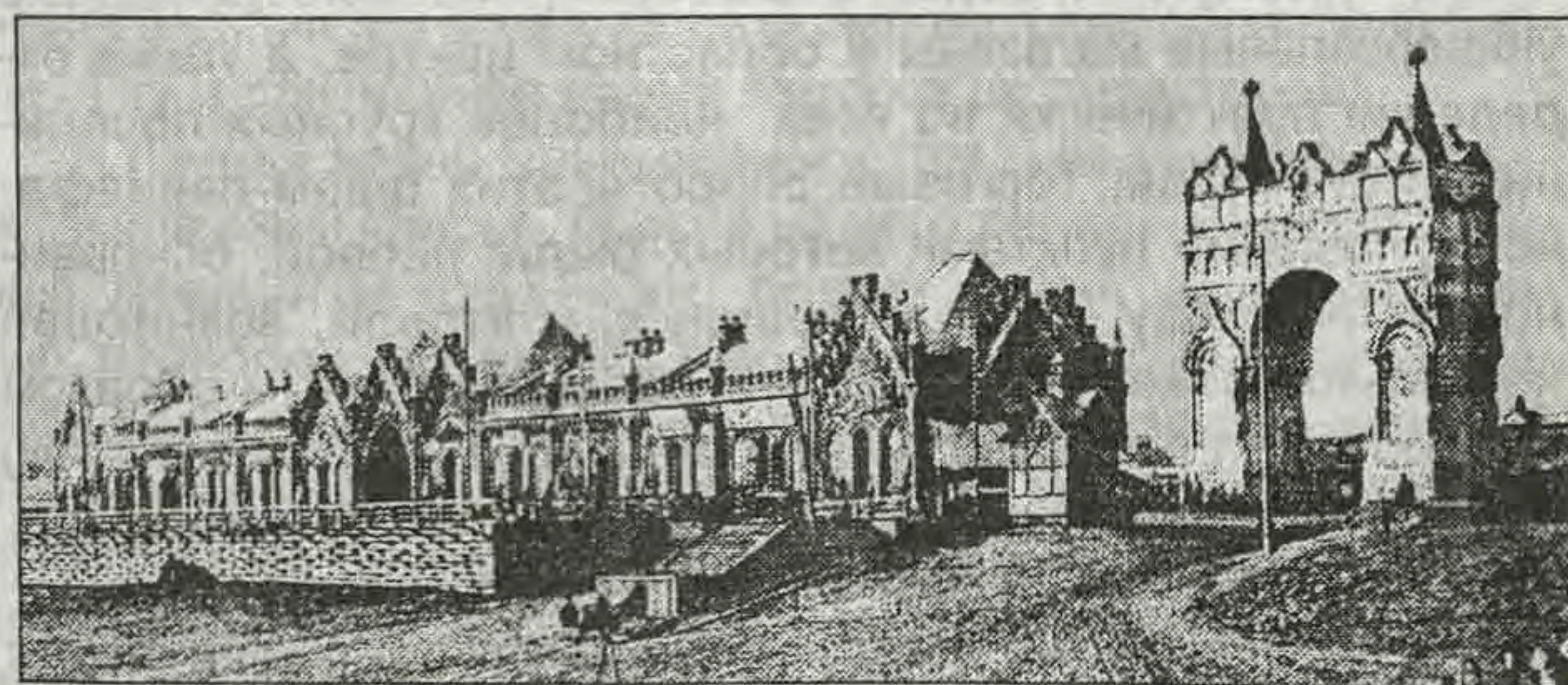
В длину, с запада на восток, Благовещенск растянулся почти на восемь верст, в ширину, с юга на север, — верст на пять. Однако рост города еще не закончился.

В северной части строился железнодорожный вокзал. Интенсивно заселялась часть города, прилегающая к Зее. В 1903 году городским управлением были розданы в аренду на 15 лет земли, лежащие в северо-восточной части города, недалеко от берега этой реки. И места эти к настоящему времени были уже все заселены.

Большинство зданий в городе деревянные, однако за последние годы заметно усилилось строительство каменных сооружений. В числе примечательных каменных построек — магазины торговых домов «Чурин и К», «Кунст и Альберс», новые здания мужской и женской гимназий.

Церквей в Благовещенске было шесть, не считая домовых. Имелись также католический костел и молитвенный дом духовных христиан.

Восточная, призейская часть Благовещенска, утопающая в зелени садов, разительно отличалась от западной. Тут не было городской сутолоки, магазинов, зато летом, особенно в ветреную погоду, это, пожалуй, было единственное место, где дышалось легко и привольно чистым, не загрязненным



Благовещенск. Триумфальная арка

Благовещенск. На Большой улице

пылью воздухом. Дома здесь, за небольшим исключением, почти все деревянные.

От Графской (Калинина) до Благовещенской (Пионерской) улицы расположены пароходные пристани. Далее, от Благовещенской улицы до устья Зеи, берег летом частенько бывал загроможден плотами с лесом и складами дров.

Освещался город электричеством, вырабатываемым местной электрической станцией. Но вот что касается благоустройства, то Благовещенску можно было пожелать лучшего. Вследствие того, что улицы города были до сих пор не мощены, во время летней засухи по ним носились тучи пыли, а во время дождей, которые шли здесь с июля по август, прохожие утопали в непролазной грязи.

Несмотря на некоторые недостатки, которые в скором времени городское руководство было намерено предотвратить (планировалось даже устройство водопровода и электрического трамвая), Благовещенск являлся пока что единственным культурно-просветительным центром области. К 1914 году здесь насчитывалось шесть средних учебных заведений: мужская и женская гимназии, духовная семинария, реальное училище, епархиальное женское училище и частная женская гимназия. Для начального образования имелись городское трехклассное училище, 22 городские школы и 6 церковно-приходских. Из специальных учебных заведений следует отметить речное и ремесленное училища. Общее число учащихся было около шести с половиной тысяч (10 на каждые 100 жителей). Нужно отдать должное заботам и трудам Благовещенского городского общественного управления, которое всегда охотно шло навстречу нуждам народного просвещения, не жалея на это средств. По плану школьной сети, к 1922 году в Благовещенске должны были ввести всеобщее обучение. Но пока что, несмотря на затраты города, приходилось констатировать печальный факт недостатка мест в школах для всех желающих.

В недалеком будущем предполагалось открытие среднетехнического училища и учительской семинарии, о чем городом, Биржевым комитетом и областной администрацией возбуждены были соответствующие ходатайства.

Из культурно-просветительских организаций заслуживали внимания детская библиотека имени Л. Н. Толстого, городской музей, городская библиотека, основанная еще в 1859 году, Общество изучения Сибири, отдел Императорского технического общества и Общество распространения начального образования в Амурской области. Из благотворительных организаций — Благовещенское лечебно-благотворительное общество, основанное в 80-х годах XIX века и оставившее яркий след в истории города, поскольку благодаря именно ему возникли первая аптека, гражданская больница, богадельня и детский приют.

Торговля, обороты которой достигали до 35 миллионов рублей в год, производилась главным образом в районах Гостинодворской площади, Большой улицы и площади Амурского базара. Благовещенск снабжал необходимыми продуктами, мануфактурой и прочими товарами все районы, в том числе и приисковые, а также линию строящейся Амурской железной дороги. За последние годы, с развитием земледелия, расширилась торговля и сельскохозяйственными орудиями производства.

Из торговых домов наиболее значительными являлись «И. Я. Чурин и К<sup>о</sup>» и «Кунст и Альберс», имевшие громадные универсальные магазины в областном центре, а также отделения практически во всех наиболее крупных поселениях Приамурья. Торговые обороты этих фирм-левиафанов (главными пунктами которых были: первой, основанной в 1868 году, — Благовещенск, и второй, возникшей несколько позже и снабжавшей область главным образом продуктами германской промышленности, — Владивосток) достигали нескольких десятков миллионов рублей в год. А на службе у них находились сотни служащих.

Не менее примечательными были торговые дома: «М. Т. Гуриков», «А. А. Урманчеев с сыновьями», «Небель», бывший «Дикман» — одна из самых старых фирм в городе, и многие другие.

В районе Амурского базара торговали главным образом предметами, необходимыми деревне. Здесь стоит отме-

тить фирмы братьев Платоновых и Коротаевых, винно-торговый магазин Ождженского, отделение магазина «Чу-рин и К<sup>о</sup>», а также множество кожевенных, мануфактурных, галантерейных и иных магазинов.

Говоря о торговле Благовещенска, необходимо упомянуть еще об одном весьма прибыльном предприятии, обогатившем многих, — торговле скотом, который пригонялся из Монголии и соседней Маньчжурии.

В развитии судоходства по рекам Амурского бассейна Благовещенск играл громадную роль, являясь главным пунктом постройки, ремонта (судостроительные заводы Чепурина, Афанасьева и С. Шадрина) и стоянки судов. Здесь происходила перегрузка транзитных грузов и пассажиров с больших низовых пароходов на мелкосидящие, для следования выше по Амуру, а также по Зее, Селемдже, Томи и Сунгари. Двадцать процентов владельцев пароходов были коренные жители областного центра. Здесь же сосредоточили свои конторы, мастерские и затоны такие крупные пароходные компании, как Амурское общество пароходства и торговли и Амурское общество пароходства.

В связи со строительством железной дороги построено было большое количество новых пароходов, в том числе «Сормово», «Сибирь», «Василий Алексеев», «Слава». Немного статистики. Если в навигацию 1911 года по рекам Амурского бассейна плавало 558 судов, то спустя год их число превысило 600. Общий оборот всех пристаней города в 1910 году составлял 23 714 492 пуда, в 1911 — 28 586 488. Тогда как грузооборот Сретенска, Хабаровска и Николаевска, вместе взятых, был равен только 21 954 037 пудам.

Однако горячка судостроительства, вызванная постройкой Амурской железной дороги, привела, как и следовало ожидать, к кризису. Пароходов настроили очень много, а грузов для перевозки оказалось недостаточно. В результате несколько пароходных компаний потерпели крах.

Довольно значительно в Приамурье была развита мукомольная промышленность. В 1910 г. в Благовещенске насчитывалось 275 различных промышленных предприятий, на которых трудилось около трех тысяч рабочих. Сумма производства составляла 8 202 550 рублей, в 1911-м — 9 840 039, из которых соответственно 5 300 000 и 6 947 375 рублей приходилось на мукомольное производство.

Что же касается перерабатывающей промышленности, то она находилась еще в зачаточном состоянии.

На следующий день после приезда в Благовещенск Григорий Степанович направился в редакцию газеты «Благовещенское утро», находившуюся по адресу Графская, 9. Выслушав довольно учтиво просьбу Новикова, редактор Матюшенский зарокотал своим хорошо поставленным баритоном:

— Как же, читывал... приходилось... в нерчинских газетах встречал ваше имя, и в читинской, и в сретенской... В «Сибирских вопросах» тоже ваши статейки изредка попадались.

Он помедлил, будто подыскивая какие-то особенно веские слова, и закончил довольно неожиданно:

— Только я в ваших услугах не нуждаюсь. Сам, сам от первой до последней строчки, делаю газету! Да-с... Сам! Сам! И помощники мне не нужны. Не доверяю... игнорирую... обходился и впредь буду обходиться!

Ошеломленный посетитель попятился к двери. Очутившись на улице, вздохнул с облегчением.

Фортуна улыбнулась Григорию Степановичу в редакции другой газеты — «Эхо», где редактор Н. Ф. Губанов предложил поработать ему судебным репортером.

— Попробуйте, а там видно будет. Да, кстати, сегодня в суде будет разбираться тяжба — зубной врач предъявляет иск нотариусу. С этого и начните...

С отчетом об этом судебном процессе и выступил впервые в благовещенской прессе репортер Новиков-Даурский. Но вскоре он почувствовал, что судебная хроника весьма далека от того, о чем он мечтал. Ему удалось найти другую работу — в бесплатной детской библиотеке-читальне имени Л. Н. Толстого, с которой судьба связала его на целых тринадцать лет.

Забываясь о сохранности и увеличении книжного фонда, он не только сам старательно переплетал каждую книгу, но и устраивал силами своих читателей детские утренники, сбор от которых шел на пополнение библиотеки. Удовлетворяя свою страсть к журналистике, Григорий Степанович приступил к изданию иллюстрированного журнала «Записки любителя».

В редакционной статье, предваряющей первый номер журнала, Новиков-Даурский пишет, что к изданию его побудило «не только тщеславное стремление «показать себя», а искреннее желание прийти на помощь в деле объединения таковым же, как и мы, самоучкам-любителям науки и литературы, занимающимся изучением родины и в то же время самообразованием... Только тогда изучение такой обширной части света, как Сибирь или Дальний Восток, пойдет правильным путем, когда каждый ученый-исследователь будет встречать в лице каждого грамотного человека бескорыстного, сознающего важность дела, сотрудника себе.»

Следует сказать, что большинство публикаций в «Записках любителя» перепечатаны из других сибирских и забайкальских изданий: «Восточное Забайкалье», «Утро Сибири» и других, что, по мнению некоторых современных исследователей, в значительной мере обесценивает журнал, делает его вторичным и малоинтересным. Однако это можно объяснить полным отсутствием у издателя денег на уплату гонораров авторам новых, ранее не публиковавшихся научно-популярных статей и художественных произведений. По той же причине, скорее всего, Новиков-Даурский не имел штатных сотрудников и всю работу по подготовке и редактированию журнала выполнял сам.

Но при всем этом журнал все же выполнял главную задачу просветительства, а именно — содействовал «преодолению с помощью разума тьмы невежества». Роль его была велика еще и потому, что он знакомил с наиболее интересными материалами из малодоступных для амурского читателя изданий. В 1916 году «Записки любителя» были единственным в Амурской области научно-популярным и литературным изданием.

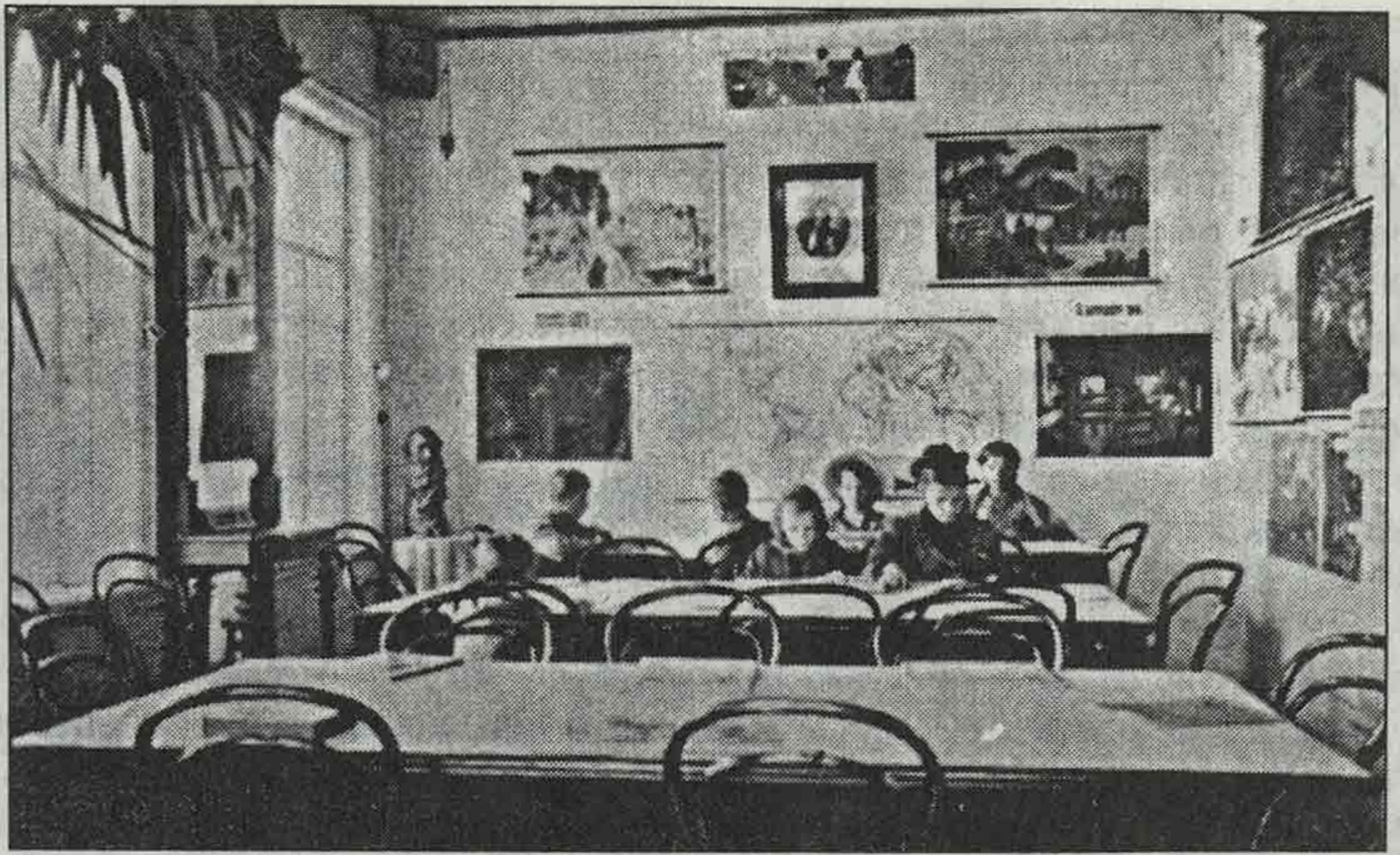
Не удовлетворяясь чисто издательской деятельностью, Григорий Степанович и сам много писал. Например, его перу принадлежат статьи «О загородных экскурсиях с детьми» и «Спасите детские души!». Вторая статья — крик души автора о недопустимом отношении к воспитанию детей, о жалком существовании библиотеки-читальни и обращение к благовещенцам с просьбой о пожертвовании на ее содержание.

Во втором номере «Записок любителя» опубликована заметка Новикова-Даурского «Селедки и колбасы в ценных документах» — о печальной участи многих архивов, вывезенных на свалки или распроданных купцам и лавочникам в качестве оберточной бумаги. Амурский отдел общества Сибири и улучшения ее быта, членом которого являлся Григорий Степанович, несколько лет безуспешно разыскивал Албазинский архив, представляющий для нашей истории огромнейшую ценность. «Не вывезен ли уже этот архив на свалку? Или не попал ли на обертку кеты?» — задает он вопрос, который, увы, и по сей день остается без ответа.

Десятый номер журнала, вышедший в 1918 году, существенно отличался от предыдущих по политической окраске и социальной направленности и полностью был посвящен материалам «Союза сибиряков-федералистов». Сам Новиков-Даурский, безусловно, разделял идею автономии Сибири.

Одновременно с «Записками любителя» в сентябре 1916 года Григорий Степанович сделал попытку издания общедоступной газеты «Восточная почта» (вышло два номера).

В целом это издание было далеко от освещения вопросов политической жизни, а, скорее, носило характер информационного вестника. Статья о современном состоянии театра, большая подборка материалов о народном просвещении продолжали просветительскую тенденцию «Записок любителя», а обширная хроника могла привлечь подписчиков.



Дети в библиотеке-читальне имени Л. Н. Толстого. Благовещенск, 1914 год

Несмотря на то, что в Благовещенске выходило три газеты — «Амурское эхо», «Благовещенские епархиальные новости» и «Благовещенское утро», — Новиков-Даурский считал, что его газета сможет стать вполне конкурентоспособной. В одном из писем он отмечает, что если «Восточная почта» будет выходить с телеграммами Петроградского телеграфного агентства и по утрам, то тираж ее может подняться очень быстро. Однако он, по всей видимости, переоценил свои возможности, поскольку соперничать с такими «зубрами» газетного дела, как Матюшенский или тот же сын золотопромышленника Варзакова, было ему не по карману. Новиков, в буквальном смысле этого слова, «прогорел» на втором номере. У него попросту не оказалось денег для уплаты владельцу типографии...

В 1917 году библиотека-читальня, на содержание которой городская управа выделяла всего пятьсот рублей в год, испытывала острый недостаток в средствах. Григорию Степановичу самому приходилось изыскивать средства на пополнение библиотеки, на заработную плату библиотекаря и его помощнику, прибегая при этом к подписным листам, кружечным сборам, лотереям-аллегри, устройству утренников.

В дореволюционное время молодежь в России не имела права создавать свои объединения, вроде обществ, кружков и т. п. Это стало возможным лишь после свержения самодержавия. В Благовещенске одним из инициаторов подобного новшества выступил Новиков. При поддержке ряда педагогов и общественных деятелей он решил создать при читальне юношескую организацию и открыть кружки — литературный, театральный, музыкальный, спортивный. Организацию назвали «Юношеским союзом». При белогвардейцах этот союз не действовал, а в феврале 1920 года вновь начал существовать под названием «Амурский союз молодежи». В июле того же года он был реорганизован в Амурский союз РКСМ.

С годами работы у Григория Степановича все прибавлялось. Он организовывал детские площадки, устраивал походы за город, учил детишек распознавать целебные свойства трав и цветов, делал гербарии, собирал и инвентаризировал книги из библиотек различных ведомств, упраздненных после революции. Из этих книг он скомплектовал областную библиотеку и длительное время являлся ее директором.

А личная жизнь Новикова меж тем складывалась неважно: ушла жена Софья, бросив на него детей — Николая и Марию. Двадцатые годы — это, пожалуй, один из самых тяжелых периодов его жизни. Жалованье он везде получал небольшое и всегда испытывал материальные затруднения. Об этом свидетельствуют и сохранившиеся документы. К примеру, в обращении в Амурский союз работников просвещения и социальной культуры в декабре 1921 года он пишет: «Не получал никакого жалованья и ничего... за целые четыре месяца службы, ...имея на руках семью, я не имею уже несколько дней ни одного куса хлеба...». Вдобавок ко всему прочему, у него стали возникать и психологические проблемы с детьми. Особенно с дочерью...

После того как детская библиотека была слита с областной, Григорий Степанович начал работать в областном музее. На этом поприще он зарекомендовал себя огромнейшим знатоком, универсалом своего рода. Круг его интересов был широк. Он с равным успехом мог выполнять любую работу, касающуюся избранной профессии: вел библиографическую картотеку, организовывал экскурсии, редактировал газету «Амурский краевед», предпринимал поисковые маршруты, которые охватывали значительную территорию области. Научные интересы его изумляют, творческая целеустремленность вызывает восхищение. Новиков-Даурский с увлечением занимался археологией, скрупулезно изучал заселение Приамурья, его прошлое, интересовался этнографией и топонимикой тех мест, где ему приходилось бывать. Итогом его многолетней научной работы стала книга «Историко-археологические очерки. Статьи. Воспоминания», которая вышла из печати в 1961 году.

Изучать памятники древности в Амурской области Григорий Степанович начал с 1928 года. По береговому откосу левого берега реки Чигири им были собраны несколько фрагментов керамики, украшенных ложно-текстильным орнаментом. Год спустя в районе села Бибиково он нашел костяной наконечник стрелы и каменный нож. В это время он упорно собирает сведения по археологии из литературных источников, переписывается с учеными и краеведами-любителями.

В 1930 году в первом номере «Записок Амурского окружного музея и краеведческого общества» была опубликована первая его научная работа — «Археологические разведки в окрестностях сел Игнатьевки, Марково, Екатеринославки Амуро-Зейского района Амурского округа и города Благовещенска».

Интересны сделанные им описания древних захоронений, мастерски выполнены чертежи городища Кучугур и находящегося в окрестностях Екатеринославки кургана, известного среди местных жителей под названием Бутанчик.

Как историка его всерьез заинтересовала судьба такого этноса, как дауры. Их прошлое с достоверностью можно описать лишь с середины XVII века, когда народ этот был переселен с территории Приамурья вглубь Маньчжурии. Откуда и когда пришли дауры на Амур? Какова их материальная и духовная культура? Все это оставалось загадкой. Он писал: «Дауры, по нашему предположению, появились на Амуре не ранее тридцатых годов XIII столетия, когда войска Угэдэя, под началом Тацира, вели беспощадный разгром чжур-дженской империи Цзинь. Можно предполагать, что родоначальником даурских «князей» был один из военачальников, приближенных хана, которому при разделении Угэдэем монгольской империи на наделы была выделена область, охватывающая низовья Шилки и верховья Амура. В дальнейшем этот удел делился между потомками сподвижников чингизидов».

В статье «Приамурье в древности» Новиков-Даурский выразил свою точку зрения относительно расселения дауров: «Нам кажется, что исторически неправильно именовать «Даурией» всю страну, лежащую на восток от Яблоневого хребта, в бассейне верхнего Амура с его основными притоками — Ононом, Ингодой, Шилкой, Аргунью и Зеей. Из всех источников, с которыми нам удалось познакомиться, не видно, чтобы дауры упоминались в числе народов, населявших Забайкалье. Достоверно установлено, что улусы и городки князя Лавкая и других даурских князей начинались в низовьях Шилки (приблизительно до устья реки Урюм) и были расположены по левому течению р. Зейя. Поэтому правомочно называть Даурией часть Приамурья от низовий Шилки до устья Буреи».

В конце двадцатых — начале тридцатых годов он провел серьезные полевые и теоретические изыскания по даурской проблеме. Среди памятников археологии ученый выделил «городища и селища даурского типа». Исследовал и могильники, непосредственно принадлежащие даурскому периоду истории Приамурья. Это некрополи Черняевский, Великокнязевский, на Дубовой балке у села Большая Сазанка и другие. В 1928 году он даже раскопал на Марковском могильнике одно погребение, относящееся к данному периоду.

Костяк, по сведениям ученого, «лежал на спине, с вытянутыми по бокам руками, головой на север, ногами на юг». С погребенным обнаружен следующий инвентарь: железная пряжка, костяная орнаментная пластинка с отверстиями на концах, железное кольцо, ножные браслеты, нож. Между ребер костяка Новиков-Даурский нашел железный наконечник стрелы, который «не лежал, а торчал в перпендикулярном положении».

Труды Григория Степановича по даурской проблеме не слишком объемны, но, по мнению специалистов, чрезвычайно ценны, так как этот замечательный краевед одним из первых коснулся темы, которая и к настоящему времени является почти нераскрытой...

Пик его археологических исследований приходится на пятидесятые годы. В этот период он совершил более двадцати пяти археологических разведок практически по всей Зейско-Бурейской равнине.

С годами имя ученого-краеведа стало известно далеко за пределами нашей области. Достаточно сказать, что статья «Благовещенск», опубликованная в первом томе Малой Советской Энциклопедии, и статья «Амурская область», помещенная во втором томе второго издания Большой Советской Энциклопедии, написаны Г. С. Новиковым-Даурским.

Высокую оценку его научным трудам «Приамурье в древности» и «Открытие Амура русскими и начало освоения края» дал в двадцать втором томе «Советской археологии» известный археолог А. П. Окладников.

Вслед за статьями в Амурском книжном издательстве увидела свет еще одна научная работа Григория Степановича — «Материалы к археологической карте Амурской области». Пристальное внимание исследователя привлекают земляные валы у села Каникуртан, городище Гора-Шапка в Михайловском районе и десятки других, безымянных, но не менее значительных и интересных. Селища, могильники, стоянки — и найденные здесь древние предметы домашнего обихода, остатки воинских снаряжений, украшения... Амурская земля открывает тайны тем, кто терпелив и внимателен.

Вот взметнувшаяся к небу «Архаринская писаница». Григорий Степанович о ней пишет: «На правом скалистом берегу реки Архары, между устьями ее притоков Татакан и Дыды, в 25 км выше деревни Гилево-Плюснинка, на 7–8 м



Г. Новиков (справа) с профессором А. Георгиевским после совместного путешествия по Амуру. Благовещенск, 1928 г.





Г. С. Новиков с женой Варварой Петровной Секисовой. Благовещенск, 1937 год



Коллектив Амурского областного музея краеведения. Г. С. Новиков — в первом ряду слева. Февраль 1954 года



На остатках древнего селища. Село Марково, 1950-е годы



За рабочим столом. 1950-е годы

над рекой вертикально возвышается довольно гладкая скала. На ней красной краской нанесены изображения человеческих фигур, зверей, елочек и т. п. Это самая восточная из всех известных на Дальнем Востоке писаниц...».

Археологическая коллекция, созданная трудами и изысканиями Новикова-Даурского, насчитывает более трехсот предметов. Немало и вышедших в печати научных работ. В их числе — «О названии Амур», «Из амурской летописи», «Русские землепроходцы на Амуре», «Присоединение Амура к России».

Наряду со сбором и формированием исторических коллекций он собирал материал и комплектовал коллекции по различным природоведческим темам: ботанике, зоологии, геологии, палеонтологии. Причем на каждую находку, будь то лист гербария, гриб-трутовик, бабочка или жучок, Григорий Степанович в обязательном порядке составлял подробные полевые этикетки-описания.

За годы работы в музее Новиков-Даурский совершил десятки экспедиций по сбору краеведческого материала. По Амуру, в верховьях Зеи и Селемджи он собрал разнообразные геологические породы: глины, пески, известняки, мрамор с Чагоянского месторождения. В районе реки Норы на-

шел бивень мамонта весом в 59 килограммов. Во время экспедиций 1928, 1933, 1944, 1950 годов он коллекционировал и зоологический материал — различные виды земноводных, пресмыкающихся, насекомых. Еще в тридцатые годы Г. С. Новиков-Даурский и заведующий музеем В. П. Попов составили библиографию литературы по природе Дальнего Востока.

Наряду с этим он — активный организатор краеведческого движения, особенное внимание уделявший школьному краеведению и школьным музеям. Есть свидетельства об организации им походов пионеров и школьников по изучению родного края.

Однако, даже несмотря на заслуги, и Григорий Степанович не избежал горькой участи многих безвинно пострадавших в годы сталинских репрессий. С августа 1938 по январь 1939-го он находился под арестом и был освобожден из-под стражи, «так как материалами следствия антисоветская деятельность не установлена».

После освобождения Новиков-Даурский продолжал вести большую просветительскую работу: выступал с докладами и лекциями по истории Приамурья, часто публиковался в «Амурской правде» и в ряде других изданий.

Занимаясь изучением прошлого, Григорий Степанович прекрасно понимал, что знание местного фольклора поможет ему глубже проникнуть в стихию народной жизни. Поэто-

му он дорожил каждой новой встречей с интересными, на его взгляд, людьми и записывал от них то меткую поговорку, то казачью песню, то озорную частушку, то поразившее своей свежестью диалектное слово. В его личном архиве, к примеру, хранится словарная картотека, включающая 4000 единиц, названная им «записями по словарю старожилых забайкальского населения и амурских казаков с примерами». Она имеет самостоятельную ценность прежде всего как отражение лингвистического чутья, жизненных взглядов и представлений дальневосточника и забайкальца первых десятилетий двадцатого века. В какой-то мере эти материалы позволяют судить о динамике развития амурских говоров за последние годы.

«Мои фольклорные записи, — писал он в автобиографии, подводя итог своей собирательской деятельности, — в настоящее время достигают таких размеров: поговорок и присловий — до 8000, частушек — около 1000, по словарю старожилых забайкальского населения и амурских казаков — до 4000 слов с примерами, много народных песен, загадок, суеверных заговоров и обычаев...».

Общественность города высоко ценила неутомимую деятельность ученого-самоучки: он неоднократно избирался депутатом Благовещенского Совета депутатов трудящихся. С 1933 года Новиков-Даурский — бессменный член кафедры географии Благовещенского педагогического института, член Амурского отделения Всесоюзного географического общества. Немалую работу ведет он и в областной плановой комиссии, и в экспертно-проверочной комиссии при областном архивном управлении.

Нельзя обойти молчанием и его обширную переписку, и устные консультации, которые он дает по самым различным вопросам прошлого и настоящего области. Среди корреспондентов Григория Степановича — П. А. Сычев, Н. И. Матвеев-Бодрый, В. В. Кирюшкин, А. П. Гончаров, Г. Н. Хлебников, ученик Арсеньева — историк Рябов, вдовы Степана и Дмитрия Шиловых и многие, многие другие. В этих письмах порой содержится информация о жизни самого Новикова-Даурского, его отношении к тем или иным событиям в собственной судьбе, оценка окружающих людей. К примеру, в письме к А. П. Гончарову, датированному 20 апреля 1958 года, он сообщает: «13 марта я ушел с работы в музей на пенсионное обеспечение. Однако фактически я еще работаю в музее, но зарплату получаю не по ведомости, а по счетам и нарядам. Работа моя заключается в приведении в порядок

библиотеки музея и систематизации археологических коллекций, чего без меня работникам музея, пожалуй, скоро не выполнить, так как они в этих предметах еще совсем новички».

А вот другое письмо — объемное, на целых шестнадцати страницах — от И. А. Аксенова, его старого друга, которое заканчивается, как и многие другие, добрым пожеланием: «Ну, пожелаю быть здоровым, не симуляничать, а работать и работать. Надо оставить о себе след, да поглубже...».

Занимаясь своей работой, Григорий Степанович, даже выйдя на пенсию, всегда отстаивал интересы музея, подходя к любому делу с величайшей скрупулезностью. Вот одна из записей его последнего дневника, который он начал 11 января 1959 года (предыдущие дневники за 1900-1904 годы в Порт-Артуре, за 1905-1910 — в Нерчинске и за 1911-1914 годы он уничтожил во избежание неприятностей со стороны полиции, которая частенько интересовалась в те годы его «здоровьем»): «20 марта 1959 года. Продолжаю разборку книг музейной библиотеки. Директрисе музея А. В. Красновой кажется, что работа по отбору ненужной литературы идет слишком медленно. Она говорит, что это совсем простая работа: «Посмотрел на книгу: нужная — оставить, ненужная — отбросил — и все...». Мне же кажется, что ее суждение показывает... непонимание сущности дела...».

Как и прежде, Г. С. Новиков-Даурский в этот период испытывал материальные затруднения, поскольку пенсия и те деньги, что он получал в музее, были сравнительно невелики. В одной из дневниковых записей о смерти соседки, Ольги Захаровны, датированных 19 января 1961 года, есть такие слова: «На покупку готового венка не нашлось денег ни у нас, ни у дочери Ольги Захаровны...». Но во многом, что касается ведения домашнего хозяйства, прекрасной помощницей и просто другом ему стала Варвара Петровна Секисова — последняя жена Григория Степановича. Она была из потомственной казачьей семьи и младше супруга на двадцать три года...

*(Григорий Степанович Новиков-Даурский умер в 1961 году. Он был похоронен на городском кладбище Благовещенска. Однако где именно находится его могила, в данное время неизвестно).*

*Поздравляем!*

**В этом году исполнилось 70 лет журналу «Дальний Восток».**

**В разные годы в нем печатались и амурские литераторы:  
Леонид Завальнюк, братья Владимир и Вениамин Колыхаловы,  
Игорь Еремин, Борис Машук, Николай Фотьев, Олег Маслов,  
Александр Побожий, Андрей Терентьев, Игорь Игнатенко,  
Тамара Шульга, Владислав Лецик, Владимир Илюшин,  
Нина Дьякова, Виктор Яганов, Алексей Воронков  
и многие другие.**

**Благодарим журнал за внимание  
к поэтам и прозаикам Амурской области.**

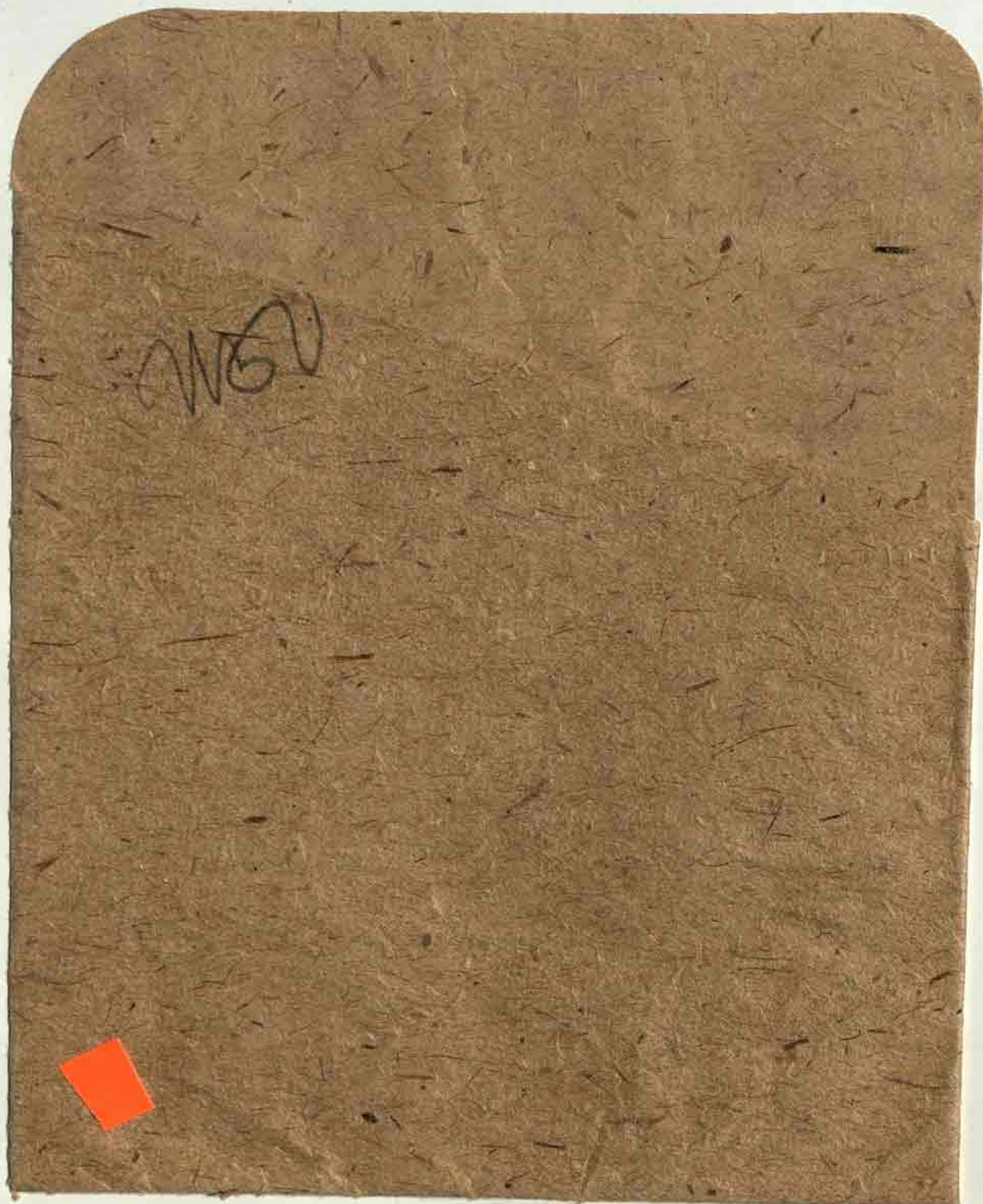
**Сердечно поздравляем юбиляра, желаем ему долгих лет  
и больших тиражей.**

*Редакция альманаха «Амурские»*

НОВАЯ ЦЕНА

50 - 00 к.

Дата № кв.





Тихий вечер



Иней



Подсолнухи

### Живопись Владимира Красникова

Владимир Григорьевич Красников родился в 1946 году на прииске Апрельский Магдагачинского района Амурской области. В 1971 году окончил Дальневосточный институт искусств во Владивостоке. Член Союза художников России с 1989 года. Участник многих областных, зональных и республиканских художественных выставок. Живет в Благовещенске.



На первой странице обложки - работа В. Красникова "Озеро".



На берегах Амура



Оттепель



Осень

Марьян  
ключ

